95 коп.

23-1-14

Индекс 73276



«Нева», 1990, № 4, 1—208

4/1990

ISSN 0130—741X

А. СОЛЖЕНИЦЫН
Март
Семнадцатого

В. КАНТОР
Крокодил
Повесть



Р. КОНКВЕСТ
Большой
террор

«ПОЛИЦЕЙСКИЕ
И ПРОВОКАТОРЫ»

Ф. ЛУРЬЕ
Гапон
и Зубатов



«Канал Грибоедова. Казанский собор»
Рис. Ю. Куликова

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический иллюстрированный журнал

Орган Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации

Нева

4/1990

Выходит с апреля 1955 года

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

В. НОВОСОКОЛЬЦЕВ. Стихи 3
А. СОЛЖЕНИЦЫН. Март Семнадцатого. *Продолжение* 4
И. БРОДСКИЙ. Стихи 45
В. КАНТОР. Крокодил. *Повесть* 49
Е. ШЕВЕЛЕВА. Стихи 117
Л. ЗАМЯТНИН. Стихи 118
Л. КУКЛИН. Стихи 119
Н. КАРПОВА. Стихи 121
Б. РОМАНОВ. Стихи 123
З. ПАСТЕРНАК. Воспоминания. *Окончание* 124
Р. КОНКВЕСТ. Большой террор. *Продолжение* 139

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ «АЛЬТЕРНАТИВА»

И. ЛЕБЕДИНСКИЙ. Заработная плата и доплата 153
В. РОНКИН, С. ХАХАЕВ. На распутье . . . 158
И. МЕТТЕР. В редакцию журнала «Нева» 160

ПРОВОКАТОРЫ И ПОЛИЦЕЙСКИЕ

Ф. ЛУРЬЕ. Гапон и Зубатов 161

Ленинград
«Художественная литература».
Ленинградское отделение

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

М. ЗОЛОТОНОСОВ. Усомнившийся Платонов 176

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

А. ХОДОРОВ. С. Каледин. Стройбат 191
Е. ЩЕГЛОВА. Ю. Поляков. Апофегей . . . 191
Н. КРЫЩУК. И. Знаменская. Обращаюсь на «ты» 191
Е. СКУЛЬСКАЯ. Бунюэль о Бунюэле . . . 192

СЕДЬМАЯ ТЕТРАДЬ

Ю. КАЛИНИН. Ничейная земля 193
Дело прошлое
В. НИКИФОРОВ. По ком звонит колокол на Кижском погосте? 197
Вернисаж «СТ»
Вяч. КОРОБКИН. Сэру Матвееву, эсквайру 202
Мини-мемуары:
А. ДАВЫДОВ. Художник А. М. Герасимов 206

Главный редактор **Б. Н. НИКОЛЬСКИЙ**

Редакционнан коллегия:
А. Г. БИТОВ
И. И. ВИНОГРАДОВ
Е. И. ВИСТУНОВ
(заместитель главного редактора)
Д. А. ГРАНИН
Б. Г. ДРУЯН
М. А. ДУДИН
В. В. КОНЕЦКИЙ
Н. М. КОНЯЕВ
Н. П. КРЫЩУК
С. А. ЛУРЬЕ
Е. Н. МОРЯКОВ
Е. В. НЕВЯКИН
(первый заместитель главного редактора)
Б. Ф. СЕМЕНОВ
В. В. ФАДЕЕВ
(ответственный секретарь)
Т. Н. ФЕДОРОВА
А. Н. ЧЕПУРОВ
В. В. ЧУБИНСКИЙ

Старший технический редактор **Г. В. Александроиа**
Корректоры **А. Ю. Семина, О. Б. Смирнова**

© «Нева», 1990

Сдано в набор 29.12.89. Подписано к печати 28.02.90. М-22008. Формат бумаги $70 \times 108^1/_{16}$. Бумага кн.-журн. Печать высокая. 18,2+2 вкл.—18,55 усл. печ. л. 20,38 усл. кр.-отт. 24,65 уч.-изд. л. **Тираж 640 000 экв.** Заказ № 249. Цена 95 коп.

Адрес редакции: 191065, Ленинград, Д-65, Невский пр., 3
Телефоны: главный редактор, заведующан редакцией — 312-65-37, первый заместитель главного редактора — 312-64-78, ваместитель главного редактора — 312-70-35, ответственный секретарь — 312-61-18, отдел прозы — 312-65-95, отдел поэзии — 312-65-85, «Седьмвя тетрадь» — 312-65-78, отдел публицистики — 315-84-72, отдел критики и искусства — 312-70-96, технический редактор и корректоры — 312-65-59

Ордена Октнбрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

Валерий
НОВОСКОЛЬЦЕВ

◆◆◆

И это было в нашем веке!
И в доме, полном старины,
Фортепиано фирмы «Беккер»
Считалось русским, как блины.

И девушек сухие пальцы,
По белым клавишам кружа,
Старинные играли вальсы,
В которых плакала душа.

Десятилетия, как ливни.
И ни мелодий, и ни слов...
Желтеют клавиши, как бивни
Забытых в комнатах слонов.

На стороне играют свадьбы.
Самостоятельность ума...
И вымирают, как усадьбы,
Большие русские дома.

◆◆◆

У женщины ресницы загнуты.
Беретик над пушистым локоном.
В метро мужчины дышат загнанно,
Когда ее качает около.

Они хватаются за поручни.
Они теряют равновесие.

Они безлики и беспомощны,
Как похоронная процессия.

Их жены к ним готовят санкции,
Чтоб не глядели так печально...
А диктор объявляет станции,
Проглатывая окончанья.

◆◆◆

По лирике, как по болоту,
Тропу опробуи пером...
Одним пожертвовать ребром,—
Как прорубить окно в Европу.

Исторгнуть из груди восторг.
Забыть, что надобно прощаться...
И никогда на тот порог
Тем мальчиком не возвращаться.

◆◆◆

Наверное, на родине моей
Сирень цветет, и птицы не смолкают.
И Тихий Дон в ручей перетекает,
И свищет ветер в куполах церквей.
Наверное, на родине моей
Еще живут мои однофамильцы.
Чем постоянно кормятся кормильцы?

Ведь ложь, что в детстве нет очередей...
Наверное, на родине моей
Лишь памятники обо мне и помнят,
И половицы уцелевших комнат,
И старый двор, забытый и ничей...
И все в порядке смысла и вещей
На родине оставленной моей.

◆◆◆

А тогда, в начале лета,
Красном, как немецкий плед,
Ты была моя Джульетта
Двадцати неполных лет.

Ты тогда смеялась звонко.
Не курила, не лгала.
От волос твоих заколка
В ящик пряталась стола.

Старый кот, как третий лишний,
Не сводил серьезных глаз.
Барабанил дождь по крыше
В этот очень поздний час.

И цветы, как микрофоны,
Все стояли на столе...
И молчали телефоны
В этой сумрачной стране.

Александр
СОЛЖЕНИЦЫН

МАРТ СЕМНАДЦАТОГО

(23 февраля — 18 марта)

85

А уж сегодня был ли университет, не был, но после того как Гика вчера затесался в стрельбу на Невском — ему выхода из дому не было. Однако тут старший брат его Игорь, новоиспеченный прапорщик гвардейской артиллерии, на несколько дней приехавший в отпуск из Павловска, собрался в парикмахерскую — и под предлогом сходить только с ним Гика тоже выскочил на улицу.

На улице оказалось совсем тихо, малолюдно, и идти им нужно было в сторону тихую — к Таврическому саду. Но приближаясь к Воскресенскому проспекту, где поручил отец опять посмотреть газет,— братья услышали справа спереди, пожалуй, не с Фурштадтской, а подальше с Кирочной, какой-то протяжный небывалый звук — большой силы и ближе к человеческому голосу, но никакой отдельный голос не мог бы звучать так сильно и долго, а — сто голосов? тысяча? — протяжный крик или вопль, то усиляясь, то слабея, ни на миг не прерываясь. Так могла кричать только толпа и очень возбуждённая. Звук приближался — голоса были мужские, но кричали истошно-высоко.

И долго. И всё не прерывалось.

А иногда ударяли и ружейные выстрелы.

Сердце Гики радостно взлетало: ему так хотелось событий! Ему так хотелось, чтобы произошло что-то резкое, яркое, пусть даже в ущерб для многих и для него самого, но что-нибудь особенное, ещё никем не пережитое, которое всех потрясёт!

Так братья замялись на углу Воскресенского, опять не найдя газет в киоске, и прислушиваясь недоуменно. В это время от Фурштадтской подошёл молодой пехотный унтер, очень добрый в лице. Он ловко отшаркнул, стал во фронт, отдал Игорю честь и сказал:

— Ваше благородие, не ходите в ту сторону. Там, на Кирочной — бунт, волынцы, преображенцы. Кого видят офицеров — убивают.

Игорь вытянулся, напрягся, как будто ему уже тут угрожали, дула наводили. Как будто ему сейчас нужно было вытягивать шашку.

А унтер всё так же стоял, ослабив из „смирно".

Прапорщик Кривошеин поблагодарил его, тихо.

И ещё постоял, с гордо закинутой головой, со лбом тёмным, согнанным, искажаясь от унижения, слушая этот растущий страшный вопль, пробитый выстрелами.

А Гика — дальше хотел, вперёд! Гике там-то и было интересно! (И его ж не будут убивать.) Посмотреть такое, чего во всю жизнь не увидишь, невероятное!

Продолжение. Начало см.: «Нева», 1990, № 1—3.

Печатается по изданию: А. Солженицын. Собрание сочинений. YMCA-PRESS, т. 15, Париж — Вермонт, 1986.

Но брат остановил его пронзительным, переменившимся взглядом, которого до военной службы не было в нём. И сказал стиснуто:

— Возвращаемся.

Гика оспаривал свою вольность, но очень развито было в их семье старшинство. А отец-то — и тем более его не выпустил.

А от разговоров того же и отца, и в университете от профессоров, и от сверстников это как-то едино, несомненно сложилось: мы находимся в том положении, из которого нужен в ы х о д.

Вернулись домой — пошли к отцу в кабинет, рассказали.

Пролысевший отец со свислыми, разрозненными усами, припухлыми воспалёнными глазами, видом не холёным, на выход, но домашним, и пиджак домашний,— только головой раскачался, ничего сыновьям не сказал.

Для наблюдения оставались окна парадной стороны — большой гостиной, столовой, через тюлевые занавеси. Гика с младшим братом стали дежурить у окна, подходили и взрослые. Квартира их была на 4-м этаже, а Сергиевская — узкая, но всё же мостовую видно.

Не прошло и получаса, как через форточку различился приближающийся тот же гул многих голосов. Пожилая горничная оттаскивала младших:

— Всеволод Алексаныч! Кирилл Алексаныч! Уйдите, не надо! Не попусти Бог — увидят в окне, выстрелят — убьют. Бунтовщики, от них всего можно ожидать!

А вот и повалила, в сторону Литейного, беспорядочная толпа. Были и штатские, но больше солдаты, однако не только без офицеров, без строя, как странно было видеть солдат, но особенно странно, что все ружья в разном положении: кто на плечо, кто через плечо, кто наперевес, кто под мышкой, торчали штыки вверх, в бока и вниз,— два часа у них было свободы и так уже разошлись приёмы. Солдаты-то были свеженабранные, только переодетые в шинели.

Игорь стоял, кусая губы. От этого вида он страдал уже по-своему, по-офицерски.

В толпе громко, оживлённо, беспорядочно разговаривали: то ли — что уже пробежали, то ли — что им сейчас делать, друг друга окликали и советовали,— вдруг спереди кто-то крикнул сильно:

— Наза-ад! Наза-ад! —

и вся солдатская толпа кинулась назад, едва не подкалывая друг друга штыками.

И — смело́ их к Воскресенскому, больше они не появлялись.

Эту сцену отец тоже простоял у окна в гостиной. И сказал размыслительно:

— Революцию — я вижу. Но не вижу контрреволюции.

Действительно: в столице, в налаженном строгом городе два часа буянили солдатские толпы — и никто не появлялся остановить, укротить их.

На улице затем пока ничего не случалось. Но горничная ввела в коридор гостя к отцу — маленького роста, в шубе с богатым воротником, и до круглости набитым портфелем. Сыновья узнали и поздоровались: это был нынешний министр земледелия Риттих, многие годы близкий сотрудник отца.

Горничная помогала ему снять шубу. Потом он снимал галоши, протирал пенсне, причёсывался перед коридорным зеркалом при лампочке: его тёмные волосы, аккуратнейше подстриженные, лежали густым крылом. За это время раскрылась дверь кабинета и вышел отец, протягивая руки одновременно и дружески и укоризненно:

— Алекса-ан Алексаныч! Где же ваше правительство? Что оно смотрит?

Риттих отвечал скромным и даже юным голосом:

— Правительство хочет собраться на Моховой. Но я не уверен, что это принесёт пользу.

— Почему на Моховой? И что же? — почти с негодованием спрашивал Кривошеин.

— Хотел бы я сам это знать! — всё так же юно-виновато ответил Риттих.— Последний звонок ко мне сейчас был — от 7-го класса Пажеского корпуса. Они хотели кинуться в Царское Село на защиту царя и спрашивали, какой полк остался верным, чтобы к нему примкнуть. Я объяснил им, что царя в

Царском нет, и группой им не пробраться. А какой полк верен? — знает ли это военный министр? Я, Александр Васильич, нашел неблагоразумным оставаться дома, и самые важные бумаги еще с субботы забрал из министерства. Не разрешите мне перебыть у вас несколько часов и пока позвонить, узнать?

— Я очень вам рад, Алексан Саныч! Как никому бы.

Отец повёл гостя к себе.

86

Капитану Нелидову донесли его унтеры, что по ту сторону Литейного моста непрерывно стреляют.

Он вышел во двор клиники, послушал — да, так.

Ещё слушали. Стрельба не приближалась, но и никак не утихала. В Литейной части что-то большое творилось.

Однако тут близко, у капитана Маркевича, было тихо, и он не присылал связных.

Однако же и упорная стрельба по ту сторону моста была грозным признаком.

И Нелидов решил выйти со своею командой на подкрепленье Маркевичу.

А команда его была — человек 60 одних унтеров и ефрейторов из 2-й роты, которую Нелидов принял временно, недавно, от капитана Степанова, по болезни уехавшего на Кавказ. В запасном батальоне во время долгой своей непоправки обязанность капитана Нелидова была — ежедневные занятия с недоученными прапорщиками,— пулемётами, ручными гранатами, тактикой, да даже и уставами, историей лейб-гвардии Московского полка и правилами офицерского такта. Командовать ротой, да в полторы тысячи человек, ему было непосильно в нынешнем состоянии, а вот досталось. Он почти никого и узнать не успел, даже и этих унтеров. Как раз, в очередь в полковой церкви, унтеры 2-й роты на этой неделе поста говели и были освобождены от нарядов. Но — некого было брать в караулы, умеющих хоть стрелять-то,— и пришлось снять этих унтеров с говения в караул.

Верней, и они, может быть, стрелки были неважные — все из запаса, не кадровые, но уж лучше своих необученных солдат. Только что лучше, а — воины никакие: они служили старательно, но чтоб удержаться на обучении новобранцев и не попасть на фронт самим.

Построил их Нелидов на Нижегородской улице и повёл, потесняя толпу, сам с палочкой впереди.

Но не успела команда дойти до конца Нижегородской, выйти на площадь к мосту, как Нелидов увидел: оттуда, чуть сверху, хлынули сюда нестройные солдаты разных полков с криками „ура" и тряся винтовками в воздухе, кто и над головой.

Этот бег был безумный — не атака, и не отступление, Нелидов не успел его сметить и понять — как увидел еще сзади тех накатывающий грузовой автомобиль с красным флажком. И этот красный флажок не объяснил ему, а только спутал. На Нижегородской он и каждый день видывал грузовики с красным флажком: они из городка огнестрельных припасов везли патроны и снаряды, и в знак того был флажок. И Нелидов на полминуты принял, что это такой же служебный взрывоопасный автомобиль,— и не подал команды к стрельбе по нему — да ведь ничьей же стрельбы ниоткуда и не было, и Маркевич же не стрелял. Оставалось только понять: что за солдаты? зачем бегут?

Всего и потерял полминуты или минуту. А как понял, что красный флаг — от революции, оттуда и пулемёты выставлены, там и ещё тряпки красные,— призвал свою команду быстро вперёд, захватить автомобиль, не дать ему открыть огонь!

Но в этот самый миг он уже оказался окружён толпой солдат, отделён от своих унтеров, едва не сбит с ног, палку его вырвали, в грудь уткнули винтовкой без штыка, к голове приставили револьвер!

Всё! Как бесславно, бессмысленно, как глупо. Сразу — и конец. Привычной военной хваткой Нелидов сохранял волю к действию,— да сковал больной позвоночник, немая нога, весь схвачен, и два дула приставлены.

И ещё кто-то занёс над капитаном и шашку — в тесноте, где и ударить нельзя.

Но подбежавший сапёр перехватил руку с шашкой:

— Подождите, товарищи, может он с нами!

Почему — „с нами"? Оттого ли, что Нелидов не успел подать команды на стрельбу?

Но законы нечаянных спасений непредвидимы, и сколько их бывает. Ушла шашка — и оба дула оторвались. И уже капитана не убивали. Да даже и не спрашивали, с кем он. Все спешили дальше.

Со всех сторон он был захлынут смешанной солдатской и рабочей толпой, не видно вперёд к Маркевичу. Грузовик проехал.

Оглянулся Нелидов — без палки он стронуться не мог и достать-поднять не мог,— да где ж его команда?

Один только унтер решительный был рядом, вот уже и палку подавал. А остальные?

Обидно жгуче: иметь больше взвода — и не оказать сопротивления. Да всю толпу можно было разогнать с кучкою солдат мирного времени.

А вот она, команда,— дала себя оттеснить, а теперь, увидя, что с их капитаном не расправляются,— подступали с виноватым видом.

С таким виноватым видом, что — не хотели они к восстанию примыкать, но не хотели же и против него действовать!

Теперь всё же числом своим, в 120 плечей, толпу отодвинули. Да та и своим была занята: кричали-ликовали, кричали:

— Товарищи! Кресты освобождать!

— Товарищи! На Финляндский вокзал!

И туда отделялись струи.

Но всё было запружено, забито — оставалось с командой отступать в клинику. В этом им не мешали.

Как вошли все во двор — так припёрли ворота покрепче.

Унтеры были сильно облегчены тем, как дело кончилось, и повеселели.

А Нелидов с тоской думал: бабы, бабы! Где ж настоящие солдаты!

Пошёл к телефону, доложил в батальон, что произошло, мост прорван, свои предположения о Маркевиче, и что бунтовщики пошли на Кресты и Финляндский. А главные силы скорее всего будут атаковать московские казармы, грузовик с пулемётами покатил в ту сторону.

Построил команду во дворе, пытался подбодрить её, привести в порядок — но нет: выводить на улицу для действий — невозможно. Уж лучше б они оставались говеть...

87

Казармы Московского полка были в густом окружении заводов и рабочих кварталов. Будь они наполнены вооружёнными умелыми солдатами — они были бы замко́м всяких тут волнений. Но в нынешнем составе они оказались — осаждённая корзина с цыплятами.

Да ещё — 3-я рота, где столькие с этой же Выборгской стороны. Да ещё — когда случалось строю московцев проходить по узкой улице в амуниции — женщины из лавочных хвостов с двух сторон кричали: „Да куда ж вас гонют, родимые? Да когда ж этому конец будет?" — и даже хватали прапорщика за рукав шинели.

Это окружение и это настроение рабочей стороны очень тут чувствовали солдаты.

К десяти часам утра караулы, разосланные в разные места Выборгской стороны, стали докладывать по телефону о больших толпах повсюду. Да и из московских казарм можно было видеть, как валят по Сампсоньевскому.

Позвонил капитан Нелидов: что Литейный мост прорван мятежниками.

Капитан Дуброва распорядился: команду поручика Вериго послать по Лесному проспекту в сторону Финляндского вокзала, а команде Петровского стоять за Сампсоньевскими воротами. Вериго был боевой офицер, а поручик Петровский только что из запаса, безо всякого боевого опыта и нерасторопный.

И именно к его команде по Сампсоньевскому подъехал грузовой автомобиль с двумя пулемётами, красным флагом, с десятком солдат и рабочих под водительством распущенного зверомордого преображенского унтера.

Автомобиль с ходу подскочил к самым воротам батальона — и некоторые спрыгнули, раскрывать ворота.

Петровский скомандовал своим на изготовку, одни взяли — другие стали разбегаться за снеговые кучи и ложиться.

Петровский скомандовал стрелять — оставшиеся дали два залпа, видимо в воздух, никого не ранив.

Грузовой автомобиль стал задним ходом отъезжать к Сампсоньевской церкви. Туда же отбежали от ворот, и отхлынула рабочая толпа, валившая за автомобилем.

Но эти залпы наделали другой беды: ведь ясно было, кто слышал их, что стреляли здесь рядом — и значит Московский батальон, свои,— и значит в толпу?

Стали волноваться запертые по казармам запасные, особенно шаткая 3-я рота.

Успокоить её капитан Дуброва придумал послать полкового священника отца Захария, случайно оказавшегося в отпуску в Петрограде, и в казармах в этот день,— а что, правда, этому священнику лучше и делать, для чего их и держат? Поручил, чтоб любой ценой рота была успокоена.

Через четверть часа священник вернулся покраснелый, растерянный, сильно взволнованный, даже трясясь. Он с трудом складывал, что в жизни таких каторжников не встречал, как 3-я рота, они настолько озверели, что никаким словом, ни Божьим, ни человеческим, их умерить нельзя,— и они несомненно скоро вырвутся из казармы бушевать.

Нервно-контуженный капитан Дуброва стал чувствовать, что и ему передаётся эта тряска священника, какой-то немотой охватывая руки, ноги, даже язык.

Он послал священника снова в ту же казарму, но священник отрёкся, что не пойдёт ни за что.

Но и сам Дуброва считал для себя неподходящим идти успокаивать лично, он мог разнервничаться и ударить, только будет хуже.

Осталось послать в 3-ю роту, как уже посланы были в другие, молодых прапорщиков, без дела болтающихся. Говорить: не известно, кто стрелял, это снаружи, только не наши (никак нельзя открывать, что наши, может всё взорваться).

Тут дежурный по батальону капитан Всеволод Некрасов, на одной деревянной ноге, доложил Дуброве раз за разом.

Сперва: что отдан мятежникам Финляндский вокзал.

Затем: что звонил поручик Петченко из Крестов, мятежники наседают открыть тюрьму, солдаты отказываются в них стрелять, и он вынужден подчиниться, сдать тюрьму.

Становилось жутко: Выборгская сторона, и без того переполненная враждебными рабочими толпами, вот уже и всеми ключевыми местами переходила в руки прорвавшихся мятежников. Московские казармы становились беспомощно окружёнными.

Тут послышалась стрельба и с Лесного проспекта — и длительная, и с возобновлением. Это отстреливалась команда поручика Вериго.

Дуброва решил подкрепить его ещё последней и совсем необученной командой — прапорщика Шабунина. И к ней добавил вослед четырёх свободных молодых прапорщиков.

Они вышли за ворота на Лесной.

Стрельба продолжалась, и донесли, что поручик Вериго ранен в живот.

88

Дальше перед отрядом Кутепова по правой стороне Литейного проспекта тянулись казармы, на Литейный только окнами, а дверьми и двором на параллельную Баскову улицу. За концом казарм заворачивал маленький Артиллерийский переулок — и на углу его Кутепов увидел группу офицеров Литовского батальона.

Над головами, на верхних этажах казарм, били стёкла (осколки летели), выбивали рамы — между тем офицеры эти ни во что не вмешивались. Поравнявшись с ними, Кутепов остановил свой передовой отряд. Из группы к нему подошёл полковник — и оказался он командиром всего Литовского запасного батальона, то есть из дюжины старших командиров в Петрограде сейчас. Он объяснил, что к их казармам пришла по Басковой улице смешанная толпа солдат — его же Литовского батальона, из других казарм, и Волынского, и во главе их какие-то штатские, они силой ворвались во двор и требовали ото всех солдат — к ним присоединяться.

— Но это же — ваши солдаты, полковник! — придавленно вскрикнул Кутепов, наклонясь к нему, слышно им двоим.— Какие ж вы меры принимаете?

Полковнику было стыдно, он не скрывал. Но:

— Я ничего не могу поделать. А что можно? Толпа. Солдаты — переходят, опоры нет. А нас — горсточка.

Всё так, можно представить — но простить нельзя: офицер не может бездействовать и не смеет бежать.

А впереди подымался чёрно-сизый столб дыма, примерно у Окружного суда, и, по слабой тяге, распластывался над Литейным. Там, впереди, слышна была пулемётная стрельба, и оттуда сюда по Литейному залетали отдельные пули.

Какой там Зимний Дворец, разве можно было уйти отсюда: вот здесь-то и происходила вся суть сегодняшнего дня — отдать солдат или не отдать? Кутепов быстро искал решения, оно не замедлило. Одного своего подпоручика послал искать ближайший телефон и звонить в градоначальство: какова обстановка, и что отряд остаётся тут.

Роту кексгольмцев он разомкнул на три шага во взводной колонне и ещё подвинул её вперёд, заслоняясь ею по Литейному спереди, и приказал немедленно открывать огонь при нападении оттуда. Ещё вперёд послал разведку — в район Преображенского собора, Дома Армии и Флота и Кирочной улицы. Одну роту преображенцев с четырьмя пулемётами повернул направо чуть позади себя, закрыв Бассейную улицу и задний конец Басковой. Одним взводом с одним пулемётом запер выход с Артиллерийского переулка. (И вдруг обнаружил, что пулемёты не заряжены. Кутепов уже отучился сегодня вскипать или вскрикивать, всё походило на чёрт знает что,— но гневно посмотрел на командира пулемётной полуроты. Этот идиот или недотёпа повторял, что в кожухах так и нет воды и глицерина, что они не достали и стрелять не могут. Значит, все 12 пулемётов были только для показа. Ну что ж, спасибо и на том.)

А по левой стороне Литейного — шли сплошные здания, ничем враждебным себя не проявляющие. Так Кутепов отгородился и создал маленькую висящую зону — но свою.

А всё это время много солдат-литовцев через выбитые окна первого этажа выскакивали на Литейный — чаще с винтовками и даже в караульной амуниции,— и собирались тут на тротуаре невраждебными кучками. Можно было понять, что сюда выскакивают не те, кто согласны идти с мятежниками, те валят на Баскову. Однако офицеры Литовского батальона по-прежнему стояли группкой вокруг своего полковника и никаких распоряжений этим дружественным солдатам не отдавали. Кутепов послал преображенского унтера привести к себе с десяток таких солдат. Они четко, подтянуто явились к ним. Самый бойкий из них заявил, что в казармах такая суматоха, они не знают, что делать. Они не хотят нарушать дисциплину и хотели бы остаться на местах, но им не дают, выгоняют.

Да вот эти солдаты и были следующим резервом, можно было учетвериться и удесятериться, только не с такими офицерами! Кутепов распорядился, чтобы дворники противоположной стороны проспекта отперли два двора — и велел командиру Литовского собирать этих всех солдат во дворы, приводить их в порядок и формировать.

Теперь предстояло потрудней: забирать солдат от мятежников. В это время один кексгольмский унтер доложил Кутепову, что и там, на Басковой, толпа выгнанных солдат стоит совершенно мирно и спокойно — и один унтер Волынского батальона просит кого-нибудь из господ офицеров прийти туда. Затем и посланный преображенский унтер вернулся с тем же: солдаты очень хотят построиться и вернуться в казармы, к обычной жизни, но боятся, что один раз выбежали и теперь их будут судить и расстреливать,— и просит волынский унтер кого-либо из офицеров прийти, успокоить, построить.

Попали мужики в чужом пиру!

Кутепов позвал литовского полковника и сказал ему:

— Ведь там больше всего — ваших солдат. Я удивляюсь, неужели вы боитесь своих солдат? Это ваш долг — пойти и выручить их.

Но полковник меланхолически качал головой. Он был напуган, и страх его не проходил.

Тот волынский унтер боялся прийти сюда, чтоб его тут не арестовали. Офицеры боялись пойти туда, чтоб их там не растерзали. Всё качалось как на весах.

— Хорошо, пойду я,— сказал Кутепов.

И оставив всех при своих командах, ещё раз оглянув кусок Литейного, где уже не мелькало ни единого штатского, ещё глянув вперёд на чёрный дымовой столб у Окружного суда — минуты не ждали — прогулочным военным шагом пошёл по Артиллерийскому переулку.

Уже тут толпилось немало солдат, Кутепов миновал их в одиночку, без вестового, без адъютанта,— а за углом Басковой было их множество, всё запружено. И тут сразу на углу к высокому полковнику подошёл отчётливый унтер-офицер Волынского. Неотнимчиво держа под козырёк, он доложил, что солдаты все хотят вернуться по своим казармам, но боятся, что их теперь всё равно уже будут расстреливать.

Огромные тысячные весы зависли — и маленькой гирьки хватало туда или сюда.

Но Кутепов знал за собой обладание разговаривать с целыми полками. И входя в толпу солдат, а головой возвышаясь над многими, он громко объявил:

— Всякий, кто сейчас построится и кого я приведу,— расстрелян не будет!

Передние десятки услышали, вспыхнули радостью их унылые лица, они кинулись — к этому уверенному полковнику! Но не мелькнуло сомнения, что враждебно,— они заглядывали в его чёрные глаза, вполноту крупно открытые, яркие, они схватили его, как не смели бы хватать офицера, своего ли, чужого,— бережно, многими руками,— и подняли, подняли на вытянутых, и вперебой:

— Ваше высокоблагородие!.. Ваше выскродь!... Повторите вашу милость!.. Им всем — повторите!.. Ещё разок!..

С поднятых солдатских рук Кутепов теперь над головами хорошо видел всю короткую Баскову улицу, упёртую в Бассейную — и всю забитую стоящими солдатами Литовского и Волынского батальонов, сколько-то солдат в артиллерийской форме, а ещё отличил несколько штатских. И сразу же истолковал их себе, конечно. И из своей вознесенности всею силой командного голоса объявил:

— Солдаты! Те лица, которые толкают вас сейчас на преступление перед царём и родиной,— делают это на пользу нашим врагам-немцам, с которыми мы воюем. Не будьте мерзавцами и предателями, а останьтесь честными русскими солдатами!

И с разных сторон — голоса:

— Мы боимся — нас теперь расстреляют!.. За то, что мы вышли...

— Нет! — громогласно ответил Кутепов,— кого я сейчас приведу — не расстреляют!

А два-три голоса — из тех штатских? — подзудили тотчас:

— Товарищи! Он врёт! Вас расстреляют! Вам отступленья нет!

А Кутепов — своё, оглядывая налево и направо:

— Приказываю вам построиться! Я — полковник лейб-гвардии Преображенского полка Кутепов, только что приехал с фронта. Если я вас приведу — то никто из вас расстрелян не будет! Я этого не допущу! Унтер-офицеры! Стройте своих солдат!

И приказал нижним — спустить его на землю.

Зашевелилась вся Баскова улица, зашевелилась толпа, разбираясь,— но мудрено было в такой тесноте разобраться, это Кутепов и сам понимал, должен был сразу скомандовать, не сообразил. Но теперь подходили унтеры, со всею выправкой и чётко руку к козырьку:

— Ваше высокоблагородие! Очень перепутались. У некоторых рот нет унтер-офицеров. Разрешите строиться по названию казарм.

А тот самый первый волынский унтер доложил, что их две роты помещаются не в этих казармах, а напротив,— и просил дозволения свои роты увести туда во двор. Кутепов разрешил.

А тут же рядом в десяти шагах, на углу Басковой и Артиллерийского, была шапочная мастерская — теперь оттуда выскочил десяток штатских и — намётанный взгляд Кутепова сразу отличил — писарей Главного Штаба. У одного из писарей заметил револьвер на поясе, пришло писарское время воевать!

Можно было их задержать, вполне бы ему солдаты это сделали — но Кутепов не хотел вносить замешательство в главное движение.

Первый унтер кричал: волынцы таких-то рот — за мной! — и вёл их в противоположный двор. Другие унтеры в разных местах командовали строиться по своим казармам, а были и возгласы:

— Вас расстреляют! Бей его!

Надо было всё-таки тех хватать...

И часть солдат не стала разбираться, а побежала в ещё незакрытую сторону Басковой — к Преображенскому собору. Другая, бóльшая часть успешно расходилась по казармам.

Около себя Кутепов удержал человек двадцать литовцев, из тех, что его поднимали, и с ними пошёл по рассвобождённой Басковой в сторону Бассейной, где выход запирала его преображенская рота.

Он велел поручику одним взводом с пулемётом закрыть теперь и Басков переулок, чтоб оттуда не подбывали больше, и охранять от внешнего проникновения ворота, куда уже ушли две порядочных роты разумного унтера. И послал передать тому унтеру свою благодарность и временное назначение командовать обеими ротами.

Если не перетянул Кутепов тысячные весы, то, кажется, начал удерживать...

Тут пришлось вернуться быстро на Литейный: от Орудийного завода стали обстреливать выдвинутых вперёд кексгольмцев.

Кутепов приказал кексгольмской роте открыть ответный огонь, обстреливать Орудийный завод и начать движенье вперёд, выйти к Кирочной улице и одною полуротой распространиться по ней, если там будет толпа — рассеять огнём. Другой полуроте идти к Орудийному и (петербургская память, там же казначейство!) проверить, укрепить караул в казначействе. (Не просто были камни за камнями, но жизнь столицы.) А одной роте преображенцев параллельно идти по Басковой вперёд к Преображенскому собору и очищать прилегающие переулки.

Не так уже далеко был и Литейный мост, а дым от Окружного суда стлался всё гуще, наполнял верхи улиц, отчего вся картина становилась вполне фронтовой.

Но офицеры напоминали Кутепову, что их роты сегодня не получали горячего, а преображенцы даже и не ужинали вчера (забыл спросить Аргутинского: как же мог он не кормить рот в наряде!).

Дозвониться до градоначальства не удавалось никак. Тут случился преображенский интендантский штабс-капитан — и Кутепов послал его срочно к Хабалову: потребовать немедленной доставки пищи солдатам. Просить прислать пулемёты боеспособные, а не такие.

И наконец, объяснить же происходящее: кто где, и что делается в остальном городе?

89

Когда известия на нас обрушиваются — в ту минуту мы не можем охватить их. Стоял Протопопов у телефона в утреннем халате, в ночных туфлях,— ну, в одной учебной роте убили одного офицера,— военный эпизод, и его касаться не может. Даже поколебался, не лечь ли опять. Да нет, испорчено утро. И не вселилась сразу тревога, вяло шёл в ванную, набраться сил от горячей воды. Но ещё не наполнилась ванна, а он стоял рядом под шум крана, как — кольнуло его! Не сегодняшнее, вчерашнее. Вчера, в воскресенье, когда он обедал у Васильева, и тот уверял, что революция обезглавлена, арестован 141 революционер,— сам между прочим сказал, что собирается эту ночь дома не ночевать, опасаясь захвата революционерами из мести. Так это неожиданно проявилось, Протопопов изумился: что же, в городе — не мы хозяева? Чего бояться? — „А наши все дома им известны",— сказал Васильев.

Вчера Протопопов это забыл, но сейчас у ванны вдруг вспомнил, и так ему ясно открылась правильность мысли: наши все дома им известны! А уж дом-то министра внутренних дел, Фонтанка 16, кому не известен! Тут, у подъезда, бывало дежурили в пролётках террористы с бомбами, выслеживали министров — и удачно. И это — при полной силе власти,— а при теперешней неустойчивости?

И так заволновался, что уже не мог вступить в ванну и спокойно нежиться в ней. Так заволновался, что уже и удивлялся: вот, лежал в постели спокойно, вот спал все эти ночи беспорядков. Конечно, есть охрана, стоят преображенцы, но если подойдёт такая взбунтованная рота — ведь и схватят? А если взбунтовались волынцы — то почему и не преображенцам из караула?

Дрожно было представить своё тело, схваченное разъярённой толпой.

А у ж е г о - т о ненавидят! Уж его-то! Уж ему-то и нельзя оставаться дома!

Почувствовал Протопопов, что сегодня он и при благоприятственных обстоятельствах ночевать дома не останется.

Так начал он день — не выспавшись, немытый и натощак. Оделся и пошёл в кабинет. Не мог собраться с мыслями: что нужно делать? Никакие рядовые будничные дела не принимались. Вчера — павловцы, сегодня — волынцы? Вот уж чего никак нельзя было ожидать — военного неповиновения! Никаких таких сведений не поступало — да и откуда бы? отменил Государь политическое осведомление в армии. Случайно кто-нибудь, чей-нибудь знакомый, попавший в армию, пришлёт письмо, вот и все сведения.

День начался — и обречён был министр внутренних дел не работать, не управлять, а — узнавать новости. И не от ответственных государственных лиц, но от дежурных секретарей, от офицеров для поручений, от курьеров, кто где сам только что был и видел или от других слышал. И потом самому звонить: в Департамент полиции, в Охранное отделение.

Везде были в ужасе, и никто этого не мог ожидать. На сторону восставших переходила одна воинская часть за другой, захватывалась одна улица за другой, вот уже и Арсенал, и разбирают оружие!

Да ведь был же какой-то план подавления, почему же военные не подавляют?

И совсем же рядом, по всей Литейной части, бродили восставшие солдаты! — и в любую минуту толпа могла прийти громить дом министра внутренних дел, это же естественная первая мысль для бунтовщиков!

Не то что ночевать — нельзя было и днём оставаться здесь долее ни часа, он должен был уходить, бежать — но куда?

Было очень заманчиво и надёжно — к Воскобойниковой, но неудобно именно потому, что — Царское Село, и государыня чего-то же ждёт от него. А — чего? а что он может?

Его долг перед царской семьёй и перед собой — вот что скрыть: главные бумаги. Черновики писем к Государю. К государыне. Письма Вырубовой к нему. От Воейкова. (Он уже собирал, он уже совал поспешно, как попало, в большую папку.) Да, и вот эти фотографии, сделанные тогда для царской семьи: как ловят тело Распутина из реки и фотографии с мёртвого. Это был из высших моментов деятельности Протопопова! Но этого — не надо оставлять, это — компрометация.

А сохранить вот как. Он призвал своего доверенного, Павла Савельева, бывшего семёновца, потом жандарма, исключительно твёрдого и молчаливого человека. Когда сослали князя Андроникова за интриги в Рязань — а человек влиятельный, ещё может быть полезным, надо смягчить его участь, тайно послать ему тысячу рублей,— через кого? Через Павла Савельева. Тайные поручения, с кем неудобно встретиться, да многие конфиденциальные дела, никогда не выдавал.

И Протопопов позвал его. Запер кабинет. Очень было тревожно. Передавал ему папку, объяснял: всё сохранить надёжно, у себя дома.

Посмотрел в его честное твёрдое лицо. Не выдаст.

Отпустил.

Отпер несгораемый шкаф. Там лежал военный шифр, пусть лежит, ещё кое-что, да, и 50 тысяч рублей простым свёртком в газетной бумаге. Эти деньги совсем недавно сунул ему граф Татищев за то, что Протопопов дал на сутки посмотреть тайные бумаги — обвинения против Хвостова-племянника. Эти 50 тысяч потом предназначила государыня на обеспечение семьи Распутина. Отдать Савельеву? Уже ушёл. Да не вводить людей в искушение, пусть остаются здесь.

Шкаф — запер, ключ положил в письменный стол, теперь запер и стол. А этот ключ — уже взять с собой.

И всё.

И всё? Ещё не завтракал. А и не хочется, глотка сухая, всё горит внутри, руки дрожат. Куда бы уйти скорей? Ведь каждую минуту могут ворваться. А при том клокотаньи несправедливой ненависти, которую он почему-то возбудил во всём обществе,— именно ему и опаснее всех попадать в руки мятежа!

Перешёл в квартиру. Жена усадила завтракать. Еле-еле глотал. Объяснил ей, что оставаться ему далее нельзя.

Но — куда уйти? И под каким предлогом покинуть министерство?

Тут вызвали к телефону. Взял трубку.

Градоначальник Балк. Говорил резко, как швырялся фразами. Сообщал, что бунт беспрепятственно быстро разрастается, захватил уже и Выборгскую сторону, мятежниками захвачен Финляндский вокзал. А Николаевский держится. Что против волнений держится единственный отряд полковника Кутепова, но поздно уже возлагать на него надежды. Что к вечеру может наступить в столице полная анархия.

Боже, какой ужас! Бездонно падало сердце Александра Дмитрича. Он не понимал, что́ он может ответить Балку, и зачем они его мучают и спрашивают, ведь вся власть передана военным.

— А-а... что нужно предпринять по-вашему? — осведомился он.

Вместо своих прямых дел градоначальник посунулся: что надо предупредить Государя о происходящем и надо послать надёжную конную полицию в Царское Село для охраны семьи.

Советы эти были бесцеремонны. И послать конную полицию — значит обнажить столицу, они просто хотели уклониться от боя. В Царском Селе — много войск, там охрана достаточная. А сообщать Государю о военных событиях — прямая обязанность властей военных. Да даже он уверен, что они уже вызвали себе войска на помощь. Так уверен, что сказал:

— К вечеру подойдут с фронта свежие войска. Продержитесь ли вы до вечера?

Градоначальник обещал.

— И да хранит вас Господь Бог, я рад, что вы спокойны!

И отделался от трубки.

Докладывать Государю? — было нечего в такой неясной обстановке, и немыслимо взваливать на себя первый груз этих мрачных известий, а может быть ещё и исправится. Не далее, как минувшей ночью он уже послал телеграмму Государю — и теперь надо было подождать хотя бы до вечера.

Почему он сказал, что свежие войска подойдут к вечеру? Он сам не знал. Просто — этого быть не могло иначе! Он — хотел в это верить.

Но — куда же уходить? С каждым четвертьчасом улицы всё наполненней — и всё меньше шансов вообще куда-нибудь выбраться.

А Протопопова так ненавидят! Его — первого растерзают, не пощадят!

И опять звонок! Ах, не ушёл от трубки!

Князь Голицын. Сейчас собирает совет министров. Для безопасности — опять у себя дома, на Моховой.

А это замечательно! Вот и выход! И тут совсем близко, можно добраться задними улицами, без помех. Только поверх сюртука надеть — не форменное пальто.

И выйти из министерского дома не передним ходом — слишком всем заметно, может быть наблюдение от революционеров,— а задним. И дальше пешком.

Не предупреждая ни караулы, ни служащих. А автомобиль — пусть потом подгонят к дому князя.

Последняя мысль была, что может быть — государыне что-то написать, послать, протелеграфировать?

Но ничего утешительного он не мог ей сообщить. Да и сам не знал, не понимал ничего.

90

Ещё позавчера заказала государыня Лили Ден приехать к ней в Царское в понедельник. Сегодня утром, часов около 10, Лили была ещё в постели, когда услышала телефонный звонок. Не так быстро она к нему поднялась, и императрица спрашивала:

— Да вы, Лили, недавно только встали? А я хочу, чтобы вы приехали в Царское с поездом в десять сорок пять. Сегодня чýдное утро, мы поедем кататься. Я встречу вас на вокзале. Вы побудете у нас и ещё успеете вернуться в Петроград с четырёхчасовым.

— О-о! — только успела отозваться Лили и кинулась одеваться. Надела немного колец, браслет, схватила перчатки, поцеловала Тити, оставляемого с няней,— и кинулась на улицу поймать извозчика.

Но не тут-то было! Лили совсем позабыла, что в городе в эти дни — беспорядки, и сейчас, сколько она ни высматривала, ни один извозчик нигде не мелькал, ни даже на Садовой. Да и трамваи же не шли, полные беспорядки!

Но как раз отъезжал живший рядом с Ден моряк, капитан Саблин, тоже флигель-адъютант, как её муж, и очень близкий друг царской семьи. Она помахала, помахала ему ручкой — он заметил и принял её в экипаж.

— Да вы не прямо ли в Царское Село? — спросила его.

— Нет, сегодня не собираюсь.

— Так пожалуйста, довезите меня поскорей до вокзала, государыня будет встречать на станции, невозможно опоздать!

Саблин велел кучеру гнать.

Улицы были как улицы, в проходящем народе ничего особенного.

— Какие новости, капитан?

— Да никаких особенных. Только странный этот недостаток хлеба. И вчера стреляли на Невском. И сегодня откуда-то слышится. Но я думаю, всё наладится скоро.

С очаровательной подкупающей улыбкой, весёлый, передавая успокоение и тысячу приветов Ея Величеству, Саблин проводил Лили на платформу — и уже к самому отходу поезда.

А в вагоне Лили увидела госпожу Танееву, супругу главноуправляющего государственной канцелярии и матушку Ани Вырубовой, которую навестить в болезни она и ехала.

И кроме болезни дочери госпожа Танеева ничем не была обеспокоена, никаких петроградских новостей не знала.

Первое встревоженное лицо они увидели — близ мирной царскосельской станции в сверкающих сугробах,— лицо императрицы. И первые возбуждённые слова её были:

— Что в Петрограде? Я слышала — положение очень серьёзное?

Но решительно ничего серьёзного они не могли ей сообщить.

Коляска покатила. Утро было — великолепное, покорительное, небо — голубое как в Италии, и снег повсюду лежал глубоким наслоем и сверкал радостно. Хотели ехать через парк, но там слишком много сугробов, поехали по улицам.

Пышноснегое Царское было мирно как всегда — и придворные иногда кареты с кучерами в красных ливреях добавляли праздничности.

Встретили капитана из Гвардейского экипажа, стоявшего последние недели в Царском Селе. Государыня велела остановить, подозвала капитана и спросила его об опасности. Капитан улыбался и заверил, что никакой опасности нет.

Ну, слава Богу, тут хватало и своих внутренних: с утра Алексею стало хуже, не упала температура, как должна утром, и на новых местах выступили пятна, видно лёгкой формой ему не отделаться. Приехали во дворец — государыня послала Лили навестить двух больных дочерей, а сама отправилась к наследнику. Прогулка их откладывалась, душевного настроения не было.

Между первым и вторым этажом существовал лифт, которым всегда поднималась государыня к детям, ей трудно было по лестнице. Но сегодня лифт испортился — и, было в Петрограде что-то серьёзное или нет, а мастера не удавалось вызвать.

По характеру Александре Фёдоровне трудно было ограничиться заботами семейными, когда нависали государственные тревоги. Вчера послала она телеграмму Государю, по обычной телеграфной стеснительности,— сколько рук их передаёт,— выражаясь сдержанно, что очень озабочена положением в городе. Однако прошёл вечер — была единственная ласковая телеграмма, и не в ответ. Никакого отзыва на события, очевидно Государь знает достоверней. Склонялась государыня принять, что всё — пустяки, но вчера же вечером добился у неё приёма крупный правый журналист Бурдуков — и представил ей положение в Петрограде как катастрофическое. Он-то и напугал.

А Ставка — молчала, ничего не предпринимала. И ничего не докладывал Протопопов,— уж он бы, если что!..

Но недолго просидела государыня у сына — вызвали. Командир охраняющего дворец Сводного гвардейского полка генерал Ресин и помощник дворцового коменданта генерал Гротен с торжественно бледными лицами докладывали ей, что взбунтовались Волынский и Литовский батальоны, перебили своих офицеров и вышли из казарм.

Бунт в гвардии?? Поверить невозможно!!

Но генералы ждали от неё указаний.

Что же она могла им указать?

А уже сколько раз складывалось так, что она должна была решать без мужчины. Ах, так и было чувство, когда Ники уезжал,— что не надо ему уезжать, что без него тут пойдёт плохо!

Да если б она была не женщина, и в 45 лет переполненная болезнями, если б только одним своим духом,— она готова была на простое движение — сама вскочить на коня!

А Протопопов — молчал! А лишь по его заверениям, что всё будет в совершенном порядке, согласилась Александра Фёдоровна отпустить мужа в Ставку. Предполагалось, что Царское остаётся на заботы министра внутренних дел, да каждый день будут весточки или даже приезды (ещё ведь и нежное влечение Протопопова к одной сестре в лазарете Ани, как трогает эта неисполнимая любовь пожилых сердец). Но вот — четвёртый день бушевал Петроград — и где же была власть министра внутренних дел? И где же была подъёмная лёгкость его голоса, передаваемая даже по телефону? Сейчас — только и мог успеть телефон. И где же он был?

Не было звонка от Протопопова — она решила звонить ему сама. В такие густые события мог быть занят номер — но оказался свободен.

Свободен — но не отвечал.

Звонить, звонить! — требовала императрица от телефонисток, сидя сама у себя в спальне под портретом Марии Антуанетты.

Трубку взял какой-то случайный служащий. Доложил, что министр то ли вышел, то ли выехал, неизвестно куда, никто не знает, не видел.

Ещё странней.

Или — поскакал в гущу? решительно сам давит мятеж?

Но — висела, наливалась тяжестью каждая минута, прежде чем упасть.

А Ставка — тоже молчала.

И только одно государыня могла сделать — не щадя сердца Ники, как ни больно ему будет это прочесть, отправить ему тотчас телеграмму (писала размашисто):

„Революция приняла ужасающие размеры. Знаю, что присоединились и другие части. Известия хуже, чем когда бы то ни было".

Это будет удар по сердцу мужа, но и откладывать дальше нельзя.

А ещё — что она могла предпринять?! Ухаживать за детьми да ждать обрывистых сведений из города.

Ах, эти гадкие твари думцы! — ведь это всё разбудили и всполошили они!

О, не выдерживало сердце! Минуты — текли часами. А — часы?..

А Ставка — молчала. Государь как будто не ведал ничего или уж слишком много знал.

Городские события настолько нарушили нормальную государственную жизнь, что не могла императрица позвать и принять какого-нибудь государственного деятеля, как это бывало в недавние месяцы,— ни расспросить, ни направить, ни указать. Не могла вызвать — а сами они не шли: никто не заявлялся, не приезжал, даже не звонил. И Саблин, из самых верных,— вот с Лили неужели не мог приехать? И питалась императрица случайными сведениями, от камердинера Волкова, от камеристок, едва ли не от дворцовой прислуги (не было ведь и газет!). Она оказалась вдруг не властительницей огромной страны, но ото всего отрезанной матерью больных детей.

И вдруг ей доложили, что просит о приёме флигель-адъютант Его Величества Адам Замойский.

Замойский? Но он же в Ставке. Откуда?

Граф Замойский... Государыня его никогда не любила. В начале войны добровольно поступил в армию рядовым — но конечно сразу подхвачен Николашей в Ставку, произведен в корнеты, потом ни за что — Владимир с мечами, с прошлого года и флигель-адъютант. И использует место, считала она, чтобы чаще напоминать о Польше.

Ну, зовите!

И вошёл знакомый ей Замойский, но — с незнакомым, не будничным, драматическим видом — и это сразу передавалось сердцу. Не обычен был его приход, и строгий вид его, сохраняющий гордость при низком поклоне почтительности, и суховатый тон в произнесении страстных слов:

— Ваше Императорское Величество! Оказавшись случайно в Петрограде и будучи свидетелем событий, я почёл за долг не возвращаться в Ставку, но явиться к Вам и предложить Вам свою шпагу.

И стоял, гордо-почтительно.

Ах, польский гонор! — ты несравним! Висела на боку его простая офицерская шашка — но верно, да, только шпагою она и могла быть названа в этот момент! У государыни выступили слёзы.

— Благодарю вас, благодарю вас! — протянула она ему руку для поцелуя.

У неё была масса войск в охране, ничего не добавляла ей одна шашка и один револьвер,— но сколько же добавляла подкрепления духу! Пока оставалась такая верность — оставалась надежда.

(А она никогда ничем не выделяла этого флигель-адъютанта. Она даже препятствовала переезду его легкомысленной жены в Могилёв, чтоб сохранить строгие нравы Ставки. А когда ожидался в Ставку Николаша — предлагала удалить Замойского на это время.)

Но от Замойского же теперь узнала впервые столько потрясающих петроградских новостей и общую картину — что распахнуты все тюрьмы и все беглецы из острогов стали во главе мятежного движения, а Дума, конечно, присоединилась к нему. А главное: казаки! — незыблемая опора российского трона — изменили и оказались заодно с мятежниками!

После потери казаков уже не за что было держаться.

Тут ещё добавили — приехавший из Петрограда отец Ани Вырубовой, и какие сведения притекли по телефону к Бенкендорфу, к фрейлинам. По рассказам — уже полгорода было захвачено, если не весь.

И несгибаемая императрица, никогда не поддававшаяся и не поддававшая мужа своего требованиям всей этой рвани и образованной черни, теперь впервые расплавилась как перед ликом вулкана. И в час дня она отправила загадочно молчащему Государю:

„Уступки необходимы. Стачки продолжаются. Много войск перешло на сторону революции".

Про казаков — она не могла вымолвить!

91

Прапорщик Георгий Шабунин любил заниматься с солдатами — как с детьми, которых бы он обучал, окончи университет в мирное время. Это и был самый неподдельный народ, которому Шабунин и мечтал служить, неся свет и знания. Но суждено ему было из университета не поехать к народу в глубь его тёмных сёл, а в несколько месяцев пройти школу прапорщиков,— и вот Народ сам пожаловал к нему сюда, в натолканные казармы на Выборгской стороне. Шабунин, и не будучи дежурным, часто ночевал в расположении батальона, в своей ротной канцелярии, оставался с солдатами на вечерние внеслужебные часы, писал им письма домой, подучивал их грамоте, беседовал — но отнюдь не в революционном духе. И с солдатами Шабунин себя хорошо, вольно чувствовал, а к офицерскому бытию что-то не мог привыкнуть, старшие офицеры ловили его на упущениях и цукали. И даже в последних днях он был опозорен командиром батальона перед всеми офицерами: тот вызвал их всех в библиотеку офицерского собрания при оружии, вызвал Шабунина вперёд и выговорил, что на днях в трамвае он не потрудился полноуставно отдать честь моряку, капитану 1 ранга, а лишь привстал со своего места и отдал честь полусогнувшись. Шабунин залился краской под выговором. Но там в трамвае как-то некрасиво и неловко было бы вскочить и отмахивать на полный взмах, да и шашка же мешала.

Все последние дни многочисленных отсылок в заставы и караулы занятия в батальоне почти прекратились, но Шабунин пытался заниматься с оставшимися. Так и сегодня со своей полуротой „В" учебной команды он начал учебные занятия по обращению с винтовкой, они чуть не впервые её держали, ещё не умели толком ни заряжать, ни прикладывать ложе к плечу.

И так сегодня он мало знал, что делается в городе или тут, вокруг московских казарм,— как вдруг все они услышали близкие частые ружейные выстрелы — а холостых патронов у них в батальоне не содержалось!

Но тревоги по батальону не было дано, выстрелы утихли, Шабунин продолжал заниматься.

Прошло полчаса или больше — раздались выстрелы с Лесного проспекта, и много, перестрелка.

И тут Шабунина вызвал начальник учебной команды капитан Дуброва. Его всегда грозное лицо было перекошено. Он объявил, что мятежники бушуют всюду по Выборгской стороне,— и прапорщику Шабунину со своей полуротой немедленно выйти отрядом заграждения на Лесной проспект за ворота — и никого постороннего на территорию казарм не пропускать.

Шабунин осмелился напомнить, что его полурота имеет сегодня лишь второе занятие с огнестрельным оружием,— но Дуброва приказал поспешить с исполнением.

Пока строил своих неумех — к нему подошло ещё двое молодых прапорщиков в его распоряжение, Кутуков и Яницкий.

А когда выходили на Лесной через ворота в деревянном заплоте — подъехали сани с тяжело раненным, в живот, без сознания, смертельно-бледным поручиком Вериго.

Строй расступился, пропуская сани в ворота.

Ещё два прапорщика догнали отряд Шабунина с приказанием собрать и взять в управление отряд Вериго.

А где отряд или остаток его? где он рассеян? Одного прапорщика послал Шабунин собирать.

Противника тоже не видно было, Лесной почти пуст. А по ту сторону проспекта — пустыри, и тянулся забор, а за ним Финляндская железная дорога.

Шабунин распорядился поставить две цепи поперёк Лесного, направо от ворот погуще, налево пореже.

И сам стоял при правой цепи.

И тут вдруг показался из-за угла и лёгкой быстрой походкой пошёл к цепи — студент-политехник, в студенческой фуражке и холодном пальто.

И такой он был родной, свой, привычный, до того лёгкая походка и взгляд,— Шабунин видел в нём своего, он ещё и не привык как следует, что сам-то в шинели и сам чужой.

И студент, озирая поперечный строй, который и не мешал одиночному проходу,— сразу выцелил Шабунина и шёл прямо на него.

Не знал Шабунин этого студента — но даже почти знал, до того он был знакомый, типичный, светлоглазый. И знакома была манера речи, как он спросил незатруднённо и громко, чтоб слышали и солдаты:

— Господа! Неужели будете в н а р о д стрелять?!

Порывный, сшибательный вопрос! В народ-Страдалец, в Народ, перед которым мы извечно виноваты десятком образованных поколений,— в Народ, конечно, Шабунин стрелять не будет и не даст. Но этот общий, всем известный Народ — где он тут был сегодня на Лесном?

Да как раз в его безусой, неумелой, оробелой полуроте. Она и слушала: что ответит прапорщик?

Сердце Шабунина оставалось открытым и даже навстречу рвущимся этому студенту — но при солдатском строю и при других прапорщиках он не мог ответить ему в таких выражениях. И скрывая свою принадлежность к тому же ордену, удерживая взгляд и тон, как-то ж изменили его полгода военной службы, он постарался ответить сурово:

— Проходите своим путём, чтобы мне вас не задерживать.

Студент вскинулся, как не ожидал такого ответа, но больше наигрывая. И прошёл насквозь. Удалился.

Так и стояли на пустом Лесном. Лишь отдельные пешеходы, их пропускали.

Потом из-за поворота, с Тобольской, стали доноситься крики. Потом стал выезжать оттуда задним ходом, пятясь сюда, грузовой автомобиль-платформа с красным флагом на кабине, полный штатских и солдат,— а у края платформы стояли два пулемёта, и пулемётчики молча наводили их сюда, на полуроту. На штыках солдат тоже болтались красные обрезки, и красной же материи куски были прихвачены у кого к груди, у кого на рукав, в обмот. Так это было всё театрально, необычно — будто позабавить хотели полуроту и уж конечно не стрелять по ней, беззащитной.

А новобранцы, видно было, перепугались вусмерть, дрог пошёл по рядам.

Шабунин скомандовал цепи взять на изготовку.

Взяли.

Нет, только брали...

Нет, кто брал, кто не брал...

Никто не брал, а рассыпались из строя!

И стали убегать в малую калитку при воротах.

И всё это — мгновенно.

И по другую сторону от ворот цепь рассыпалась — и в ту же калитку.

А грузовик — пятился, наставляя пулемёты.

И с него спрыгнул крупномордый преображенский унтер с красным флажком на штыке:

— Сдавайсь, благородия!

И думать некогда, и открывать огонь невозможно, да некому: рассыпался строй. Убегали, теснясь, давясь в калитку, крича.

И ещё застреляли откуда-то сбоку, кажется с насыпи железной дороги.

И оставалось четверым офицерам — только отступать к той же калитке.

И за последними втиснувшимися солдатами войти туда.

И запереть её на засов.

А полурота — как бесновалась, лишась рассудка. Не слушалась офицеров — но и не бежала, и даже теперь, через забор, кинулась защищаться: из соседнего штабеля хватали поленья и кидали их туда, через забор.

Солдаты стали неуправляемы. Снаружи толпа заорала, завыла — и солдаты отсюда тоже.

Но пулемёты снаружи не стреляли через деревянные ворота. (Может быть те и обращаться с пулемётами не умели?)

Оттуда — стали сильно ворота толкать и раскачивать, и со звериным воем.

От ворот на казарменный плац вёл узкий проход между манежем и цейхаузом — Фермопилы. И в нём осталось четверо прапорщиков.

Переглянувшись — достали револьверы.

И — протянули их к стрельбе,— отступая, отступая от ворот.

А ворота со скрежетом, треском — рухнули!

И оттуда — хлынула толпа чёрных пальто и серых шинелей, все в красных лоскутах.

Ворвались! Но увидели поднятые на них револьверы.

Тишина.

Молоденькие, да просто мальчики, все с учебных скамей недавно, шаг за шагом четверо прапорщиков отступали с выставленными наганами. Почему-то им, четверым новичкам, досталось защищать столетнюю твердыню лейб-гвардейского полка — и звончей того рёва, который опять поднялся в напирающей толпе, в их ушах дозвучивало:

— Господа! Неужели будете в народ стрелять?!

Но додумать им не пришлось. Из медленно наступающей толпы выскочил вперёд в чёрном треухе с искажённым лицом рабочий — и первый выстрелил из револьвера в них.

Промахнулся.

И тогда Шабунин вполне уверенно выстрелил в лоб его, скраденный шапкой.

И тот рухнул лицом в снег.

Миг молчанья опять, пресекая крик толпы.

И четвёрка офицеров отшагивала дальше, пятясь.

Уже кончались Фермопилы между зданьями, и за спинами прапорщиков распахивался широкий плац. Но помощь оттуда не подступала к ним.

Да могли они помнить, что и нет её вообще.

На всей Выборгской мятежной стороне неоткуда было ждать им помощи. От гвардейских батальонов из центра? — но вот и преображенский унтер был при пулемётах. Из Действующей армии? — но не сегодня. Птицами всё пронеслось в голове Шабунина вмиг. И вся несостоявшаяся жизнь его и радостная деятельность.

Почему-то они, четверо тонких, перехваченных свежими ремнями и даже со свистками в гнёздышках на наплечных ремнях,— должны были за всех и за вся удерживать эту толпу.

И когда выскочил второй рабочий с револьвером — Шабунин выстрелил прежде, и тот упал в снег.

И толпа завыла снова — и вся заедино кинулась на них сразу.

И не по страху, который прийти бы не успел, но по простому разумному соображению они все четверо — кто стрельнув, кто не стрельнув — повернулись и легконого побежали через плац, ещё придерживая такие помешные шашки.

Но в спину Шабунина кто-то толкнул как огромным бревном — и огненный всплеск из головы полыхнул на небо.

92

Явление полковника Кутепова очень подбодрило всех в градоначальстве: неоспоримо боевой готовный вид, которого даже и объяснить нельзя, из каких он чёрточек складывается, а каждому здесь генералу было сразу видно, что этот полковник отличается ото всех них тут — отчётливостью решений, ясностью приказаний и сразу к делу. Не только не удивился, не заколебался, не отговаривался,— принял приказ, будто для того и приехал с фронта в Петроград. И через десять минут уже ушёл исполнять.

Настроение штаба очень окрепло, и ждали теперь конца волнений.

Но пришли известия, что мятежники уже валят через Марсово поле к Зимнему Дворцу! И для отражения этой новой угрозы не было больше никакого отряда, как только вернуть отосланного Кутепова. Аргутинский-Долгоруков взялся нагнать его и повернуть.

Да уж куда б ни двигался — только бы двигался. Исчерпаны были все резервы и все возможности штаба Хабалова, нельзя же было до конца и свой штаб оголить без охраны. И оставалось им только по городской карте следить и предполагать, что где может дальше твориться.

А узнавать они могли только по телефонам. Так узнали, что захвачен Орудийный завод, при этом заколот штыком генерал. Разгромлены и подожжены Дом предварительного заключения и Окружной суд. А брандмайор, приехавший туда с пожарной командой, звонил, что толпа не даёт ему тушить. Приказал Хабалов найти и послать туда второочередную команду, чтоб отгоняла мешающую толпу. (Но, кажется, не нашли и не послали.)

Как будто же состояло в Петрограде 14 гвардейских запасных батальонов — а резерв ниоткуда не натягивался. Одни батальоны отвечали, что совсем у них нет свободных рот, или нет надёжных рот, некого послать. Лейб-гвардии Финляндский отвечал с Васильевского острова: две надёжных роты есть, но только ими мы сдерживаем остальной батальон, чтобы не взбунтовались. Никто не хотел рискнуть и послать. И Хабалов не рисковал взять на себя приказание.

Тут доложился инспектор классов Николаевского военного училища: его юнкера волнуются, хотят выйти с оружием в руках на улицу, чтобы навести порядок!

Хабалов перепугался: только этого ещё не хватало, вмешать юнкеров! — за них ответственности не оберёшься. И приказал полковнику: запереть ворота, двери, и ни под каким видом юнкеров не выпускать! И такое же распоряжение послал по всем училищам. Да уж он-то был по юнкерам специалист, он их образованием занимался.

Не было резервов, но и вот что: не было боеприпасов, даже десятка патронных ящиков. Никто не мог предполагать столкновения в городе, в центре нигде не осталось складов, кроме уже захваченных мятежниками, а остальные — на окраинах, и недоступны.

А от Кутепова не первый раз телефонировали, что надо озаботиться кормить солдат. Легко сказать! — а из каких запасов их кормить? И где же под рукой возьмёшь полевые кухни, что ли?

Хабалов понимал, что надо как-то действовать,— но не мог увидеть, угадать никакой возможной линии действия. А главное — никаких же резервов. И он опустился до безразличия, и костенел в нём. Как пойдёт. Может вынесет.

Единственное сообразил: ведь Государь ещё и вчерашних событий с Павловским батальоном может быть не знает. И тем более сегодняшних никаких. Так надо телеграфировать хоть кратко — хотя и страшно взять на себя.

Составил телеграмму. И, удобно, добавил: что необходимо немедленно прислать надёжные части с фронта.

Никакого резерва войск не было — а все требовали прислать охрану. Требовала телефонная станция — на Морской улице, тут, у Гороховой. Это было самое важное изо всего, послали туда взвод пехоты и 40 всадников. Требовал Литовский замок, арестантское отделение. Но в Петрограде состоял десяток тюрем — и разве есть сила их защитить? Потребовал охраны и князь Голицын, да не к Мариинскому дворцу, что понятно, но к собственной квартире на Моховой улице. Хабалов замялся: нет резервов. Да хотя бы человек двадцать, запереть квартал с двух сторон. Двадцать человек не помогут, только кровопролитие. Моховая — она там рядом с Литейным, в самом кипении.

Литейная часть была, видно, потеряна. А тут стали звонить из лейб-гвардии Московского, с Выборгской стороны — что мятежники прорвали Литейный мост, колоссальные толпы запруживают Сампсоньевский проспект, сопротивлявшиеся офицеры кто убит, кто ранен, роты ненадёжны и даже лучше удержать их в казармах.

Терялась и Выборгская часть?

Это было тем особенно плохо, что мятежники оставляли позади себя Охту и Пороховые, а если подожжётся, взорвётся один из пороховых заводов — от Петрограда ничего не останется. Задача возникала: как бы оттеснить мятежников от Пороховых к северу? Но опять же придумать ничего было нельзя, нигде нет готовых войск.

Градоначальник Балк уже докладывался утром по телефону Протопопову, но бесполезно, тот только спросил ответно: „И что по-вашему нужно делать?" И просил продержаться до вечера, а вечером подойдут свежие войска.

А Государь требовал — именно сегодня и прекратить все беспорядки.

Они тут, в градоначальстве, между собой, и должны были всё найти и спасти.

И для того к их услугам было три телефона, не перестававших работать.

И по одному — министр-председатель князь Голицын срочно вызывал генерала Хабалова к себе на Моховую.

Вот так так... И штаб бросать — и ещё как доедешь?

Хабалов уехал.

А телефоны — телефоны продолжали надрываться, ведь это были всем известные телефоны градоначальства, а кто номера не знал — соединяли их барышни. Едва давали отбой одному разговору — звонили вновь. И все непременно требовали градоначальника.

Звонила графиня Витте, опасаясь за свой особняк.

Звонили неименитые обыватели, в тех же опасениях.

Звонила графиня Игнатьева: она молит Бога ниспослать градоначальнику сил.

Звонил бывший премьер-министр Трепов, ободряя. Он знает спокойствие Балка и уверен, что порядок будет восстановлен.

Звонил городской голова Лелянов, в очень хорошем настроении и чрезвычайно любезен. Он просит извинения, что отрывает градоначальника, но только что на заседании городской думы окончательно решено передать городу всё продовольствование, и он как председатель комиссии назначил её заседание на завтра в 4 часа пополудни. Завтра будут избраны представители городских районов, и продовольственный вопрос облечётся в более жизненную форму. Так вот, удобно ли для господина градоначальника это время завтра, присутствовать?

Звонил какой-то фронтовой офицер: толпу можно успешно рассеивать обыкновенными дымовыми бомбами. (Но не только не было у них с Хабаловым таких бомб, а вообще первый раз они слышали о таких.)

Затем ворвались два офицера, требуя автомобиль для уборки раненых и убитых: неубранный вид производит дурное впечатление на публику. Собирались и другие неизвестные офицеры в приёмной. Настроение сгущалось. Истерически рыдал капитан Кексгольмского батальона.

Прорвалась француженка с прислугой, назойлива и несчастна: сегодня она нигде не может достать белого хлеба, а от черного хворает. Балк велел, и ей принесли на подносе французскую булку. Гостья пришла в восторг и ушла, расточая благодарности.

А от Кутепова сведения прервались.

Хабалов вернулся от министров ещё более угнетённый: своими глазами повидал, послышал на улицах.

Нет, надо всё же начать стягивать где-то новый резерв. И лучшее место для этого — Дворцовая площадь.

Стали снова телефонировать по батальонам — к семёновцам, к измайловцам, к стрелкам, егерям, гренадерам.

93

С утра приходили к Каюрову и говорили: сходятся рабочие к заводам! Но ещё между собой толкуют: становиться ли на работу или продолжать забастовку? В такую минуту *листок* нужен, а листка нет!

А среди них такого человека не было, чтобы мог сам листок написать. Может у Гаврилыча есть? Да и слишком просторно стало самим за ПК решать. Каюров ответственности не боялся, но и побаивался. За Шляпниковым первенства он не признавал, разве что иностранные языки, но и признавал.

И погнали Пашку Чугурина (за то, что у него ноги прыткие) — туда, на Сердобольскую: требуется срочно листок!

А сами сидели в Языковом переулке, в Новой Деревне, и обсуждали — выходить на работу или не выходить? Долго обсуждали. Хорошо, даже слёзно, говорил Шурканов, старый лысый, с Айваза. (Клепал на него Шляпников напраслину, что провокатор, а в райкоме его любили.) Он говорил: во что бы то ни стало продолжать — и не останавливаясь!

Пригнал Чугурин от Шляпникова: листок пишут! Да кто ж пишет? Да прямо сам Гаврилыч, специальных никого близко. А велит: к работе ни в коём не приступать, а идти устраивать митинги близ казарм, так чтобы солдат заражать, чтоб они через забор наши речи слышали. А ещё — к ним в казармы посылать гонцов с записками. А о чём записки? Да о чём ни попадя: поддержите народ! долой офицеров! долой войну!

Да, пожалеешь, что у нас в казармах никакой партийной организации нет.

Но ежели к солдатам лепиться — а совсем без оружия? Если что серьёзное начинать — так оружие, а как мы с голыми...? Вот что, Пашка, катай опять к Шляпникову, скажи насчёт оружия последний раз, как запастись, иначе дело погибнет — листок приноси, давай!

Погнал Пашка.

Ну что ж, отрядили Хахарева устроить митинг около московских казарм со стороны Лесного, там и забор низкий и проломы в заборе есть.

А сами решили заседать непрерывно и ждать события.

На работу, говорили ребята, никто не становится.

А с той стороны Невы, выходили до ветру, как бы не постреливают. Далеко отсюда — а вроде постреливают.

Ох, наверно начался террор, расстреливают революционные силы, пируют.

Тут опять Пашка пригнал. Сказал Гаврилыч: никакого оружия, никаких боевых дружин, ну будет у нас двадцать револьверов, так что? Солдаты нас с земли снесут, мы не сила. А — склонять солдат, чтоб они с оружием переходили, вот выход.

Конечно, откуда ему оружия достать? Вот и выход.

А листок уже написан, вот бумажка, сейчас его в типографиях откатают — и чтоб на собраниях читать.

Почитали. А здорово клепать научился, неужели сам, говоришь? „...Царская власть привела Россию на край гибели. Народ обворован. Нечего есть, не на что жить. Черносотенная власть занята ограблением народа. На требования рабочих отвечают свинцом... Палачи-солдаты, пьяная совесть..."

Скажи, аж в горле першит!

„Продолжать всеобщую стачку!"

Правильно!

Вернулся Хахарев с митинга от забора московцев — говорили, говорили, что-то не помогает, не шевелятся солдаты, в казармах заперты.

А за Невой — сильней стреляют. И ближе.

Чего делать?

Ждём листка.

Ждали-пождали, между тем и завтракали, расходились кто куда,— а заседание считалось как бы продолжается.

Вдруг воротился Шведчиков, весь как озарённый:

— Ребята! Да в городе — солдатское восстание! Да уже Литейный мост перешли и Кресты освободили! Уже арестанты везде ходят!

Ну, радость! Ну, подскочили! Ну, запрыгали! Шурканов — всех целовать, Каюрова чуть не задушил.

А мы — сидим? А ну — разбегаться!

И кинулся Каюров сам к московским казармам. А там-то уже стрельба! А там уже — поддержка к нам привалила!

Да мало того: солдаты-московцы поодиночке, кто без винтовок, кто и с ними, пробирались по одному через проломы или поверх забора — сюда, на Лесной. А дальше — боязно им самим и неловко, как зто они часть бросили? Отаптываются, не знают, куда себя девать.

А Каюров — от роду решительный, вот уж никогда не занимал. Хоть ростом не выдатной, а голос пронзительный. Как закричал им:

— Что стоите, товарищи солдаты? Стройся!

Стали поталкиваться, строиться как-то неразборчиво. И посмехаются над Каюровым: откуда мол строиться? да куда лицом? да вó сколько шеренг?

А Каюров дальше не знал этих команд, ни одной.

94

В ночь на 27-е Государя не тревожили новыми сведениями из Петрограда, так что он покойно спал, как обычно.

Первая тревога была — утром доложенная дворцовым комендантом Воейковым вчерашняя вечерняя телеграмма Протопопова. Верней, и она была не такой уж тревожной: сообщала, что почти весь прошлый день порядок в Петрограде не нарушался. Только к концу дня пришлось рассеивать скопища, сперва холостыми патронами, но толпа бросала в войска каменья, куски льда — и пришлось прибегнуть к боевым патронам, так что оказались и убитые. И все толпы были рассеяны, хотя отдельные участники беспорядков обстреливали воинские разъезды из-за углов. Войска действовали ревностно. Лишь 4-я рота Павловского полка совершила самостоятельный выход. (Непонятное выражение: какой выход? куда? зачем? Самостоятельное выдвижение без приказа свыше? Невоенный термин.) Но большой успех у Охранного отделения: арестовано свыше 140 партийных деятелей. (Даже грандиозно, тогда всё и подавлено?) Контроль над хлебом и мукой установлен. С понедельника ожидается возврат части рабочих на заводы.

А в Москве — так и вообще всё время спокойно.

Нет, ничего серьёзного.

Протопопов — счастливая находка. Какой деятельный, неутомимый, находчивый, сколько идей выдвинул за свои немногие министерские месяцы. Правда, по связанности общего положения мало что мог осуществить. И как его любит Аликс! Да просто не бывало ещё такого удачного министра. Большое облегчение, что он сейчас там, на этом посту,— он не упустит сделать всё, что нужно, и душевно поддержит Аликс.

Его телеграмма — скорее успокоительная. Только что это за самостоятельный выход павловцев? Не совершили ли они чего-нибудь недостойного? — и как тогда Павловский полк отмоет свой позор?

И каменья толпы в войска?.. Представить нельзя.

После раннего завтрака собирался Государь идти выслушивать доклад Алексеева — тут поднёс ему штабной офицер две телеграммы.

Одна была — от князя Голицына, поданная сегодня в 2 часа ночи. Что с сего числа, как и даны были ему полномочия, занятия Думы и Государственного Совета прерваны до апреля месяца.

Вот и хорошо. Во время беспорядков Думе лучше не действовать. Она-то всю обстановку и раскаляет. Удивительное сборище! — не просто врагов

трона, но врагов Российского государства: во время войны шатают, взрывают, не считаются ни с чем.

А вторая телеграмма — совсем странная, чуть не пьяная. Подписал её какой-то полковник Павленко, которого Государь и при его обширной военной памяти даже не помнил,— а оказался он почему-то сейчас временно исправляющим должность начальника гвардейских запасных частей в Петрограде. (А где же генерал Чебыкин? Ах, да, он кажется в отпуску.) А вся телеграмма была: что ранены из толпы командир Павловского запасного батальона и прапорщик его. И — всё. И — никаких сведений об остальной гвардии, если Павленко действительно ею заведовал, ни — обо всей петроградской обстановке, ни — о чём другом.

Странно. Только ёкнуло, что — опять павловцы. Не было ли это в связи с тем выходом роты?..

В половине одиннадцатого, как всегда, Государь проследовал в здание штаба на очередной доклад генерала Алексеева о боевых действиях войск.

Несколько опасливо он посмотрел на привычное грубовато-фельдфебельское лицо Алексеева, ожидая, не имеет ли тот чего тревожного о Петрограде. Но не сказал, нет, слава Богу.

Спросил о его здоровьи. Хотя Алексеев и ответил положительно, но по лицу и по плечам видно было, что — неважно, держался зябко.

А общий военный обзор прошёл гладко, не содержал ничего нового.

Тем отчётливей увидел Государь, что Алексеев после болезни уже нагнал пропущенное, и значит дальнейшее присутствие Верховного в Ставке уже не так обязательно, можно пока возвращаться к одинокой бедняжке Аликс.

В конце же доклада Алексеев протянул во-первых телеграмму от Хабалова на своё имя и извинился, что не доложил её прежде: она была — вчерашняя дневная, но пришла уже после вчерашнего доклада. По случаю воскресенья не хотелось беспокоить Его Величество, да и к вечеру вчера нездоровилось, пришлось прилечь.

О, конечно, сразу же и простил, не упрекнул его Государь: можно понять, когда человек и не молод, и болен.

Телеграмма была подана почти сутки назад: вчера в час дня. А всё содержание её относилось ещё к позавчерашнему дню, ко второй половине субботы. Что всяческие толпы неоднократно разгонялись полицией и воинскими чинами. У Гостиного Двора выкинули красные флаги с надписями „долой войну", и из толпы стреляли в драгун из револьверов. Пришлось открыть огонь по толпе, убито трое, ранено десять человек,— и толпа рассеялась мгновенно. Затем ещё: подорвали конного жандарма гранатою. Но вечер субботы прошёл относительно спокойно. Бастовало же — 240 тысяч рабочих.

Государь потирал, разглаживал усы большим и средним пальцем. Не упрекнул Алексеева за задержку и прочтя, не имел духу. Но и всё-таки — бастующих слишком много. И все эти случаи, постепенно открываясь, как-то накоплялись. Впрочем, покрывались спокойствием других телеграмм, Протопопова. Впрочем, всё это было уже — давнее, позавчера,— и с тех пор ничего худшего не случилось.

Да и кончалась телеграмма Хабалова, что с утра 26-го в городе всё спокойно.

Но нездоровый Алексеев хмурей обычного щурил щёлки своих глаз и подал ещё. Тут вот что придумал Родзянко: вчера вечером послал Алексееву, а выясняется, что также — и главнокомандующим фронтами, втягивая в обсужденья и их, какую-то взбудораженную, даже паническую телеграмму:

...Что волнения в Петрограде принимают угрожающие размеры. Что правительство в полном параличе и не способно восстановить порядок. Что России грозит позор, война не может быть выиграна, если (как всегда у него и у всей Думы) не поручить правительство лицу, которому может верить вся страна. (Читай: самому Родзянке.)

О, этот всполошливый, наседливый, самоуверенный толстяк! Как он надоел Государю своими всегдашними бесцеремонными поучениями, правильно когда-то пошутил про него: если его пригласить на высочайшие крестины, так он сам влезет в купель. Почему нужно слушать его сбивчивые, суматошные советы, а не внимать телеграммам поставленных властей? И за все прошлые месяцы, сколько ни слышал Государь Родзянку, всегда положение было „тяжёлое и острое, как никогда".

Но тут был новый неожиданный ход, что телеграмма Родзянки предназначалась не прямо Государю, и не одному Алексееву, а сразу — всем главнокомандующим фронтами — „в ваших руках, ваше высокопревосходительство, судьба славы и победы России",— и чтобы все высокопревосходительства теперь спасли Россию тем, что поддержали бы глубокое убеждение Родзянки перед Его Величеством. Странный и дерзкий обход. Почему — не прямо? Почему — через генералов?

Николай в раздражении теребил ус.

От него не укрылось смущение прихмуроватого Алексеева. Уже не косясь на развешанные в маленькой комнате карты фронтов, тот неловко усмехался пиковатыми усами. Неловко — за себя, как невольного адресата (всегда почему-то адресата для общественных лиц, вспоминался заклятый Гучков),— а ещё неловче, кажется,— за Брусилова. Брусилов, получивший эту телеграмму,— этой же ночью, в час ночи, даже не ложась спать, даже не отложив обдумать до утра,— тут же рикошетом пересылал родзянковскую телеграмму в Ставку, да не просто, чтобы доложить Государю,— но с решительным добавлением, что по долгу и по присяге не видит иного выхода, как тот, что предлагает Родзянко! (А что можно видеть или не видеть с Юго-Западного фронта? И как может так себя вести военный человек?)

Государь закурил из пенкового своего коленчатого мундштучка. И как могли быть из одного и того же города, в один и тот же час столь разные известия? Правительство уверенно управляет, даже не просит помощи,— а Барабан уверяет, что оно в параличе?

Да если бы было что-нибудь по-настоящему тревожное — предупредила бы его Аликс в каких-нибудь час-два. Но сегодня — не было от неё телеграмм.

Государь всё более удивлялся смущённому уклончивому виду Алексеева, не возразившему ни против Родзянки, ни против Брусилова. Так и он — присоединяется к ним?

Стоять против шумных общественных горланов — Государь привык. Но необычное и опасное было ощущение — что его собственные генералы за его спиною тоже завлечены *теми*, как бы ударяют в спину своему Верховному.

О, что они понимали в этом вопросе — Верховная Власть России, её вековая легитимность, её неделимость и разделение, над чем Государь трудно мучился уже два десятка лет? И — как легко все брались советовать!

Нет, смущённый Алексеев не смел советовать, он только подал все бумаги по должности, честный старик.

Доклад был исчерпан, Государь ушёл.

В 12 часов с половиною имел место, как всегда, регулярный высочайший завтрак с военными представителями союзников и чинами Ставки — и, разумеется, ни слова никем не было обронено о петроградских событиях, поскольку о том не заговаривал Государь.

Из главных достоинств монарха считал Николай: никогда не разговаривать ни о чём серьёзном в неположенное время, в неположенных обстоятельствах и не с теми лицами, кто компетентен и призван того касаться. Самообладание и бесстрастность он понимал как лучшую часть этикета монарха, который несёт своё божественное бремя и всю ответственность всех конечных решений.

И если перешёптывалась свита, может быть и более знавшая что-то о Петрограде, то никто не смел возвысить голос или высказать Государю прямо. Были пожалуй и взволнованные, если не испуганные лица.

Так же неуклонно дальше должна была следовать царская прогулка на моторах за город — стояла отличная солнечная погода без ветра. Подали два автомобиля, уже выходила к ним близкая свита,— тут Государю, в шинели, застёгнутому, принесли из штаба и подали новую телеграмму.

Эта была — от Хабалова, и совершенно свежая, час назад поданная. Прошлая от него была на имя Алексеева, а эта — прямо Его Императорскому Величеству. Государь развернул её — стоя, у лестницы, и читал, а на него

смотрели. И оттого что смотрели — не только лицо его было невозмутимым, но он как-то не вполне внимательно читал, хотелось скорее положить её в карман и ехать.

Вот когда всё объяснилось: доносил Хабалов о той самой роте павловцев: она объявила ротному командиру, что не будет стрелять в толпу. Рота обезоружена и арестована. (Позор какой для павловцев!) И, очевидно, в этом инциденте и ранен командир Павловского батальона, о чём было от Павленки.

Но не кончалась на этом телеграмма Хабалова. Сегодня учебная команда волынцев также отказалась выйти против бунтующих, вследствие чего начальник её застрелился, команда же, увлекая роту запасных, направилась в расположение Литовского и Преображенского батальонов, где к ним ещё присоединялись другие запасные.

Уже много он строчек прочёл. Длинна показалась недлинная телеграмма, оттого что содержание её уже вышло за пределы всякого ожидаемого. Не подготовленный к тому и уже в наклоне двигаться дальше, спускаться с лестницы, Государь дочитывал бегло, не полностью вникая в смысл. Да там и шло заверение: что генерал Хабалов принимает все доступные меры для подавления бунта, но полагает необходимым прислать надёжные части с фронта.

Может надо было задержаться, перечесть? Вообще — вернуться, пойти поговорить с Алексеевым? Но всё это досадно происходило на глазах приготовленных к прогулке — и такой возврат, отмена прогулки выглядели бы слишком чрезвычайно.

Государь вложил телеграмму во внутренний карман шинели и спускался к автомобилям.

Выехали по оршанскому шоссе. Погода дивная, весело слепило солнце, но не настолько, чтобы таял снег. Обилие света и высота солнца были уже весенние. Николай оглядывался и радовался, и пересиливал какое-то поднимавшееся недоумение сердца.

Уже когда доехали и там гуляли — захотелось ему вынуть телеграмму и ещё раз перечитать, не всё он в ней уловил. Но опять-таки это выглядело бы чрезвычайно, напугало бы свиту.

Ничего, даст Бог, всё кончится хорошо.

Разговоры на прогулке текли будничные, обычные.

На виду у всех Государь был загадочно спокоен, будто не знал ничего тревожного, либо, напротив, уже всё решил и принял все достаточные меры.

95

И — всё по этим комнатам. Медленно кружа. Ходя. Садясь.

И кабинет свой не радовал, не мог себе в нём найти Георгий ни малейшего занятия. Заставить себя.

Всё по этим комнатам, уже больше её, чем его. А вот — и не её. И, как бы, уже не общим. То-то склепным воздухом пахнуло с порога, как заходил.

А может — прячется у Сусанны опять? Или помчалась в Петербург?

Конечно, было бы свободнее всего: придраться, что вот она сбежала, и уезжай. Бросить всё в минуту — и ехать к себе. Не встретились — ну и хорошо, ну и ехать, и считай себя вольным.

И именно так бы надо.

Но он уже знал: облегчение будет только первые короткие часы. А потом наляжет угнетение. И — жалость к ней, гложущая жалость.

От этого не уедешь, это будет когтить, это застит весь мир, всё равно кинешься назад с дороги.

Не то что уехать, а он даже на эти часы неспособен был выйти на улицу — отвлечься, просвежиться, протрезвиться.

Или ждал, что она — вот войдёт, вернётся?

Вспомнил, как они виделись последний раз — вот здесь, в средней комнате, тогда вечером после Смысловских,— и как она *смотрела* ему в лицо. Зачем смотрела?

Он стал как бы — весь болен.

Висели платья Алины кряду в гардеробе, два-три десятка, были и полуветхие, по скудости жизни офицерской жены, и сохранившие в своих полосках, уголках, воротничках, поясках — историю их восьми лет, разные случаи — смешные, досадные, трогательные.

Стоял, смотрел на них — с печалью.

Представить, как Алина плачет, вот здесь, в этой комнате, и трясётся лицом в своих тонких руках — непереносимо! Почему-то ничьи другие слёзы, ничьи за всю жизнь слёзы, ни даже мамины, ни Верины, так не хватали спазмами косыми за горло, как — её.

Вот Ольда бы разрыдалась — совсем не то. Да она и не расплачется.

Вот какое было ощущение: как будто, сбежавшись с Ольдой, схватившись с ней в объятья,— не заметили и наступили — то ли на детскую ножку, то ли на кролика,— и *оно* там дёргается под подошвами, кричит,— а мы не слышим, захлебнулись.

Да уже что-то и от Ольды не подхватывало сердце в воздух как восходящим током жаровни.

Нет, Ольды не удержать.

Может быть и была такая тропка для души: ни с той, ни с другой. Отойти и разобраться. Может быть и была, но не замечена вовремя: где на неё был сворот?

Вот эта раненость её — больше всего и ранит.

Вот эти ножницы её, расхваченные, распахнутые, как горло в крике.

Примириться бы — и снять с души этот груз. Забыть бы всё происшедшее, будто его и не было. Примириться — и чтоб опять легко.

Но — никуда не уходило ощущение чугунного несчастья.

Разлома жизни.

Которой не надо было разламывать.

Было бы легче гораздо, намного, если б Алина была — вот тут, сама. И — кричала бы на него, и упрекала, и позорила,— и он бы в пятнадцать минут объяснился, излечился, пристегнул шашку и — помчался бы на фронт.

Но именно потому, что её нет здесь, она так беззащитна, только распахнутые немые зевы ножниц, а ты такой палач,— вспоминается о ней только хорошее, только самое хорошее, ничего дурного. Именно потому, что её нет,— всё здесь так терзает — за неё, без голоса, укоризненным видом своим.

Вот этот фарфоровый качкий рожок для чернил, сейчас сухой. Или эта шкатулка мелкой резьбы. Все вещи тем и укоряют, что хозяйка проникло любит их, они её частицы. И сколько трогательно-беспомощных следов её начатых и незавершённых порывов: учебники и тетради французского языка (покинуты); вязанье (брошено); шитьё (не окончено); любительские фотографии — перетемнённые, пересветлённые, умеренные, долей вклеенные в альбом, больше — грудой, неразобранные; бадминтон (оставленный; уговаривала Георгия когда-то играть, ему не понравилось). Алина всё что-то новое пробовала, испытывала, отдавалась фантазиям, хотела, как она говорила, взлететь — и именно потому, что всегда неудачно, и ты это сознаёшь, а она нет,— так и перехватывает теперь горло наперекос.

Такая острая тоска — это всегда удел оставшихся на том самом месте, обычно женский удел: вот, только что, близкий был здесь, вот ушёл — и так полыхнёт по сердцу горечью.

Её ли жалко? Чего-то неназовимого жалко? — невозможно понять самому.

И не отвлечёшься мыслями никак. А часы тянутся, и надо ждать теперь Сусанны. Нечем заняться, ничего не сообразить, голова чугунная.

Полез поискать выпить — серебряная рюмочка с ласточкой, её подарок именинный. Пошёл на кухню поискать закусить — её шутейные цветные варежки, которыми она с огня берёт. Её письменные „меню завтраков", „меню обедов",— хотела систему разработать, конечно опустила... Её нагромождённая тара — коробочки, баночки, упаковки, новые оттесняют старые, а те тоже не выбрасываются, задвигаются глубже.

Тоска — даже, может быть, не по ушедшему человеку. Это — слишком

урывающая тоска, какая-то даже...— отчего? куда?.. Какое-то ли предвидение — всеобщих наших разлук?..

При разорённой душе ничто не может ни насытить, ни обрадовать. Пустота и есть пустота.

В дверь позвонили. Вздрогнул: она?? Нет, она бы сама отперла.

Открыл — почтальон. Протянул конверт — и дальше.

Рука Алины!

А штамп — поезд „Воронеж-Москва", вчера. Опущено в почтовый вагон.

Вскрыл — какой неузнаваемо-дрожащий почерк, изломан чуть не в каждой букве! — ещё больше испугался! Но тут же понял: писала на ходу поезда. Куда ж она?..

„...Ты дважды, ты трижды недостоин моей любви. Ты не видел, с кем ты жил. У тебя пелена на глазах была. Я могла украсить любое общество! Но мои лучшие возможности остались нераскрыты. Мои мечты, стремления — растоптаны навечно! И не кем иным, как тобой!"

Прервался. Сел за обеденный стол. Письмо — положил. И руки — вытянул по зеленоватой шитой скатерти. И смотрел застыло.

И наверно долго так просидел.

Наверно в Борисоглебск, к матери.

Вспомнил, взял опять читать:

„...Изо всех, кто делал мне в жизни плохо,— ты самый жестокий, так и знай! Получила ли я от тебя вознаграждение за годы, когда я во всём тебе подчинилась?! Восемь лет я была заперта тобой на замок. Но теперь кончилось моё рабство!"

И опять прервался. И опять вытянул, вытянул руки во всю длину, перед собой на незаставленной скатерти.

Как всё ушатнулось от него. Как о чужом о ком-то.

Никогда ни одного письма её он не читал вот так.

Но и — никогда он не чувствовал в себе такой пустоты. Та-кой пустынности бесконечной!

„За это время я имела горький досуг тончайше продумать и тебя и себя. Теперь я вижу: в тебе — душевная порча. Окунись в свою совесть! — посмотри, какая она грязная! Только я — твоя совесть и твоё спасение!"

Да ведь такое самое она и писала ему всю зиму. Странно, что за весь день сегодня тут он не вспомнил ни одного из этих упрёков. А вот они — опять.

И — опять?

И — навсегда теперь?..

Непроломный тупик.

Если бы сейчас Ольда была в Москве — ринулся бы к ней?

Ох, нет.

Что-то и с Ольдой — не так...

Пу-стыня. Пу-стыня.

Ещё что-то не дочитано?

„...Если ты хочешь, чтобы я отказалась от жизни,— скажи прямо. Для всех — я просто исчезну. И только ты один будешь знать, где меня похоронят. И прошу тебя — навещай меня хоть один раз в 10 лет..."

Ну-у-у-у... Как будто уже не к нему.

Удивлялся всегда: как это люди напиваются, зачем? Неужели нельзя овладеть собой?

А сейчас — напиться бы до бесчувствия, одно здоровье.

Сидел.

Сидел.

А почему он всегда был уверен, что Алина любит его?

Курил.

Ходил.

Вот за своим письменным столом сидел.

Среди приглядевшихся постоянных предметов такой знакомый: стеклянная, чуть усеченная пирамидка, на задней грани наклеены два швейцарских луговых вида, один над другим, а через толщу пирамидки увеличиваются.

Чем чаще видишь — тем меньше замечаешь. А ведь это — мамин предметик, от мамы остался.

Мало что от мамы у него осталось.

И даже фотография её не стоит нигде. Тут лежит, в ящике.

Целая жизнь была — московское детство. А вот искать-поискать — никого сейчас и не найдёшь.

Не найдёшь.

Курил.

Вспомнил.

Достал конверт, почтовую бумагу.

„Калисе Петровне Коронатовой. Большой Кадашевский переулок.

Милостивая государыня Калиса Петровна!

Я проездом на фронт в Москве. Не знаю Ваших нынешних обстоятельств. Но если они благоприятны — не мог ли бы я посетить Вас сегодня вечером?

Искренно Вас уважающий

Георгий Воротынцев".

А в магазине Чичкина, рядом, всегда есть посыльный.

БИВШИСЬ С КОЗОЙ—НЕ УДОЙ

96

Самому Михаилу Владимировичу Родзянко казалось: ни у кого в России не было такого трагического положения и никто так трагически не охватывал суть событий, как он. История поставила его если не на четвертование, то на разрыв сполошенными быками. (Бычьи морды представлялись — как рельефы на Круглом рынке у Мойки.)

Видя за собой не только право чувствовать и рассуждать за всю страну, но и решать и *быть* за всю страну, Родзянко имел мужество никак не покоряться и не льстить царю, но открыто говорить ему на докладах горькое, указывать, каких ненавидимых лиц следует убрать, и к каким настроениям общества надо прислушаться. Ему самому было тяжко, что он, твёрдый монархист, должен был осуждать действия монарха и бороться с его распоряжениями,— но для пользы Родины! Также и обществу и левому крылу Думы, как ни благоволя им, Родзянко имел мужество не покоряться, но отделять себя тем, что он верен присяге, ничуть не отходит от монархического принципа и никогда не вступит в заговор против царя.

И за то — царь не терпел его советов и перестал их слушать! И за то — кадетское крыло перестало ему доверять, и, ещё год назад верный кандидат в премьеры общественного министерства, Родзянко был милюковским упорным манёвром подменён на ласково-ничтожного князя Львова. (Подменён, но не сломлен! И внутренне продолжал считать себя неизбежным будущим премьер-министром! — просто смешно сопоставлять его грозную фигуру и этого земского угодника-уладчика.) И за то (ему передавали) — Горемыкин называл его сумасшедшим, Кривошеин добавлял — и в опасной стадии, правые — махровым болваном.

Но с высоты председательского места Родзянко лучше всех видел Россию. Он видел, как царь, не исполняя его советов, губил Россию и всё дело. И видел, как кадеты, ожесточась в борьбе, готовы были сгубить не только императрицу и Штюрмера, но всё русское государство. Вот сейчас — что наделал царь перерывом думских занятий? Он перерубил всякую возможность мирно уладить конфликт. Но чего хотело левое крыло? Не подчиниться царскому указу и не расходиться?! Но это — был бы ещё худший бунт! На это Председатель тоже не мог согласиться.

А что делалось на улицах? На улицах Петрограда солдаты убивали офицеров!

Быки — разрывали, растягивали. И надо было стянуть их за упрямые выи!

Что было делать? Что было делать? Вчера, едва отправив громовую телеграмму, Родзянко был обожжён звонком Голицына, что с утра Дума распускается на перерыв! И что́ он мог делать среди ночи? Только топтаться по комнатам.

Утро принесло некоторую удачу: умница Брусилов тотчас отозвался телеграммой, иносказательно подтверждая, что — получил и передал поддержку ходатайства. („Свой долг перед Родиной и царём исполню.") Вероятно, то же сделал и Рузский, хотя ещё не отозвался.

Но — Алексеев?? — молчал. Значит, царь — не отзывался Председателю ни словом.

А между тем его ночная телеграмма оказалась пророческой! — развивается неудержимая анархия, которую сдержать будет невозможно! И что он проницательно предсказывал престолу ночью — вот, с утра уже и прорвало. Да где! — в гвардии! И в день, когда началась гражданская война,— царь выдернул последний оплот порядка — Государственную Думу!

Один Председатель видел во всей полноте, насколько это был безумный шаг. И опять-таки: один Председатель мог попытаться исправить.

Вот что: надо давать новую телеграмму! На этот раз — прямо царю!

Да, только такая телеграмма может всё спасти и исправить. Если Государь одумается.

Так одинокое сидение Председателя в кабинете разрешилось снова делом — телеграммой! Он опять размашисто писал на нескольких бланках, по две фразы на каждом, продолжение следует.

...Повелите, Государь, в отмену вашего высочайшего указа, вновь созвать законодательные палаты... Повелите, Государь, призвать новое правительство на началах, доложенных мною вам во вчерашней телеграмме... Возвестите безотлагательно эти меры высочайшим манифестом... Государь, не медлите! Если движение перебросится в армию — восторжествует немец, и неминуемо крушение России, а с нею и династии...

Надо теперь сразу совместить: и подавление бунта, и создание ответственного правительства.

Да наконец... Да, он должен так прямо и написать:

От имени всей России прошу Ваше Величество об исполнении изложенного. Час, решающий судьбу *Вашу* и Родины — настал! Завтра, может быть, будет уже поздно!

Даже Родзянко — что ещё мог сделать? Как ещё громче крикнуть?..

Нет, можно было ещё громче. Кончить — просто потрясающе. Но и — не сходя с твердыни монархизма:

Молю Бога, чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца.

Вот т а к а я телеграмма — несомненно впишется в историю России!

Однако, всё-таки, и дерзкая фраза. Может вызвать гнев Государя и всё испортить.

И просто со слезами горючими, так жалко было этой лучшей фразы своего пера, Михаил Владимирович осторожненько зачеркнул её.

А в черновике осталась.

Отослал в телеграфное отделение Таврического дворца. Прямо отсюда должны были отстукать через десять минут.

И вдруг сообразил: ещё мог! Ещё мог проявить одно важное усилие, доступное ему одному только!

Председатель не мог вызвать в столицу царя — но мог вызвать царского брата, фигуру рядом с царём. В такой безумный день это может пригодиться. А Родзянко имел большое влияние на Михаила Александровича: тот безусловно признавал за ним второе место в государстве. Они ещё были и связаны как оба бывшие кавалергарды. А супруга великого князя, столь влиятельная на мужа, всегда была за Государственную Думу.

И Родзянко стал дозваниваться — и дозвонился в Гатчину, где, в доме жены, великий князь Михаил проводил сейчас отпуск, вернее — переход с одной военной должности на другую. Дозвонился, и стал просить и настаивать перед обоими, потому что окончательно решала супруга: чтобы великий князь немедленно и тайно приехал бы в столицу, для встречи с Председателем

Думы. (Тем увереннее он звонил, что в январе Михаил сам являлся к Председателю — „поговорить о положении страны, посоветоваться", и ясно было, что его подсылала доискливая супруга, при общей критической шаткости.) Сегодня Михаил не очень хотел, мялся. Но Наталью Сергеевну удалось убедить. Хорошо, едет.

Хорошо.

Так! Один Председатель сделал всё возможное и всё невозможное. Теперь — не собрать ли руководителей фракций, совет старейшин? Распорядился.

Стали собираться, каждый при входе в кабинет удваиваясь из-за зеркальной стены — а Родзянко был для всех удвоен своим мощным заплечьем.

А рядовая думская масса всё так же ходила, жужжала по дворцу, только изредка видя своих поспешно мелькающих лидеров, но не получая от них указаний. И рядовые думские социал-демократы так же толкались между всеми, не находясь, что делать. Думцы расспрашивали новоприходящих, расспрашивали и передавали другим, кто что где слышал и принёс. Все уже знали о разграбе Арсенала, о взятии Крестов, об убийстве офицеров — и только Таврический дворец, хотя и рядом с событиями, оставался в каком-то царстве дрёмы, куда не прорывались действия, а лишь доносились отдалённые выстрелы.

А в кабинете Родзянки собрался как бы не совет старейшин, но опять бюро Прогрессивного блока? — только с добавлением Чхеидзе и Керенского. Потому что лидеры правых фракций тотчас по оглашении указа о роспуске — ушли и не появлялись.

Итак, уже прозаседавшее впустую бюро Блока — должно было всё же что-то придумать? Вся душа противилась подчиниться бесцеремонному царскому указу. А не подчиниться — значило самим начать революцию? Но и перерыв Думы — это же тоже революция?

Сидели как над развалинами: всё сметено, вся долгая осада и потом атака, устроенная Блоком. На улицах стреляли, убивали, носили красные флаги — и в такой момент не стало ни Думы, ни Блока!

Вторая главная тут фигура, Милюков, не мог скрыть неуверенности, в обстановке слишком неожиданной не знал, как угадать. Он так боялся ошибиться, что лучше бы пока не действовать никак.

Ну, хорошо: они вынуждены были согласиться не функционировать как Дума. Но хотя бы всё-таки условиться: не разъезжаться по всей России? Остаться всем в Петрограде, в возможности для встреч и соединений?

Кроме вьющегося в кресле Керенского и благообразно сияющего Чхеидзе (дожил до великого праздника, и ему удивительно, что не радуются остальные) — все старейшины были растеряны. Но и надо же было что-то делать с думской массой, там гуляющей и ждущей. Нельзя было и никакого решения принять окончательно, не собравши их всех. Но и — собирать их всех, войти в зал всем по звонку, как всегда,— было бы открытое неповиновение государевой воле, уже бунт!

Керенский так и предлагал: звонок, и всем в зал!

Но Родзянко — знал государственные законы, у него не вырвешь.

Но тогда — совсем безвыходно!

А в Екатерининском зале — думцы всё ходили, ходили, возбуждённые, и с новыми вестями, куда ещё по городу распространился военный мятеж.

А сюда — не катилось! А здесь, вокруг Таврического, всё так же было угнетающе спокойно, только выстрелы издалека, и всё дальше.

Потрясённый Шингарёв держался двумя руками за голову и изумлялся своим нутряным голосом:

— Да что ж это делается?.. Такие вещи... Такие вещи во время войны могут устраивать только немцы!.. Кто ж их подстрекнул?.. Кто ими руководит?.. И что же смотрит правительство?!

Много месяцев, ругая правительство, они только злорадствовали, что оно ни с чем не справляется, и желали ему ещё хуже не справляться, совсем обанкротиться. Но сегодня, когда начался бунт, хаос, разграб оружия, освобождение уголовников,— лидеры Блока, да каждый думец, уже как простые граж-

дане страны могли бы ожидать от этого правительства ну хоть какой-нибудь минимальной твёрдости, ну хоть какой-нибудь попытки навести порядок? Но удивительное это правительство как раз вот в этот день, как раз вот в эту страшную минуту и не подавало ни малейших признаков жизни!

Было так, как с детьми, которые толкали-толкали бы шкаф, считая его незыблемым,— а он бы вдруг опрокинулся, да со всей посудой.

А они ведь позаправдошнему — никогда не переворачивали! Они только в мечтах носили и в кликах призывали, чтобы само перевернулось,— а они не переворачивали.

Вдруг прибежали, перепугали, что на Думу движется 30-тысячная толпа!

Толпа — да ещё 30-тысячная??! Жутко такое чудище и представить. И — зачем бы шли они на Думу, если не громить её?

Тут прибежали новые свидетели и объявили, сами только что слышали: в мятежной толпе разное кричат, но кричат и так: покончить с Думой! В Думе, мол, цензовые элементы — так перебить их теперь же!

Цензовые... Мурашки по спинам. Да, кроме крестьян, хоть и правых, да ещё рабочих нескольких, они, остальные тут, хоть и левые,— были почти все ведь цензовые, то есть состоятельные, то есть, конечно, с личным достатком.

Очень становилось неуютно в угрозно-затихшей Думе.

И только носился-вился Керенский: когда же придут? когда же? Под грозным дыханием народного бунта вся Государственная Дума обратилась в толпу неумелых, чуть не в овечье стадо,— и только у Керенского обострились все окончания нервов, утысячерились способности различать: не бояться этой толпы — но жаждать! Грядёт в ней новая слава Таврического дворца!

Он жадно вдыхал этот воздух восстания! Пришёл его лучший и высший час!

Утренние его усилия помогли: там криками какой-то клок толпы вразумили и повернули к Думе. Но как ни метался он между окнами — не увидел сам подхода, и посыльные его опоздали донести — и примчались в Екатерининский зал смертельно испуганные думские приставы: что толпа — пришла!!! она — уже в сквере, уже перед крыльцом, и нет сил удерживать её, сейчас ворвётся во дворец!

Доложили, конечно, Родзянке,— но Родзянко вдруг сконфузился: он привык выходить перед Думой — и перед всей Россией сразу, и даже перед всем миром,— но он не был готов выйти перед этой смутной лихой толпой. И что он мог им сказать в защиту и оправдание Думы? Что он послал телеграммы царю и главнокомандующим? — вот только. Он пребывал озадачен.

Но — те несколько левых лидеров, таких дерзких, крикливых, обременительных для Председателя, да всем помешных весь думский путь — теперь-то и пригодились! теперь-то и рванулись навстречу толпе, перебегая Круглый зал: невесомый бегун Керенский, и лысый селезень Чхеидзе, от которого и прыти такой нельзя было ожидать, и как будто вялый нехваткий Скобелев,— они бежали наперегонки, а догоняя их, а не имея права отстать ни в коем случае, уронить и честь и ветвь Прогрессивного блока,— его председатель бюро, неслышный неговорливый серенький Шидловский. Хоть и цензовый.

Керенский всех опередил и первый лётом прорвался вперёд, а те трое поспевали вровень и через все двери продавливались трое одновременно.

Сколько же пришло? О, хотелось бы больше! О, хотелось бы видеть всю Шпалерную залитой до уже невидимости! А пришло — может быть только сотни две-три, не та желанная толпа-гидра, какая рисуется в революционном воображении,— но всё-таки толпа! Нестройная, безо всяких вожаков и единой воли, а — кто выдвинется и крикнет,— но это и есть толпа! С винтовками и без винтовок, солдаты разных полков, видно и непривычному глазу, и вооружённые штатские, уж там рабочие или мещане, этого не различишь, а держать винтовки не умеют, ещё знают ли, как стрелять, а у кого-нибудь, смотри, выстрелит и сама,— и ни одного красного флага, как на самой последней демонстрации,— но какие решительные лица! застывшие движения! А может быть и не решительные и не застывшие, а от первой тревоги сейчас же и убегут? А может быть наоборот — властно ворвутся в Думу и будут распоряжаться?

Всё это в один миг охватывая, уже потом заметив ещё и какого-то гимназиста, двух как будто горничных, двух-трёх мальчишек,— Керенский, не успевая подумать, едва лишь обеими ногами выбрался на крыльцо, ещё трое других проламывались в дверь,— уже воскликнул, со взлетевшей рукой:

— Товарищи революционные рабочие и солдаты! От имени Государственной Думы...

Он был досадная помеха в этой Думе, enfant terrible, непредусмотренное исключение, но сейчас чувствовал, как вся оробевшая Дума вливалась в него через спину — и он, лидер кучки трудовиков, становился вся Дума!

— ...разрешите приветствовать ваш неудержимый революционный порыв против сгнившего старого строя. Мы — с вами! Мы благодарим вас, что вы пришли именно сюда! Нет такой силы, которая могла бы противостоять могучему трудовому народу, когда он поднимется в своём гневе!.. Народные представители, собравшиеся в этом здании, всегда горячо сочувствовали...

О, как легко оказалось говорить, совсем не прерывали, и всем до последнего ряда слышно неподдельно революционный голос оратора, а фразы сами — подаются, подаются, может быть повторение привычных, может быть сочетание сказанных, а может быть невиданно-новые, ещё никогда не звучавшие ни в одной революции на Земле! Керенский то разглядывал лица — посередине, слева и справа, то смотрел поверх голов — дальше, к тем тысячам, которые ещё придут,— он выпалил всему взволнованному народу первый революционный заряд (речь не должна быть слишком длинной) — и вдруг гениально догадался. Он знал случайно волынские бескозырки и видел их несколько тут, в первом ряду, и вдруг воскликнул прямо к ним, голосом награждающего полководца:

— Товарищи волынцы! Государственная Дума благодарит вас за преданность идеалам! Она принимает ваше предложение служить свободе и защищать её от тёмных царских полчищ! Вот вас четверых, товарищи,— назначаю первым почётным революционным караулом — у дверей в Государственную Думу! На вас выпадает великая честь! Становитесь на пост!

Никогда он не готовился к военным командам и не знал, как распорядиться, и голоса такого не тренировал — но почувствовал, что и голос и военачальство в нём возникнут сами,— за час и за два революционного мчащегося времени Керенский переродился, перерождался!

И застигнутые волынцы, впрочем и не знавшие, куда им дальше, теперь рады, что пристроились к делу,— повиновались, поправили бескозырки, расправили шинели под поясами — и стали часовыми все четверо вряд, не предвидя, кто же будет их сменять.

А другие закричали „ура".

Теперь выдвинулся говорить — Чхеидзе. Он растроган был, что не только дожил до революции, которую предрекал в каждой речи, по бюджетному или транспортному вопросу, но со ступенек этой же самой буржуазной Думы — произносил свободную речь к поднявшемуся народу! Эти фразы столько раз перебывали у него на языке, что теперь повторялись безо всякого напряжения, он лил их, надтреснувшим голосом, вскрикивал „ура" — и в несколько охотных голосов ему откликались.

А Скобелев сильно остерегался: это тут сейчас, в минутной горячности, кажется: ура! поставили первый революционный караул! — но какая была защита от царских войск этот сброд, наполовину не умеющий винтовку держать, на другую никогда не воевавший, какая была победа свободы, когда сто послушных дивизий могли нагрянуть завтра на Петроград? Однако верность социал-демократии заставляла рисковать. И — заговорил. И полилось, оказывается, свободно, без смазки.

А потом четвёртый оратор был бы уже совсем лишний, и отстранили, затолкнули назад Шидловского, говорить ему от Прогрессивного блока не дали.

А какой-то, вроде развитого рабочего, из первого ряда ответил:

— Вы, товарищи,— наши истинные вожди. А таких, как Милюков, нам и даром не нужно.

97

Утренний солдатский бунт смешал весь предполагаемый ход событий. Теперь: распущена Дума или не распущена — переставало быть самым главным вопросом, как казалось вчера. Теперь вообще становилась неясной очерёдность правильных мероприятий, что делать правительству и даже — где ему делать, ибо само передвижение министров по столице переставало быть безопасным и даже — осуществимым.

Утром военный министр позвонил премьер-министру — и оба они, по двум концам линии, долго гадали: следует ли принять какие меры или никаких? Естественно как будто именно от правительства ждалось решение, но поскольку столица находилась в полосе военного положения, то гражданские власти ни за что не отвечали, а и военный министр не отвечал, ибо вся полнота ответственности была передана генералу Хабалову.

Так трудно было до чего-либо додуматься в двустороннем телефонном разговоре — решили, что надо бы собраться и посовещаться. Но князь Голицын не хотел бы сам перемещаться по улицам, и поэтому назначил местом сбора министров опять-таки свою квартиру на Моховой. Верных два часа ушло у него затем на созванивание со всеми министрами и такие же сложные выяснительные разговоры. Наконец, часам к одиннадцати стали министры собираться.

Первым приехал генерал Беляев. На его щуплой фигурке казалась избыточно тяжёлой генеральская шинель, на его маленькой голове — избыточно крупной прикрывающая её военная фуражка. Китель с аксельбантами, вензелями и орденами был на нём как на мальчике. Но всё восполнялось трагической серьёзностью его изглазничного тёмного взгляда за крупным пенсне. Министр всё видел, всё понимал, не нуждался в объяснениях.

А он-то и нужен был больше всех! — но и с ним не удавалось ничего решить. А приезд министра торговли-промышленности, просвещения или прокурора Синода тем более ничего не решал.

Министры съезжались плохо. Ещё и ещё сзывали по телефону своих коллег, без них не начиная заседать.

В небе стало дымно, и прислуга объяснила, что это подожгли Окружной Суд — совсем же недалеко, три-четыре квартала, полверсты! Отчётливо слышалась ружейная стрельба. Прислуга объяснила, что это стреляют на Литейном и на улицах за ним, и там бегают толпами солдаты.

Так становилось исключительно опасно находиться именно здесь, на Моховой! Сбор министров и квартира самого премьер-министра подвергались угрозе налёта этих банд. Теперь князь Голицын очень пожалел, что не назначил собираться в Мариинском дворце на тихом краю, но уже все были оповещены. Теперь он стал звонить этому бестолковому Хабалову, требуя охраны к своему дому,— а Хабалов отвечал, что у него нет резервов. Но чего же стоил такой командующий Военным округом, который не мог охранить даже квартиру премьер-министра?

Через возбуждённые переполненные улицы с трудом добирались министры, кто на колёсах, кто и пешком. Наконец, уже после полудня собралось министров шесть-семь, но всё таких, кто не могли отвечать за происходящее. А несомненно виновный Протопопов всё не являлся.

Собрались, но не совещались, а чувствовали себя очень нервно. Пили чай или кофе, присаживались, вставали, собирались по двое — по трое, кто курил, высматривали в окно,— на Моховой ещё было мирно,— и прислушивались к новостям, приносимым прислугой. Звонили в свои министерства, узнавая, работают ли там,— и как будто все работали.

Министр иностранных дел Покровский, чересчур простоватый в походке и в наружности, никак не дипломат, своей притрусочной походкой бродил между министрами и, наставляя опущенные усы на одного и другого, спрашивал, как же с отставкой кабинета? Ведь вчера на переговорах с Маклаковым они обещали при роспуске Думы распуститься и сами. Сегодня утром у него был французский посол Палеолог и настаивал, что союзники ждут ответственного министерства. А сегодня пополудни ожидает их вдвоём с Бьюкененом — и они будут настаивать на том же. И что отвечать?..

Что отвечать? Да и князю Голицыну был телефон от Родзянки — но так вот ничего и не ответил.

А Риттиха не было. И не было Григоровича, морского министра, он всё так же лежал в постели у себя на квартире в Адмиралтействе. (Григороаича тоже Дума любила, как и Покровского.)

Меньше всех говорил и двигался Беляев — сидел в углу, очень потемневший.

Наконец, вошёл Протопопов — с измятым, усталым лицом отыгравшего артиста, с видом, что заранее предвидит упрёки, но хотел бы не слышать их.

Однако ему пришлось услышать. Все министры, кто только сюда собрались, теперь гневно обрушились на Протопопова: что это он виноват более всех! что он ввёл кабинет министров в заблуждение своими успокоительными заверениями, и вот — невозможно исправить! Долго не давали ему даже в оправдание высказаться. Разрядили на нём всё министерское бессилие, всю досаду, какую испытывали.

Правда, и не было в Протопопове обычного наскока бодрости. Провалилась между плеч его гордая, хоть и лысоватая голова, и смотрел он больными невесёлыми глазами. Он оправдывался, но как достоверно виноватый, ни разу не сказал „дорогие мои". Что начальник департамента полиции как раз ачера заверял его, что как раз ачера арестованы все главари всех революционных партий. Поэтому революция обезглавлена, и происходящее не может считаться революцией. Откуда это азялось — непостижимо, никак этого не должно было быть! А волнения в войсках? — за это он не отвечает, это — военный министр.

Но все опять кричали на Протопопова, он сгорбился, ещё больше провалилась актёрская голова между плечами, и замолчал.

Пришлось оправдываться и Беляеву. Он стал похож на перепуганного зайца, которому и бежать некуда. Кто ж мог предвидеть стихийное движение войск? Это невозможно предусмотреть. Теперь — помощь может прийти только извне Петрограда.

А между тем охрана к дому премьера всё не приходила. Рядом, на Литейном, всё больше разгуливалось, слышны были выстрелы и сюда. Не только открывать заседание, но и оставаться здесь становилось опасно.

Они были — имперское правительство.

И они же были — малая кучка растерянных людей, не имеющая никаких связей управления.

Щемяще затискивало их: что происходит? И почему они здесь, в полутёмной частной квартире?

Как будто какая-то конспирация.

Пустой вызов. Нескладная, ненужная встреча.

Князь Голицын, не давая себе горбиться и хромать, авантажно расхаживал по комнатам. Он всё более решался перенести заседание в Мариинский дворец.

Тут приехал вызванный Хабалов.

Диктатор производил впечатление удручающее, весь в тенях, кожа лица складками. Большая генералова челюсть подрагивала при разговоре, крупные руки тоже, и голос был неуверен. Он не брался объяснить, почему это всё началось, как происходило, в каких районах что,— и чего можно было ожидать в продолжение дня. Но его не очень и спрашивали, а князь Голицын только отчитывал.

Вскоре же Хабалов и уехал, обещая прислать тотчас охрану.

Но тут принесли слух, что по Пантелеймоновской движется толпа.

И единодушно решили: сейчас разойтись, по одному, а после 3-х часов собраться в Мариинском дворце.

Очевидно, что перемещаться министрам было безопаснее поодиночке.

Видя, как плохо с Хабаловым, князь Голицын просил Беляева самого поехать в градоначальство, посмотреть своими глазами и разобраться.

Темноглазый, скорбный, съёженный, маленький Беляев, хотя и сделанный из папье-маше, смотрел исключительно выразительно и ответственно.

98

В воскресенье так уже всё замирало, что в понедельник утром на Бестужевские курсы слушательницы собрались: да надо же всем повидаться, новостями обменяться, да что-то решать!

Первая двухчасовая лекция прошла почти спокойно — но к концу её стали распахиваться двери аудиторий, и из коридоров выкрикиваться огневые новости. Курсистки стали выбегать, захлопали двери, и лекции скомкались.

Вероня с Фанечкой ощутили аину, что опаздывают, сегодня не приняимают участия. Решили: бросать занятия, бежать, будоражить! Получили по большой буханке хлеба (городская дума с субботы наладила продавать хлеб курсисткам в здании курсов), занесли к Фаниным старикам, бросили, занесли к тётушкам, бросили, чтоб им в хвосте не стоять,— и понеслись по Васильевскому.

Однако хотя с той стороны Невы доносилась даже несомненная стрельба,— тут, на Васильевском, сегодня ничего революционного не происходило: шли себе прохожие — а толпы не собирались, никто ничего не громил и даже песен не пел.

Позор! Васильевский остров, который начинал бить булочные и демонстрировать из первых,— теперь как в спячку впал, не густился. И где же были все эти тысячи забастованных рабочих? У тех же булочных стояли те же хвосты, но уже с извечной российской покорностью.

Прохожих? — не станешь останавливать агитировать. Попробовали девушки заводить речи у хлебных хвостов — тот же людской материал. А забастованные рабочие сидят по домам? — и не из квартир же их ходить вытягивать.

Вернуться на курсы? собраться курсисткам своей отдельной демонстрацией и выйти? Не догадались сразу, а теперь все сознательные уже разбежались, а если кто остался дослушивать лекции — так и будут до конца.

Дразнить полицию? Но и полиция уже не стояла больше нигде одиночными постами, а либо крупными нарядами, либо сидела засадами по своим участкам.

Конечно, можно было выбрать себе лёгкий жребий: под видом мирных барышень перейти мост, отправиться в центр, а там уже влиться в общее кипение. (Саша в своём Управлении конского ремонта — там от центра событий недалеко и, уж конечно, времени не теряет, счастливец!) Но их долг был — действовать тут, где они есть, на Васильевском острове.

И решение оставалось только — призывать аойска! — Финляндский полк, там и сям стоявший по острову отрядами.

И Вероня с Фанечкой бросились бегать от одной солдатской цепи к другой, где ограждение, где оцепление у завода,— и бесстрашно, пользуясь преимуществом пола, подходили вплотную к цепям, игнорировали старших офицеров, а обращались прямо к солдатам или к молоденьким прапорщикам — и объясняли, что они служат угнетению, и призывали переходить на сторону народа — а прапорщиков ещё отдельно стыдили. И ни один офицер их не отогнал, никто не толкнул, а прапорщики и краснели. Но солдатская пассивность разочаровала безгранично: ничего не отвечали, как не слышали, не видели, а некоторые хмурились, даже и бранились, даже и не совсем прилично.

На эту бесплодную агитацию много времени ушло, цепь от цепи далеко отстояла, Васильевский остров большой, и всё пешком, девушки избегались, встречали и других таких неудачниц — и у всех зря.

Так и проходил день — и без результата.

А из центра — всё ясней стрельба! И уже — дымом потянуло! Дым от пожара, это — да!

Забежали к Фаниным старикам перекусить, а тут — и телефонные новости, Раиса Исаковна от телефона не отходила: да в городе настоящая р е в о л ю ц и я! — это слово можно уже и произнести!

И решили девушки, что раз сырое не поджигается — хватит с них, они свой долг выполнили — и могут отправиться в город и влиться.

На Дворцовом мосту их уже знали как агитаторш, могли не пропустить. Пошли через Николаевский.

99

Штабс-капитан Сергей Некрасов, лейб-гвардии Московского полка, георгиевский кавалер за бой под Тарнавкой, сейчас служил адъютантом запасного батальона. Ещё и до сегодняшнего утра он считал, что все эти волнения — требования хлеба, а как достаточно выпекут — так и успокоится. И даже у телефона с утра, получая тревожные сообщения из центра, он всё не мог поверить, какое серьёзное происходит. И ещё стрельбу на Сампсоньевском и Лесном он понимал как отпугивание, образумление.

А старших офицеров никого в батальоне не осталось. Капитан Дуброва нехотя принял командование батальоном. В офицерском собрании — два брата Некрасовых да несколько прапорщиков, ни в какой наряд не посланных по своей неопытности. А ещё стягивались в собрание — солдаты, уже человек тридцать, поодиночке притекшие в казармы из разгромленных и рассеянных караулов из разных мест, пришедшие сюда по своей верности,— это были и лучшие солдаты, старослужащие.

Врач и фельдшер перевязывали первых раненых.

Но когда Сергей Некрасов увидел из окна офицерского собрания через плац, как четверо офицеров с револьверами отстреливаются от толпы, а потом побежали — и рухнул Шабунин,— в минуту он понял, что это большой настоящий бунт.

И с фронтовой быстротой в голове его пронеслись сцепленные мысли: надо стрелять из окон и отбить полковой плац! — позвать всех, кто тут способен! — но стрелять из самого собрания нельзя: однополчане ему потом не простят вызванного встречного разорения. Зато можно стрелять из их адъютантской квартиры, над собранием наверху.

Он бы не успел это устроить — если бы толпа не замялась, не застоялась от первого убийства офицера.

Некрасов позвал — и человек двадцать офицеров и солдат бросились за ним,— в оббег, в другой подъезд и на лестницу на второй этаж. Их оказалось даже больше, чем нужно: из адъютантской квартиры выходило на плац только пять окон, и из каждого окна не стрелять больше чем троим. При избытке людей одноногий капитан Всеволод Некрасов стал на охрану квартирного входа, со стороны Сампсоньевского.

Штыками пробили нижние стёкла окон и с колен стали стрелять по толпе.

Отсюда открывалось густое столпление у Лесных ворот и до цейхауза. Там толпа убила часового и грабила оружейный склад. При внезапной дружной стрельбе некрасовской команды — толпа стала отваливать, частью назад, в ворота на Лесной проспект, частью — вбок, за штабели дров и за цейхауз.

Так ворвавшихся остановили.

Но и стреляющих обнаружили, открыли огонь оттуда, у мятежников уже было много винтовок — и через несколько минут здесь были выбиты все стёкла, защитников осыпа́ло осколками и пылью штукатурки от задней стены, тоже кирпичной, о которую плющились пули.

Одного тут ранило. Позже — и другого.

Через несколько минут вдруг увидели, как из левых казарм, из 3-й роты, выбежала толпа своих безоружных солдат — и кинулась через плац наискосок на соединение с толпой внешней. Бурная ненадёжная 3-я рота взорвалась от видимого им боя.

Остановить их! — не то конец Московского полка!

Огонь по своим солдатам...

Потеряв несколько упавших, те смялись, повернули и побежали к себе в казармы назад.

В сумрачно-морозном дне виделась там, за штабелями, за укрытиями, внешняя толпа — чёрные фигуры и сколько-то солдат, бродили (иногда видны

были их головы над штабелями, но по ним не стреляли), совещались ли, готовились.

Потом выбежали в атаку.

Но под дружной стрельбой некрасовской команды отхлынули.

Так повторялось несколько раз — и всякий раз их отбивали.

За передышки полковые санитары подбирали с плаца раненых, унесли и Шабунина.

И он и Вериго были ранены смертельно. И умирали в лазарете.

Так — ворвавшихся как будто остановили, не пускали на плац. И позади железные ворота на Сампсоньевский прикрывались остатком верных солдат.

Но оставались не перекрытые огнём чёрные ходы — и наружная толпа могла постепенно перетекать в ближние казармы, а солдаты 3-й роты — перетекать вовне к рабочим.

Несколько раз с большими перерывами восставшие возобновляли сильный огонь сюда, по окнам, их чёртова уйма, а некрасовской команды всего пятнадцать. Обороняться становилось всё трудней.

Впрочем, и опять утихало.

Растянутая во времени защита становилась безнадёжна. Но пока были силы и патроны — надо держаться.

Достиг откуда-то слух, что толпа мятежников уходит, но обещает вернуться с орудием, чтобы выбить картечью.

Впрочем, толпа не ушла, а густела за укрытиями.

Потом пришёл брат Всеволод и сказал, что в батальон вернулся капитан Яковлев и приказал всякий огонь прекратить.

Передавали и сцену: при возврате Яковлева капитан Дуброва сдал ему батальон — а сам почти парализовался, упал на стул, лишился управления руками и ногами, его поддерживали и унесли в соседнюю с казармами детскую больницу. То — была его контузия под Тарнавкой.

Приказа прекратить огонь Сергей Некрасов не мог принять от хозяйственного капитана Яковлева! Он воспитан был биться и в безнадёжности — до смерти. В бою под Тарнавкой их Московский полк, взяв у немцев сорок два орудия (шли цепями четыре версты под артиллерийским огнём по открытой местности), окопался кольцевым окопом и двое суток держал добычу против наступающего корпуса, пока не пришла выручка.

Штабс-капитан Некрасов не принимал, как можно бросить оборону, пока ещё есть силы держать её. Не кончили боя — и признать поражение?

Он хотел бы сам понять, что творится в городе. Но узнать неоткуда: как сказали ему, полковой телефон, с утра непрерывно звонивший, теперь был выключен или перерезан.

Тут Некрасов сообразил, что есть ещё один телефон — у бывшего командира полка генерала Михельсона, в том же здании, с другой лестницы. В своей разорённой, обезображенной, затоптанной и промороженной квартире он оставил наблюдателей, остальных послал греться в собрание, а сами с братом пошли к генералу.

Генералу тоже в двух местах пробило стёкла, теперь заткнутые тряпками, и сам с женой он оделся и подготовился на случай эвакуации. Да, его телефон действовал, и он всё время звонил знакомым военным в разные места города. Везде в Петрограде — ещё хуже, чем здесь: нигде не образовалось ни одного очага сопротивления, к которому бы присоединиться. В центре — вообще никто никак не сопротивлялся мятежу.

Никто? и никак? Невозможно было понять!

Старый генерал советовал двум братьям-капитанам — и тут огонь прекратить. Не надо обострять отношений с солдатами.

Это ужасно! Завтра, послезавтра придут войска с фронта. Они легко подавят этот петроградский бунт. Но — что скажет батальон Московского полка? Как он смоет это пятно?

А сохранённое братьями собрание — простиралось из комнаты в комнату в своём достоинстве, монументальности и даже роскоши: огонь, перенесенный на второй этаж и вбок, ничего не причинил здесь. Всё было цело! — хрустальные люстры, двухсветный зал с колоннами, портреты Государей, портреты всех бывших командиров Московского полка на стенах биллиардной, библиотека, полковой музей, все окна, шторы, ковры, столовая, полковое серебро, мебель.

Только при стрельбе сбежала прислуга — и офицеров не кормили.

И необычно сидели на офицерской территории несколько десятков верных, застенчивых солдат.

Сдаваться было немыслимо, в этой кирпичной крепости!

Но и помощи ждать неоткуда.

И не отбить собрания дольше темноты.

Впрочем, пока стрельбы не было, и никто больше не наступал.

Война тоже была не настоящая.

Пузатый тучный капитан Яковлев, с лицом красным, как мак, собрал всех наличных офицеров в библиотеке. Стояли.

Яковлев объявил:

— Господа, сопротивление бесполезно. Стрелять в собственных солдат невозможно. Все запасные гвардейские батальоны в городе взбунтовались. Город в руках бунтовщиков. Не тронут мятежом только лейб-гвардии Гренадерский. Пока путь на Петербургскую сторону открыт — кто желает, уходите к ним, вы свободны. И у кого семьи здесь во флигеле — скорей уводите туда, пока путь свободен.

Некоторые офицеры стояли со слезами. После бунта — разжалование? военный суд? Позор, позор, позор...

Только слово „революция" — не пришло в голову ещё никому.

100

Едва перебежали Литейный мост и слились с московцами и с выборгской рабочей толпой — тут и закричали во много глоток: „Айда Кресты выручать!", „Кресты!"

Кресты? Слыхал Кирпичников и прежде: тюрьма знаменитая, там политические сидят. Ну что ж, тюрьму освобождать уже понравилось, туда так туда.

А хоть бы он пошёл, не пошёл, не согласился,— от него уже ничего не зависело: толпа уже катила, неизвестно чьей головой и волей. Слушали — кого услышат или кого захотят. А часть толпы пошла иначе. И Кирпичников уже не только не был предводитель, но его признавали лишь немногие волынцы, кто поблизости толкался, да кто из литовцев, из преображенцев заметили его ещё во дворе.

Эту вторую тюрьму взяли легче лёгкого, уже теперь научились: и драться не надо, и дверей пробивать не надо,— покричали угрозно, пообещали взорвать, постреляли в воздух, у каждого патронами все карманы набиты, а кроме винтовок у кого ещё и браунинги, штучки офицерские, игра из них стрелять.

Кроме тюремной охраны в Крестах оказался и малый наряд московцев, но биться не стали, а просто поменялись местами: наши вошли — они ушли.

Надзиратели протягивали связки ключей, только б их не трогали. Да они — виноваты, что ли? подневольны, как и наш брат, все на службе. А ну, расходись по этажам, раскрывай все двери!

Надо эту радость арестантскую видеть, когда дверь распахнут безожиданно и — выходи, мол, на волю! совсем! сразу! Одни немеют, другие ахают, третьи кидаются скорей вещички схватить да выбежать, пока не раздумали приглашать. А четвёртые, бритые, каторжные, что ль,— танец пляшут да матюгаются, заслушаешься, и мата такого не слышал никогда.

Кто в тюремных халатах да туфлях, кто в своём, с пустыми руками иль с узелками,— потянулись, побежали на улицу на мороз.

Но и наше время не терпит: нам надо'ть наосвобождать побольше, побольше, чтоб уже назад запихнуть не могли. В том и спасение первоподнявшихся: рассвободить как можно боле народу!

А тут — ещё мол тюрьмы! Вот — Женская близко! Вот — Военная! Побежали ребята и туда.

Нет, подумал Кирпичников, тюрьмами — не окрепнешь. И не по заводам

же бегать, они и без нас свободные. А вырывать надо своего брата солдата, Московский батальон. Да ведь так и сбирались — чего на эту тюрьму отвихнулись, только крюку задали. А сила — солдаты, туда нам и гнать! А куда Круглов делся с грузовиком и пулемётами?

А своих — всё меньше. Маркова когда потерял — не заметил. И Орлова. Ещё Вахов оставался под рукой — в службе парень туповатый, но и верный.

А на улицах — многие толпы, мастеровые, обыватели, и солдат разных врассыпную, ни одной команды строем, и наши ватагой, уже никого и не построишь, даже досадно унтерскому кадровому сердцу.

Спрашивали про московцев — говорят, нет ещё, держатся запершись.

А идти-то хотят не все: куда мы попрёмся? да мы уже четыря дня в караулы ходим, ноги не тянут. А тут ещё — мимо проехал воз, в ящиках хлеб, так многие за тем возом побежали.

Другие многие — к Литейному мосту свернули: назад, в казармы, хватит!

Да тем, что назад уйдёшь,— себя не сбережёшь. Прошёл слух такой, что там, на Литейном проспекте, уже наших давят. Ох, пощемывает: добром ли кончится? Что это мы начали непосильное? Ох, пропадём ни за что!

Всё ж осталось с полсотни — идти на московцев. Ну, двинули по Сампсоньевскому. Куча — совсем случайная, уже никого Кирпичников не знает, только свой Вахов рядом, да ещё человека три из учебной команды, а то и волынцы — да незнакомые.

Даже обидно: с утра Кирпичников был неоспоренный вожак, он бы не начал — никто бы не начал, первый-то шаг — неподсильно переступить. А теперь вот эту ватагу Кирпичников ли вёл, или сама она шла,— не разобрать.

Вольных, рабочих порядочно было на Сампсоньевском, и иные уже с винтовками — тоже запаслись! — а солдат не видно. Значит, московцы ещё взаперти. Звали этих рабочих с собой,— кто шёл, кто не шёл.

Сил совсем не стало хватать.

Все победы сегодня были достигнуты без боя, единственная серьёзная охрана за Литейным мостом не успела открыть огня. Так и сейчас шли, надеялись, что стрелять не будут,— а тут послышалась сильная стрельба. И шагов за четыреста до полковых ворот, где узкий проспект расширяется,— все люди остановились, и солдаты, и штатские со своей жидковатой песней — остановились, и дальше идти не хотели. И даже многие запятились, назад пошли.

Стрельба была сильная, из разных мест,— но так определил Кирпичников, что — по другую сторону большого кирпичного здания, а сюда пули не летели. То здание за железным забором и загораживало полковой двор.

И Кирпичников звал солдатскую братву:

— Пошли! Пошли, не робей! Сейчас их с тыла и брать!

И какой-то молоденький закричал:

— Кому свобода дорога, вперёд!

Но пошли вперед человек двадцать, остальные не подвигались.

Пошли — но жались к стенам, к заборам, то падали за снеговые сгрёбы. Солдатики-то всё нестрелянные.

— Не сюда стреляют! — Кирпичников им.— Скорей к воротам!

Не верят. А пальба — сильная, над головой.

Разбежались, попрятались. Пустой проспект.

Нашёл и себя Кирпичников на снегу у забора. И — никого не видно близко.

Стал возвращаться к тому месту, где отстали,— а и там почти никого. И Вахова не стало.

И место — какого Кирпичников никогда не знал, даже и на Питер не похоже. Вот занесло.

Не взять ворот Московского, некем.

Дюже стреляют. Кто? в кого?

И куда всё рассеялось?

И понял Кирпичников так, что всё пропало.

А что там, в волынских казармах?

Побрёл назад вдоль забора — один.

101

Самокатный запасной батальон, казармы которого стояли на самом краю Сампсоньевского проспекта, уже почти в Лесном, не был похож на остальные запасные батальоны Петрограда: это не был отстойник преждевременно выхваченных в армию, а затем в бездействии томимых неподготовленных, необученных невозрастных солдат, но — солдат повышенной развитости и боевого возраста, и боевых же здоровых офицеров. Батальон был как бы не единственной в столице воинской частью с фронтовым духом. Он готовил и отправлял на фронт самокатные роты — с пулемётами на мотоциклах и обозом из грузовых машин. Такие роты были в новинку и назначались для совместных действий с конницей в предстоящем большом весеннем наступлении. Занятия шли бодро и плотно, по 10-12 часов в день, не пропуская и воскресений, так многому надо было обучить охочих заинтересованных солдат. Пристально занятый своим делом, батальон мало замечал, что происходит в столице, да и в стране.

Хотя в середине февраля и был объявлен офицерам батальона приказ командующего Округом о том, какой район должен обеспечивать охраной их батальон в случае крупных волнений в Петрограде,— офицеры, большей частью уже много воевавшие, вызванные с фронта, отнеслись к приказу и недоверчиво и брезгливо: уж полицейских обязанностей не хотели бы они исполнять и не должны.

И что делалось в городе в позднефевральские дни, тоже на батальоне не отразилось: городских караулов он не выставлял, в Лесном всё было спокойно, занятия не прерывались ни на день, а что заводские толпы отсюда уходят в город шуметь — так тут только тише было.

Однако в пасмурный понедельник 27-го с утра слышалась из города, версты за 4-5, разрозненная частая стрельба. Затем она становилась ближе, перешла на эту сторону Невы, ещё ближе — очевидно уже около московских казарм. Но и это не показалось настолько серьёзным, чтобы бросить занятия и готовиться бы к бою — неизвестно с кем и зачем.

Вдруг послышалось дикое пение, и по Сампсоньевскому с юга стала приближаться большая беспорядочная возбуждённая толпа — из штатских, солдат вне строя, матросов вне строя, с красными флагами.

Дежурный офицер поручик Нагурский понадеялся, что толпа пройдёт мимо,— но как бы не так, прилила сюда, к забору и к вахте. Из оконца были видны многие дерзкие, грубые, разгорячённые лица. Нагурскому оставалось только выйти навстречу. Он взял с собой фельдфебеля и с ним вышел. А сзади из любопытства и на поддержку выступил вольноопределяющийся из студентов Елчин.

В толпе не было старшего, никто не говорил отдельно, а кричали в несколько голосов — резко, непочтительно, не прося, а требуя, чтобы солдаты-самокатчики были немедленно выпущены наружу, на праздник свободы.

Поручик Нагурский всю войну воевал, и поднимал роту в атаку и вёл её на смерть, и привык, что три звёздочки на его погонах обеспечивают повиновение солдатской массы. Сейчас он остро ощутил совсем новое соотношение: его звёздочки не обеспечивали никакого превосходства, он не мог ничего приказать этой толпе, ни даже велеть ей построиться, принять внешне-порядочный вид, солдатам подтянуть заправку, взять винтовки единообразно. В полминуты он низвергся из того, чем привык быть, и ощутил дурацкую неуверенность, не находя даже тона, как с этой толпой разговаривать. Почему-то он не приказал им убраться, не сметь заявлять таких наглостей — а тоном оправдания объяснил, что не может выпустить солдат из казарм без разрешения командира батальона. (И тут же сообразил, какой негодный ответ, ну потребуют, чтоб выпустил командир батальона! Как-то сразу отказала находчивость.)

И так он стоял в шаге от переднего края толпы, да нет, полуокружённый уже ею, и пытался найти более внятные лица среди возбуждённых, и более достойные, однако и вразумительные слова для них. И вдруг Елчин крикнул ему тревожно:

— Ваше благородие! У вас оружие отрезали!

Нагурский глянул вниз, не веря глазам ощупал — висели только кончики ремешков, но отрезан был кортик и отрезан кобур с револьвером! Нагурский чуть не взревел — от обиды, от стыда, как будто его неприлично раздевали перед толпой, от досады, что он не успел сам заметить,— он замотал головой, ища в руках у соседних — ни у кого не было! Чисто-воровской манерой унесли, украли!

И ещё дальше низвергнутый, на следующую глубину, ещё менее достойно, он стал просить, умолять — неизвестно кого — отдать ему оружие! его честь! без этого он... К кому обращаться и как обращаться? — не господа и не братцы... Он стал касаться шинельной и чёрно-бушлатной груди одного, другого перед собой, угадывая обидчика или сочувственника,— и вдруг закричал от сильного, болезненного удара в висок, острого в голову! — и пошатнулся.

Это кто-то из ближних рабочих, через спины других, швырнул ему в голову крупную гайку, сбил фуражку, в кровь разбил висок и самого пошатнул. И тут же на его голову обрушились кулаки со всех сторон.

Вольноопределяющийся Елчин, не соразмеря, не соображая,— кинулся его спасти, ни с каким оружием — руками, скорее вытащить из месива раненого поручика! — но ничего не успел, как прокололо его со спины, и он потерял сознание.

Это в спину ему вогнали тот самый кортик, отнятый у поручика. И он — рухнул ничком, под ноги.

И теперь фельдфебель, напротив, отступая, стал стрелять во всех соседних, кто был близ Нагурского и Елчина. И увидел, что попадает.

А между тем на его выстрелы уже выбегали другие солдаты, тоже стреляя, в воздух.

Толпа быстро отступала, оставив раненых на снегу.

Из ворот вышла дежурная рота с винтовками наперевес и погнала толпу дальше.

Нагурского и Елчина внесли в ворота. Оба были ещё живы.

102

Не мог генерал Хабалов охватить только двух вещей: что же ему делать с городом Петроградом? И что с самим собой?

С самим собой, возвратясь разруганным от Голицына, пожалуй вот как: над раскрашенной картой города подпереть голову двумя руками и рассматривать ее без перерыва. Такое сосредоточенное занятие хотя и не выводило его из тупика, но все-таки помогало в чём-то медленно разобраться.

На этой отличной карте, где указаны были и все мелкие улицы города, и особо — каждая полицейская часть, и расположение каждого запасного батальона, все 16 районов войсковой охраны были закрашены разными цветными карандашами — и теперь-то было отчётливо понятно, что военный бунт потому и мог произойти именно в 8-м районе, что его должен был охранять именно Волынский батальон, который и взбунтовался.

Затем не могло быть предусмотрено, что войсковым частям придётся так подолгу оставаться в нарядах вдали от своих казарм,— и с разных мест поступали теперь жалобы, что войска не кормили со вчерашнего дня.

А с патронами совсем плохо: склады на Выборгской стороне — уже в руках мятежников. И к остальным не пробиться.

Стал Хабалов энергично доставать патроны, для этого энергично телефонировать. У своих гвардейских батальонов ни у кого лишнего запаса не оказалось. Позвонил в Кронштадт: прислать патронов, а лучше б и войско. Но отвечал комендант Кронштадта, что сам опасается за крепость и ничего прислать не может.

Тогда телефонировали на мирную Петербургскую сторону, в Павловское и Владимирское училища. Эти — имели запас патронов, но как послать их действующим батальонам? — ведь патроны по пути могут попасть в руки мятежников! Действительно. Отказались от этого замысла.

Ещё в каком-нибудь полку? В 181-м? Да, спутал, 181-го в Петрограде уже нет. Должно быть много в 1-м пехотном — так до Охты не добраться.

А снаряды? Со снарядами сложилась та же история, даже горше: подтянулись к штабу две артиллерийских батареи, но снарядов — только 8 штук. А снаряды — на той же Выборгской стороне, и даже дальше, на станции Кушелевка.

Да если рассудить, так снаряды — зачем они и нужны в городских волнениях? Где ж тут в городе стрелять?

Непонятно было, почему отряд Кутепова не потеснил мятежников к Неве, как было ему приказано. Неудача кутеповского отряда особенно угнела Хабалова.

Одно подавало надежду: что, кажется, соберётся какой-то резерв на Дворцовой площади. Обещались. Во-первых, две роты преображенцев. Да одна рота гвардейских стрелков. Да ещё одна рота кексгольмцев. Да оказалось теперь, ещё дозвонясь, измайловцы и егеря как будто тоже могут прислать. Да ещё ж в запасе — ораниенбаумская пулемётная полурота, хотя стрелять не готова. Да ещё ж и две батареи, как-никак, хоть без снарядов, но пугать.

А уж ненадёжный Павловский батальон и трогать не надо, пусть сидят в казармах.

Нет, силы приличные собирались у Хабалова. Лишь бы они не отказались подчиняться приказам. Не было уверенности, что будут подчиняться.

Силы собирались приличные — теперь оставалось обдумать, как их применить.

Правда, было и такое сообщение: что офицеры Измайловского батальона настроены войти в соглашение с Родзянкой. А что ж? Может быть это и неплохая мысль, и самый лучший бескровопролитный выход.

Тут приехал в градоначальство потемнелый маленький злой генерал Беляев. Хабалов и Тяжельников отдали ему по форме все доклады о происходящем, показали по карте. Беляев стал давать указания, но в такой общей форме, не называя ни районов, ни улиц, а — „усмирить, подавить, привести к порядку'', что никак было не ухватить: так что же именно делать? и вот — с отрядом на Дворцовой площади?

Впрочем, военный министр тут же и объявил, что командовать всеми войсками в Петрограде назначает генерала Занкевича, то есть начальника Генерального штаба, старшего из генералов в распоряжении министра.

Объявил, и даже вызвал Занкевича сюда, в штаб,— и привёл Хабалова в окончательное расступление ума: в каком смысле назначался Занкевич командующим всеми войсками? В смысле командования гвардией, в замену заболевшему Павленке? Или в смысле общего командования войсками Округа? А Хабалов, что же,— остаётся на посту или смещён? Не было ясно сказано, а Хабалову не слишком удобно и спросить. Занкевич с Генеральным штабом — да, подчинялись военному министру, он Округ — не подчинялся ему, Хабалов был назначен самим Государем и ответствовал перед Ставкой.

Да он так устал, перетяжелился ото всего происходящего, что охотно бы сейчас и ушёл в отставку. Но — не сказано было ему покинуть пост, и не мог его отставить военный министр.

А что войска отдают Занкевичу — так и легче.

И осмелился Хабалов передать Беляеву эту благоразумную мысль, передавшуюся ему от измайловцев: а не следует ли войти в сношение с Председателем Государственной Думы?

Маленький, почти лысый Беляев смотрел через пенсне остро насторожённо. Но ничего не выразил, никак не понять.

А пока генералы занимались между собой — оказывается, в градоначальство прибыл великий князь Кирилл Владимирович, и его принял Балк. Великий князь уселся в кресло за главным столом, выговорил градоначальнику, что тот ему систематически не докладывал,— и потребовал подробного отчета о положении.

Все десять-пятнадцать великих князей всегда нависали как сверхштатные генералы самой неопределенной высокой должности.

Градоначальник доложил, как понимал: что дела вовсе худо, и он полагает, что к ночи вся столица будет в руках бунтовщиков.

Стройный Кирилл Владимирович, бритый, лишь с пушистыми усами, налитою шеей и лицом, и маленькими, требовательными глазами, допрашивал как имеющий власть.

А как же войска из окрестностей?

Да всего два эскадрона, и те бездействуют. А другие ещё не подошли.

А казаки?

Да не выводим, не надёжны.

Великий князь почти закрыл глаза. Закинул голову. И — почти простонал:

— Да-а-а... Все великие князья просили *его* дать конституцию — но он и слышать не хочет.

Узнал, что тут Беляев. Прошёл к нему. И посоветовал как спасение государства: немедленно сменить Протопопова.

И Хабалову выразил неудовольствие: почему не докладывает о военном положении?

Хабалов, как мог, промычал великому князю о происходящих действиях. (Если бы он сам мог понять их!)

Великий князь спросил, что ему делать с гвардейским экипажем.

Осмелился Хабалов: если Его Императорское Высочество уверены, что экипаж против мятежников действовать будет,— то пусть он присоединяется к резервам у Зимнего дворца. А если заявит, что *против своих* стрелять не будет — то лучше пусть остаётся в казармах.

Великий князь поводил губами, похмурился. Нет, поручиться за весь экипаж — не поручится. А более надёжную учебную команду — пришлёт.

Продолжение следует

Иосиф БРОДСКИЙ

В горах

1

Голубой саксонский лес.
Снега битого фарфор.
Мир бесцветен, мир белес,
точно извести раствор.

Ты, в коричневом пальто,
я, исчадье распродаж.
Ты — никто, и я — никто.
Вместе мы — почти пейзаж.

2

Белых склонов тишь да гладь.
Стук в долине молотка.
Склонность гор к подножью дать
Может кровли городка.

Горный пик, доступный снам,
фотопленке, свалке туч.
Склонность гор к подножью, к нам,
суть изнанка их круч.

3

На ночь снятое плато.
Трепыханье фитиля.
Ты — никто, и я — никто:
дыма мертвая петля.

В туче прячась, бродит Бог,
ноготь месяца грызя,
Как пейзажу с места вбок,
нам с ума сойти нельзя.

4

Голубой саксонский лес.
К взгляду в зеркало и вдаль
потерявший интерес
глаза серого хрусталь.

Горный воздух, чье стекло
вздох неведомо о чем
разбивает, как ракло,
углекислым кирпичом.

5

Мы с тобой — никто, ничто.
Эти горы — наших фраз
эхо, выросшее в сто,
двести, триста тысяч раз.

Снизив речь до хрипоты,
уподобить не впервой
наши ребра и хребты
ихней ломаной кривой.

6

Чем объятие плотней,
тем пространства сзади — гор,
склонов, складок, простыней —
больше, времени в укор.

Но и маятника шаг
вне пространства завести
тоже в силах, как большак,
дальше мяса на кости.

7

Голубой саксонский лес.
Мир зазубрен, ощутив,
что материи в обрез.
Это — местный лейтмотив.

Дальше — только кислород:
в тело вхожая кутья
через ноздри, через рот.
Вкус и цвет — небытия.

8

Чем мы дышим — то мы есть,
что мы топчем — в том нам гнить.
Данный вид суть, в нашу честь,
их отказ соединить.

Это — край земли. Конец
геологии; предел.
Место точно под венец
в воздух вытолкнутых тел.

9

В этом смысле мы — чета,
в вышних слаженный союз.
Ниже — явно ни черта.
Я взглянуть туда боюсь.

Крепче в локоть мне вцепись,
побеждая страстью власть
тяготенья — шанса, ввысь
заглядевшись, аниз упасть.

10

Голубой саксонский лес.
Мир, следящий зорче птиц —
Гулливер и Геркулес —
за ужимками частиц.

Сумма двух распадов, мы
можем дать взамен числа
абажур без бахромы,
стук по комнате мосла.

11

«Тук-тук-тук» стучит нога
на ходу в сосновый пол.
Горы прячут, как снега,
в цвете собственный глагол.

Чем хорош отвесный склон,
что, раздевшись догола,
все же — неодушевлен;
то же самое — скала.

12

В этом мире страшных форм
наше дело — сторона.
Мы для них — подножный корм,
многоточье, два зерна.

Чья невзрачность, в свой черед,
лучше мышцы и костей
нас удерживает от
двух взаимных пропастей.

13

Голубой саксонский лес.
Близость зрения к лицу.
Гладь щеки — противовес
клеток их нему концу.

Взгляд, прикованный к чертам,
освещенным и в тени,—
продолженье клеток там,
где кончаются они.

14

Не любви, но смысла скул,
дуг надбровных, звука «ах»
добиваются — сквозь гул
крови собственной — в горах.

Против них, что я, что ты,
оба будучи черны,
ихним снегом на черты
наших лиц обречены.

15

Нас других не будет! Ни
здесь, ни там, где все равны.
Оттого-то наши дни
в этом месте сочтены.

Чем отчетливей в упор
профиль, пористость, анфас,
тем естественней отбор
напрочь времени у нас.

16

Голубой саксонский лес.
Грез базальтовых родня,
Мир без будущего, без —
проще — завтрашнего дня.

Мы с тобой никто, ничто.
Сумма лиц, мое с твоим,
очерк чей и через сто
тысяч лет неповторим.

17

Нас других не будет! Ночь,
струйка дыма над трубой.
Утром нам отсюда прочь,
вниз, с закушенной губой.

Сумма двух распадов, с двух
жизней сдача — я и ты.
Миллиарды снежных мух
не спасут от нищеты.

18

Нам цена — базарный грош!
Козырная двойка треф!
Я умру, и ты умрешь.
В нас течет одна пся крев.

Кто на этот грош, как тать,
точит зуб из-за угла?
Сон, разжав нас, может дать
только решку и орла.

19

Голубой саксонский лес
Наста лунного наждак,
Неподвижности прогресс,
то есть — ходиков тик-так.

Снятой комнаты квадрат.
Покрывало из холста.
Геометрия утрат,
как безумие, проста.

20

То не ангел пролетел,
прошептавши: «Виноват».
То не бдение двух тел.
То две лампы в тыщу ватт

ночью, мира на краю,
раскаляясь добела,—
жизнь моя на жизнь твою
насмотреться не могла.

21

Сохрани на черный день,
каждой свойственный судьбе,
этих мыслей дребедень
обо мне и о себе.

Вычесть временное из
постоянного нельзя,
как обвалом, верх и низ
перепутать, не грозя.

1984

◆◆◆

Теперь, зная многое о моей
жизни — о городах, о тюрьмах,
о комнатах, где я сходил с ума,
но не сошел, о морях, в которых
я захлебывался, и о тех, кого
я так-таки не удержал в объятьях,—
теперь ты мог бы сказать, вздохнув:
«Судьба к нему оказалась щедрой»,
и присутствующие за столом
кивнут задумчиво в знак согласья.

Как знать, возможно, ты прав. Прибавь
к своим прочим достоинствам также и дальнозоркость.
В те годы, когда мы играли в чха
на панели возле кинотеатра,
кто мог подумать о расстояньи
больше зябнущей пятерня,
растопыренной между орлом и решкой?

Никто. Беспечный прощальный взмах
руки в конце улицы обернулся
первой черточкой радиуса: воздух в чужих краях
чаще, чем что-либо, напоминает ватман,
и дождь заштриховывает следы,
не тронутые голубой резинкой.

Как знать, может, как раз сейчас,
когда я пишу эти строки, сидя
в кирпичном маленьком городке
в центре Америки, ты бредешь
вдоль горчичного здания, в чьих отсыревших стенах
томится еще одно поколенье, пялясь
в серо-буро-малиновое пятно
нелегального полушарья.

Короче — худшего не произошло.
Худшее происходит только
в романах, и с теми, кто лучше нас
настолько, что их теряешь тотчас
из виду, и отзвуки их трагедий
смешиваются с пеньем веретена,
как гуденье далекого аэроплана
с жужжаньем буксующей в лепестках пчелы.

Мы уже не увидимся — потому
что физически сильно переменились.
Встреться мы, встретились бы не мы,
но то, что сделали с нашим мясом
годы, щадящие только кость;
и собаке с кормилицей не узнать
по запаху или рубцу пришельца.

Щедрость, ты говоришь? О да,
щедрость волны океана к щепке.
Что ж, кто не жалуется на судьбу,
тот ее не достоин. Но если время
узнает об итоге своих трудов
по расплывчатости воспоминаний,
то — думаю — и твое лицо
вполне способно собой украсить
бронзовый памятник или — на дне кармана —
еще не потраченную копейку.

1984

МНОГОЦВЕТНЫЙ МИР АЛЕКСАНДРА АЛЬХОВСКОГО



У Тучкова моста

Имя этого прекрасного живописца должно было хорошо запомниться посетителям выставок в Манеже, а также на стендах вернисажей в просторных залах Союза художников на улице Герцена.

Он вырос в семье интереснейшего мастера живописи, колоритнейшего художника Д. Б. Альховского — неунывающего жизнелюба, ветерана Великой Отечественной, ученика прославленного Александра Осмеркина, чья великая мудрость, как мы особо отметим, передалась и во втором поколении его воспитанника.

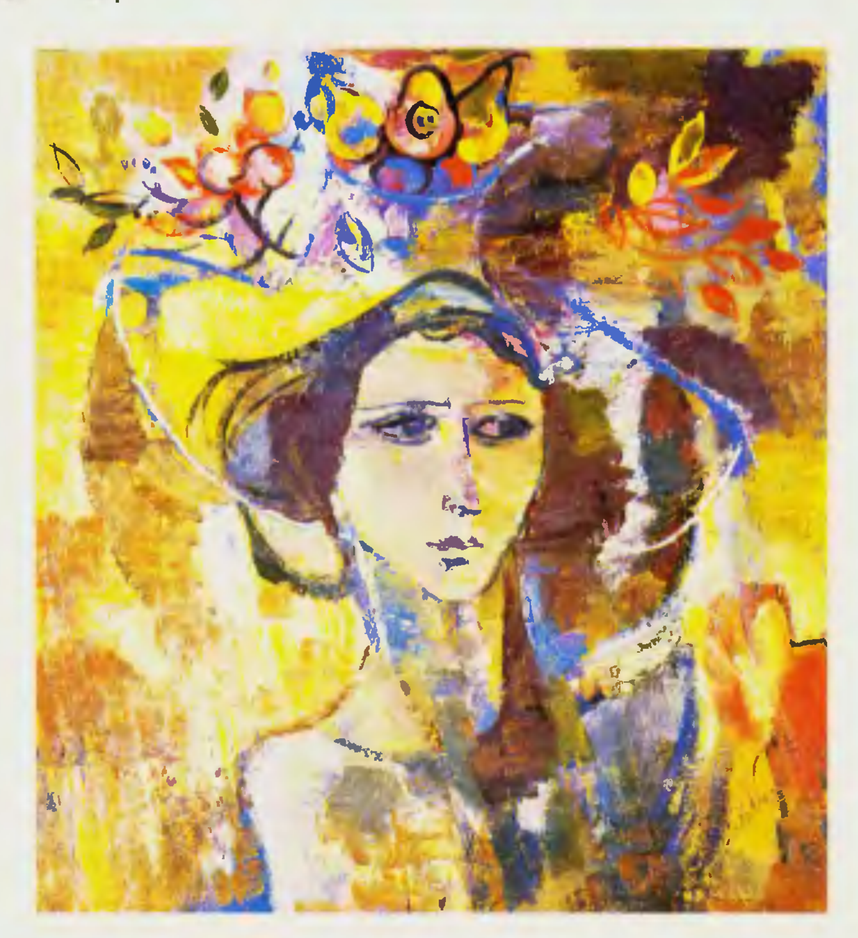
Александра Альховского — неутомимого искателя — можно смело приобщить к сегодняшним художникам-авангардистам, хоть он и не примыкал к какой-либо группировке. Сюжеты его полотен — порой ослепительно яркие, смелые, всегда крепко скомпонованные — преисполнены современных ритмов, энергичных красочных сочетаний. Поневоле на память приходит пастернаковское: «Мелькает движущийся ребус...»

И есть в этих отлично сработанных, пульсирующих полотнах Александра Альховского беспокойная, бьющая в берега струя нашей кипучей современной жизни, словно бы стремящаяся осмыслить и постичь явления сегодняшних дней.

Борис СЕМЕНОВ



Морозный вечер



Осень



Ночь на канале



Натюрморт с керосиновой лампой



Церковь в Гатчине



Флаконы

Владимир
КАНТОР



Повесть

Рис. Г. Ковенчука

Памяти В. Ф. Кормера

Оказалось ясным, что в рассказе неизвестного говорится отнюдь не о тех всем известных крокодилах, которые показываются теперь в Пассаже, а о каком-то другом, постороннем крокодиле... Сей же последний крокодил, конечно, мог быть и больше и вместительнее теперешних двух крокодилов, а следственно, отчего же бы он не мог проглотить известных лет господина, и тем более образованного?

Ф. М. Достоевский

По улице ходила
большая крокодила.
Она, она
голодная была!

Слова уличные

Глава I. ПОХМЕЛЬЕ

Лева уже давно привык к своей внешности человека с брюшком, для женщин не особенно привлекательного, но он зато и не обольщался насчет своей удачливости у женщин. Широкое лицо, глубокие залысины на большом черепе, китайский разрез глаз, почти отсутствующий подбородок — он хорошо изучил свое лицо и не старался его украсить, находя особое удовольствие в неряшливости внешнего вида,— вязаных свитерах, рельефно обрисовывающих его толстые бока, частой небритости, самых маленьких и дешевых очках, которые обычно покупают небогатые родители младшеклассникам, да те еще бывают недовольны этими уродливыми круглыми маленькими стеклышками в пластмассовой оправе. Еще в молодости он пытался бороться с перхотью, обильно посыпавшей его голову, потом борьбу прекратил, махнул рукой, а перхоть взяла да и уменьшилась, почти совсем пропала, лишний раз подтвердив Леве,

что его участь — жить спустя рукава и не обращая на себя внимания, не заботясь о себе.

Так и в работе. Пьянку с друзьями и даже случайными собутыльниками он предпочитал карьере, так и прогуляв возможности. Человек он был талантливый, по молодости много начитавший в университете, обладавший хорошей памятью и, несмотря на пьянку, гибким умом, цену себе знал, знал, что и другие ему цену знают. Но когда из вышестоящего учреждения как-то позвонили в журнал и предложили ему прийти побеседовать о возможностях более перспективной работы за рубежом, он не пришел, а напился и позвонил *туда* совершенно пьяный, нес какую-то чушь о свободе выбора, о независимости личности, а потом просто бросил трубку. Но его ценили, фокус этот простили, и сотрудник вышестоящего учреждения сам приехал на следующий день беседовать с Левой. Но Лева, похмеляясь, напился, как не удерживали его сотрудники-собутыльники, знавшие о приезде вышестоящего товарища. Леву хотели они даже спрятать, когда тот приехал, но Лева вырвался, подошел, широко и глупо улыбаясь, затем нарочито грассируя, спросил: «Я вас вчега не о-очень э-эпатиговал? Помилуй Бог, это вышло случайно!» И перекрестился. На престижную работу его не взяли, зато друзья, наблюдавшие со стороны эту сцену, помирали со смеху, и эта история служила темой почти двухнедельных рассказов.

Лева знал, что своим пьяным поведением дает материал для насмешливо-добродушных историй о себе, иногда и сам над ними смеялся, то есть над собой, если не был в обидчивом настроении. Знал он и то, что спьяну порой говорит о таких вещах, о которых человеку воспитанному и образованному говорить считается неудобным, но он ничего с собой не мог поделать. Похмельным утром, просыпаясь, он с ужасом пытался вспомнить, что наговорил вчера, как его неудержимо несло, как он хвастался, как кого-то бранил, как рассказывал о таких интимностях своей жизни, что наутро хотелось удавиться. Но не давился, не вешался, а давал себе слово отныне молчать, не трепаться, пусть треплются другие, при этом в глубине души знал, что слова не сдержит, и в самом деле не сдерживал. Лева знал, что его тем не менее любят и прощают ему многое. Когда говорили с ним друзья нормально, не подшучивая, они называли его Левой, когда же с подначкой — то Лео. «У китайцев Мао, а у нас Лео, двоюродный брат Мао». Шутка была дежурная и дурацкая, намекала на китайские Левины глаза и на его настоящее имя — Леопольд. Но полным именем он именовал себя только в официальных ситуациях. Он не стыдился своего иностранного имени, напротив, даже гордился, оно имело историю, а история — это то, считал Лева, что превращает животное в человека, да и вообще приобщает к мировому духу. И все же ему приятно было называться Левой, как-то проще и понятнее для всех оно звучало.

Гораздо больше смущала его фамилия — Помадов. Вообще-то их коренная фамилия была Сидоровы. Но когда его отец, крупный партработник тридцатых годов, стал входить в силу, ездить на «эмке», жить в большой квартире, он сказал, что Сидоровых много, что звучит это банально, и выбрал, как ему показалось, неординарную фамилию — Помадов. Тогда с переменой фамилии дело было простое: захотел, выбрал любую, и, пожалуйста, его прихоть удовлетворяли. Отцу казалось, что произносится Федор Помадов (вместо грубо-рокочущего — Федор Сидоров) много благозвучнее. И пришлось Леве носить парфюмерную фамилию, вовсе не являясь любимцем дам. А друзья-острословы всячески изощрялись над его фамильным прозвищем, расшифровывая его, особенно в те моменты, когда Лева *адски* напивался, как «пом. адов», «помощник адов», а то и просто усекая фамилию: Лева Адов. А один из них, Кирхов, даже термин придумал — «помадовщина». И все-таки его любили, несмотря на его неряшливость, несобранность, даже распущенность, безалаберность и словесное похабство, а Леве казалось, что такая тесная дружба и всепрощение дотянется до самой смерти, даже в смерти как-то поможет, что только на Западе, невзирая на его либерализм и техническое совершенство, а может, и благодаря им, каждый умирает в одиночку. А у нас есть общинный дух: на миру и смерть красна — недаром так говорят.

Лева шел рядом с Сашей Паладиным. Голова его раскалывалась. Сегодня было как раз то самое похмельное утро, когда вчерашний вечер вспоминался с содроганием и краской стыда. Друзья, всячески выражая ему сочувствие, повели в пивную, чтобы он «полечился», пока не прибыло начальство. У Саши Паладина оказалась с собой пайковая вобла из распределителя, по поводу которой сардонический Федор Кирхов заметил, что вобла — традиционное меню начальственных пайков: в двадцатые потому, что она заменяла дефицит, а в семьдесят девятом потому, что сама стала дефицитом, в магазине ее не купишь, как, впрочем, и тогда нельзя было купить. Кирхов сказал, что в пивную подойдет позже, и они двинулись вшестером. Впереди маленький бледный Скоков с длинноволосым, чернобородым Шукуровым, человеком с Волги, считавшим себя славянофилом. За ним широкоплечий, толстый и тоже бородатый Илья Тимашев, обнимавший за плечи их машинистку, черноволосую Олю, увязавшуюся за мужиками в пивную. Тимашева Лева недолюбливал, он казался ему слишком удачливым, даже кандидатскую сумел, сукин сын, защитить до тридцати лет. Сейчас ему тридцать пять, статьи по истории культуры модные пишет, договор на книжку заключил, короче, слишком сам по себе, от коллектива отрывается, хотя вроде бы и пьет со всеми вместе, но, как правильно ему сказал Вася Скоков: «Ты, Тимашев, вроде бы и с нами сидишь, водку заглатываешь, но пьешь ты не с нами. Ты как чужой». С этим Лева был согласен, Тимашев и ему казался чужим. То ли дело Саша Паладин, хоть и сын начальника, и у него тоже своя жизнь, родитель с машиной, шофером и дачей, распределитель, а свой парень. Даже Кирхов и тот, хоть, конечно, настоящий *Воланд*, что-то в стол пишет, совсем другой круг друзей: сомнительные литераторы и художники, а пьет со всеми, всегда можно к нему завалиться и выпить или к себе притащить. А Тимашев, тот только на работе пьет, а потом ни-ни, сразу сваливает домой. А ему, Леве, уже под пятьдесят, сорок восемь, он не стремится к карьере, хотя давно мог бы стать доктором, не то что кандидатом, он второй раз ушел от своей второй жены Инги, с которой прожил двадцать шесть лет (его первая жена, Ленка, не в счет, с ней он месяцев пять прожил, и расстались они к обоюдному удовольствию). Да, с Ингой все было сложно, непросто. Он ушел от нее уже почти как полтора года, не думая о другой бабе (или держа это в тайниках сознания), но через два месяца появилась Верка, молодая машинистка из соседнего института, уходившая в тот момент от мужа; и в результате скоропалительного романа он отправился ее провожать на поезд в Гурзуф, да на этом же поезде с ней и уехал. Там они прятались по всему Гурзуфу от Веркиного мужа, а теперь Лева готовился на ней жениться, потому что она забеременела. Ему давно хотелось сына (у Инги детей не было, да, видимо, и не могло быть), но пока он снимал комнату на Войковской и жил отдельно от всех, потому что никак не мог научиться ладить с Региной, дочкой Верки от первого брака, да и Веркина мать, которая там часто бывала, его раздражала, потому что все время пыталась выражать свое недовольство их союзом.

Скоков и Шукуров свернули с Кропоткинской в Еропкинский переулок, за ними потянулись Тимашев с Олей. Лева поморщился, он помнил, как на одной из редакционных пьянок Тимашев держал Олю за грудь, а она млела и перебирала его волосы. Лева хотел пристроиться и взялся было за другую грудь, но получил по физиономии. Он видел, что Оле очень нравился Тимашев, но знал, что он не только не женится на ней, но и в долгие любовницы не возьмет, слишком жены боится, а девчонка, дура, надеется. И раздосадованный своей неудачей и удачей Тимашева, он улучил момент и сказал ей тогда с прямотой, которая была ему свойственна и которую тот же Тимашев называл бесцеремонной, сказал, чтоб знала, что ей не на что рассчитывать: «У тебя всегда будут неудачи в личной жизни. У тебя такой характер, что счастливой тебе не быть. Ты ужасно невезучая, это на тебе написано». Она расплакалась, а Саша Паладин, слышавший его рацею, сказал: «Ты что, Лео, того? С ума сошел?» И принялся утешать плачущую дурочку. Он вообще был добрый. А Лева вслед им произнес, выпятив грудь: «Я сказал честно, то, что есть». Оля смотрела на него теперь искоса, а к Тимашеву была по-прежнему привязана.

Себе Лева казался человеком гораздо более прямым, честным и мужественным, чем Тимашев: захотел — и ушел от жены, захотел — и напился вчера в какой-то компании, наплевав, что его Верка ждала, а потом еще и переспал с матерью зазвавшего его к себе в дом мужика. Потому что он не трепло и не позер, а свободный человек и не боится общаться с простым народом. Голова у Левы трещала после вчерашнего: пили и водку, и портвейн, и ром, а от такой мешанины, естественно, в глазах и в душе была муть: непонятно, как выкатился он из дому этого незнакомого мужика, который требовал от него остаться после всего, что было и что Лева проделывал с его матерью почти у всех на глазах, что с него за это еще бутылка, но Лева все же выскочил из подъезда и добрался-таки на попутке до Войковской. Нет, и в самом деле, думал он, ему вчера в дороге пришла в голову хорошая мысль, что *жизнь есть калейдоскоп*. Мелькают разные лица, меняются ситуации, возникают новые узоры... Это заслуживало *философского* анализа, но думать, сопоставлять и размышлять не было, однако, никаких сил. Он и ноги-то еле передвигал, прямо пóтом от слабости обливался, казалось, что не дойдет до нужного места, да и не дошел бы, если бы не приятели, которые невольно влекли его за собой. День обещал быть жарким, но дождливым. С утра парило, и на горизонте вдалеке висела туча. Лева не поспевал идти быстро, и Саша Паладин приотстал с ним вместе. Еще утром, когда Лева весь растерзанный появился в редакции, дважды поздоровался с ответственным секретарем, за что получил от того двусмысленную ухмылку, потом спросил у кого-то бутылку пива, Саша сказал, что надо помочь товарищу, и вот они и отправились в пивную на Метростроевской, а Саша продолжал опекать его.

— Где это ты вчера так? — спросил Паладин, отчасти участливо, но и с немалым ехидством.— Всё свои матримониальные дела решаешь?.. Да расскажи, не стесняйся, вижу ведь, что хочешь.

Так уж было заведено в их компании, что о своих приключениях все рассказывали, немного, конечно, прихвастывая, но в сторону увеличения своей греховности, отнюдь не преуменьшения. Словно это были повествования о рыцарских приключениях, толь-

ко Круглый стол короля Артура заменяла пивная стойка. Особенно как рассказчик отличался Лева, не скрывавший ничего и ничего не приукрашивавший. А Саша Паладин потом умел так воспроизвести любой рассказ приятеля, что он надолго оставался в памяти всех остальных, иначе забывших бы о нем. Именно с его слов все повторяли фразу Скокова, брошенную по пьянке пьяному же Шукурову: «Ты не гусар, ты улан! Понял? Ты недостоин быть гусаром... Ты улан, а не гусар!» Что он вкладывал в понятия «гусара» и «улана», на следующее утро не мог и сам Скоков объяснить, но фраза в пересказе Саши осталась, и стоило Скокову спьяну завестись, ему тут же говорили: «Да успокойся, мы понимаем, что он (любой противник Скокова в тот момент) улан, а не гусар. Чего с ним связываться!»

— Ты где ночевал-то? У Верки или на Войковской? — продолжал проницательный Саша.— Верка, небось, теперь переживает не хуже Инги. И чего это, скажи ты мне, друг мой Лео, таким балбесам, как ты, достаются такие хорошие бабы?

Лева невольно самодовольно улыбнулся. Ингу ребята уважали, куртуазно с ней раскланивались при встречах, она была маленькая, худенькая, на ножках-спичках, интеллектуалка, постоянно боровшаяся за справедливость, человек, как и Лева, выпечки конца пятидесятых, верившая в Левину глубокую порядочность, в ум, в знания, в то, что он непременно не просто живет, а во имя благородной цели, очень страдавшая от его пьянства, думавшая даже образумить его тем, что двадцать лет назад прогнала его от себя, тогда-то Лева первый раз ушел от нее, потом вернулся. А когда ушел второй раз, она смотрела на него жалобными глазами, пучок волос казался ободранным собачьим хвостиком, она ужасно боялась в старости остаться одна, а детей у них не было. И чтобы успокоить свою совесть, Лева, уже давно не любивший Ингу, но прикипевший к ней за двадцать-то шесть лет почти совместной жизни, чтобы легче провести эту ампутацию части самого себя, принялся пить, а в процессе пьянки и познакомился с Веркой. Конечно, Инга была кандидат, дочь академика, почти не общавшаяся с отцом из-за его «консервативных взглядов», ее волновала судьба русской культуры, к ней приходили известные опальные и полуопальные мыслители и поэты, споры и разговоры могли идти ночь напролет, но Верка была на двадцать лет моложе, и, как Леве показалось, он в нее влюбился. Тем более, что от Инги-то он уходил не к другой женщине, а потому, что все перегорело. А единства взглядов для совместной жизни Леве было мало, да и вообще хотелось пожить абсолютно свободным искателем приключений. К Верке друзья относились проще, похлопывали по плечу, при встречах не упускали потискать. Кирхов, длинный сардонический красавец, на одной из пьянок, когда Лева отрубился, даже попытался затащить Верку в постель, приводя ей один только довод, когда она вырывалась из его клешней: «Ты что, дура? Не хочешь? Ты что, дура?» Попытка его оказалась безуспешной, но все равно она показывала большую раскованность приятелей в отношении к Верке. Да и была она, конечно, соблазнительней, моложе. Да, тут все было другое. Инга знала ему цену, потому что помнила его еще молодым, непьющим, жадно глотающим книги; несмотря на ранний брак и быстрый развод, несмелым с женщинами, а Верка уже получила пятидесятилетнего мужика с брюшком, с залысинами, в очках, циничного, почти всегда пьяного, хотя и любимого друзьями и в журналистском кругу считавшегося талантливым. Верке льстило, что ее муж (так она его называла, без загса) пишет статьи за академиков, за начальников и других разнообразных деятелей и что его перо считается самым умным и бойким. А Инга считала это падением, ее мучило, что все почти их сверстники, гораздо менее способные, чем Лева, давно уже доктора или хотя бы кандидаты. В этих своих мучениях она даже доходила до абсурда. Как-то на похоронах двух докторов наук, попавших в автокатастрофу, глядя на их однокурсников, уже важных и солидных, Инга принялась трясти Леву за плечо и шептать зло: «Ты посмотри, все уже доктора, а ты даже не кандидат». Лева был уже изрядно пьян, почти лежал лицом в салате и, размякший, хотел было пробормотать нечто жалобное, но находившийся тут же Кирхов хехекнул и сказал: «Х-хе! Доктора в гробу, а твой за столом, хоть, конечно, спорить не буду, он большой болван». Лева подхватил его слова, поднял голову из остатков пищи и заорал: «Дура! Зато я живой! Тебе лучше мертвый доктор, чем живой муж?!» Но вообще-то он ее понимал, слишком много вдвоем было переговорено, слишком много вместе прочитано, слишком много было общих кумиров и старых друзей. С Веркой все было иное: он давал читать ей любимые книги, которых она не читала раньше, из друзей те, что были второстепенными, недавними, выходили на первый план, старых он оставлял Инге.

— Ты что это, Лео, сегодня такой задумчивый? — не отставал Саша Паладин.— Или есть, что вспомнить? Поделись с товарищами.

Они уже вышли к Метростроевской. Спутники их быстро перебежали дорогу, а Лева с Сашей задержались, пропуская машины. Лева и хотел бы рассказать про вчерашнее, как ни мучило его похмельное раскаяние и отвращение к себе за сделанное и наговоренное спьяну, но язык не ворочался в сухом рту. Он понимал, что эти рассказы вокруг пивной стойки заменяли исповедь, облегчали душу, а иногда в таком разгово-

ре можно было получить и дельный совет. В совете он нуждался, ибо ночью, около дома на Войковской, ему такое померещилось, что жуть.

Началось все с пустяка, с бутылки на четверых. А точнее — чуть раньше: с выволочки, учиненной ему главным редактором. С утра они с Сашей выпили пива, затем приехал худенький, усатенький Сан Морковкин на своих «Жигулях», в багажнике у него нашлось полдюжины пива, и Лева с Сашей, сидя в машине, их тоже выпили. У Морковкина шла статья, и он всячески обхаживал Сашу, своего редактора. Но вчера у него не было денег, поэтому приехал он только с пивом. А потом Леву вызвал Главный. Он сидел за столом, сбоку сидел и. о. зам. главного — Чухлов Клим Данилович, а с другого боку пришлось сесть Леве.

— Садитесь, послушайте, чтоб тоже знали,— как всегда отрывисто и косноязычно говорил Главный (Лева сел, стараясь дышать в сторону).— Просьба такая — сказать,— продолжал Главный,— чтобы по всем этим вопросам писать свои предложения, имея в виду, чтобы они были выполнимы. Надо выявить отношенческие и аналитико-размышленческие аспекты. Не только чисто отрицательное как бы положение, это я знаю, это тоже можно, отрицательное, но надо переломить ситуацию на позитивные рельсы. А факты сами по себе ничего не дают, набор фактов — это ничего, могут быть факты положительные и отрицательные. У нас есть недостатки, но надо, чтоб все знали, что мы в журнале стараемся планировать их улучшение. И в соответствующих инстанциях это известно, чтоб вы знали. То есть, о чем я призываю? Собраться и честно поговорить. Ясно, будем говорить о работе в журнале, это ясно. Если лучше устраивает утром, проведем утром. Можно Ленина посмотреть. Я сам, не из книг, такие цитаты у Ленина нашел, что прямо к нам о работе. Пришлось тексты почитать, а то, знаете, кочуют одни и те же, из книжки в книжку, а я взял и прочел. У него удивительно много умных мыслей было. Конечно, так впрямую, как он, сейчас писать нельзя, слишком смело, но мимоходом, вскользь, можно кое-что. Вот, скажем, вы, Леопольд Федорович, это же ваш отдел — предложите тему, актуальную, в связи с теорией развитого социализма, плюс острую. Не очень, но чтоб было понятно, что учение о развитом социализме имеет все черты настоящей теории. А вы зачем, кстати, так много у Гамнюкова в статье вычеркнули? Он пожаловался уже, мне Фетр Николаич звонил и говорил, что так недопустимо.

— Но вы мне сами сказали сократить на десять страниц,— подскочил возмущенный Лева, забывая дышать в сторону.

— А вы не пререкайтесь,— покраснев, крикнул Главный,— не пререкайтесь! Умейте слушать! Я не такое терплю, когда мне выговаривают. Я вам сказал последнюю оценку, а вы слушайте. Я прочитал сейчас, как вы сократили. Всю ночь сравнивал, а у меня другие дела есть, чтоб вы знали. Я один раз даже за голову схватился! Вы там целую мысль в одном абзаце вычеркнули. Надо с умом делать, а не кое-как. Я это вам прямо говорю, один на один, пока мы тут втроем сидим. Вы в работе должны показывать весь ум своего мышления. В работе тоже нужна культура этики. Вот вы бы придумали актуальную проблему. Это будет все же полезней, чем пустое место. А ваш недочет в работе над статьей мы, ясно, зафиксируем в плане выговора. Вы, Клим Данилович, подготовьте проект выговора по Помадову, а я потом проправлю и подпишу. Что вы удивлены? Мы на этот вопрос по поводу вас с Климом Даниловичем уже обменивались. А потом от вас пахнет, это тоже в проект вставьте.

— Да это же пиво,— запричитал Лева.

Усатый и громоздкий Клим Данилович развел руками:

— Нехорошо это как-то получается, Леопольд Федорович,— и вышел из кабинета. Лева с ненавистью посмотрел ему вслед. Когда-то Чухлов, весьма посредственный автор, приносил целые портфели водки и коньяка, чтоб его только печатали, и ребята считали его своим, выпив с ним не один литр. Когда освободилось место редактора, Лева рекомендовал Чухлова на это место как «своего». Его взяли, и он очень пришелся по душе Главному. Тут ушел прежний зам, милейший человек, всегда под градусом. Когда он напивался, то спрашивал собутыльника: «Ты интеллигент в первом или во втором поколении?» Если собеседник отвечал, что во втором, то зам становился на колени и норовил поцеловать у интеллигента во втором поколении руку. «Ты — наша надежда, надежда России»,— бормотал он при этом. Он ушел, а на его место поставили Чухлова, который смотрел в рот Главному и ввел систему сержантских понуканий. «Помадов! Тебя Главный вызывает! Бегом! бегом!» Лева обижался, удивлялся, как незначительный сдвиг ситуации резко переменил отношения, раздражался, временами ненавидел Чухлова, но все его распоряжения выполнял, потому что давал их не просто Чухлов, а и. о. зам. главного редактора, то есть лицо, облеченное ответственностью. И когда, скажем, Чухлов хвалил его, Лева чувствовал, что испытывает от его похвалы удовольствие, потому что это похвала какого-никакого, а все же *начальника*.

— Я вам буквально все сказал,— бросил Главный.— Главное, плохо работаете. Это надо учесть.

Лева принадлежал к тому типу людей (и втайне знал это), что внутренне очень

зависят от других, тем более от начальства. Лева не лез в чины, считая себя человеком духа, но как-то так случилось, что основное свое время он тратил на правку, переписывание, а то и просто писание статей вышестоящих товарищей. Как и многие русские люди этого типа, Лева испытывал по отношению к начальству двойное чувство: когда его хвалили, бывал счастлив, хотя и не показывал приятелям виду и иронизировал над похвалами; зато, когда его ругали, Лева впадал в безудержный анархизм, переживая начальственное неодобрение как личную трагедию, обижаясь, как ребенок (который каждый данный момент воспринимает как скрещение всех смыслов мироздания, как центральный в его жизни). Лева, несмотря на свое философское образование, относительности жизненных ситуаций понять не мог. Поэтому, возмущаясь несправедливостью (ибо статью Гамнюкова он и в самом деле сокращал по распоряжению Главного, сделал это филигранно, лучше сделать было нельзя, но тот, паскуда, нажаловался, а теперь Главный отпирается и все на него валит), Лева хотел показать и нужность свою делу, и поражение обратить в победу:

— Что касается Гамнюкова, Сергей Семеныч, то я выполнял ваши указания,— и не дожидаясь возражения, скороговоркой,— что же касается актуальной проблемы, то,— далее Лева вызывал огонь на себя, но так вызывал, чтобы целым остаться,— можно поднять нравственно-этическую проблему — проблему алкоголизма и борьбы с ним.

— По Гамнюкову, вы говорите неправильно, у меня в блокноте все записано, я вам указаний таких не давал, я и так отвечу, где надо, не беспокойтесь. А за то, что тему актуальную придумали,— молодцы. За плохое — ругаем, за хорошее всегда хвалим. Да, это острая тема. Это очень серьезно. Но надо подходить осторожно. Я посоветуюсь с Фетром Николаичем на этот предмет и потом вам скажу наше мнение. Короче, передам вам его дословные слова, чтоб вы знали. А пока скажу вам вывод, который уже говорил: плохо работаете, надо лучше. Идите и работайте, чтоб больше выговоров не было. А пока я вам прямо скажу. Я просто быстро думаю, что тема актуальная, но надо осторожно. Я записал к себе и окрутил, чтобы не забыть. И пока статей не заказывайте. Я вам потом скажу свое мнение, после Фетра Николаича. Но нужно давать преимущества только положительные. Это нужно.

Лева вышел из кабинета, чувствуя себя обиженным, долго жаловался друзьям, говорил, что Главный губит журнал, пересказывал его словечки, а потом, совсем расстроенный, поехал вечером к приятелю-переплетчику, где с тоски и напился. Он попал к нему в мастерскую как раз к концу рабочего дня: верстаки, столы с кипами бумаг, ножи для обрезки бумаг, вделанные в стол, куски жести, большие ножницы, банки с клеем, шкафы с картонками, точильный станок, присобаченный к столу... Гешка, приятель, сказал, что есть бутылка водки. Они выпили. Потом ставил Лева, потом скинулись, взяли еще водки и портвейна. На закуску пошли плавленые сырки, батон белого хлеба, жареная килька, которой так аппетитно закусывать. Толстый огромный Толя, казавшийся страшным из-за своей расплывшейся от жира физиономии и чудовищных рук, наливал по полному стакану (стакан был один) и требовал «соблюдать норму». Так и пили по полному стакану, хотя Лева под конец стал жульничать, не допивать, а Гешка его защищал, говоря, что не надо насилия, что у каждого своя норма. Но Леву все равно повело, занесло, он начал выступать, хвалиться и одновременно жаловаться на своих близких. А потом они поехали к Толе, который, несмотря на свою громадность, жил без жены. В маленькой двухкомнатной квартирке была его мать, сравнительно молодая по Левиным понятиям баба, едва старше пятидесяти, которая выставила бутылку имбирной, а потом Толя достал еще бутылку кубинского рома. Выпили, и тут Толина мать потащила Леву в соседнюю смежную комнату, где стояли кресло, шкаф и тахта, на которую она вместе с Левой и повалилась. Гешка потом едва выволок его на улицу и отправил домой на попутной машине. Но все это был длинный рассказ, требовавший представления в лицах, а у Левы хватало сил только, чтобы вспоминать и терзаться.

— Эй, Пом. Адов, что с тобой? — тряхнул его Саша Паладин.

Лева вздохнул.

— У Гешки вчера был. Пили с простым рабочим парнем,— говорил он, склоняясь к Саше интимно-доверительно, расслабляясь и сознавая, что говорит с похмельной подловатой и пошловатой откровенностью, но так оно было и легче и проще.— Потом поехали к нему. Представляешь? У него замечательная мать. Мать простого рабочего парня. Всем дает.

Саша хрюкнул.

— Неужели всем?

— Всем,— подтвердил Лева.

— И тебе дала? — не отставал Саша Паладин.

— А что? — Лева отодвинул голову и как бы со стороны посмотрел на Сашу, насколько хватало сил подыгрывая.— По-твоему, Помадов хуже всяких иных прочих, вроде Тимашева?

— Ну что ты! — воскликнул Саша и, подхватив его, быстро перевел через дорогу.

— Эй! — крикнул вдруг Шукуров, приотставший от остальных, уже подходивших к пивной.— По сколько кружек вам брать?

— Думаю,— сказал Саша, взглядом лекаря посмотрев на Леву,— минимум по три.

— Понял! — и Шукуров бросился догонять остальных.

А Лева сквозь сумрак в глазах и головную боль снова представил со стороны свои редкие, жирные, распадающиеся волосы, висящие до плеч, широкое рябоватое лицо, почти лишенное подбородка, вспомнил, как услышал реплику жены Тимашева (они говорили о нем, о Леве), что «пень красивее его» и что она не понимает баб, которые с ним спят, почувствовал свое грязное, давно не бывшее в бане тело, и подумал, как будут над ним насмешничать приятели. Но тут же внутренне махнул рукой, предоставив все Сашиному остроумию.

С похмелья в голове по-прежнему проворачивались воспоминания вчерашнего дня. Дорога не мешала, потому что он вполне полагался на Сашу. Лева снова с недоумением и холодком в груди вспомнил свое вчерашнее видение перед входом в двухэтажный штукатурный дом на три подъезда. Дом был барачно-коммунального типа, выкрашен оранжевой масляной краской, в темноте при свете двух одиноких уличных фонарей казался черным. Черными же казались шелестевшие от ветра деревья и кусты в палисаднике перед домом. В этом-то доме Лева и снимал в коммунальной квартире комнату за семьдесят рублей. Преимущество было в том, что сдавшая комнату хозяйка жила не здесь, и Лева был сам себе господин. Именно в этом доме, почти тридцать лет назад, он тоже снимал комнату в течение нескольких месяцев своего первого брака с Ленкой, здесь ему тогда было хорошо. Томимый ностальгией, запутавшийся в отношениях с Ингой (которой он продолжал регулярно звонить и изливать свои горести, как самому близкому человеку), Веркой и ее дочкой Региной, Лева и бросился в этот дом отсидеться в одиночестве, хотя и помнил слова Гераклита, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Но вроде бы и в самом деле поначалу было ничего. Соседи его не донимали. В трехкомнатной этой квартире одна комната стояла вечно запертая и пустая: там была прописана некто Ванда Габриэловна Картезиева, пожилая матрона, иногда наезжавшая с пятилетним внуком Осей, чтобы проверить, все ли в порядке, все ли сохранно, жила пару дней и уезжала. В комнате напротив входной двери жила молодая бездетная пара, все вечера глухо бранившаяся в своей комнате. Ссоры эти, как правило, кончались тем, что Марья, так звали молодую супругу, вытаскивала матрас и свою постель в ванную комнату и устраивалась там на ночь. Но поскольку санузел был раздельный, а на кухне тоже была вода, Леве это не мешало. Так что жильем своим Лева был доволен. Хозяйка оставила в комнате кроме тахты, стола и стульев и прибалтийской гравюры, изображающей юную красотку с распущенными волосами, даже небольшой стеллаж с книгами. Книги, правда, были все больше по биологии: «Мир животных», «Мир растений» — все это для Левы скучные многотомные собрания, трехтомник Брэма для юношества, несколько детских книг, и два собрания сочинений: пятитомник Карела Чапека и десятитомник А. Н. Толстого. Лева притащил сюда и несколько своих книг, вроде бы нужных ему для работы. Он собирался на основе своих статей составить книгу на актуальную тему, надеясь заработать на кооператив для себя и Верки. Тем более, что Верка ждала ребенка. Книга должна была называться «Социалистический образ жизни», и в ней он хотел провести прогрессивную, как ему казалось, идею, что образ жизни при социализме и социалистический образ жизни — разные понятия, и путать их нельзя, не искажая теоретического смысла. Но ему не работалось. Ничего толкового в голову не приходило, кроме вчерашнего пьяного сравнения жизни с калейдоскопом. Вчера, едучи к дому в машине, он, совершенно пьяный, решил, однако, что разовьет эту мысль о калейдоскопе — для себя, конечно, не для книги. Но встреча у входа в дом сбила его.

Вчера его напугало *нечто*. А Лева больше всего боялся (будучи человеком трусоватым, чего от себя не скрывал) явлений несоразмерных, необъяснимых, так сказать, ирреальных и иррациональных, вроде маньяков, случайных убийц, генетических преступников, виктивных женщин, которые навлекали несчастья на себя и на окружающих. Была у него однажды знакомая, такая вот виктивная, которая говорила: надо бояться людей с белыми глазами, поскольку они сами про себя могут не знать, что они потенциальные убийцы, но придет случай, и они неожиданно для себя совершат преступления. С ней, по ее рассказам, такие истории бывали; как-то один начальник отдела, приехавший к ней на именины с подарком, когда она вышла на кухню, принялся набивать ее лучшими книгами свой портфель, а поняв, что его клептомания обнаружена, попытался ее убить (причем «глаза стали, как пуговицы»), бормоча: «Наконец, я до тебя добрался. Я сейчас буду тебя резать на мелкие кусочки». Ее спасли случайно зашедшие соседи. И много такого она ему рассказывала, после чего Лева побоялся с ней общаться, потому что, по ее словам, она навлекала неприятности и на своих спутников. Да и память об одном случае, виденном им в детстве, когда выплеснулось из людей наружу нечто неуправляемое, страшное, тоже сидела в нем. Он отдыхал с отцом на взморье. Они лежали на песке, загорали и наблюдали, как студенты, или,

может быть, спортсмены,— короче, группа ребят с руководителем, на каменистом склоне с криками «ура» подбрасывали вверх и ловили на руки одного из своих товарищей, видимо, в чем-то отличившегося. Он расслабленно и довольно взлетал в воздух и падал на руки товарищей, а четырехлетний Лева, лежа на песке, наблюдал эту сцену. Ликующие крики, желтый теплый песок, за спиной мелкое сине-серое море, и так приятно лежать, зарывшись в песок и пересыпая его с ладони на ладонь, при этом наблюдая жизнь «больших ребят». И вдруг при следующем, пожалуй, самом сильном броске вверх, все (словно по команде, хотя ее явно не было, в этом Лева мог поклясться) отскочили в стороны, и парень тяжело спиной грохнулся о землю, грохнулся и остался лежать. Потом отец говорил, что мальчик сломал позвоночник и, если выживет, все равно останется калекой. Ребята не были его врагами, тем более не собирались убивать его, но что-то вот сдвинулось у них в сознании. «Интересно, в каком кругу ада им мучиться,— сказал Кирхов, когда Лева как-то рассказал ему эту историю, и добавил: — Понятно, что человек придумал ад, непонятно, как возникла идея рая». Даже сардонического Кирхова эта история привела в мрачное расположение духа. Вот таких сдвигов Лева и боялся больше всего. Они могли быть самого разного свойства — не только в сознании, но и в природе, в жизни, вообще во внешнем мире.

И вчера какой-то сдвиг произошел, только какой, Лева не смог понять. Хорошо, если в его сознании, а не сдвиг каких-нибудь там земных пластов или пластов жизни, если такие существуют. Лева вылез из машины, ввалился в подъезд, где было совсем темно, в доме стояла сплошная тишина, даже братья Лохнесские уже не гоняли свой магнитофон. Лева зажег спичку, чтоб не запнуться о три маленькие ступеньки, ведшие к входной двери (он жил на первом этаже). И вдруг кто-то, стоявший под лестницей,— твкая высокая фигура, ее очертания успел уловить Лева, отличив от других предметов, наваленных и наставленных там же,— наклонился к нему и, дыхнув горячим дыханием, обжигающим руку, загасил спичку. После чего этот кто-то, эта огромная масса с горячим, смрадным дыханием, пахшая почему-то тиной, болотом, рыбой, какой-то слизью, загородила Леве путь и притиснула к стене подъезда, так что спиной Лева вжался в неровности стенной штукатурки, а руки и лицо уперлись в нечто холодное, мокрое и скользкое. Не трезвея, но мертвея со страха, Лева начал оседать, пока не соскользнул на пол. И вроде бы пасть, жаркая, смрадная, полная зубов, приблизилась к нему, а потом защелкнулась прямо перед его лицом, со звуком, напомнившим коровье мычание:

— Му-у...

И лязгнула окончанием:

— Так!

Дальнейшего Лева уже не помнил: как встал, как возился с ключами, как открыл дверь, как добрался до своей комнаты, куда девалось чудовище,— все стерлось, исчезло из сознания. Воспоминания были дискретны, и Лева сейчас, с похмельной головой, не мог понять, было ли это привидевшееся «нечто» — в реальности или в пьяном бреду.

Они свернули около продуктового магазина, где иногда брали на закуску копченую скумбрию, и еще через пятнадцать метров уперлись в деревянный павильончик. Ребята уже были внутри и стояли в очереди.

— Берите Олю и идите занимайте места! — крикнул маленький Скоков.— Мы пиво принесем.

Трезвый Скоков был всегда обходительный, услужливый, но спьяну становился невыносим, выбрав себе жертву и обрушивая на нее поток желчи, где-то копившийся внутри, а утром снова каялся и переживал, причем искренне.

— И воблой займитесь,— добавил Шукуров.

С улицы было незаметно, что павильончик разбит на две части: крытую, где мужик в белом грязном халате разливал пиво, и открытую, где за длинными столами и набитыми перпендикулярно к забору, окружавшему это пространство, досками, тоже служившими стойками, толпились мужики и пили пиво. Туча наползала, но еще не наползла, солнце светило, было жарко. Им удалось занять место у забора, протиснувшись между компанией военных — старлеев и капитанов — и плейбоев, очевидно студентов, в американских джинсах и импортных куртках, высоких спортивных красавцев. Саша принялся на газете чистить принесенную воблу, а Лева тоскливыми глазами искал, когда же сквозь компании алкашей и командировочных в темных костюмах проявятся знакомые лица.

— У тебя такой трагически-сосредоточенный вид,— заметил, усмехаясь, Саша,— как будто кружка пива — венец твоих желаний. Как у того мужика с золотой рыбкой.

— Какого еще мужика? — неохотно спросил Лева, голова была тяжелая, темная, больная, вспоминать не было сил.

— Из анекдота,— напомнил, продолжая усмехаться, Саша.— Мужик один с такого же похмелья, как у тебя, пошел к пруду — воды хотя бы напиться и случайно за хвост ухватил золотую рыбку. Та, натурально: «Отпусти, мол, а за это исполню три любых твоих желания». «Хочу, говорит мужик, стоять за стойкой, а в руках чтоб кружка пива и еще пара передо мной». Глядь — и впрямь стоит он за стойкой, перед ним пара пива и в левой руке тоже полная кружка. А в правой — рыбка. Рыбка ему и говорит: «Ну, а второе твое желание?..» Мужик хрипит: «А второго мне и не надо» — и хлоп рыбку головой об стойку и принялся, как воблину, ее постукивать и обчищать. Вот так.— Саша постучал воблой по доске и, очищенную, аккуратно положил на газету.

Лева с трудом шевельнул пересохшими губами, изображая улыбку. Но тут он увидел Скокова и быстро пошел к нему навстречу, взял из рук, чтоб помочь, пару кружек и еще по дороге к стойке начал жадно пить. Утолил жажду, и в голове вроде бы немного посветлело. Боль отпустила.

Глава II. ПОВЕСТЬ О ГОРЕ-ЗЛОЧАСТИИ

Подошли Шукуров и Тимашев, каждый нес по шесть кружек. За оставшимися сходили Скоков и Саша Паладин. Наконец, устроившись и угомонившись, принялись за пиво. Первые несколько минут, как водится, пили молча, насыщаясь. Потом, выпив по кружке, достали сигареты, закурили, и затеялся разговор.

— Хоро-шо! — похлопал себя по животу Скоков.

— Честно сказать, я после вчерашнего только сейчас в себя пришел,— помотал своей черной бородой Шукуров, одетый в красивую шерстяную кофту, вязаную очередной женой. Несмотря на прокламируемое им славянофильство, требовавшее крепости брачных уз, он оставался восточным человеком, и женился уже в пятый раз — по специальному разрешению.

— А ты что, вчера тоже?..— спросил Тимашев.

— Да мы с Сашкой вчера напузырились,— пояснил Шукуров.— К нему автор приходил, «Посольскую» водку принес.

— Ого! — завистливо воскликнул Скоков.

— Похоже, хорошо вам, сволочам, было,— глуповато заулыбался Лева.

— Да и тебе, похоже, тоже неплохо,— отозвался Саша Паладин.

Темноволосая Оля молча отхлебывала из своей кружки пиво, поглядывая исподлобья на них и каждый раз расцветала навстречу взглядам Тимашева, который морщился и старался на нее не смотреть. Судя по всему, думал Лева, она ему уже надоела. Тимашев был одет в джинсы и широкую куртку с большими карманами, в которых вечно таскал книги, даже когда они ходили в пивную. Он считался интеллектуалом, и сам себя таковым считал, и это раздражало Леву, потому что раз ты ббник, то и будь бабником, нечего изобрвжать из себя интеллектуала. А раз женат (а Тимашев был женат) и имеешь ребенка, то не влюбляй в себя глупеньких девочек, трахайся с опытными бабами. Вот Кирхов — другое дело, он ведет разнузданный образ жизни и не скрывает этого, не то, что Тимашев, который хочет все успеть: и науку делать, и по бабам шляться, и выпивать, и семьянином быть. «И рыбку съесть, и в лодку сесть»,— подумал Лева смягченной до эвфемизма пословицей. Хотя и у Кирхова, несмотря на всю его доброжелательность и обаяние, была черта, которая не нравилась Леве,— склонность к макабрическим шуткам. Как-то, с полгода назад, придя с ним к Верке и тоже поднапившись, Кирхов вдруг заметил, когда Верка на минутку вышла из комнаты, что у еды, которой Верка кормит Леву, странный привкус, наверно, Верка потихоньку травит его за то, что Левка пьет. «Странно,— сказал тогда Кирхов,— и года вместе не прожили, а уже решила отравить. Чем ты, Помадов, ей так досадил?» Лева и всегда-то был мнительный, а тут спьяну взревел и бросился вон из дому, решив умереть на помойке, раз его травит любимая женщина и никому он не нужен. На помойке его и нашли. Таща его домой, Кирхов сказал Верке (это по ее рассказам) не без издевки: «Ну что ж, замечательный мужик! Его помыть, почистить, с ним еще жить можно». Вспомнив это и как на следующий день Верка с трудом сумела убедить его, что Кирхов шутил, да и сам остававшийся ночевать Кирхов сказал: «Ты чего, старик, совсем?» — Лева вдруг подумал, что, рассказав о вчерашнем существе, он даст всем лишнее доказательство своей повышенной мнительности, «помадовщины». Поэтому, взгрустнув, он решил послушать, что говорят другие.

— Культура,— разглагольствовал Тимашев,— пусть даже материальная культура, осуществляет связь времен, она носитель и хранитель духовных ценностей, она заставляет меня понять, что я неразрывное звено в цепи ее существования и изменения. Но изменения внешнего, потому что внутренне мы такие же. Вот старые дома девятнадцатого века, с которыми мы сталкиваемся глазами, когда идем в пивную, они ведь както действуют на нас, заставляют вспоминать, что Кропоткинская — это Пречистенка, а Метростроевская — Остоженка!.. И Пушкина тут же невольно вспоминаешь: «Когда Потемкину в потемках Я на Пречистенке найду, Пускай с Булгариным в потомках Меня поставят наряду». Вот уже невольно мы соприкоснулись с высшей точкой рус-

ской культуры — с Пушкиным, и хотя бы в именах только, с основным конфликтом его времени, основным противостоянием: Пушкин и Булгарин как два символа извечного антагонизма русской культуры. И вот так — через здания — мы общаемся уже с Пушкиным...

— Ты с пивной кружкой общаешься, Тимашев,— рассмеялся Саша Паладин.

— Да и вообще ерунду говоришь,— сказал Скоков.— Это ты по себе меряешь. Ты про Пушкина, Булгарина, Пречистенку и Остоженку знаешь, а я, например, не знаю. Это я к примеру говорю. И получается, что ты укорил меня, что я мало книжек читаю, вот и все.

— Ты не прав, Вася,— промолвил, поглаживая черную бороду, Шукуров.— Илья тебя за дело укорил. Русскому человеку необходимо знать русскую культуру во всех ее проявлениях. Это только обогатит его. Русская культура самая богатая в мире, а мы, как говорил Пушкин, ленивы и нелюбопытны, а потому и бедны.

— Да нет, я это знаю, ты пойми,— схватил его за руку Скоков.— Я не то вовсе хотел сказать. Вот Илья, он внук профессора, а я из простых, у меня отец — плотник был, ведь Тимашев же должен предположить, что я чего-то могу не знать. И подумать, чтоб не обидеть меня.

— Ладно, Скоков, заткнись,— досадливо прервал его Саша.— Заладил! Ты еще не пьян. Представь себе, что Тимашев не гусар, как ты думал, а улан, и успокойся.

— Подожди, Саша, я только хотел у Ильи спросить...

— Да помолчи ты,— снова прервал его Саша.— Меня вот, например, интересует, чего это наш Лео молчит и что это за новая книжка у Тимашева в кармане...

— Ты, Саша, прямо как сенешаль-распорядитель за круглым столом короля Артура, а мы все странствующие рыцари,— куртуазно ухмыльнулся Тимашев.— А вот и наша прекрасная дама,— и он погладил по плечу влюбленно посмотревшую на него Олю. Сравнение с рыцарями Круглого стола было и в самом деле придумано Тимашевым, но как же безвкусно часто он это сравнение эксплуатирует, подумал Лева раздраженно.

— Саша у нас, конечно, рыцарь,— засмеялся Скоков.— Паладин.

Это на самом деле была шутка Кирхова, который и объяснил Скокову, кто такой паладин.

— А что? — отозвался Саша Паладин.— Быть может, в каком-нибудь другом измерении, в неведомом царстве-государстве я и был бы рыцарем,— от этой мысли его безбровое, похожее на смятый хлебный мякиш лицо даже засветилось.

— Ничего! Твое происхождение от Афины Паллады не менее почетно,— заржал Лева.

— Все может быть...— сказал мистически настроенный Шукуров.— К тому же и Афина была воительницей.

— Я разве спорю? — ответил за Скокова Тимашев, доставая из широкого кармана нетолстую книжку.— А книжка замечательная. Я уже ее третий день с собой таскаю. Называется «Повесть о Горе-Злочастии». Семнадцатый век. Вполне подходящий материал для размышлений о метафизике русской культуры. Могу прочесть.

И, не дожидаясь ответа, он открыл книжку:

— Всего только начало на пробу. Да и его достаточно.

А в начале века сего тленного
сотворил Бог небо и землю,
сотворил Бог Адама и Евву,
повелел им жити во святом раю,
дал им заповедь божественну:
не повелел вкушати плода виноградного
от едемского древа великого.
Человеческое сердце несмысленно и неуимчиво:
прелстилъся Адам с Еввою,
позабыли заповедь божию,
вкусили плода виноградного
от дивного древа великого;
господь Бог на них разгневался,
и изгнал Бог Адама со Еввою
из святого рая из едемского,
и вселил он их на землю на нискую.

Не слабо? Вначале не слово было, не дело, как мучался там некий Фауст. Вначале был стакан вина. В чем был первородный грех? Не в том, что сорвали плод с древа познания и стали как боги, до этого мы не дошли, нет. А в том, что сорвали плод с древа виноградного и нажрались до поросячьего визга. Так и осталось: не к духу стремимся, а с собой боремся, как бы не нарезаться. У тех — быть или не быть, а у нас — пить или не пить. Отсюда и «карамазовщина» вся.

— Зато Запад никогда Бога не знал,— вступился Шукуров.

— Ты что, одурел? — хлопнул его по плечу Саша Паладин.— Митя Карамазов Бога знал, а вот Гамлет нет! Так, что ли?

Но тут вмешался Лева, допивший уже вторую кружку и почувствовавший себя в силах говорить:

— Все это чушь, что говорил Тимашев. Россия не стремилась и Богу, но Он в ней пребывает, поскольку в ней нет гордости. Она никогда не рвалась и личностному осуществлению. Был, конечно, эпизод — прошлый век, всякие там «профессорские культуры». Ну, об них нам Тимашев понаписал. Хорошо написал, разве я что?.. Но Россия давно поняла, что жизнь есть калейдоскоп и перетряхивать его человеку не дано. Была Остоженка, стала Метростроевская, как эта улица будет называться через сто лет, никто не угадает. Да каждый из нас по собственному опыту это знает. Была одна женщина, потом другая, потом третья. Мы, что ли, выбираем? Жизнь за нас выбирает, вот и меняется узор. Скажем, был Чухлов г...ном, а теперь Чухлов над нами начальник...— пытался Лева донести до всех и до самого себя пришедшую ему вчера в голову идею.

— Ну, наконец, Валаамова ослица заговорила! Оклемался? — спросил ласковым голосом Саша Паладин.

— Оклемался,— радостно отозвался на сочувствие Лева.

— Тогда должен понимать, что Клим Чухлов остался г...ном,— усмехнулся Саша.

— Мне все же непонятно,— свысока и иронически бросил Тимашев,— какой философский смысл Левка вкладывает в идею калейдоскопа,— и отхлебнул пива. А Лева подумал, что Тимашев так высокомерен к нему, потому что хочет самоутвердиться за его счет, списывая его как пьяницу из «серьезных» собеседников. И озлился.

— Жизнь — это калейдоскоп,— угрюмо повторил он.— Я пока не могу пояснить точнее. Представь себе только, как меняются узоры в истории, раз не видишь вокруг себя.

— Эй,— перебила их вдруг всех Оля,— а как это Горе-Злочастье выглядит? — Видно, все время разговора она думала о заглавии.

— Боишься? — ухмыльнулся Лева.— Правильно. Женщине нужно бояться.

Тимашев не отреагировал на его выходку, он листал книгу, а затем сказал:

— Странно, но никак. Поразительно мудро: оно принимает разные обличья, но является к молодцу, попробовавшему жизни кабацкой.

— Он все время на нас намекает,— сказал Скоков о Тимашеве.

Рядом раздался взрыв смеха. Смеялись плейбои.

— Ну и нормально,— говорил один.— Засадил я еще один стакан и обращаюсь к фраеру: «А теперь, сударь, после двух стаканов даю вам форы пять очков и все равно берусь у вас выиграть».

Лева отмахнулся и от них, и от Скокова:

— Тимашев, ты почему мне не отвечаешь?

— А чего говорить? В истории есть логика развития. Ты же все-таки философский факультет кончал, тебе ли не знать? Только понимать эту логику надо не примитивно. Продолжается процесс антропогенеза, человечество еще совсем недавно перестало быть диким и доисторическим, во внешних, по крайней мере, формах; слой цивилизации тонок, все время рвется. А в твоей идее, точнее даже идее-образе жизни, как калейдоскопа, все берется вне развития. В таком случае, смена динозавров людьми не закономерна, может быть и наоборот, если кто иначе перетряхнет твой калейдоскоп...

Он продолжал говорить, и Лева краем сознания ловил его речь, но его поразили вдруг слова «твоя идея», «твоя идея-образ». Быть может, наконец, к пятидесяти годам он и на самом деле нечто настоящее и *свое* придумал, быть может, даже что-то вроде платоновской «пещеры». Надо только сосредоточиться, все продумать и попусту больше про это не болтать, не разбазаривать, пока другие не подхватили. Он медленно жевал кусочек воблы, допивая уже последнюю свою кружку, хотя остальные выпили по полторы пока.

— Ты нам лучше расскажи, Леопольд Федорович, чем мечтать, с чего это ты вчера так нарезался? Неужели из-за того, что Главный тебе выволочку устроил? А ты переживал...— заметил следивший за ним Саша Паладин.— И с чего ты такой задумчивый? Оппонента своего вызвал на разговор, а сам не слушаешь? Вспоминаешь, может, простого рабочего парня и его мать? — лицо у Саши сморщилось, он явно собирался разрядить ситуацию и потешить собеседников за счет Левы.

Темноволосая высокая Оля опять встряла в разговор:

— Ой, а я давно хотела вас спросить, почему вас так странно зовут — Леопольд Федорович? Отчество-то вроде наше, а имя какое-то нерусское... Вы от каких родителей?

Опять поморщился Тимашев, стараясь не глядеть на Олю. Лева — Лео — Леопольд тоже нахмурился. Как ей объяснить, дуре, что такое двадцатые и тридцатые годы? Что такое горение, жертвенность, предощущение наступающего мирового братства?.. Как рассказать об отчиме его матери, спартаковце Леопольде, бежавшем из Германии,

поразительно добром и честном человеке, по рассказам матери? В его честь она и назвала старшего сына. И его отец, крупный тогдашний партработник (это потом он сел на мель), не возражал, чтоб сыну дали немецкое (или польское?) имя. Во время войны родные, правда, стали называть его Левой, даже хотели было имя переписать на Льва, но так этого и не сделали. Не объяснять же этой девице о хранимом в сердце, хотя и не действенном давно идеале, да и другим ни к чему. Разница в пятнадцать, а с Олей, пожалуй, в двадцать пять лет, в целое поколение, а то и больше, очень даже чувствовалась. Об этом он мог только со студенческим другом своим, Гришей Кузьминым, говорить. Он был той же школы и того же воспитания. «Мы с тобой одной крови, ты и я»,— шутил раньше Гриша, повторяя «заветные слова джунглей» из «Маугли». Другим он не мог бы даже спьяну об этом рассказать, даже в исповедальном самобичеввнии. Это было святое. И хорошо бы съездить к Грише, подумал Лева. Бывал он у него теперь редко. Он так верил в Гришин талант, что решил развести его с Аней, его женой, даже комнату ему подыскал, где Гриша мог бы сидеть и творить. Но тот не сумел порвать с семьей, остался при жене и сыне Борисе, они с Гришей продолжали общаться, но Аня встречала его всегда с неохотой, уходила в свою комнату, хотя от дома ему не отказывала. И постепенно Левины визиты делались все реже, да и образ жизни у них был разный — домашний у Гриши и сравнительно вольный, гульной, «журналистский» у Левы. Да, поехать к Грише, родному Гришеньке, с ним поговорить, хотя он, наверно, презирает его за пьянство, но поймет, потому что близкие все же люди...

— Леопольд Федорыч! — глуповато-настойчиво повторила темноволосая Оля.— Так от каких вы родителей?

Ответил рывшийся в своей книге Тимашев:

— Я скажу.

И снова прочитал:

Был оногде у отца, у матери,
единый сын свято крещеный,
и возлюбили его отец и мать,
учали его учить, наказывать,
ва добрые дела наставливать:
«Милое ты наше чадо едииое,
послушай ты учения отцовского,
послушай ты молитвы материнския,
благословения родительского...»

Читал Тимашев хорошо, с выражением.

— Браво,— сказал Саша.

А Оля захлопала в ладоши:

— А какие наставления! — воскликнула она.

— Пожалуйста,— Тимашев снова открыл книжку:

Не ходи ты, чадо, в пиры и в братчины,
не садися ты на место болшее,
не пей, чадо, двух чар за едину,
еще, чадо, не давай очам воли,
не прелщайся, чадо, на добрых красных жен...

— Ну ладно, хватит! — Лева протянул руку и взял у Тимашева книгу.— Дай почитать. Я сам разберусь, что тут к чему...

Все засмеялись.

— Лео, я на очереди, не тяни,— сказал Саша.

— А я за тобой, если Илья не возражает,— вопросительно посмотрел на Тимашева Шукуров.

— Да ради Бога,— ответил тот.— Пусть только Помадов ее не посеет спьяну...

— Не посею,— Лева зажал книгу под мышкой.— А тебе, настойчивая,— повернулся он к Оле, смотревшей на него насмешливыми глазами, потому что чувствовала, что все слегка над Левой сейчас подсмеиваются, а Леве было обидно такое ироническое отношение от глупенькой девчонки-машинистки, и похмельное раздражение вспыхнуло снова,— я тоже скажу. Почему, спрашиваешь, так меня назвали да кто были мои родители? Не твоего ума это дело, девочка. Да и вообще, что с тобой о прошлом говорить — все равно не поймешь. А вот не хочешь ли о будущем? О твоем будущем? В каком обличье на тебя, дурочку, твое Горе-Злочастье накинется? Судя по лицу твоему и по дурацкой настойчивости, которая мужчинам не нравится, счастья тебе в личной жизни не видать. Никто тебя не полюбит так, чтоб надолго. Мужа хорошего не найдешь, не будет у тебя мужа. А если и будет, то изменять тебе будет на каждом шагу. Такие, как ты, для этого словно нарочно рождены и предназначены,— добивал с неизвестно откуда выплеснувшейся злостью взрослый мужик молоденькую девицу.

И добил. Она широко посмотрела на него, подбородок задрожал, она закрыла лицо руками и вдруг зарыдала самым настоящим образом, всхлипывая, вздрагивая, хотя и тихо, еле слышно, стесняясь чужих окружающих. Мужики переглянулись в смущении, а Оля быстрыми шагами пошла, почти побежала из пивной.

— Лео, это жестоко,— сказал Тимашев и пошел следом за Олей.

— Да, Лео, пожалуй, чересчур,— сказал Саша Паладин.

Лева и сам чувствовал, что поступил кое-как, нехорошо поступил.

— Ну и пусть,— с отчаяньем бросил он,— что мне теперь, удавиться? — В юности в такой ситуации он, может, и удавился бы, во всяком случае бросился бы наутек, страдал бы не один день, теперь же жизненный опыт подсказывал ему, что обойдется, образуется, рано или поздно, а образуется, ничего с собой из-за его слов эта Оля не сделает.— Надо мной смеяться можно, а мне нельзя,— продолжал тем не менее оправдываться Лева, напоминая себе, каким он был в детстве, когда, сбив с ног противника, даже превосходящего его, он пугался, что противник ударился головой об пол и теперь непременно умрет, а причиною он, Лева, и это бывало особенно страшно, хотя его противники, мальчишки из коммунальных квартир и бараков, привыкли переносить и не такие удары, но об этом Лева тогда не подозревал, лишь спустя годы понял.— У меня, может, тоже неприятности, их у меня помимо всяких баб хватает. Я вчера в своем подъезде крокодила встретил,— вдруг добавил он, не переводя дыхания, внезапно осознав, кого напоминает ему это странное вчерашнее «нечто», а, осознав, тут же и выпалил это, чтоб неожиданным этим сообщением отвести от себя упреки в жестокости по отношению к Оле.

— Ко-го? — переспросил Шукуров, взявшись за свою черную бороду и поверх Левиной головы сделав глазами знак Саше Паладину, что, конечно, с Левой не все в порядке, но раздражать его не надо. Лева заметил и ответный взгляд более проницательного Саши Паладина, который означал: «не суетись, давай послушаем».

И Лева, захлебываясь, добросовестно пересказал, что было.

— Ну, это ничего,— похлопал его по плечу Шукуров, облегченно вздыхая,— спьяну чего только не привидится! Мог какой посторонний быть,— пояснил он,— а могло и никого не быть. Просто перебрал ты, вот чертовщина всякая в мерещится.

— Что же он тебя не съел-то, раз крокодил? — пошутил Скоков, тоже успокаивающе похлопывая Леву.— Или пьяных у крокодила желудок не принимает? — он засмеялся.— Понимаешь, я думаю, Игорь Шукуров прав, ты перебрал вчера, вот и результат. Ты похмелись сейчас, и давай домой. Хочешь, я тебе еще пива принесу?

Лева видел, что ребята успокоились. И ему самому стало спокойнее.

— Ты, Лева, в этом случае напоминаешь мне обезьяну из известного анекдота про крокодила и обезьяну,— сказал Саша Паладин, анекдотом как бы подводя итог возможным волнениям: раз он рассказывает анекдот, значит, все в порядке.— Для невежественных рассказываю вкратце. Обезьяна с крокодилом нашли бутылку водки. Поспорили, кому достанется. Договорились, что тому, кто дольше под водой просидит. Вот крокодил нырнул, залег на грунт, и ждет, чтоб времени прошло подольше. Минут через десять-пятнадцать думает: «Ну уж столько обезьяне не высидеть!» Выныривает, смотрит, а обезьяна уже устроилась на верхушке пальмы, совершенно пьяная, и говорит: «Ну, зеленый, ты и ныряешь! Просто блеск!» А пустая бутылка под деревом валяется. Вот с тех пор крокодил эту пьяную обезьяну повсюду и ищет. И тебя, Лева, за таковую и принял.

Все заухмылялись, и Скоков заторопился сказать:

— Дозвольте и мне встрять. Ты, Лева, как в другой раз увидишь крокодила, ты ему словами обезьяны из другого анекдота. Вот плывет крокодил по реке и видит, что в кустах обезьяна возится. «Ты что там ищешь, обезьяна?» — это крокодил спрашивает. А она отвечает: «Грыбы».— «Какие тут могут быть грибы, дура ты!» — говорит крокодил. А она ему: «Грыби отсюда, дерьмо зеленое!»

Снова все засмеялись.

— Дурацкая шутка,— ответил Лева, однако, улыбаясь, успокаиваясь и радуясь, что на него не сердятся из-за Оли, значит, вроде бы выходку простили.— Крокодил или не крокодил, но кто-то болотной тиной всю одежду мне запачкал.

— В лужах не надо спьяну валяться,— сказал наставительно Саша Паладин и вдруг хлопнул себя по лбу.— Эврика! Что же касается крокодила, то я понял, почему он тебе померещился. Помнишь, мы вчера ходили к Симке Корешкову, ну, художнику из «Крокодила», из журнала «Крокодил», не смотрите на меня, как на Лео, я здоров, ну что ты, не помнишь, ну тот, у которого в кастрюле двадцать семь бутылок было?.. Вспомнил?

— А? Да,— ответил Лева и захохотал своим обычным дурным басом.

Действительно, вчера они отсюда же и примерно в это же время отправились к случайному Сашиному приятелю, случайно же здесь встреченному, художнику, знакомством с которым Саша не то чтобы гордился, нет, но оно ему льстило,— все же художник. Они так же зашли попить пива, только стояли не у забора, а за столом, а напротив них пил пиво маленький человечек в шляпе, чем-то похожий на Мандельштама, ноги у него под столом заплетались, вытащив пачку «Примы», он все никак не

мог ее раскрыть, потом долго и упорно ронял сигарету на стол, поднимал ее, наконец прилепил ее к губе и тут обнаружил, что у него нет спичек, оперся о стол, мутными глазами посмотрел на стоявших визави Леву и Сашу и попросил прикурить. Тут Лева заметил, что Саша давно улыбается, глядя на маленького человечка. Оказалось, что они знакомы. Саша поднес тому спичку и спросил, где это он с утра успел так набраться, ведь еще нет одиннадцати. Семен Корешков ответил, что дома, и что у него дома еще осталось полных двадцать семь бутылок. Ни Саше, ни Леве пить не хотелось, но двадцать семь бутылок произвели впечатление, и, переглянувшись, они решили, что распить на халяву бутылочку было бы неплохо. Да и вообще, сказал Саша, посмотришь, как живут художники, он здесь рядом, через дорогу. И они пошли к художнику, страхуя его с обеих сторон, потому что того заносило то в одну, то в другую сторону, он спотыкался, ноги у него заплетались и переплетались, и было непонятно, как они вообще его по земле носят. Жил он и в самом деле в доме через дорогу, за магазином «Минеральные воды», в старом, видимо, когда-то доходном доме, «на первом этаже», как пояснил художник, путаясь в слогах. Но, войдя в подъезд, они увидели, что к первому этажу еще ведет довольно крутая лестница, один, но большой пролет. Семен поднимался, роясь в карманах, роняя ключи, грозя все время рухнуть спиной вниз. Наконец, они попали в квартиру. Как и следовало ожидать, она оказалась коммунальной, но помещение художника состояло из двух смежных комнатенок-пеналов: прихожей и жилой. В прихожей, в дальнем углу валялась кипа, состоявшая из разнообразной одежды: пиджаков, брюк, курток, рубашек и плащей, а также шапок, башмаков и сапог — на все времена года, сбоку лежали грудой газеты и журналы, разлохмаченные от времени. В жилой комнате стоял стол, очевидно, с остатками вчерашнего пиршества, пустыми тарелками, стаканами, огрызками хлеба и селедки. Вдоль одной стены висела полка — тоже с журналами и растрепанными книгами, над полкой были приколены картины Семена Корешкова, написанные акварелью, как он говорил, для души: взяточники с кривыми ухмылками и змеиными телами, бюрократы в дубовых креслах, дядя Сэм, высокий, бородатый, прикрывающий свой срам звездно-полосатым флагом, болото, в котором засела новая техника... На вопрос Левы, разве не опубликовал он эти картины в своем журнале и разве не на злобу дня они написаны, тот недоуменно пожимал плечами и соглашался, по-прежнему утверждая, что они написаны от души. Под полками стояла узкая кушетка, прикрытая разноцветным одеялом. С другой стороны находился комод, на котором тоже были навалены груды книг. Наконец Саша сказал, что хватит разговоры разговаривать, пора бы хотя бы одну бутылку достать, и Лева тотчас почувствовал, как во рту и в желудке наступило приятное ожидание. Маленький человечек нырнул под стол и, покряхтывая, вытащил оттуда большую кастрюлю. Саша с Левой недоуменно переглянулись. А Семен сказал, что да, полно бутылок, целая кастрюля полных бутылок. Он открыл крышку, и Саша с Левой увидели, что она забита полными пузырьками с каким-то лекарством. «В-вот,— сказал художник, доставая один из них,— полная бутылка. Р-рекомендую. Настойка боярышника». Но они отказались пить с утра пораньше настойку боярышника и ушли, а теперь Лева думал, что вот уж кого воистину посетило Горе-Злочастие, но вчера, уже в дверях подъезда, сказал Саше, что у него от хозяина впечатление, что его «Крокодил» полностью использовал, съел, а отжимки, остатки, шкурку, шелуху выплюнул, что человека нет, одна оболочка осталась, которая живет только по видимости. «А мы чем лучше? — вдруг спросил Саша.— Пьем, что ли, меньше?» Лева похолодел: «Ты что имеешь в виду? У нас все-таки духовные запросы есть!» — «Что имею, то введу,— рассмеялся Саша.— Семен думает, что они у него тоже есть. Он же для души все рисует». Да, теперь причина, по какой ему померещился крокодил, вроде бы прояснилась. Но грустно стало от этого воспоминания. И страшно.

«Вот уж воистину ненужный человек,— думал Лева о художнике Семене.— Не таким размышлять о жизни. Ненужный человек — это совсем не одно и то же, что лишний человек. Лишние люди были двигателями мысли, а потому и истории. А потом пришли новые люди, которые набросились на лишних людей за то, что те не умели работать. В этом проявилась их историческая неправота и ограниченность. Слишком утилитарный подход к действительности. А ненужные люди?.. Они были всегда. Это внеисторическая категория. Это что-то вроде люмпенов. А я? Я всегда считал себя из породы лишних людей, потому что отличался склонностью к рефлексии, к самоанализу, а это именно и есть их конститутивный признак. Всем нам отец шекспировский Гамлет. Но я сумел перебороть эту слабость, которую вот Гриша Кузьмин с большим трудом перебарывал. Я научился работать, делать, делать то, что надо, делать профессионально, на высоком уровне. Даже спьяну я могу качественно выполнить любое задание. И начальство это знает и ценит»,— горделиво подумал он. Да, в нем, в Леве, слились по крайней мере две тенденции, две линии, две ветви, два этапа русской интеллигенции: лишние люди и новые люди, лишние люди и желчевики, вспомнил он название статьи Герцена. Он и рефлектирует, и работать умеет. А то, что пьет, это уже признак русской интеллигенции XX века. Вообще, интеллигент в XX веке стал чем-то вроде пролетария, думал Лева, продает свои знания и мозг, то есть свою рабочую силу, прикладывает свои интеллектуальные усилия не к разрешению мирового целого, а к узкому участку указанной и предложенной работы, за которую он получает деньги, нужные ему для самовоспроизводства. Золотое время для интеллигенции, когда она была обеспечена и ни от кого не зависела, чтоб искать истину, либо, когда ей платили за поиски истины,— это время кончилось. Золотой век всегда позади. Теперь даже лишние люди — и те служат. Даже и ненужные служат...

— Ты чего загрустил, Лео? — спросил Саша Паладин.

— Он, наверно, пива еще хочет. Я схожу,— предложил Вася Скоков.

— Нет, друзья, пора в контору,— сказал Шукуров.— Может Главный нагрянуть. Да и дождь сейчас хлынет. Хотя,— спохватился он,— если у нашего друга есть потребность, то возражений нет.

Лева посмотрел на небо. Оно потемнело. Уже не было тучи, наползавшей на солнце, потому что и солнца не было, все небо было черно-синим, без просвета. Листочки на высоком тополе, стоявшем в пивном дворе, перестали колыхаться, замерли. Стало душно, как в парнике, где произрастают тропические растения. Вот-вот должны были упасть первые капли дождя. Многие из пивших пиво, тоже поглядывая на небо, старались поскорее опорожнить свои кружки.

— Да, пожалуй, пора,— сказал Лева, и они вышли на улицу.

Прошелестели первые порывы ветра. Приятели ускорили шаг, но ветер задул им прямо в лицо, и они принуждены были идти, слегка наклонившись вперед. Когда они уже подходили к редакции, маленькому двухэтажному особнячку, стоявшему в переулке, на их головы посыпался дождь. Они побежали и успели вскочить в дом, не очень промокнув, и тут-то дождь хлынул потоком. Пошел настоящий тропический ливень.

— Вовремя поспели,— проговорил Шукуров, всю дорогу бежавший впереди. Он помотал головой, отряхиваясь, как собака, и от головы и с бороды полетели мелкие водяные капли.

— Надо это дело пойти перекурить,— сказал Саша Паладин. Он заглянул к секретарше Главного, но она сказала, что Главный будет не раньше, чем через час, и редакционным коридором они двинулись, минуя зал для заседаний редколлегии, к заднему входу, где у окна на лестничной площадке было что-то вроде курилки. Раньше они курили в помещении. Главный несколько раз говорил им, что надо подумать о некурящих и «переломить ситуацию курения на позитивные рельсы», но перебороть вредной привычки сотрудников не мог. Тогда Главный заявил, что раз они ведут себя, как школьники, и не понимают «культуру этики» (это было его любимое выражение), то он прибегнет к другим мерам, будет за курение в комнате — в приказе он сформулировал: «за превращение помещения в неподобающую функцию» — объявлять выговор. Эта мера подействовала. Теперь курили на лестничной площадке.

По дороге Саша заглянул в комнату к Тимашеву позвать покурить и догнал их уже на площадке. На подоконнике была набитая окурками консервная банка, заменявшая пепельницу, как всегда лежали оставленные курившими здесь машинистками спички и пачка сигарет. Стояли два стула: на один уселся Саша, другой Скоков уступил Леве:

— Всегда готов уступить аксакалу и доблестному охотнику за крокодилами. А я пока пойду пепельницу опорожню.

Он шутил, но стрезва, как всегда, доброжелательно и услужливо. Некурящий Шукуров остался стоять. Саша с Левой закурили. Вышел к ним Тимашев с сигаретой в зубах. Вернулся Скоков с пустой консервной банкой, поставил ее на прежнее место и тоже закурил. Минуту все молчали. За окном хлестал дождь, струи воды ударялись о стекло, застилали улицу.

— И вправду хорошо успели,— сказал Скоков.

Лева слушал беседу о дожде, а сам думал о калейдоскопе. «О чем только не говорится!.. А то, что приятель сменил образ жизни, никого не волнует. Или нет, я не прав, об этом молчат из деликатности. А может, и то, что в их калейдоскопе я пока нахожусь на прежнем месте, у них узор не сменился, не нарушен. Я по-прежнему хожу на службу, редактирую статьи, пишу за начальство, по-прежнему пью и якшаюсь со случайными бабами, я в той же системе. Это мне кажется, что в моем калейдоскопе узор нарушен. А что это значит?..»

Левины размышления прервал Тимашев:

— Скажи, Лео,— обратился он, выдыхая дым,— а если лев на крокодила налезет, кто кого поборет? Как ты думаешь?

Все засмеялись. Засмеялся и Лева.

— Смотря какой лев,— сказал он,— р-р-р!

И снова все засмеялись. «Продал Саша, скотина,— думал Лева.— Смеются. Тема для шуток». Но не сердился, потому что и впрямь это было смешно, и смеяться было лучше, чем бояться. Лева подумал, что Тимашев на него за Олю не сердится, потому что ему на самом-то деле на Олю наплевать, а он, Лева, знает, с кем у Тимашева настоящий роман — с Линой Бицыной, соседкой Гриши Кузьмина и племянницей Владлена Вост-

рикова, с которым Лева в течение года как-то работал вместе и находился в полуприятельских отношениях. Тимашев отнесся к тому, что Лева знает про Лину, весьма серьезно. «Если будешь об этом трепаться,— сказал он просящим голосом,— то набью морду. А вообще серьезно прошу тебя, не смей никому и никогда о ней говорить». Тон был искренний и *серьезный*, взывавший к мужской чести, на такой тон Лева всегда отзывался, и потому молчал о Лине, только думал о том, как все в жизни перепутано и взаимосвязано, как все тесно, и еще злился на Тимашева, что он попутно прихватывает и других девиц, вроде Оли, будто ему мало жены и Лины.

— И как же это ты, Лева, друг мой, умудрился целую мысль в одном абзаце у Гамнюкова зачеркнуть? — прервал Левины размышления Саша.— Ведь в других абзацах у него, наверно, уж совсем ничего не было?..

— Да, Леопольд Федорович, не хватает вам еще культуры этики,— встрял и Скоков.— Уж Клим Данилович не преминет этим воспользоваться, он тебе вашу дружбу припомнит!

В редакции теперь все недолюбливали Чухлова, но были вынуждены ему подчиняться. Поэтому в этом маленьком конфликте все были на стороне Левы и, подшучивая над Левой, тем самым как бы выражали ему свое сочувствие. А Леву любили друзья, он это знал. Он вспомнил, как три недели назад, как раз в его день рождения, ребята повесили шуточный плакат, плакаты не каждому писались, и Леве плакат льстил. Он его взахлеб цитировал Верке, которая кисло улыбалась, но иронической любви друзей не приняла. Ей уже, как и Инге, хотелось, чтоб к Леве относились с пиэтетом, без иронии. А плакат был, конечно, насмешливый: «Внимание!!! Разыскивается именинник (кличка „Лео"). Особые приметы: 1. Волос — пегий, длинный, нечесаный, лоб — с залысинами. 2. Глаз — узкий, с прищуром, временами тоскливый. 3. Тело — атлетически-упитанное. Граждане! Будьте бдительны! Именинник особенно опасен в состоянии „завязал". Идеологически вооружен и при задержании может оказать сопротивление. Редакция тем не менее надеется, что после задержания именинник достойно отметит свой юбилей, чему мы и будем свидетелями еще сегодня». Но теперь вдруг он насупился, ему вдруг захотелось не иронической любви, а настоящей, такой, чтоб можно было притулиться, расслабиться, пожаловаться на жизнь, на начальство, чтоб тебя пожалели, поняли, это главное, чтоб можно было не стесняясь даже о крокодиле рассказать... «Кому сказать тоску мою? — думал Лева.— А все же некому, только Грише, только с ним поделиться, все свои огорчения и страхи ему рассказать. Он поймет!»

— Илья! Тимашев! — крикнула, заглядывая к ним на площадку, секретарша.— К тебе автор пришел.

— Ну что ж, поработали, пора и делом заняться,— сказал Скоков.

— Ну уж нет, делом мы после работы займемся,— поправил его Шукуров, щелкнув себя по горлу.

Снова все засмеялись, загасили сигареты и пошли работать. Лева ответил на несколько писем, разобрал наваленные на стол скопившиеся за несколько дней статьи. На одни после беглого просмотра он отвечал сразу: «Уважаемый Имярек! Редакция внимательно ознакомилась с присланной Вами статьей. Статья была также рассмотрена в отделе. К сожалению, по общему мнению, она не отвечает требованиям, предъявляемым нашим журналом к публикациям подобного рода. Рукопись возвращаем. С уважением, завотделом Л. Помадов». Таково было клише стандартного ответа. Более подробные письма вызывали ненужную переписку с авторами, полагавшими, что они открыли новые законы и цеплявшимися за каждую неудачную фразу редактора. Пару заинтересовавших его рукописей Лева сунул в портфель, куда перед этим уже упрятал «Повесть о Горе-Злочастии». Сейчас читать статьи внимательно он был не в состоянии и надеялся заняться этим дома, на досуге. Голова после вчерашнего была все же тяжелой. Но он был доволен, что несмотря ни на что, он раскидал часть работы, сделал ту ее механическую, но необходимую часть, которая не требовала интеллектуального напряжения. Прикрепив скрепками свои ответы к рукописям статей, Лева отнес их в машбюро. Там была одна Оля. Она держала перед собой маленькое зеркальце и наводила марафет: подкрашивала ресницы и губы. На Леву она даже не взглянула, даже головы не повернула. Он тихо положил свои материалы в папку для печатания и тихо вышел.

Вернувшись в комнату, он услышал радостную новость, взволновавшую редакцию: звонил Главный и сказал, что ни он, ни его заместитель сегодня не приедут, они на совещании, и вызвал на это же совещание и ответственного секретаря. Короче, начальства не будет, а времени два часа, и можно пойти пообедать, и не просто, а *со смыслом*, зайдя в ближайший магазин — благо принюхиваться, не пахнет ли от них спиртным, сегодня некому. Да и дождь кончился. Все хорошо сходилось. Лева любил питие в столовой, когда вначале нужно было под каким-то предлогом набрать чистых стаканов, потом уже, сидя за столом, составить их в ряд, кто-то тихо лез в портфель за бутылкой, быстро открывал ее, остальные оглядывались, нет ли милиции, *прикрывали* приятеля, официантки делали вид, что ничего не замечают (им доставались пустые бутылки), водка быстро разливалась по стаканам, бутылка убиралась, стаканы расходились по рукам, поднимались в воздух, ими не чокались, только говорили негромко: «Ну, будем!» Водку выпивали и принимались яростно есть первое — своего рода закуска. Такое рыцарское братство сплоченных общей целью людей. Лева любил сплоченность и братство, оно грело его. Но сегодня он уже решил поехать к Грише, если тот не будет возражать. И, попросив приятелей подождать, пока он сделает звонок, чтоб понять, сможет он с ними пойти или нет, Лева вышел в коридор к телефону.

Трубку снял Гриша. Услышав его голос, Лева обрадовался, он боялся, что подойдет Аня. Голос у Гриши был тревожный, и Лева сообразил, что они не созванивались несколько месяцев.

— Гришенька! — говорил он так, чтоб Гриша не смог отказать.— Давно не виделись. Хочу тебя повидать. Поговорить надо. Очень надо. Как Аня, Борис? С ними все в порядке? А у меня сложности. Ты же знаешь, я к тебе редко за помощью обращаюсь. А что, что-нибудь случилось?

— Ты понимаешь, Лев,— говорил Гриша, голос у него был не только тревожный, но и смущенный, и тягучий, словно он хотел отказать ему в визите, но не знал, как это сделать.— Ты понимаешь, у Ани горе. Да нет, с нами все в порядке, и на работе все в порядке. Семейное горе, прямо злочастье какое-то. Племянник ее, младший сын ее сестры Симы, ты ее должен помнить, мы как-то у них вместе были, так вот, ее младший, двадцать семь лет парню, погиб позавчера. Сегодня похороны и поминки. Аня вся черная ходит. Жуть какая-то. Молодой парень, второй раз женат. Не знаю. А тебе очень надо? Отложить не можешь? Ну приезжай. Может, отвлечешь Аню. Только не надолго. Ладно? Прямо сейчас можешь выехать? Жду.

— Ну, чего? — спросил Шукуров.

— Нет, не смогу с вами,— ответил Лева.

— Бабе звонил,— понимающе сказал Саша Паладин,— с похмелья на это дело всегда тянет.

— Да нет,— сказал Лева, беря портфель и перекидывая через руку плащ. Он пошел к двери, остальные за ним.

— Наверно, крокодилу звонил,— пошутил Скоков.

Все засмеялись. Вышли вместе. Но приятели пошли прямо, к магазину, а Лева свернул налево, вышел на Садовое кольцо и там сел в троллейбус.

Глава III. САМОБИЧЕВАНИЕ

В троллейбусе Леве посчастливилось сразу сесть — хотя и спиной по ходу движения, чего он не любил, лицом к входящим, того и гляди, что войдет какая-нибудь старушка, и придется вставать, место уступать. И все же хорошо, что хоть какое место. Троллейбусы по Садовому были всегда набиты сверх меры, словно автобусы-экспрессы, идущие от конечных станций метро во всякие там Чертаново, Медведково, Беляево, Лианозово, Орехово-Борисово... Леве везло, он всегда жил неподалеку от метро: минутах в пяти пешего хода.

Троллейбус тронулся, и тут же Лева испытал острое сожаление (даже будь возможность — выскочил бы), что не пошел с ребятами. Какого черта, в самом деле, его понесло к Грише?! Посидел бы спокойно с ребятами, выпили бы, потрепались — в этих посиделках самое приятное было чувство безответственности, словно попадаешь домой, на мягкий диван, в домашние шлепанцы. Только даже еще спокойнее. Бутылка сменяет бутылку, одна тема другую, все друг перед другом нараспашку, разговор оживляется все более и более, а утром есть, что вспомнить, если, конечно, удалось избежать всяких гадостей и глупостей. Вот именно — если. Лева вспомнил вчерашнее и снова помрачнел. Нет, не будет он выходить на следующей остановке и догонять друзей. Хотя Кирхов всегда говорил, что Лева из тех людей, что сначала долго уходят, но потом все же в компанию возвращаются, особенно если пьянка идет. Кирхов — вечный издеватель, сатана. Но — прав, так оно всегда и бывало. Вот они сидят в стекляшке, выпили, посидели, но у Левы срочная работа — опять какой-нибудь академик, начальство ему доверяет, да и академики привыкли, что именно он пишет за них статьи. «Еще одну,— говорит Лева,— и пойду». Кирхов хитро щурит глаз, хехекает и показывает на Леву пальцем. «Ты чего?» — спрашивает Лева. «Да нет, ничего,— отвечает Кирхов.— Ты, конечно, уходишь. Ты только скажи, сейчас за следующей побежим, на твою долю брать?» — «Нет»,— отчаянно-твердо говорит Лева. Выпивает «на ход ноги» и уходит. Но через квартал он понимает, что сегодня все равно работы не будет, а в кафе уютная компания, он колеблется, немного смущают насмешки красавца Кирхова, сардоническое выражение его насмешливого, удлиненно-породистого лица. Лева машет рукой и возвращается, проклиная себя за свою слабость, но домой просто не идется. Трудно променять вольное дружество на домашние тяготы. Он возвращается, Кирхов смеется и говорит: «Надо было с тобой все же на бутылку поспорить!» Лева терпеливо сносит

приятельские издевки и остается с друзьями. Нет, все-таки я ужасно слабый человек, думал про себя Лева. Никакой верности однажды принятому решению... Вот тот же Федор Кирхов, он может, если ему надо, бросить редакционную компанию и уйти куда-то. Впрочем, с завистью подумал Лева, у Кирхова повсюду компании, причем самые разгульные,— все хотят общаться с писателем! Тимашев, который почему-то стал конфидентом Кирхова, говорил, что тот и в самом деле большой писатель, может быть, даже великий. Только для «тамиздата», здесь не пройдет. Во всяком случае, если говорить о последнем романе, там-де, «все болевые точки нашей культуры». Все это было сомнительно! Когда Кирхову писать, если пьет он не меньше Левы!.. Да и вообще, что значит в наше время сам термин «великий»? Уже немало, если ты классный специалист, в данном случае — журналист «с пером и головой». Это да, это у Кирхова не отнять. То, что Кирхов *пишет прозу*, Лева знал. Но думал, что рассказы, то да се. А тут — романы!.. Где время взять? Не раздваивается же он? Хотя, хотя... все говорят, у него *похмелья не бывает*. Вот и находит время какое-то! Кстати, и сегодня его в редакции не было. Небось, рвньше всех узнал, что Главный не приедет, и тут же сбежал. И никто на него не обижается, что не пошел с *коллективом*, его любят, чувствуют, что он, как и они, туда же направлен (что бы там Тимашев ни плел!), хоть и ярче всех, талантливее. А так — свой! Не то, что Тимашев!.. Этот — чужой. Инородный какой-то!

Не талант отъединяет, думал Лева. Отъединяет нечто другое. Но что? *Индивидуализм*, вот что! Боязнь за собственную шкуру. Свои интересы — прежде всего! Кулацкая психология! Струсил же Тимашев, когда в переплет со всеми попал. Паладин рассказывал. Сидели, выпивали, в «неположенном», разумеется, месте. Милиционер их застукал, капитан. Стал спрашивать, кто где работает. Тимашев с испугу не только себя назвал, но и Сашу, и остальных вынудил назваться. Сам он объяснял потом, что надеялся на испуг милиции перед журналистами. Действительно, не тронули, да и выхода вроде другого не было, а все равно — некрасиво. «Мне-то все равно,— говорил Паладин.— Я переживу. А вот Тимашеву всю жизнь скверно будет». Ну, уж не так и скверно! Да и вообще надо бы присмотреться к нему, какой-то он слишком благополучный, будто еще какие источники энергии его подпитывают! Знаем, бывали такие случаи!.. Вроде бы и совсем даже ученый, профессор, а сам за товарищами приглядывает... Чужака не случайно в нем ребята чуют. Конечно, Тимашев скорее наоборот — обособленно держится, и все же... «Впрочем, необоснованно нельзя подозревать,— сказал вдруг себе Лева.— Это уже в чернуху провал, „помадовщина", как сказал бы Кирхов. Надо быть реалистом. Я, например, для ребят „свой". А вот Гриша Кузьмин тоже всегда на особинку держался, без высокомерия, этого не было, но сам по себе». Его уважали, думал Лева, но «своим» тоже не считали. Один он, Помадов, оказался близок к Грише дружески, вошел в дом, потому что понимал и чувствовал, кто такой Гриша, что он может! Да, лет двадцать с гаком назад это было, они встречались, общались, спориля, еще за год до двадцатого съезда они уже многое видели и понимали. А сейчас — семьдесят девятый на дворе, а что сделано? Что же сделано?

Лева поднял голову. Прямо перед ним, у кассы, стонла красивая блондинка с распущенными волосами, в джинсах и синей блузке. «Киска», как сказал бы Кирхов. Лева пристально уставился на нее, забыв совсем, что он отнюдь не Кирхов и даже не Тимашев, смущая девицу пламенным, пожирающим взглядом. Она посмотрела на Леву, распатланного, с заметно опухшей физиономией, в малюсеньких очечках, рябоватого, широколицего, сидевшего раскорякой с портфелем на коленях и, очевидно, дышавшего перегвром; посмотрев, дернула презрительно вверх своим кукольно-ухоженным личиком и отвернулась. А Лева был не настолько пьян, чтоб не увидеть себя ее глазами, старого, потасканного, почти пятидесятилетнего мужика, совсем не «бобра», престижного, вальяжного деятеля с положением, на которого могла бы клюнуть такая девица. Деятели не так выглядят, да и в троллейбусах они не ездят.

Под пятьдесят уже, а что создал, чего достиг, в чем преуспел? Ни карьеры, ни науки — все мимо. А ведь это два единственно возможных (пусть и альтернативных) пути для современного интеллигента, желающего оставаться в рамках лояльности. Ну, на карьеру, положим, он никогда не ориентировался, в его систему ценностей она не входила. Слишком преходящи ее блага, слишком суетны и незначительны с точки зрения вечности. Только мелкие люди, полагал Лева, живущие сиюминутным, кидаются на карьеру. Хотя именно она дает устойчивость в жизни, которую только псих не оценит. Некоторым кажется, что они могут совместить карьеру с наукой. Но это немыслимо, немыслимо по определению. Наука о сути говорит, а такой подход карьеристу противопоказан. Наука — святое дело!.. Когда-то он мечтал, что они с Гришей вдвоем, объединив свои усилия, философ и историк, нечто сумеют сказать важное о жизни. Он тогда просто жил у Гриши, считал его самым умным, самым талантливым, самым многообещающим, потом ругал фетюком, что тот так от жены и не решился уйти, потому ничего и не сделает, ставил себя в пример, свой сравнительно вольный образ жизни — не сидит бирюком, работает в журнале и может хоть как-то влиять на духовное развитие общества. А Гриша трудился над книжкой о русской общине, которая спустя двенадцать лет вышла — маленьким тиражом, для узкого круга специалистов. Никто ее, кроме специалистов, и не заметил. А ведь мог греметь. Теперь занимается уже больше десяти лет проблемой культурного архетипа — темой совсем дохлой, почти непроходимой. Что есть архетип русской культуры? Это и в древность надо лезть, и с Западом сравнивать — да это на всю жизнь хватит копаться. А потом что? В стол? В стол Лева не умел писать. Статья, не предназначенная для печати, не имеющая конкретного прицела на иакой-либо печатный орган, была для него почти что и иесуществующей. Он был и в самом деле профессионал, не умел делать полдела, а текст, написанный ради текста, ради выяснения самим автором какого-то смысла, пусть даже истины, не казался ему делом. Надо ориентироваться хотя бы на «тамиздат», как Кирхов. За это никто из интеллигентных людей не осудит. А писать просто в никуда?.. Он задумался. А как же Спиноза, опубликованный посмертно? Или Дешан? Или даже наш Чаадаев? Ну, это тоже надо, чтоб так повезло, чтобы рукописи не пропали, чтоб нашлись ученики, поклонники или хотя бы доброжелатели, которые захотели бы с этим возиться!.. Да в древности и писали-то единицы. Можно было надеяться, что руиопись не затеряется. А при нынешнем печатном буме? Когда и опубликованные тексты люди читать не успевают? На что рассчитывать?..

После смерти на что нам рассчитывать?.. Лева вдруг представил, что вот он умирает, его хоронят, начинают говорить, а что же он сделал, и никто не может вспомнить ничего, кроме того, что он редактировал хорошо статьи, будут говорить, что он был талантливый исследователь, но тут же прикусывать себе языки, потому что в опубликованных им статьях ничего, кроме ситуативной правоты, найти нельзя, их даже в книжку не собрать, ов в этом сам сейчас убедился, пытаясь это сделать, реального предмета исследования нет... И что? Будут приятели вспоминать, как он с ними пил, какой был милый да смешной?.. Лева похолодел. Он попытался сравнить себя с Гришей? А что от Гриши останется?.. Все-таки какая-никакая, а книга, которая для специалистов будет интересна и через десять, и через двадцать, а может, и больше лет. Она хотя бы будет входить непременной составляющей в библиографии по вопросу об общине... Да еще, глядишь, и рукописи останутся, а то и вторую книгу, дай Бог, удастся издать, пусть хоть через десять лет. Важно, что она пишется и, надо надеяться, будет написана...

А от меня, Леопольда Федоровича Помадова, что останется? Надпись на могильном камне? Больше ничего. Разве что какой-нибудь будущий историк культуры по моим статьям попытается восстановить определенный социально-психологический тип определенной эпохи... Утешение незавидное, хотя все же... Все же шанс остаться... Стоп! Но я же еще не умер!.. Есть же еще идея *жизни как калейдоскопа*... Она, конечно, пока выглядит не очень научно, но, может, это мифопоэтический образ, только надо его развить и научно, и художественно. Кроме меня это покамест никому в голову не приходило. А у меня есть талант, знания и вкус, чтобы эту идею обработать. Только куда ее пристроить? У нас — покажется бессмыслицей. Слишком ни на что не похоже. Там — их тоже только политика интересует. Надо будет с Гришей посоветоваться. Вот и в отношениях с Гришей — типичный калейдоскоп. Были ближе близкого, днн раздельно не проводили, всем делились, самой затаенной мыслью, а потом вдруг что-то нарушилось, кто-то тряхнул мой калейдоскоп, и Гриша выпал из рисунка моей ежедневно протекающей жизни, хотя не исчез из поля зрения, то есть узор изменился, но не очень. А ведь мог составиться совсем иной. И Лева тут в первый раз за все время, как пришла ему идея о калейдоскопе, вспомнил себя маленького, и то, как дали ему трубочку, с одного конца имевшую стеклянное круглое окошко, а с другого — прикрытую матовым белым стеклом. Затем сказали, чтоб он приставил глаз к окошку и смотрел в трубочку. Маленький Лева посмотрел и ничего не увидел. Он всегда был тяжелодумом. Тогда ему сказали, что белым матовым стеклом надо трубочку направить к свету. Лева посмотрел и увидел узор из драгоценных камней: треугольник, взятый в кольцо. Он смотрел и боялся шелохнуться. Кто-то тряхнул калейдоскоп, и рисунок вдруг изменился. Сначала Лева хотел разреветься, но новый узор был не хуже старого. И тогда Лева стал сам потряхивать трубочкой, восхищенно творя все новые и новые узоры из разноцветных драгоценных камней. Такое счастье продлилось несколько дней. А потом случилось то, о чем Лева не любил вспоминать. То ли по собственному любопытству, то ли по чьему-то совету, он отодрал крышку с белым матовым стеклом, надеясь получить в свои руки эти драгоценные камни и самому из них раскладывать узоры. Но там оказались не камни, а скучные, плохо отполированные разноцветные стеклышки. Больше у Левы в собственном владении калейдоскопа не было. Но, даже став большим и видя порой у детей своих приятелей эту трубочку, он не упускал случая прислониться глазом к маленькому круглому окошечку и, замерев на пару минут, посмотреть, как чередуются узоры. И если есть Где-то Кто-то, то, может, для Него человеческая жизнь, сплетение судеб человеческих не более, чем узор в калейдоскопе, конечно, только гораздо более сложном. Поймав себя на последней мысли, Лева тряхнул головой: нет,

о калейдоскопе надо писать всерьез, не прибегая к дешевым приемчикам современной фантастики, спекулирующей на идее Высшего существа.

Да и к тому же, как совместить идею калейдоскопа с идеей человеческого предназначения? Одно исключает другое. Если я к чему-либо предназначен, то меня нельзя перетряхивать, как узор в калейдоскопе, я ведь должен осуществляться. Этого я хочу от себя, этого и от Гриши требовал... У Гриши, помимо рукописей и книг, еще Борис есть, это тоже осуществление... Я это не понимал. Вот Верка, может, наконец, сына родит. Но мне-то уже почти пятьдесят!.. Всегда думал, что дети мешают. И Ингу заставил аборт сделать, потому что делавшаяся в тот момент работа (а какая, он уже и забыл) казалась во много раз важнее, чем ребенок. А потом Инга уже не могла иметь детей. Их ведь предупреждали, что первый аборт вреден. Но Инга делала все, как он хотел, слушалась малейшего его слова. Фу, сколько он плохого и непоправимого натворил в своей жизни! А главное, что не с собой, а с другими людьми!

Лева почувствовал, как на лбу у него выступает пот. Он поднял глаза. Люди грудились к выходу.

— Какая сейчас остановка? — почему-то хриплым шепотом спросил он своего соседа, толстощекого полковника, сидевшего неподвижно и важно, как скифская баба.

— Площадь Маяковского,— ответил тот, не поворачивая головы, не снисходя до общения с расхристанным, несобранным, неподтянутым и, очевидно, закоренелым штатским.

— Извините,— вскочил Лева, подхватывая портфель.— Чуть не проехал. Разрешите пройти,— добавил он, видя, что сосед и не думает пошевелиться и пропустить его.

Лишь после этих слов тот медленно повернулся боком, выдвинув свои ноги из прохода, и Лева смог протиснуться. Влившись в толпу выходящих, он выскочил на улицу. Под жарким солнцем мимо киоска Союзпечати, не останавливаясь у него, как обычно, мимо театра имени Моссовета, под прохладные высокие своды зала имени Чайковского и в метро, там вниз по широкой и глубокой каменной лестнице, как спуск в квкую-то карстовую пещеру, превращенную в своего рода музей со всеми удобствами. Дальше, разменяв двадцать копеек, получив четыре пятака, Лева один из них опустил в автомат, прошел контроль, и вот уже он на эскалаторе едет вниз. В метро люди почему-то делаются спокойнее и цивилизованнее, заметил уже давно Лева, хотя, казалось бы, спускаются под землю, в чье-то неведомое чрево, и беззащитны перед землей. Но метрополитен чист, светел и надежен. Как это удалось — загнать все речушки, болотца, озерца под камень и гранит! Но — удалось! Вот в Нью-Йорке, говорят, метро — это самое страшное место, где люди действительно отрезаны от цивилизации, там — это страшные разбойничьи пещеры, где орудуют банды подростков и негров. Только свмые бедные и отчаянные там пользуются метро. Туда спускаться, наверно, так же страшно, как подниматься в конандойлевский «затерянный мир», где жили доисторические жуткие животные, против которых человек бессилен. Хотя все-таки спускаться страшнее: почему-то кажется всегда, что чудища должны сохраняться под землей, в ее таинственных глубинах: порождение Геи, матери-земли, всегда были чудовищами. Древние греки это хорошо понимали — все эти сторукие великаны, тифоны, лернейские гидры, все из ее чрева вышли. Да и тут, лет через двести, если метро устареет как транспорт, как средство передвижения, эти заброшенные, разветвленные шахты и подземелья в центре города наверняка станут пристанищем каких-нибудь хтонических чудовищ или хотя бы городских разбойников. Вот тебе и *исторический* калейдоскоп.

Лева втиснулся в подошедший вагон и, зажатый жаркими, потными телами, чувствуя горячее дыхание высокого мужика на своем затылке, глядя на полнотелую краснощекую девицу с прыщами или фурункулами (результат плохого обмена веществ в организме, к такой только спьяну полезешь, с сожалением к девице констатировал Лева), он доехал до «Динамо», где с облегчением выскочил из переполненного вагона. Все-таки с похмелья было тяжеловато ездить в метро, да и вообще в духоте. Сердце както странно телепалось, то часто-часто колотилось, то вдруг даже приостанавливалось. Выйдя на улицу, Лева в киоске купил тем не менее пачку сигарет и спички, потому что разговор с Гришей мог потребовать этих мужских атрибутов общения, а у Левы не больше двух сигарет оставалось.

К Грише можно было ехать либо на автобусе, конечная которого была тут же, неподалеку от метро, либо на трамвае, до которого надо было идти минут десять мимо стадиона. Но у трамвая были свои преимущества; он подъезжал ближе к Гришиному дому и днем бывал меньше набит, чем автобус. Да и прогулка по свежему воздуху мне не повредит, решил Лева, хотя, конечно, лучшим бы лекарством было выпить сейчас сто граммов водочки, и сердце тут же бы отпустило. В этом смысле, и только в этом — в медицинском (так сам себе Лева сказал), он пожалел, что не пошел с приятелями в «стекляшку», но делать было нечего, не возвращаться же назад. И Лева, не торопясь, пытаясь глубоко дышать, двинулся вдоль решетчатой ограды стадиона.

Навстречу ему, деловито, тяжело дыша, совершая свою работу, бежали друг за другом в затылок спортсмены в импортных тренировочных костюмах и кроссовках

«Adidas». Проходили мимо люди, одни к метро, другие из метро — эти обгоняли Леву, шедшего медленно, с опущенной по привычке головой. После дождя на асфальте стояли лужи. Спортсмены бежали, не глядя под ноги, и кроссовками разбрызгивали воду. В лужах, как видел Лева, копошились неизвестно откуда выползшие дождевые черви. Светило солнце, от луж поднимался пар, было жарко. Воздух был как в бане или закрытой ванной, но с добавлением запахов асфальта, размякшей и раскисшей земли, промытой дождем зелени листьев. Лева вдруг вспомнил свое детское ощущение оранжереи — тяжелый дух, наваливавшуюся там на все тело жаркую влажность, удушливый запах цветов, плававших в разогретых бассейнах. Самое время выползти какимнибудь тропическим чудищам, думал Лева, стоя на трамвайной остановке. Но чудище не выползло, а подошел полупустой трамвай, и Лева с радостным чувством свободы выбора уселся на сиденье у окна.

Трамвай тронулся. Лева было обрадовался, что вот, наконец, последний вид транспорта и через двадцать минут он у Гриши, но тут же скуксился и почувствовал, как в душу ему заползает хандра, потому что кроме Гриши, дорогого по-прежнему Гришеньки, там будет Аня, и с ней придется общаться не меньше, чем с Гришей, если не больше. А для нее Лева чуть было не стал злым гением, разрушившим ее жизнь. Как разрушил и жизнь Инги, вдруг с тоской и беспощадно сказал он себе. Как и Веркину жизнь, наверно, разрушу. Он вспомнил, как переживала Инга, что не может больше иметь ребенкв, а он, кретин, радовался этому обстоятельству, что может спокойно заниматься любовью, не думая о последствиях, и что кричащий, орущий, писающийся и постоянно болеющий ребенок не будет отвлекать его от *работы*, от *дела*. А потом отношения с Ингой стали приедаться, уже и влечения такого он к ней не испытывал, как раньше, все чаще манкируя супружескими обязанностями. Он заводил любовниц, но оставить Ингу не решался, было совестно. Боялся лишить Ингу своей особы. Как же, женщине плохо без мужчины, а без него особенно! Он же порядочный человек! Двадцать с чем-то лет назад он ушел от Инги, чтоб целиком посвятить себя работе, год с ней не общался даже. Но она его дождалась и приняла, когда через год он приполз к ней в двухкомнатную квартиру у метро «Кировская», прося прощения. И еще семнадцать лет прожил с ней, постоянно чувствуя виноватую благодарность, что приняла, что простила за неудачный аборт, что отмывала его пьяного, грязного, когда его приносили друзья или случайные собутыльники, что всегда перед всеми отстаивала его интересы, защищала как раз порой перед теми, кто знал, что Лева ей изменяет и с кем изменяет. От этого втройне становилось нехорошо. И бросить эту одинокую, уже глубоко за сорок, так преданную ему женщину! Конечно же, это подонство!

А как безобразен он бывал спьяну!.. Уже из одной благодарности, что она это переносила, он не имел права ее бросать. Что он только не вытворял! Она не вспоминала, вспоминали приятели. То, что они наблюдали. Как он в командировке хватал за руки Тимашева, еле дотащившего его из ресторана до номера и уложившего на постель, и рычал: «Дорогая моя девочка! Ложись рядом!» И аналогичная история повторилась с Кирховым, едва запихавшим пьяного Леву в такси, чтоб отвезти домой. Они сидели на заднем сиденье, и он лапал Кирхова за коленки, бормоча: «Дорогая моя девочка! Сейчас мы едем к тебе!» Ребята смеялись, что спьяну Лева путает половые признаки и ненароком может мужеложеством заняться. Что ни сцена приходила Леве на память, то она была кошмарнее предыдущей. Особенно почему-то ужасными представлялись ему две истории, происшедшие у Саши Паладина.

Саша давно ушел от жены, оставив ей двухкомнатную квартиру. Но поскольку он был Сыном, то не прошло и некоторого времени, как он вне очереди получил комнату в малонаселенной коммунальной квартире у Савеловского вокзала. Комната мигом была обставлена — добротно и тяжеловесно: во весь пол улегся толстый ковер, около окна встал тяжелый четырехугольный дубовый стол, на нем массивная высокая лампа — не лампа, а целая колонна, под абажуром с фестончиками: у одной стенки два книжных шкафа впритирку друг к другу (что говорило о Сашиных интеллектуальных интересах), у другой стены — диван, а над ним грузинский серебряный рог, простенок у входа занимал сервввнт с хрустальными рюмками, посудой и постельным бельем в нижнем отделении. Рядом с сервантом стоял огромный холодильник «Ока».

Стесняясь изобилия и материального довольства, не им созданного, Саша отдал комнату в распоряжение приятелей. И каких только пьянок и загулов тут не устраивали! Лихие, веселые, молодцеватые, бодрые, как гусары прежних времен (хотя порой и уланы, вспомнил Лева классическое противопоставление Скокова), они приходили, приносились в такси, врывались, вбегали, вползали, втискивались, вваливались, вламывались, входили, внедрялись в Сашину комнату и приносили с собой; да, как правило, у всех с собой уже было — бутылки, колбаса, хлеб. Из рюмок, разумеется, не пили, пили либо из стаканов, либо из граненых, маленьких и прочных лафитничков — ровно на пятьдесят граммов. Выпивали и смеялись над иностранцами, которые во всяких там западных романах заказывают двойной виски с содовой, делают это грубоватые, настоящие мужчины, а двойной виски — это всего-то навсего сорок граммов.

И Кирхов обычно резюмировал: «Что русскому здорово, то немцу смерть!» И зачем собирались? А просто. Просто посидеть, пообщаться, потрепаться, выпить. Производство форм общения ради самого общения — высшая, самая бескорыстная форма человеческого общежития! Счастливые были времена. Но вот Саша женился, стеклышки в калейдоскопе переменились, у него больше не встречаются.

Хорошие времена, почти былинные; но были в этой комнатке и кошмарные провалы в постыдные глубины. Не щадя себя, Лева вспоминал, как отправился к Саше с одной из тех женщин, что вечно крутилась вокруг журнала (Инга называла их «маркитантками», обслуживающими сотрудников журнала по потребностям). Там они выпили, Лева отрубился, а потом уже в семейных трусах до колен, с распатланными волосами, бессмысленной ухмылкой на лице (очки на столе) он то ковылял, то полз по ковру на четвереньках за девицей, протягивая к ней руки и бормоча: «Дорогая моя девочка! Сейчас тебе будет приятно!» А она в одной комбинации бегала от него и временами взвизгивала, когда Леве удавалось зацепить ее за ногу. Впрочем, вспоминал он не то, что видел и помнил сам, он видел и вспоминал это как бы отраженно: то, как Саша рассказывал и представлял в лицах, наблюдая сцену со стороны (девица была при этом одной из Сашиных любовниц). Да, далеко не все женщины, даже спьяну соглашались лечь с Левой («пень красивее его», вспомнил он снова слова жены Тимашева), поэтому так прикипел он душой и телом к двадцатишестилетней Верке, которая была младше его на целых двадцать два года, а при этом вроде бы и любила его. Снова представив бегающую от него долговязую девицу в комбинации и себя, ползущего за ней по ковру с протянутыми руками, Лева даже застонал от омерзения к себе.

Не чище была и вторая история. Как-то Лева встретился со своим бывшим однокурсником, ныне доктором наук, Мишей Ведриным, таким же толстым и невысоким, как Лева, но с более оформившимся брюшком, выпиравшим из брюк. Только если Лева носил свитера, то Миша Ведрин имел пристрастие к водолазкам с искрой и костюмам красновато-фиолетового цвета. Женат он был дважды, с обеими женами развелся и жил сейчас со старушкой-матерью в двухкомнатной квартире, а потому, как и Лева, в ту пору страдал от отсутствия помещения, куда можно было бы водить баб. Они посидели в кафе, немного выпили, бутылку — не больше. Там же они познакомились с бабой, такой же толстой, как они сами, лет под пятьдесят или сразу за пятьдесят, в кудряшках и в очках. Предложили ей стакан портвейна, она лихо его хлопнула — и понеслось. Лева бросился звонить Саше Паладину. Дозвонился, договорился, что тот на вечер уступит им комнату. По дороге баба уговорила их взять кроме бутылки портвейна (любимого напитка доктора наук) еще две бутылки «Имбирной». У Саши они выпили бутылку портвейна и принялись за «Имбирную» (баба бабой, а выпивкой пренебречь они тоже не могли), а их собутыльница жаловалась им на свою незадачливую жизнь, рассказывала про сына-инвалида тридцати лет, которого женщины не балуют, если только она сама к нему не приведет и не заплатит из собственного кармана. Но когда Ведрин полез ее лапать и сдирать с толстых ляжек трусики, а Лева зарываться лицом в ее мясистую увядшую грудь, она вырвалась и сказала, что позволит им обоим, но что сначала она должна съездить к сыну и отвезти ему бутылку его любимой «Имбирной», что без этого ей будет неспокойно, а потом она, конечно же, вернется. Пьяные дураки ее отпустили, дали бутылку, дали денег на такси, чтоб она скорее возвращалась, и принялись ее ждать, споря, кто будет из них первый, когда баба приедет назад. Разумеется, она не вернулась. Хорошо еще, что у Саши в холодильнике нашлась бутылка водки. Допить они, правда, не допили, потому что вдруг вповалку уснули на Сашином диване. Утром явился Саша, разбудил их, они снова выпили, и Саша затеял разговор о высоком, смеясь над их рассказом о чадолюбивой бабе. «Может, это для нас благо, что она ушла,— хихикая, говорил Лева.— Мы бы иначе, может, не нашли водки в холодильнике».— «Понимаешь, ты не прав,— отвечал Ведрин.— Водку мы бы так или иначе нашли, но еще бы и бабу получили».— «Так что же, по-вашему, благо? Я что-то не понял,— сказал Саша.— Поначалу мне показалось, что вы стремились к высшему благу — к любви. Потом выясняется, что водка — это тоже благо. Стало быть, надо установить иерархию благ — на платоновский манер. И прежде всего, что вы вкладываете в понятие блага. Вот баба ваша явно решила, что имбирная — это высшее благо, потому и сбежала от вас. Хотя нет,— задумался Саша,— имбирную она повезла сыну-инвалиду, а значит, и для нее любовь оказалась высшим благом. Короче, ее благо оказалось сильнее вашего. И следовательно, надо разобраться, что есть ваше благо и в чем его неподлинность». Саша тоже был изрядно пьян и слегка косноязычен. Тут-то и произошла грандиозная драка из-за проблемы блага у Платона, дрались Лева и Миша Ведрин. А началось все довольно интеллигентно. «Мы устроим диалог,— сказал Лева.— Я буду Сократ, а Ведрин — Филеб, что значит любитель удовольствий».— «Ну в таком случае,— ответил Ведрин,— ты не меньший Филеб, чем я».— «Хорошо,— согласился Лева.— Я буду Филеб, ты Сократ, а Саша — Платон. Он все потом резюмирует и опишет». Диалог их продолжался, однако, не очень долго. Уже через пять минут Лева всхлипывал от ярости, а Мишка Ведрин все более откидывался назад с высокомерной миной на лице. «Не-ет,— кричал Лева,— мы никто не способны достигнуть блага, потому что оно в любви истинной. А мы ее не имеем и никогда не будем иметь, мы ее не достойны, потому что мы распутники, сволочи»,— плакал пьяный Лева. «Все наоборот у Платона,— менторски пыхтел толстый Ведрин и потрясал рукой со сложенными в щепоть пальцами.— Любовь есть стремление к обладанию благом, но не само благо. Почитай, если не читал. Это в „Пире"у Платона изложено».— «Школьные зады! — кричал Лева.— Асмуса повторяешь».— «Ну и что? — отвечал Ведрин.— Это добротный философ-профессионал. И он прекрасно показал, что идея блага есть наивысшая идея у Платона: не идея истины, не идея прекрасного, а именно блага. Все остальные идеи подчиненные и стремятся к благу, все вещи стремятся достигнуть блага, хотя — в качестве чувственных вещей — не способны его достигнуть. Но счастье, как разъясняет Платон, состоит именно в обладании благом. Поэтому всякая душа стремится к благу, все делает ради блага, но достичь его не может. Вот в чем парадокс и противоречие человеческой жизни. Все-таки жаль, Лео, что ты ушел в журналистику и забыл самые азы философии».— «Я-то их не забыл! — завизжал Лева.— А ты вот дальше азов не двинулся».— «Чудак ты,— сказал Ведрин.— На букву эм. Жалко мне тебя».— «Ах так!» — и Лева с размаху влепил пятерней по физиономии Ведрина. Поскольку удар получился несильный, он еще в завершение царапнул оппонента по щеке, оставив плохо подстриженным ногтем кровавую царапину. В ответ доктор наук ударил Помадова по очкам. Очки упали на пол, но поначалу даже не разбились на толстом и мягком ковре. Зато из носа у Левы закапала кровь; мазнув себя по лицу и увидев кровь на руке, он испугался, на секунду замер, а затем с криком «Негодяй!» вцепился левой рукой в волосы бывшего однокурсника, правой стараясь ударить того в лицо. Мишка Ведрин уклонился, и сам сумел ухватить Леву за его жидкие волосенки одной рукой, другой отводя Левины удары. Неуклюжие, пузатые, они топтались друг против друга, пыхтя и не имея сил даже на сквернословие. Мимоходом, во время боевого топтания, они раздавили Левины очки, в горячке боя не заметив этого. Саше с большим трудом удалось растащить их и заставить в знак примирения выпить по рюмке водки. «Надо сказать,— ехидничал он впоследствии, пересказывая эту историю,— к сократическому диалогу наши друзья, несмотря на свое высшее образование, оказались не готовы».— «Да все водка проклятая»,— говорил Ведрин, махая рукой. А Тимашев добавлял, что у нас нет привычки к таким диалогам, потому что не было ни софистических, ни схоластических споров. «Ну и что,— говорил Саша Паладин,— спор разрешился в национальной традиции — хорошим мордобоем». Лева тогда думал, что они подрались, потому что ни у одного не было своей идеи, к которой хотели бы привести противника, только простая склока схоластическая, и Тимашев не прав. Сейчас, вспоминая эту драку и ее предысторию — с имбирной водкой и толстой бабой, Лева поражался омерзительности своего поведения, удивлялся, что этого никто не заметил.

Он чувствовал, как замирает сердце, а лицо пунцовеет от холодного ужаса, что после *такого* он мог испытывать праведный гнев против Инги (а теперь против Верки), в чем-то упрекать ее! А в чем? А в том, что она знаменитостей любит, приглашает в гости бывших Левиных приятелей, ныне авторов модных книг, статей и скандально-шумных диссертаций, в том, что Леву пилила за пьянку, приводила в пример друзей и однокурсников, говорила, что даже с Гришей он перестал общаться, потому что Гриша что-то делает, а он, Лева, нет, а потому и почва для общения пропала. А ведь все это было оттого, что на самом-то деле она гордилась им, верила в него. Ему уже потом, после его ухода, рассказывали, как в случае каких-либо споров она сразу говорила: «Надо у Левки спросить, он все знает, он объяснит».— «Он что у тебя, в самом деле все знает?» — удивленно спрашивали ее. «Почти все,— с гордостью отвечала она.— А мне так кажется, что совсем все». Она ведь любила меня, думал Лева, да и до сих пор привязана. За совместные годы она привыкла, что он — есть, что все же в возрасте, когда друзей становится все меньше, они друг для друга надежная опора. А как она с ним вместе выбирала ему костюмы, следила за ним, покупала рубашки, вязала свитера, вывязывая всевозможные сложные узоры! Как беспокоилась за него, когда его отправляли в дальние командировки, за его жизнь, за его здоровье! Как сама была не требовательна по части всякого женского барахла! И вот он бросил ее, она — оставленная жена!.. Это с ее-то гордостью и неустроенностью внутренней! Он вообразил ее маленькую фигурку, худенькие плечики, длинное серое шелковое платье, ее любимое, опущенную голову с пучком волос на затылке — облик курсистки, народоволки, женщины духовного служения, не думающей о быте, и снова проклял себя, свою распущенность, расхристанность, пьянство, плотоядность, неумение собраться, отсутствие внутренней дисциплины и даже хоть маленького фермента карьерности, чтоб твердо стоять на ногах. Лева вдруг быстро открыл портфель, сунул туда руку и вытащил тимашевскую книжку о горе-злочастии. И прочитал, со страхом, чуя душой сходство ситуации:

Ино зло то Горе излукавилось,
во све молодцу привидялось:

«Откажи ты, молодец, невесте своей любимой —
быть тебе от невесты истравлену...»

Лева вспомнил злую шутку Кирхова, что Верка его подтравливает, с дрожью в руках и болью в глазах продолжая читать дальше:

...еще быть тебе от тое жевы удавлеву,
из злата и сребра бысть убитому.
Ты пойди, молодец, на царев кабак,
не жали ты, пропивай свои животы,
а скинь ты платье гостаное,
надежи ты на себя гуику кабацкую,
кабаком то Горе избудетца,
да то злое злочастие оставетца:
за вагим то Горе не поговитца,
да никто к нагому не привяжетца,
а нагому-босому шумить розбой.

Действительно, Лева боялся своего «злата-серебра» — стеснялся своего умственного превосходства, своей начитанности, своей культуры, боялся, что его более малограмотные одноклассники, а потом однокурсники будут ему завидовать, хотел опроститься, да, именно это слово: «опроститься». А они теперь кандидаты и доктора, по-прежнему ходят к нему за советами, он переписывает по старой дружбе их статьи, но они возвращаются на свои уютные кафедры и в свои высоконаучные сектора, в теплые квартиры к обожающим их глупые головы женам, а он, Лева, пропив на второй уже день ползарплаты, едет куда-то в снятую комнатенку на Войковской, с чужой мебелью, чужой постелью, чужим бельем!..

Лева в испуге спрятал книжку на прежнее место и захлопнул портфель, уставившись в окно. Но дома, заборы и кусты, мелькавшие за окном, он не видел. Он переживал. Как он любил в юности гусарство, удаль, быстроту и лихость загула и, напиваясь, казался себе таким же свободным, как лихие гусары, которые приходят во снах. И гитара! Но на гитаре играла и пела под нее тимашевская жена Элка, и это тоже раздражало Леву, усугубляло его неприязнь к Тимашеву: почему одному все, а другому и половины нет. У того и бабы, и веселая жена с гитарой, и статью нашумевшую о «профессорской культуре» написал, а Оля-машинистка, небось, ему еще и бесплатно его опусы перепечатывает... Как он успевает все!.. Как эти гусары и купцы чего-то успевали!.. Ведь после загула приходит похмелье, а после похмелья новый загул... Когда же дело-то делать? Впрочем, воевать да торговать, наверно, особой усидчивости, тем более книжной, не требовало! Лева понурился.

А сколько гадостей с похмелья наделаешь, потом сто лет не расхлебаешь,— мысль Левина прыгала с предмета на предмет, подчиняясь не логике, а каким-то внутренним эмоциональным зацепкам и связям. Зачем Олю обидел? — каялся он. Высокая, стройная, темноволосая, с тонким лицом, длинными пальцами, она была рождена для лучшей доли. Кончила музыкальную школу, собиралась поступить в консерваторию (это Лева краем уха слышал), но пошла в машинистки. Почему? Ах да, отец умер, мать по инвалидности на пенсии, она поздний ребенок, пришлось идти зарабатывать — вот и попала по знакомству в редакцию. Хочется ей, конечно, замуж; под простыми, но искусно пошитыми платьями Лева сладострастно прозревал молодое плотное тело, но замуж никто не берет, прямо Лариса Огудалова из «Бесприданницы»... Да и вряд ли она найдет себе мужа среди женатых мужиков в редакции. Наверно, она и сама это понимает, на судьбу обижена, а любви хочется, вот и крутится возле Тимашева!.. А он, Лева, ну не сукин ли сын! Брякнул ей, что мужа не найдет, то есть то, что ей хоть на время забыть хочется!.. «Какая же я гнусь,— думал Лева.— Старый уже мужик. Должен же быть поснисходительнее, мудрее, не меряться неудачливой судьбой с молоденькой девчонкой и не срывать на ней своего раздражения. Ведь я же мужик, уж мог бы сам себя воспитать». Нет, все же у него и впрямь распадное интеллигентское сознание, да, интеллигентское, с самого детства чувство вины перед всеми, потому и пил, чтоб стать таким, как все, стыдился выделиться, выйти из ряда. Но что-то двусмысленное было в его чувстве вины.

Он вспомнил, как в детстве мать оставила ему рубль, на случай, если придет слесарь чинить кран на кухне, чтоб отдать ему. Слесарь пришел, кран починил, но рубль Лева ему не отдал, справедливо полагая, что от тринадцатилетнего мальчишки тот денег не ожидает. Рубль же Лева зажал на свои мелкие расходы. Вечером пришла мать со своим братом, Левиным дядей, у которого старшая дочка тоже в честь отчима была названа Леопольдиной (в семье девочку звали Полей). Дядя был директором большого кинотеатра, был толст, важен, грубоват и прямолинеен. Мать спросила, приходил ли слесарь и отдал ли ему Лева деньги. Зажимая деньги, Лева надеялся, что мать не задаст второго вопроса, потому что был не способен, не умел врать ни при каких обстоятельствах. Сейчас увидел он себя тогдашнего, маленького, дрожащего (он уже лежал в постели, укрытый мохнатым верблюжьим одеялом в белом пододеяльнике), увидел, как покраснел, похолодел, а потом сказал, из красного становясь бледным, что он *забыл* отдать рубль, потому что тот лежал на столе в комнате, а слесарь был на кухне, что когда слесарь уже ушел, он схватил рубль, чтоб его догнать, но не догнал, и теперь рубль лежит в кармане его штанов. Мелкая ложь! Но все же не такая страшная, как если бы он утаил деньги. Лева даже привскочил, сказал, что сейчас оденется и пойдет искать слесаря, чтоб отдать ему этот рубль. Начал даже рубашку надевать. Но мама поцеловала его и остановила, а дядя, видимо, не поверив ни единому Левиному слову, неприязненно покосился на него и махнул рукой: «Ни к чему! Это все интеллигентские выкрутасы и самооправдания, игра на публику, чтобы другие тебя оправдали. Ты это дело брось, Леопольд! Это плохая привычка. Украл — ну ладно, не украл, утаил — утаил рубль, так хоть перед нами не выдуривайся, а главное, перед самим собой. А то — бежать, говорить, извиняться-извиваться. Лучше сразу делать правильно, а сделав неправильно, неправильное исправлять делом, а не словами!» Дядя был зло прав, и Лева влез снова под одеяло, съежился и дал себе слово поступать всегда так, чтоб потом не раскаиваться, во всяком случае не произносить потом горячих самообвинительных слов и не бить себя в грудь. Но всю жизнь только этим и занимался. Сначала делал и говорил гадости, а потом раскаивался и просил у обиженных прощения. И все считали его при этом за порядочного, слабого, но в конечном счете нравственного человека, Лева от этого ненавидел себя еще сильнее.

За похмельным самобичеванием он чуть было не проехал нужной остановки. Но все же вовремя спохватился, выскочил. Огляделся. Уникальный деревянный павильон — прибежище от дождя для ожидающих трамвай — с ложными колоннами, прикрепленными прямо к стене, стоял там же и так же, как двадцать пять лет назад. Лева посмотрел на часы. Было ровно три. Он пошел между кустами, разросшимися за годы, что он сюда не ходил, дорожка привела его к пятиэтажному — «профессорскому» — дому, где жил Гриша. Он обогнул его со двора, вошел в знакомый широкий подъезд и поднялся по давно знакомой и, как ни странно, не забытой широкой лестнице с каменными ступенями. Знакомая дверь была все так же обита дерматином, только наискосок по дерматину шел разрез — очевидно, работа пришлой шпаны. Разрез был зашит суровой ниткой. Чувствуя тяжесть на душе от прошедших мыслей и противный, похмельный привкус во рту, Лева набрался духу (потому что немного боялся встречаться с Аней) и позвонил.

Глава IV. ДУШЕСПАСАТЕЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

После Левиного звонка в глубине квартиры послышались шаги, но направлялись они не к входной двери, а куда-то вбок. Потом из глубины, заглушенные, очевидно, дверями донеслись малоразборчивые слова. Но открывать никто не шел. Лева подтянул брюки, проведя руками по своим выпирающим с обеих сторон толстым бокам, сожалея, что он в свитере, а не в пиджаке, хоть немного да прикрывшим бы его толстое, обвислое тело. Давно он тут не был. Он нервно зевнул, машинально прикрыв рот рукой, хотя никто не видел. К двери по-прежнему никто не подходил, словно бы и звонка не было. «Наверно ругаются,— подумал Лева,— выговаривает, небось, Грише, что он меня пригласил,— имени Ани Лева даже про себя не назвал сейчас от обиды.— Отвела его в комнату или на кухню и расшумелась-расшипелась, что-нибудь вроде: зачем его звал? Не тот момент! Сиди с ним сколько хочешь, но по возможности не в нашем доме! Опять заявился этот пьяница и бездельник! Повадится ходить — я тогда уеду! Пусть он тебе семью заменит! Ладно, раз уж позвал, то открывай, но не надолго! Я буду в своей комнате. Когда через полчаса выйду, чтоб его не было. Уж не знаю как. Сам зазвал, сам и выкручивайся!» Леве даже стало казаться, что он слышит эти слова.

Да, Лева понимал, что с тех пор, как он уговаривал Гришу развестись с женой, эта самая жена его плохо переносит. Ну и дура, это только подтверждает ее ограниченность, потому что лично против нее он ничего не имел... Он о Грише беспокоился и заботился, чтоб тот мог творить. Лева полагал, что рано или поздно они все равно разведутся. Опыт показывал, что интеллигенты меньше двух раз не женятся. Взять хотя бы его, Леву. Как раз тогда он ушел от своей второй жены, так он про себя в то время именовал Ингу. Это было больше двадцати лет назад. Время было тогда такое, не только для них с Гришей, для всех,— время социальных надежд, пятьдесят пятый. Два года едва прошло после смерти сатрапа, а как все зашевелились и задвигались — работать надо было, а не в семейной кастрюле вариться. Лева вспомнил бесконечные истерические споры между Лидией Андреевной, Гришиной матерью, и Аней, какое-то изломанное письмо-исповедь, которое писал Гриша!.. Нет, он и впрямь тогда был в плохом состоянии, так что прав был Лева, стараясь его освободить от семейных склок, от домашних скандалов. Лева помнил и тот вечер, когда отнес Ане его письмо и убеждал ее своей волей дать Грише развод — из высших соображений, что творческому челове-

ку нужна свобода. И почти получилось. Аня в ярости расколотила фотопортрет свекрови после Левиного ухода из комнаты, а для Левы это оказалось лишним аргументом, но тут, в тот же вечер (бывает же так, что в один вечер сходятся все противоречия и разрешения!) заболел десятилетний Борис, думали все, что не выживет. И Гриша, естественно, остался, вся Левина работа пошла прахом. Да, из-за ерунды, из-за несвоевременной болезни сына. А в дальнейшем поднять разговор на эту тему до такого накала Леве уже не удавалось. Конечно, конечно, Лева понимал, что и после ухода мужчина может вернуться — вот как он к Инге. Но это он теперь только понимал, а тогда такое соображение и в голову ему не приходило.

Лева вспомнил, как он вернулся к Инге, как они оба плакали, целовались и снова плакали, как клялся он, что всю жизнь проведет у ее колен, как они оба обещали друг другу быть вместе навсегда и снова плакали. Непонятно даже, кто первый начинал плакать, у обоих глаза были на мокром месте. Он ожидал, что она будет его отталкивать, прогонять, а она только покорно льнула к нему, и ее худенькое, маленькое, миниатюрное тело было безропотно в его руках. Вот только детей у них не получилось после дурацкого аборта, а теперь сына — он надеялся, что будет сын! — собирается ему родить Верка. И все равно — воспитывать его сможет только Инга: в духе стремления к высокому, жизни во имя идеала. Нет, Верка тоже была интеллигентной женщиной, но более земной, простой, бытовой, что ли. Крепкотелая, полногрудая, страстная, она приковала к себе неудачника в любви Леву, но духовная, «астральная», как он сам говорил, связь у него оставалась с Ингой. И как-то (выпив, разумеется) он стал убеждать беременную Верку, что, когда она родит и выкормит их сына, его необходимо будет отдать на воспитание Инге. Верка онемела и ничего не сказала, а Лева, уверенный, что она просто обдумывает его предложение и не может в результате не согласиться, потому что много резонов он привел за это решение, поехал убеждать Ингу. И гордая, независимая, одинокая Инга снова плакала, а он на сей раз не плакал, но с пьяной твердостью и настойчивостью требовал от нее согласия, напирая на то, что они были не только и не просто муж и жена, но еще и друзья, настоящие друзья, и друзьями навсегда останутся. Говорить такое покинутой женщине, да, это не слабо, думал Лева, обливаясь холодным потом при одном воспоминании об этой сцене. Инга совсем уже разрыдалась и указала ему на дверь. Лева вышел на холодную лестничную площадку, хотел было уйти, но пьяная спесь не позволила. Он позвонил, она не открыла, вот как сейчас прямо. Тогда он сел на лестничную ступеньку под дверью и принялся упорно ждать. Через большое время Инга успокоилась, умылась, открыла дверь и увидела его: он сидел у самой двери и спал, уткнув голову в колени. Она затащила его снова в квартиру, напоила горячим чаем и сказала, что согласна, если его нынешняя жена не возражает и отдаст сына. Конечно, не возражает, куражился Лева. А вся крохотная фигурка Инги дрожала от горя, боли и обиды. Лева стукнул себя кулаком по лбу, отгоняя видение, прогоняя эту картину из головы, потому что вспоминать все это было мучительно стыдно. Леве опять хотелось каяться, истово, со слезами. «Не согрешишь — не покаешься, не покаешься — прощен не будешь», как любил повторять один старый преподаватель древнерусской литературы, с которым Лева был шапочно знаком, потому что бегал с философского на интересовавшие его лекции по всему университету.

Лева снова нажал кнопку звонка. Снова прозвучал где-то в глубине злой шепот, потом шаги к двери, и щелкнул замок. Дверь открыл Гриша, не спрашивая, кто там, хотя всегда, как помнил Леопольд, спрашивал. Увидев Леву, он сделал шаг назад, словно все же надеялся увидеть другого человека, такое выражение было у него на лице. Затем качнулся вперед, словно не то собираясь прикрыть собой Леву от взглядов сзади себя, не то думая вытеснить его нажимом всего тела из дверей, но тут же отступил вбок и сказал:

— А, ты все же приехал? Я уж было подумал...— он тут же перебил себя.— Понимаешь, Аня...— и добавил.— Да ты не стой у порога, проходи, проходи прямо ко мне в комнату. Там и посидим.

На его горбоносом, породистом и худом лице промелькнула растерянность, даже испуг какой-то, отягощенный недовольством собой.

Лева обидчиво пожал плечами:

— Не напрашивался,— соврал он, веря, что говорит правду.— Могу и уйти, если помешал.

И зная, что Гриша примется сейчас лепетать что-то оправдательное, Лева двинулся в комнату направо от входа, на которую Гриша указывал рукой. Это была бывшая комната Лидии Андреевны. Так же во всю правую стенку от пола до потолка стояли четыре книжных стеллажа, тот же около них круглый стол; у окна, как и раньше (так, чтобы свет падал слева), находился письменный стол, только этот был поменьше, чем старый; за ним еще один книжный стеллаж, бельевик, тахта; между книжной стеной и дверью вмещался старый платяной шкаф. Все то же, да не совсем то. Исчезли собрания сочинений Лысенко, Мичурина, материалы партконференций, задвинуты куда-то

бесчисленные сборники архивов о партячейке в Юзовке: теперь стояли сочинения классиков художественной литературы, всякие там Бальзаки, Стендали и Толстые, пятнадцать томов С. М. Соловьева и десять томов его сына В. С. Соловьева, восемь томов Ключевского, четыре тома Покровского, трехтомник Костомарова, тридцатитомник Герцена, пятнадцать томов Чернышевского,— короче, то, что называется «россикой».

Лева хотел было усесться за стол, в деревянное кресло (на столе стояла пишущая машинка с заправленной в нее страницей, какие-то напечатанные и писанные от руки листы бумаги лежали рядом, и Леве очень любопытно стало запустить в них глаз: что теперь пишет Гришенька?), но Гриша опередил его, сам сел за стол, чистую бумагу отодвинул, исписанную перевернул белой стороной кверху, а Леве указал на кресло, стоявшее перед столом у окна. Кресло было старинное, мягкое, с высокой спинкой, изгибающимися подлокотниками, в доме Кузьминых его называли «вольтеровским», его подарили Лидии Андреевне ее друзья, какие-то старые большевики, бывшие с ней вместе в эмиграции. Это было ее кресло, а лет ему, наверно, не меньше ста. Лева уселся, сиденье мягко подалось вниз, голова Левы оказалась чуть выше стола, возникло неприятное ощущение, что Гриша *возвышается* над ним — не то, чтобы судья, но какой-то более правильный. Лева всем телом вдруг почувствовал холодноватую отчужденность Гриши, в горле у него снова пересохло, словно вернулось похмельное утро, когда от сухости в глотке он слова не мог вымолвить. «Да, давно здесь не был. И зачем напросился? Гриша, небось, уже жалеет, что согласился на мой приезд». С чего-то надо было начинать разговор. А Лева по дороге за своими размышлениями и самобичеваниями совсем забыл, что там такое у Гриши случилось. Он попытался вспомнить, но мозги отказывались напрягаться. Лева сделал глотательное движение, оно у него не получилось, и он испугался.

— Слушай, ты мне стакан воды не дашь? — жалостно хрипнул он.— Извини. Набрался вчера. Знаешь, как иногда интеллигентного человека черт несет!..

— Сейчас принесу,— вместо слов сочувствия, соболезнования и сострадания коротко ответил Гриша. И Леве снова показалось, что он посмотрел на него как-то *сверху*. Как на пропащего, слегка высокомерно. Да и выходить ему, видимо, не хотелось: на кухне Аня наверняка чего-нибудь злое скажет. Когда дверь за Гришей закрылась, Лева потер себе лоб, пытаясь вспомнить: «Ах ты черт! Что же у них случилось? Надо же так глупо забыть! Фу ты! Просто позор! И сам-то чего приехал? Что за неотложная срочность была? — теперь, сидя в большом, уставленном книгами кабинете, Лева никак не находил оснований для своей просьбы во что бы то ни стало повидаться именно сегодня.— Сказать, что Главный меня не ценит, а Чухлов — скотина? Так Гриша про Чухлова и слыхом не слыхал. Что мне хочется куда-то бежать, но что от себя не убежать?.. Ничего не скажешь, свежая мысль!.. Поведать идею калейдоскопа?.. Но не сформулированная, она может показаться мелкой, пустой, не основательной. Про крокодила?.. Но что если в самом деле это бред? У меня — бред, а у Гриши и в самом деле какие-то *настоящие* неприятности... Какие только? Позор! Уж лучше бы с ребятами в кабак пошел...»

Гриша принес стакан воды. Лева принял его, припал с жадностью, но пил с осторожностью, медленно, чтоб все во рту освежить. И полстакана на всякий случай не допил, зная, что вскоре горло опять пересохнет, а гонять Гришу за водой все время неудобно. Самому же ему, похоже, лучше на кухню не показываться. «Отчего только в дороге жажды не было?»

— Плохой я человек стал, Гриша, даже в медицинском смысле плохой, и, наверно, прежде всего в медицинском,— начал Лева, желая переползти к своей забывчивости, но не решился, сказал другое.— Пью, понимаешь, не могу остановиться. С кем попало пью. Затянуло меня наше российское, восточное, интеллигентское, карамазовское, слабое. Не могу сказать «нет»!..

— А ты пробовал? — спросил Гриша тоном, близким к суховато-ироничному, но глаза были растерянные, не умел он быть жестким.

— Пробовал,— махнул рукой Лева.— Но ты же знаешь, старик, что российский интеллигент слаб по определению. Ему необходимо дружество, единение. Я человек общественный, натура социальная, создан для форума, как рыба для воды. А где ты видел у нас общественную жизнь? А? То-то. А водка сплачивает,— но увидев иронически поднятые брови Гриши, страдальчески-недоуменное выражение его лица, торопливо добавил: — Я понимаю, конечно, что водка — это суррогат. Но ведь ты ж понимаешь, что дружеское общение заменяет нам социальную жизнь! Не на собраниях же мне юбилейную аллилуйю петь! Знаешь анекдот, как пьяницу поднимает милиционер: «Как тебя зовут?».— «Не знаю».— «Где живешь?».— «Не знаю».— «Где работаешь?».— «Не знаю».— «А год у нас какой?».— «Юбилейный».— Гриша усмехнулся. Лева, довольный, забормотал: — Вот так-то! Мы, Гришенька, если хочешь знать, устали от юбилеев. Это своего рода протест, мое пьянство,— после этих слов Лева внутренне немного приосанился и даже сам себе стал казаться благороднее.

Гриша снова поморщился, хотя и постарался это сделать незаметно, но не получилось, Лева заметил, сжался, а Гриша, не глядя на него, глядя в стол, сказал:

— А по-моему, ты уж не сердись, пьянствуя, вы тоже вполне выражаете все то же юбилейное сознание. Ликование неизвестно по какому поводу. И никакой это не протест, а распущенность — в помощь все тем же юбилеям.

Лева совсем не чувствовал в себе сил для спора, а потому сразу перебросился на жалостливый тон:

— Наверно, ты прав. Но я ж говорю, что российский интеллигент слаб по определению. Природа у него такая. Будь он даже из мусульман, как наш Шукуров Игорь, водка все равно всех перебарывает. А сколько было замыслов, планов! В этой самой комнате, помнишь, как мы тебя с Лидией Андреевной уговаривали заняться *делом*, уговаривали *писать*! Молодые были, наивные, двадцать с гаком лет — не шутка! Я тогда первый раз от Инги ушел. Мы уже шесть лет прожили, думалось — огромный срок, хватит. И не думал, что вернусь. И еще вместе семнадцать лет протрубим. А вот на тебе! Казалось, через двадцать лет будем если и не мировыми знаменитостями, великими учеными, но хотя бы в своей стране на первых ролях, определяющими духовную атмосферу... И что же? Едва заметная составная часть этой атмосферы, не больше,— с исповедальной навязчивостью бормотал быстро Лева.— Ничего-то из нас не вышло толкового. Как и из мушкетеров Дюма через двадцать лет. Кто чем был, тем и остался. Мелкие должности, написано преступно мало. Можно было по крайней мере в пять раз больше! Эх!

Гриша кивал головой, мрачнея. И хотя Лева понимал, что по отношению к приятелю не совсем прав, а выходило по большому счету, что и прав. Но тот молчал, ничего не говорил.

— Ты вот, например, почему у нас не печатаешься? — ляпнул Лева, не подумав. Но тут же сообразил, что его тут вина, хоть вначале и пытался он привлекать Гришу, пару раз ему даже конъюнктурные темы предлагал, *нужные для журнала*, но Гриша тогда отказался, потом еще делал попытки Лева привлечь его с пользой для дела, но Гриша отнекивался, а собственные Гришины статьи не лежали в русле *нужных* тем, да и встречаться они с Гришей стали все реже и реже...

— Действительно, почему? — ответил вопросом Гриша.

Смущенно Лева затрепыхался, забормотал:

— Ты понимаешь, наш Главный губит журнал, приличных людей и статей не дает печатать, печатает только «нужников», ну, нужных ему людей — из начальства, академиков, цековцев, набирает сотрудников себе под стать, а сам говорить правильно не умеет, честное слово! Ребята за ним все его словечки и выражения записывают: «Я делаю первый выбор», «о чем я призываю», «окрутить» и «проправить» — это значит «обвести» и «отредактировать». А его перл: «Учение о развитом социализме имеет все черты настоящей теории»! Короче, как говорит Райкин, главным редактором он в состоянии не быть. Помнишь, там у него был образ лектора Степы, у которого сила в словах была, только расставлять он их правильно не умел. А недавняя фразочка, что «а журнале наблюдается небольшой прогресс вперед»! или: «необходимо взвешенно оценивать»! Это же нарочно не придумаешь! А если не начальство печатает, то все равно нужников — всяких там Гамнюковых, Пустяковых, Лизоблюдовых! — поскольку Гриша слушал молча, то Лева отпил еще глоток воды, желая хоть какой-то нейтральный жест сделать, чтобы, говоря словами Главного, «переломить ситуацию на позитивные рельсы».— Он себе в замы Чухлова взял, вопиющего хама,— продолжал Лева,— а старая гвардия уходит. Ушел из журнала Орешин, ушел Боб Юдин, говорят, Кирхов скоро уйдет,— сыпал Лева именами, которых Гриша наверняка не знал. Но так звучало убедительнее. Гриша все равно молчал.

— И в семейной жизни сплошные неурядицы,— пожаловался Лева, не зная, что еще сказать.

— Так ты что, от Инги все-таки ушел? Мне говорили, что у тебя молодая жена. Или ты и с ней не ужился? — спросил Гриша. Вежливо, но как о ком-то постороннем.

Лева почему-то был уверен, что у Гриши с Аней жизнь по-прежнему немирная, но поскольку Гриша об этом молчал, то и говорить было нечего. Приходилось о себе говорить. Лева снова протянул руку к стакану, стоявшему на краю стола, подержал воду в пересохшем рту, даже прополоскал рот незаметно, хотелось и горло прополоскать, но постеснялся и только медленно-медленно проглотил воду, чтоб лилась долгой и тихой струйкой. Еще от одной бы кружки пива он сейчас не отказался. Но надо было отвечать, и Лева сказал:

— Не знаю, как тебе и сказать... Ты сам подумай. Инга мне больше, чем жена, она товарищ, ты ведь ее знаешь. Но она не жена. Не могу я с ней. Понимаешь? Желание пропало. Я уж старался, но не могу,— говорить о себе было легко и приятно, а интимность темы придавала только остроту разговору.— Я перед ней, с ней, как с самим собой. Мои болячки, привычки, дурость — все она знает, все прощает. Я перед ней голенький и слабенький, как больной перед врачом или медсестрой, когда стыдиться не надо. Это важно. Это только годами совместной жизни дается. С Ингой все мое — мое. Я ведь на Ленке в двадцать один год женился,— шептал он громким шепотом.— До нее у меня женщин не было. Она у меня первая женщина была. Такое, брат, воспитание оранжерейное. Мы же интеллигенты, так нас воспитывают наши дурацкие родители, это мы потом распускаемся и до всяких безобразий доходим. Но я и после пяти месяцев с Ленкой был почти как нецелованный, и до Инги у меня снова женщин не было, то есть посчитай, да, до двадцати трех лет. Ты с нынешними-то сравни. Такие ли они? Сексуальная революция, она и у нас произошла. А я и после Ленки считал, что целовать девушку без любви нельзя, хотя и знал, что все так делают. Ты представь себе интеллигентного тихого студента, который пошел провожать девушку домой с вечера Назыма Хикмета, увлекшись разговором, в темноте он осмелел, да и девушка оказалась умненькой, понравилась ему, он и поцеловал ее на прощание — ничего больше, клянусь тебе, ничего больше! Но она на поцелуй ответила, она меня, как выяснилось, давно отмечала, и я ей нравился, вот почему она меня тоже поцеловала. А вечером, вернувшись домой, а особенно наутро этот интеллигентный студент-недоросль считал, что обязан после поцелуя жениться, хотя даже не мог понять, нравится ли ему, как полагается, эта девушка или нет. А уж в том, что любви тут нет, он был уверен, и потому терзался ужасно. Терзался таким пустяком! И это, заметь себе, после пяти месяцев семейной жизни, развода, двух холостяцких лет!.. Он потом снова с ней встретился. Думал, что как-то загладит свой *проступок*, извинится. Он даже не понимал, что женщин такие встречи только больше разогревают, лучше было б, если хотел порвать, вовсе не встречаться. А она и не сердилась, оказалась такая хорошая, добрая, умная, жалко ее. Вот так он и женился. Полюбил только потом. Да и полюбил ли? Может, привязался только? А привязанность — вещь не менее сильная, чем любовь. Может, и более. Да, все правда, так я и женился на Инге... Ты не знал?

— Не знал,— ответил Гриша.— Не знал,— глаза его помягчели, увлажнились, проскользнуло в них сочувствие.— Ты же хороший, Левка, редкого ума человек был и есть! Зачем себя губишь? Зачем пьешь?

Лева знал, что у Гриши бывают такие восклицания искренней душевной сентиментальности, это отличало его от многих. И у самого Левки бывало это странное российское желание умилиться и все разом забыть и простить, но теперь такое состояние приходило чаще спьяну, было просто-напросто другой стороной *«помадовщины»*... Ведь вроде бы то же чувство, ан совсем не то. Раньше он умилялся *чисто, светло*, потому что верил своим мечтам, в свое будущее... Университетские все же годы! Бегали с Гришей на диспуты, концерты, лекции, бродили ночной Москвой, трепались, говорили, обсуждали, переживали, толковали на все лады каждое событие... И все это в памяти связывалось с песней юности и надежды: «Друзья, люблю я Ленинские горы, там хорошо рассвет встречать вдвоем...». Университет на Ленгорах еще только строился, но почему-то, хотя спроектирован был еще в предыдущее время, казался символом обновления всей жизни. Было это, было.

— Гришенька, голубчик, думаешь, я не понимаю? Я больше скажу. От этого и духовные ценности девальвируются. Распад культуры происходит. Есть у нас в редакции местный остряк, Илья Тимашев. Ты его, может, знаешь, читал,— статью о «профессорской культуре»?.. При этом, как мне кажется, весьма малосимпатичный тип. Не удивлюсь, если он и еще где работает. Слишком смело порой высказывается. Так вот, он тем не менее как-то хороший анекдот рассказал. Идет по улице пьяный. Видит — стоит памятник. «Кому?» — спрашивает. «Великому русскому писателю Чехову»,— отвечают прохожие. «А-а,— бормочет пьяный,— это который „Муму" написал!..» — «Да нет,— говорят,— „Муму" Тургенев написал». Тут пьяный взрывается: «Вот всегда у нас так! „Муму" написал Тургенев, а памятник Чехову поставили!» Потрясающий анекдот, верно? Во-первых, кроме «Муму», выговорить и вспомнить ничего из русской культуры мы не в состоянии, а во-вторых, и в самом деле забыли, кто что сделал. Все, как в тумане. Честно говорю тебе: сколько раз пробовал остановиться, слово себе давал, Инге давал, но не сдерживал, ничего не получалось. А знаешь, как на тебя женщина начинает смотреть, когда ты ей раз за разом обещаешь, а не держишь слова? Как на жалкого слабака! Ты и сам так на себя начинаешь смотреть! Все надеюсь, что вот Верка родит — брошу пить, завяжу. Тогда ответственность появится, особенно если сын будет.

— А перед самим собой ответственности недостаточно?

— Гришенька, это ты мне мои слова двадцатилетней давности возвращаешь!.. Я тогда тебе тоже все об ответственности перед самим собой говорил, говорил, чтоб ты бросил все и занялся наукой. А ты все на сына, на Бориса кивал, что не можешь его оставить, что у тебя перед ним ответственность есть. Вот я себя проиграл, потому что не о ком заботиться было, а ты все же, хоть кое-как, а держишься. Ну извини, старик, может, и не кое-как, а как следует, не в этом дело. А в том, что я тоже хочу воскреснуть, остаться на земле хоть как-то, сын мне поможет.

— Я не знаю твою Верку.— Гриша произнес эти слова медленнее.— Я знал, что ты



Ингу оставил, но про Верку знаю только, что она есть. Давно, однако, мы с тобой не виделись. И кто она?

Вопроса этого Лева, не признаваясь себе, все же почему-то боялся. Ребята знали Верку, видели Левку каждый день, его жизнь, его эволюция, его связи и поступки были им понятны без объяснений, а Грише слишком надо много объяснять. У него моя жизнь не очень-то перетряхнута, думал Лева, в его калейдоскопе. И это очень хорошо. Я там все еще присутствую, пусть слегка меняя очертания — от близкого друга до почти бывшего друга. И надо сделать так, чтоб там остаться, с другой женой, но остаться. Нет ничего страшнее, если перетряхнут калейдоскоп твоей жизни, и ты куда-то вывалишься.

— Верка? Она очень хорошая. Тебе что, ее социальный статус? Ну, невысок. Среднее образование, работает машинисткой. Но в этом разве дело? Разве дело в образовании? Понимаешь, она умная, красивая, добрая, почти как Инга, и, самое главное, она тоже *своя*. Это ведь самое главное! Ты согласен? Есть и еще, чего мне в Инге не хватало, старик, а это очень важно, то, что я сейчас скажу, без этого мужчине с женщиной не жить, это даже не постель, хотя постель очень важна, чего скрывать, но это

важнее: она меня *уважает* и *почитает*, я для нее нечто *значу*, и не просто как мужик, а как *выдающаяся фигура*, она с такими раньше не сталкивалась, это лестно, старик, это приятно, это надо, чтоб тебя в твоей семье уважали. А Инга за долгие годы потеряла веру в меня, перестала уважать. А это силы отнимает, вера же в тебя силы придает. Ты извини, что я так все вываливаю, мне давно хотелось с тобой поговорить, исповедаться, что ли... Исповедь возникла же не случайно. Она душу очищает, спасает, лечит. Исповеднику, конечно, тяжело чужую грязь видеть,— Лева выпил снова глоток воды, но скорее автоматически, потому что, несмотря на длинный разговор, сухость в горле и жажда прошли.

— То есть,— перебил его Гриша,— ты хочешь сказать, что в вашем разводе виновата Инга?

— Не так прямо, Гришенька, не так прямо. Вон у тебя Владимир Соловьев на полке стоит. Там стихи его есть? Ну, неважно. Инга все любила повторять его строчки. Это она говорила, что человек сам творец своего несчастья. Я согласен с ней. Каждый сам в своей жизни виноват, это понятно ведь. Она обычно цитировала из Соловьева вот что. Стихи, правда, шуточные, но ничего.

— Да ты прочти лучше, чем рассуждать.

— Читаю. Если, конечно, правильно помню:

Своей судьбы родила крокодила
Ты здесь сама,
Пусть в небесах горят паникадила —
В могиле тьма.

Понял? Каждый человек рождает крокодила своей судьбы...— на этих словах Лева поперхнулся и замер, уставившись на Гришу. Перед глазами всплыла в мутном таком ракурсе вчерашняя длинномордая высокая фигура, вчерашний кошмар, но все-таки одно дело стихи и рассуждения, другое — реальность жизни. Да и ребята его утром успокоили, посмеялись.

— Ты чего? — спросил Гриша.— Призрак увидал?

— Х-хе,— тоном Кирхова попытался ответить Лева, то есть тоном, как казалось ему, выражающим абсолютное презрение к вопросу и абсолютную же независимость (интонациям Кирхова многие подражали в их конторе).— Не говори чушь! — и тут он почувствовал такой позыв к мочеиспусканию, что, чудилось, еще секунда и разорвет мочевой пузырь. «Пиво проклятое»,— подумал Лева.— Ты извини,— вскочил он.— Мне надо... надо выйти.

— Куда? — не понял Гриша.

— В туалет. Надеюсь, он у вас на том же месте?

— Разумеется. У нас все на том же месте,— в ответе был намек на Левин так и не разыгранный как следует вопрос о Гришиной жизни.

— Ты географию квартиры помнишь?

— Угу,— приплясывая, Лева выскочил в коридор, бросив мимоходом: — Надеюсь, Аня меня по дороге не съест?

В коридоре никого не было. Лева быстро прошмыгнул мимо деревянных полок с журналами и книгами, занимавших все коридорные стены, и тоже — от пола до потолка, показалось даже, что добежать не успеет. Но успел. Выйдя оттуда и чувствуя огромное облегчение, способность воспринимать окружающий мир, он услышал движение и шебуршение в Аниной комнате: похоже, что она куда-то собиралась или чего-то делала. И тут Лева вспомнил снова, что Гриша ведь говорил ему, что с Аниными родственниками, или нет, с одним из родственников что-то случилось. Но что? Надо было скорее пройти к Грише в кабинет, спросить, в чем у них дело, пока ненароком не вышла Аня. Однако не удалось. Дверь Аниной комнаты открылась, на пороге стояла Аня. За двадцать-то лет она погрузнела, потучнела, хотя и не сильно, носила очки, по-прежнему делала себе перманентную завивку, чтоб волосы кучерявились, и по-прежнему взгляд, обращенный на Леву, был суров и неласков. Хотя было в нем сейчас и некое ожидание.

— Здравствуй, Анечка,— пробормотал, согнувшись, Лева.

— А ты руки после туалета теперь не моешь? — явно она хотела что-то другое спросить, эта фраза вылетела из раздражения, это Лева почувствовал.

— Мою. Я туда и шел,— он метнулся в ванную комнату и через минуту уже снова стоял перед Аней.

— Ну, и что скажешь? — тон ее стал мягче, отчасти даже виноватый, а лицо было почему-то белое, ни одной живой черточки, чтоб как-то окрасила его.

— По поводу?..— переспросил Лева, не среагировав сразу, и оторопел, увидев, как отшатнулась от него Аня, с недоумением и возмущением во взгляде.

— То есть ты имеешь в виду тот вопрос, по поводу которого мне по телефону говорил Гриша? — неуклюже завертелся Лева, переминаясь с ноги на ногу и пятясь к Гришиному кабинету.

— Если *это* ты называешь «вопросом», то говорить нам с тобой, конечно, не о чем! — запунцовела вдруг разом Аня. До этого она казалась старше Гриши, старее даже, а теперь снова помолодела.— Где Гриша? Гри-ша! — позвала она, сжав на груди руки.

— Ты держишь на меня зло и не любишь меня. Я понимаю,— сказал Лева самым гадским и оскорбительным своим голосом, который он всегда выпускал, когда попадал в безвыходное положение и собирался прибегнуть к хамству.— У нас с тобой старые счеты.

— Лева, остановись! — крикнул подошедший сзади Гриша, хватая его за плечо.

— Ничего, Гришенька, родной!.. Я молчу. Просто Ане не нравится, что я пришел к вам в дом. Боже мой! Да я сейчас уйду. Пожалуйста,— он видел, что лицо у Ани стало в тон ее ярко-красному байковому халату, тонкие губы плотно сжались.

— Ребята! Лева! Аня! Остановитесь! Вы что! — говорил, а то даже и восклицал миролюбивый Гриша.— Как вам не стыдно! Такой день сегодня грустный, тяжелый! Надо всем вместе быть и не ссориться. Жизнь слишком коротка, чтоб ее на такое тратить. Пошли все на кухню. Это даже хорошо, что Лева приехал. Мы же с тобой, Анечка, об этом говорили уже. В такой ситуации мужчина всегда может понадобиться, хотя бы гроб нести или венки...

— Мужчина, может быть...— сказала Аня презрительным, но тихим голосом, приоткрывая дверь в свою комнату.— Я пошла собираться. Тебе тоже пора, если, конечно, ты хочешь со мной ехать. Можешь в конце концов и со своим другом остаться. Вам наверняка есть о чем поговорить... Но *об этом* я тебе говорить запрещаю. Это меня касается.— И она закрыла за собой дверь.

«Так и не простила,— подумал Лева.— Все же ограниченность и злопамятность женского ума поразительны».

Он повернулся к Грише. Тот стоял, понурившись и задумавшись.

Как только еще в разговоре с Аней Гриша помянул о венках и гробе, Лева сразу вспомнил то, что говорил ему Гриша по телефону, о Горе-Злочастии, которое явилось к Аниным родственникам, об Анином погибшем племяннике, иными словами, думал он, ему пофартило, повезло, что не пришлось сознаваться в своей забывчивости, теперь надо только делать вид, что он и раньше помнил, и упрек может быть только один — в грубости сердца, в невнимательности, в эгоизме. Неприятно, но перенести почему-то легче, чем упрек в забывчивости. И Лева забормотал:

— Прости, старик, собственная жизнь замучила, поэтому вместо того, чтоб Аню отвлечь или развлечь, я, похоже, только усугубил. Ты расскажи, что там случилось, какой совет от меня надо, я постараюсь, может, чего в голову и придет.

— Пойдем в комнату, я буду переодеваться,— ответил сумрачно приятель. Все же его гнела размолвка с женой, Лева это видел. Они вернулись в Гришин кабинет. По тому, как насупился Гриша, Лева понял, что рассказывать он ничего не будет.

Лева тоже насупился: что он, хуже всех, что ли?! Он хотел всего ничего — исповедаться, поплакаться, о душе поговорить и тем самым от скверны очиститься. К кому же и пойти было, как не к самому старому другу, которого хранишь на дне души на крайний, последний случай?! И вот он чувствовал нараставшее Гришино отчуждение, и это было ужасно, потому что сам был в этом виноват. Внес лишнее напряжение и фальшь в дом, где и без того все непросто. И вся ситуация стала невозможной. Аня, небось, и так с трудом перенесла его приезд, но смирилась, понадеявшись, что он, Лева, посоветует что-нибудь, посочувствует хотя бы. А он только о себе и помнил. Грише первому говорить было неловко: он дал Леве излиться. А теперь в дело встряла Аня, обиделась, видите ли, а Гриша как был подкаблучником, так и остался — зло думал Лева.

Лева исподлобья смотрел, сидя на диване, как Гриша достает из шкафа старый черный костюм: по фасону видно было, что костюм еще Гришиного отца-профессора. Потом Гриша на секунду повернулся к нему в фас, и Лева с раскаянием увидел на его лице боль и сразу вспомнил, что Гриша всегда мучался и просто физически уставал от фальшивых ситуаций. Лева понимал, что это от возникшей дисгармонии при столкновении душ, разнотонно настроенных. Жена просила не рассказывать, друг назойливо просит рассказать, думал о себе в третьем лице Лева,— ситуация безмерно дурацкая. При первых звуках фальши Гриша и всегда-то съеживался как мимоза, а сегодня что-то уж особенно. Лева заметил выражение мешковатой смущенности и искусственно натянутой улыбки на его дрожащих губах. Следующий этап, если нескладица будет расти, как несложно было догадаться,— улыбка уйдет, он потускнеет и вообще окаменеет. Тут бы и уйти, но это Леве казалось сейчас унизительным. И он остался сидеть, упрямо-выжидающе глядя на Гришу.

— Ну что ты смотришь? — вдруг раздраженно сорвался Гриша. Это его раздражение Лева чувствовал каждой клеточкой тела и души.— Помочь все равно не поможешь. Любопытство гложет? Тогда изволь!..

Лева хотел было обидеться на эти слова, но то, что рассказал ему Гриша, а потом добавила подошедшая и слегка успокоившаяся Аня, привело его в оцепенение. Человек — ничтожная пылинка, игрушка бессмысленной судьбы, думал Лева, слушая рассказ. Может, Инга права, что человек всегда сам творец своего несчастья. А ведь и он, Лева, человек, значит, и с ним может нечто подобное случиться в любой день. И как предотвратить?

Гриша рассказал, что Анин племянник Андрейка, двадцативосьмилетний парень, второй раз женатый («Как и я»,— отметил про себя Лева), инженер, вполне прилично зарабатывал, от первого брака одна дочка, от второго — две, пошел позавчера с приятелями купаться на пруды у Ждановского метро, их почему-то называют «отстойники», при этом, наверно, подвыпил, нырнул и головой в тине увяз, ногами подрыгал, а пока все смеялись, он и захлебнулся. Это вечером сообщила по телефону его жена.

— Откуда ж такие болотистые пруды в Москве? — только и спросил Лева.

— «Москва» — значит болотистая, с древнебалтического,— сказал сухо Гриша.— Здесь же раньше древние балты и угро-финны жили. Все величие наших с тобой предков в том, что на месте болот построили великий город, белокаменную. Но топь-то осталась. Не все еще цивилизовано. Да не в том дело.

Действительно, как рассказал он дальше, затем началось нечто странное. Выяснилось, что принесли Андрея посторонние якобы люди, приятели куда-то исчезли. Хотя откуда посторонние узнали его адрес? Какие приятели приходили к нему в гости, никто не видел. Жена с младшей дочкой была в поликлинике, а старшая почему-то весь день проспала, никого не помнит, кто и приходил. Потом его мать, Анина сестра Серафима, вспомнила, что и вообще Андрейка не любил в незнакомых местах купаться, потому что плавать не умел. Тут все заговорили, что компания, с которой он последнее время якшался, была какая-то нехорошая: карты ночами напролет, какая-то мелкая спекуляция, стали подозревать убийство, допытываться у жены, что у них были за приятели. Та вначале отнекивалась, что, мол, не знает, а потом вдруг сказала, что обнаружила Андрейкино предсмертное письмо, в котором он сообщает, что покончит жизнь самоубийством. «Было ли что или не было,— сумрачно произнес сентенцию Гриша,— никто сейчас доказать не может, но игры с темной силой до добра не доводят».

— А чего сомневаться — все было,— послышался вдруг от двери Анин голос.— Не мог он с собой покончить: мамсик был всегда. Это, конечно, Сима его разбаловала. Но ее можно понять. У мальчишки в пять лет нашли порок сердца. И она его на себе с пятого этажа на улицу, а с улицы на пятый этаж на закорках таскала. А потом уж, естественно, всячески оберегала, лучшие куски в тарелку подкладывала, всем похуже, ему получше, старший его брат Витя был в большом из-за этого загоне, но очень уж добродушный парень, нисколько не сердился. Хотя, как мне кажется, Андрейка хоть и был мамин баловень, которому много позволено, но он как-то и для себя, и не для себя жил. Он, знаешь, Лева, был из тех, что норовят, что называется, «все в дом». А дом там, где жена и дети. Все для них, не для родителей, не для брата, да и не для первой жены с дочкой. Сима говорит, что с компанией он какой-то связался, в карты играл. Ну и что? Ну не в карты же он себя проиграл. Чушь какая-то. Проиграл, а проигрыш означает самоубийство, так, что ли? И совсем странно, *как* все это произошло. С работы ушел рано. В два часа зашел к родителям, пообедал, он любил вкусно поесть, а жена, видимо, не очень-то готовила. Был веселый, как всегда ласковый, в три пошел домой. Сима ему с собой еще здоровенную треску упаковала. Он ее взял, в авоську сунул. Настоящий семьянин. Все в дом. А в полшестого или в шесть уже позвонила его вторая жена Людмила (первую, кстати, так же звали) и сказала, что Андрей утонул.

Лева обернулся, внутренне обрадованный, что с ним разговаривают, к нему обращаются. На пороге комнаты стояла Аня в черном платье, черном платке. Она не могла, как и надо было ожидать от женщины, не интересоваться разговором, который ее затрагивал. А Лева во все время рассказа продолжал испытывать цепенящий, непонятно от чего берущийся ужас. Люди, которые заставляют проигравшего топиться, люди, играющие в карты на жизнь, были из запретного, маргинального мира, с которым Лева, хотя и ходил о бок, но никогда, в сущности, не соприкасался и старался не думать о его существовании. Ведь то, о чем не мыслишь, как бы не существует. Ему бывало не по себе даже от ночных криков, хохота и ругани, доносившихся сквозь зарешеченное окно в его комнатке на Войковской (на окно поставила решетку сдавшая Леве комнату хозяйка — все-таки первый этаж; правда, она рассказывала, что какую-то ее шаль даже сквозь решетку удочкой подцепили и выкрали). Но это стрезва. Спьяну он как бы вступал в другое измерение, ему любое болото было по колено. Сейчас Лева был скорее трезв, чем пьян, и ему было страшно.

— Ты б ее видел,— добавила Аня,— худенькая, тощая, как ящерица или болотная змея какая, глаза как у... у... какого-то зверя, чужие, недобрые. А голос приветливый, даже ласковый, просто мороз по коже. Она себе чисто алиби устроила. Муж утопился, а ее дома в этот момент не было, не знала даже, что он купаться ушел. Так разве бывает? И дочка не знала, спала, не видела, приходил ли кто к отцу. Я говорила Коле, что у девочки надо кровь взять на анализ, анализ на снотворное. Теперь они время, конечно, упустили. Я думаю, она старшей снотворное вкатила, с младшей ушла, а кому-

то свои ключи передала. Они пришли, бандиты эти. Уж что они с ним делали — не знаю. А потом с собой увели. Я не верю, чтоб Андрейка сам утопился. Кто-то над ним это сделал. Письмо заставили написать, а потом убили.

— И что там? — неуклюже подскочил к Ане, тряся своим толстым боком, Лева.— Предсмертное письмо?! И что, что там?..

Почему-то его ужасно взволновало возможное содержание письма. Как завеса из другого мира приоткрылась. Ключ, ключ ко всему!..

— Гриша, ты помнишь точно? — спросила Аня.— Ну да я сама помню. Дорогие мама и папа. Так он начал,— пояснила она.— Люся... Потом это слово зачеркнуто. Людмила ни в чем не виновата. Ее ни в чем ни вините. Я ухожу из жизни по своей воле. Не ищите никого ради своих внучек. Я сам так решил. Никого не вините. Побеспокойтесь о Людмиле и внучках. И никакой подписи.

— А почерк его? — почти выкрикнул Лева.

— Его. И Коля, и Сима признали руку.

— И после такого письма вы думаете, что это самоубийство?! — завопил Лева.— «Не ищите никого ради внучек»! Да это же прямое указание, что надо искать!

— Экспертиза признала отсутствие насилия,— глухо и устало проговорила Аня.

— А письмо все-таки странное,— сказал Гриша, тиская рукой подбородок.— Словно под угрозой чего-то написано. Но чем они ему могли угрожать, кроме смерти? А ведь на смерть он, судя по письму, готов. Значит, чем-то более страшным.

— Могли угрожать убить жену, детей, пытать детей! — предположил Лева, и вдруг невольно сам поверил в свое предположение и с замиранием сердца, но живо представил себе компанию глумливых молодых насильников и убийц, которые угрожают несчастному отцу то убить детей, то приставляют нож к его собственному горлу, то к телу спящей глубоким беспамятным сном пятилетней девочки, пока не вынуждают написать под диктовку предсмертные слова, выгораживающие убийцу, реальную убийцу — собственную жену жертвы. А то, что нет подписи? Это или знак, который он родным оставил, что не сам писал, раз не подписался, или еще страшнее: может, кто из убийц, одурев от беззащитности жертвы и собственной безнаказанности, потащил его на пруд, не дав дописать письмо. Лева почувствовал, вообразив все это, что сам обессиливает от ужаса, как жертва, лишаясь всякой способности к сопротивлению. «Но Гришу-то, мыслителя, почему эта посторонняя смерть так волнует. Он же не общался с покойным, да и с родней его тоже не очень-то. Небось, из-за жены!..» — вдруг зло и холодно подумал Лева и посмотрел на нее.

Аня, понурив голову, так и стояла у порога:

— Кажется, что угодно можно пережить, чем такое. Особенно матери. Для любой матери лучше, чтоб с ней все это произошло, чем с сыном. Почему ж ей не думать, что невестка сгубила сына? Раз не сумела защитить, значит, сгубила. Тем более, что и подозрения есть серьезные,— она говорила, а Лева про себя отметил, что у Ани так и остались просторечные интонации в речи, которые он помнил еще с разговоров двадцатилетней давности.— Мало ли какие в этой шайке были правила?! У этой Людмилки и татуировка, наколка, как она называла, на руке есть. Она не случайно все в платье с длинными рукавами ходит. Сима вначале даже умилялась: вот, дескать, девочка стесняется школьной глупости. А кто это в школе татуировки делает! — об этом и не подумала. Лагерная она или просто блатная. Теперь Сима думает, что Андрейка или в карты много денег проиграл, а расплатиться не сумел, или чего хотел об этой компании рассказать куда надо, жене признался, а она этим и донесла.

— Да, второе похоже на правду,— сказал Гриша, а Лева понял, что он не только из-за Ани, а и в самом деле огорчен и принимает случившееся близко к сердцу, и что все варианты уже не раз были здесь обсуждены и что в его присутствии просто уточняются оттенки в надежде, что вдруг что-то упущенное вспомнится и прояснится.

— Человек, который собирается покончить самоубийством,— продолжал в который раз, видимо, перемалывать это соображение Гриша,— не идет спокойно к матери обедать, не берет домой треску... Этот предсмертный визит в родительский дом как раз и наводит на самые большие сомнения!.. Но чтоб жена!.. Мужа, отца двоих детей, кормильца, в конце концов! Мужика, которого с таким трудом отбила у первой жены... Если это все же так, значит, какие-то глубинные недра всколыхнулись, чтоб такая нечисть на поверхность вылезла, какие-то безжалостные доисторические твари, холоднокровные пресмыкающиеся!..

Они говорили, а Лева чувствовал, как по спине катится пот, холодный, липкий. Вот так уйдешь из жизни, и ничего про тебя, кроме разговоров, как ушел, как дуба врезал или сандалии откинул.

— Вот что значит выйти из своей колеи,— не очень впопад разговору, но выговаривая собственные страхи, выпалил Лева.— Мы уже немолодые, а все не можем понять, что слова: «связался с дурной компанией», «не нашего круга» — очень точные слова. Нельзя попадать в чужой круг. Нельзя, чтоб в твоем калейдоскопе и калейдоскопе твоих друзей менялся узор жизни.

Гриша посмотрел на него вопросительно и с любопытством при словах о калейдоскопе, но Аня оборвала его речь:

— Ладно, хватит разговоры разговаривать. Нас к четырем ждут, а сейчас без десяти четыре. Я одна пошла.

Одетый уже в черный костюм Гриша заторопился:

— Я иду, я уже иду.

— Я тоже с вами поеду, я тоже,— засуетился и Лева, опасаясь, что сейчас будет унижение: давай, дружок, езжай домой, тебя не возьмем, это внутрисемейное дело. А что дома делать?

— Я все же Симу с Колей знал,— добавил Лева быстро. Костюм его, правда, оставлял желать лучшего: свитер и брюки с бахромой. «Хорошо ли мое чадо в драгих портах? А в драгих портах чаду и цены нет»,— вспомнил он неожиданно строчки из «Горя-Злочастья», мелькнувшие сегодня перед глазами. «Что за черт! Привязалась ко мне эта фигня! Подумаешь, пьянство! Тоже мне метафизика! Это Тимашев хватил. Главное, что социального смысла в ней нет. Так, частность, медицинская проблема... И словечками об архетипе культуры тут не поможешь»,— думал Лева, следя при этом жалкими глазами за Гришей и Аней.

— Это правда,— сказал Гриша.— Тем более, может, помощь какая понадобится. Мы ж говорили...

— Мне все равно. Только давайте скорее.

Гриша открыл дверь. Лева подхватил плащ и вышел на лестницу, за ним Аня с Гришей. Гриша запер дверь на два оборота ключа.

Они спустились по лестнице и вышли из дома. На улице все так же было жарко и парко. Они вышли к шоссе и пошли вдоль по обочине, пытаясь остановить машину. Но только, когда они дошли до бензоколонки у Тимирязевского парка, им удалось взять такси.

Глава V. ПОМИНКИ

И опять Леву несло куда-то, к чужим людям, в чужой дом, да еще и в чужую беду. Но от такого бокового движения по жизни он чувствовал облегчение: казалось, что чем-то занят, не впустую проходит день. Остаться один на один с собою было страшнее: Лева принимался слоняться по комнате, перекладывать листки бумаги, писал две или три фразы, потом начинал рыться в книгах, думал о том, сколько книг им не прочитано, брал сразу две, три, а то и четыре книги, карандаш, блокнот, укладывался со всем этим на продавленную кушетку, зажигал хозяйский торшер (который раздражал его своей аляповатой тяжеловесностью), листал одну, вторую, третью, выхватывая из каждой случайные абзацы и строчки, втайне понимая, что для серьезного чтения нужна целенаправленность и целеустремленность, регулярность занятий, другой образ жизни. Он начинал грезить о библиотеке, о когда-то любимом третьем зале «ленинки», о старых толстых журналах и книгах, которые он бы листал, читал, никуда не торопясь, делал выписки с указанием года, места издания и страницы, ходил бы в буфет, в курилку, затем возвращался, слегка бы вздремывал за столом, положив голову на руки, потом пробуждался, встряхивался и вновь принимался за чтение. В этих мечтах он засыпал. Просыпался часа в четыре утра, изломанный, не отдохнувший, обнаруживал, что лежит одетым на кушетке, книги так и не были прочитаны,— в общем, плохо.

Зато сейчас на душе было покойно. Машина его везла куда-то, он не прикладывал никаких собственных усилий, рядом Гриша, можно привалиться к дверце легковушки и подремать. Аня и Гриша молчали всю дорогу, и Лева и в самом деле задремал. Ему снился сон. Он идет по зеленому лугу. И во сне понимает, что луг — это символ человеческой жизни. Но жизнь прожить — не поле перейти. Поэтому луг — это только начало жизни, понимает так Лева во сне. Птички порхают и свиристят в синем ясном небе, солнце яркое и жаркое светит и сияет, синие цветочки разбросаны по зеленому лугу, и желтые тоже, и красные. Парко. Ноги утопают в зеленой мякоти травы, приятно пружинящей при ходьбе, ну и, конечно, разноцветные бабочки порхают, за которыми Лева с сачком бегает. Потом уже сачка у него в руках нет, зато ногой Лева проваливается куда-то, выдергивает ногу и чувствует, что промок. Вот уже почва стала хлюпать под ногами, и скоро оба сандалета Левины наполнились водой и отяжелели, носки совсем мокрые, и он уже принужден ногой нащупывать корневища кустистых трав, чтоб не чапать по воде. По-прежнему трава зеленая, летают бабочки и стрекозы шуршат совсем рядом своими крыльями, краснеют, синеют, желтеют цветы, но постепенно и незаметно для себя Лева осознает, что скачет с кочки на кочку, а под ногами у него болото с «окнами», затянутыми ряской. А тут и вовсе разглядел он просветы с чистой водой. Леве стало не по себе. А все равно надо куда-то прыгать, все вперед и вперед, назад почему-то не повернуть, а впереди цели никакой не видно. Кое-где вода в «окнах» была бурой или желтой, а вокруг почти из-под каждой кочки что-то хлюпало,

хляпало, хлопало, всасывало и извергало, мычало, рычало, ворчало, рыгало, плямкало, хрюкало, пускало пузыри и струйки пара, сопело, шипело и квакало. Теперь Леве стало жутко, он почувствовал отчаяние, хотелось куда-нибудь на сушу, на твердую поверхность. И вдруг вдали заметил он островок, на нем скособоченную хибарку или сараюшку, а может, и барак, в котором жил раньше рабочий люд, кривую, накренившуюся к болоту сосенку на пригорке островка с толстыми, выступающими из земли корневищами, издали заметными, и еще более кривую березу у самого берега. Вроде бы и цель появилась — к островку надо было идти. Но в этот самый момент Лева испытал непреодолимое желание освежиться, плюхнуться в одно из этих болотных «окон», пока окончательно он не расплавился на солнце. В конце концов, теперь цель видна, можно и расслабиться. Конечно, он знал, что опасно в болоте дрызгаться, затянуть может, всосать, не выдерешься. Но хитроумный Лева решил в таком из «окон» окунуться, где полузатопленное бревно плавает. Таких бревен много на болоте Лева видал: лежит на воде древесный ствол, корой покрытый, и не шевелится. А кругом хляп, хлюп, хлоп. И в ум не пришло подумать: откуда здесь древесные стволы, когда кругом — ни деревца, кроме той кривой березы с сосенкой. Нашел он такое «окошко», за кору ствола ухватился и сполз тихо в воду. А бревно вдруг шевельнулось, и увидел Лева повернутую к нему внимательную морду аллигатора. «Купаться нельзя. Аллигаторов тьма. „Неправда“,— друзьям отвечает Фома»,— вспомнил во сне Лева детские стишки. И очень отчетливо мелькнула мысль (он ее сразу со стыдом вспомнил, как проснулся): «Может, он кого уже съел, сыт, и меня не тронет? Может, даже он меня примет за своего, и мы подружимся?» Крокодил зевнул, подняв верхнюю челюсть, нижняя оставалась неподвижною. Холод пронизал Леву от низа живота до горла. И он проснулся.

Машина, вздрогнув, затормозила и остановилась. Лева закрыл в снова открыл глаза. Он был в машине. Глаза увидели обычную картину за окнами: кусты, песочницу, детей, два столба с натянутой между ними веревкой, на которую тетка в расстегнутой кофточке, затрапезной юбке и домашних тапках на босу ногу вешала белье — типичный быт окраинного городского района.

— Борис когда приедет? — услышал Лева Анин голос.

— Сказал, что прямо из библиотеки сюда. Думаю, часам к пяти.— Это отвечал Гриша. Говорили они о своем сыне, это Лева понял. Открывать глаза ему не хотелось. Он переживал свой коллаборационизм по отношению к чудовищу, ведь надо же понимать, укорял он себя, что с этим прямым потомком доисторических гадов договориться невозможно. Фу, мерзость!

Видимо, он опять задремал, потому что второй раз открыл глаза на словах Ани:

— Зачем было брать его? Не понимаю.

При этом Гриша пытался трясти его за плечо и тащить за рукав из машины. Шофер подпихивал его с другой стороны.

— Я сам,— Лева вылез из такси, чувствуя себя, несмотря па ясный день и жару, вечерней развалиной. Его даже познабливало.

Дом, к которому они подъехали, был блочный, еще хрущевских времен: пятиэтажный, с низкими потолками, а потому и невысокий, почти по уровню третьего этажа, если сравнивать с Гришиным домом, и производил впечатление барачного строения слегка модернизированного типа. У дома было три подъезда, перед каждым — лавочки, на которых обычно сидят старухи и судачат, либо вечерами спускаются в летнюю пору мужики в тренировочных брюках, майках-безрукавках и шлепанцах — посидеть, покурить, поглядывая на небо и во двор. Под окнами первого этажа высажены кустики и деревца, образующие своими чахлыми телами запланированные прямоугольники зелени. На улице толпились кучками жильцы. Перед подъездом, где они остановились, народу было больше обычного. Пожилые толстые женщины в темных платьях, мужчины разных лет в черных костюмах, столь же мрачно одетые девушки и парни. По обеим сторонам подъезда были прислонены к стене и к скамейкам венки из смеси живых и искусственных цветов, повитые траурными лентами.

Когда они двинулись к подъезду, из толпы старушек и пожилых женщин им навстречу выбралась одна в черной плюшевой жакетке, припала к Аниному плечу и запричитала:

— Племяша, родная моя! Вот как свидеться-то довелось! Хорошо, Антон не дожил, царствие ему небесное. Он из внуков-то, ты уж прости, не Борю твоего, а Андрейку больше всех любил.

Аня похлопывала ее по спине ладонью, успокаивая:

— Ладно, тетя Паша, ладно тебе. Как там Сима сегодня?

— Покрепче, покрепче, чем вчера.

Уже на лестнице, узкой, с короткими пролетами, плоскими и низкими ступенями, где рядом не поместиться, Лева спросил:

— Кто это подходил?..

Гриша, шедший на ступеньку впереди, обернулся, приотстал от Ани и ответил шепотом:

— Сестра Антон Гаврилыча, покойного Аниного отца.

Они поднимались на четвертый этаж. По дороге, на втором этаже, слышалась приглушенная музыка, шум, вдруг донесся крик: «Горько!». «Надо же, чтоб в том же подъезде,— подумал Лева,— смерть и свадьба. Шутки жизни, бесконечный калейдоскоп смертей и рождений». Видимо, о страшном, противоестественном сочетании подумали все поднимавшиеся, потому что Гриша вдруг повернулся:

— Непонятно, для кого это страшнее. Для тех, кто внизу, или кто наверху. Маяковский как знал, когда сравнивал, помнишь? «Страшнее, чем смерть на свадьбе». То есть страшнее трудно придумать.

У дверей квартиры на лестничной площадке, а также на пролет ниже и выше, стояли молодые, как казалось Леве, парни в черных костюмах и курили. Было им лет по тридцать, очевидно, ровесники покойного Аниного племянника. Среди них оказался и его брат, как догадался Лева. Невысокий парень с широким лицом, в очках, с темной родинкой на щеке, подошел к Ане:

— Здравствуйте, тетя Аня, пойдемте.

Она взяла его за руки, и они поцеловались. И Аня снова спросила с беспокойством:

— Как мама, Витя?

— Ничего, она вас ждет.

Лева умом понимал, что ему надо бы уйти, что не ждут его здесь, не до него, что он навязался мягкосердечному Грише, что не место ему среди этого горя, но жуткое чувство тоски и вдруг проснувшегося почти животного одиночества заставляло цепляться за Гришу, апеллируя к их прежней дружбе. А здесь какая ни ситуация, а все же люди, голоса, разговоры.

— Он с нами,— сказала Аня о Леве, испуганно мостившемся рядом.— Мы думали, Витенька, вдруг мужчина понадобится.

— Да нет, мужчин хватает,— ответил Виктор, поцеловался с Гришей и сказал Леве:

— Пойдемте. Хотя помощи не надо, но спасибо за предложение. Посидите, пожалуйста, с нами, помянем Андрейку.

Голос у него прервался, и он повел их в квартиру. В квартире было суетно, хлопотно, заплаканно. Женщины с красными, зареванными лицами накрывали в большой комнате стол, уставляя его блюдами, носимыми с кухни. Мужчины стояли у окон, черные, как мухи. На подоконнике стояла пиала с водой. «Для обмыва души»,— пояснил один из мужчин на недоуменный Левин вопрос. Семья из деревни, несмотря на долгую городскую жизнь, сохранила старинную обрядовость, об этом Лева и раньше догадывался по Гришиным рассказам. Из разговоров Лева понял, что отец Андрея и его вторая жена уехали в морг, аато в комнате была первая жена, оставленная, пухлая молодая блондинка, в окружении бывших одноклассников, молодых мужчин и женщин. Временами она принималась плакать и тереть глаза маленьким белым платочком. Ее тут же начинали гладить по спине, по плечам, утешали. Покрутившись по комнате, едва не разбив локтем стекло серванта, чувствуя, что всем мешает, Лева поплелся на кухню, куда еще раньше скрылись Аня с Гришей.

Кухня была крошечная. Одну стену занимали белая электрическая плита, кухонный стол и раковина. Над столом висела белая крытая полка с посудой, над раковиной — сушилка для посуды. Простенок напротив двери целиком был занят окном. Сейчас там, у окна, стоял Гриша с каким-то мужчиной и о чем-то говорил. У противоположной стены стоял шкафчик, тоже белого цвета, а рядом стол, очевидно, предназначенный для кухонных трапез. За ним сидела Аня и толстая женщина в ситцевом платье, очках в золотой оправе, с кудерьками на голове, такой же «шестимесячной» завивкой, как и у Ани. По ее толстым мягким щекам, прямо из-под очков текли слезы. Лева догадался, что это и есть Сима, Серафима, мать Андрея и Анина сестра. Сестры резали лук, огурцы, селедку, красную рыбу, а заходившие на кухню женщины уносили все это в комнату на стол. Пожилые женщины все были в теле, корпулентные, толстые, очевидно, думал Лева, из того «социального слоя», где женская красота виделась в толщине, пухлости, обилии тела. Он и фразу одной из этих женщин, мысль подтверждавшую, услышал: «Вот Андрейка взял за себя худеньку — и что вышло! Худенькие, они недобрые, себе на уме». Раньше, встречая таких толстых баб в автобусах или трамваях, где они занимали своими мясами почти по два места либо вмертвую перегораживали проход, Лева замечал про себя, что такая толщина антиобщественна, антисоциальна. Теперь же он подумал, что, может, и вправду толстые зато добрее. И тут же, словив эту мысль, решил, что одурел окончательно, раз оказался способен на такие умозаключения.

И озлобился. Вспомнил старую неприязнь к Аниной родне: «Что меня сюда занесло?! Мещанское болото! Здесь сразу как-то тупеешь. Смерть — великое таинство, а они о чем говорят? О чем они вообще могут говорить? И Гриша, Гриша, мыслитель,

интеллигент во втором поколении, как сказал бы прежний замглавного!.. И в самом деле, ведь Гришин отец — профессор, а его куда занесло?! Как он может с этими мещанами общаться? Как ему времени не жалко? А я? Я чего поехал? — и с неожиданной резкостью самобичевании, которое сегодня одолевало Левину душу, сказал себе: — Погреться у чужой беды — вот чего. Дом чужой горит, а я сбоку притулился, греюсь. Чтоб одному не оставаться. Так не лезь, не злись. В конце концов, сам-то ты что из себя представляешь? Неужели Главный лучше? Или Чухлов? А ведь общаешься с ними. Или новые мои соседи — Иван да Марья? Они, что ль, интеллектуалы? А вчера — с кем пил и что вытворял?! Ф-фу! Расслабься. Всюду жизнь. Будь проще».

Сима плакала, резала снедь и говорила:

— Не знаю, как все произошло. Не могу представить, что это произошло. Еще позавчера он пришел днем, веселый такой, ласковый, пообедал у нас. И треску я ему с собой завернула. Он же был такой домовитый, запасливый. А вечером уже звонит Людмила, что он утонул, утопился,— она отложила в сторону нож, сняла очки и закрыла глаза правой рукой, левая, вздрагивая, осталась лежать на столе.

Все замолчали, не зная, как помочь, только Аня встала, склонилась к ней, обняла за плечи, прижавшись к ее широкой спине. Сима вытерла слезы, одела очки и продолжила работу, пробормотав:

— Ладно, Ань, ты меня прости, никак не могу сдержаться.

Одна из сновавших туда-сюда пожилых женщин сказала:

— Ты бы шла, Сима, переоделась, прибрала себя. Сейчас Андрейку привезут, ты же должна с ним ехать. А мы здесь с Аней уж как-нибудь все подготовим. Ты хоть этим себя не беспокой.

Сима дала увести себя за руки, а ее место сразу заняла подошедшая женщина. Никого-то здесь Лева не знал, а Аня с Гришей были заняты исполнением родственных обязанностей. Лева вернулся в комнату. Из дальней комнаты, ковыляя, показалась старушка в платке, уже кривобокая от старости, согнутая, опирающаяся на палку. Слезящимися глазами она никого не видела. Распухшие ноги были в тапочках с разрезанными задниками.

— Такой уж он ласковый был, почтительный, Андрейка-то,— говорила она в воздух.— Почти как Борюшка Анин. Как же это он над собой такое сделал?! Грех какой! А все потому, что с первой женой развелся. Нехорошо это было. Как уж взял жену, так и держись.

В противоположном углу наварыд заревела оставленная жена. К старушке подошла Сима.

— Мама, иди к себе в комнату. Когда Андрюшу привезут, я тебя позову,— и она почти силком потащила мать в комнату.

Лева увидел рядом с собой Гришу.

— А Анина мама разве с Симой живет? Я думал — отдельно.

— Они как раз перед смертью Антон Гаврилыча съехались, чтоб отдельную квартиру получить. Тут тоже свои страсти были,— ответил Гриша и опять куда-то исчез.

«Как же так получилось? — думал Лева.— Жил парень нормально. Школа, армия, после армии женитьба на однокласснице, которая дождалась, потом институт заочный, работа по специальности, так бы и жить ему с этой одноклассницей, блондиночкой пухленькой. Задумал вдруг все перестроить, перестроил. Новая жена, новые дети — и на тебе. Нарушил узор в своем калейдоскопе. Интересно, что же за бабу он нашел, что так резко его узор переменила? А это каждый раз чревато неожиданностями, всякий переход в другую жизнь. А в этой другой жизни — шутки, пьянка, гулянка, карты, веселье до утра — иллюзия свободы. Знакомо все это, ох, знакомо. И всю эту замечательную компанию притащила его жена. Конечно, за это он в ней еще больше души не чаял. Не то, что скучная и пресная Людмила-первая! Людмила-вторая оказалась компанейской, огневой, душой общества, но, как теперь выясняется, душой дурного общества... А если и со мной то же самое происходит,— холодея, думал он.— Нет,— думал он,— я в карты не играю, не фарцую, не спекулирую, деньги не проигрываю, да их у меня и нет, живу безбытно. Не мещанин я, вот что главное! На чем меня поймать злой силе?..»

Лева вышел на лестничную площадку покурить, чтоб хоть как-то занять себя и не скитаться неприкаянно. Дверь была не заперта, и народ свободно циркулировал с лестницы в квартиру и из квартиры на лестницу. Закурив, Лева присоединился к одной из мужских группок, став рядом. Там обсуждалось сплетение свадьбы и поминок в одном подъезде. Высокий, широкоплечий, арийского типа блондин, с открытым, породистым лицом, белозубой улыбкой, носивший черный свой костюм с элегантной небрежностью, пояснял:

— Если, конечно, гроб наверх понесут, черт знает что выйти может. Как в анекдоте. Представьте, други: идет свадьба. Все веселятся, кричат «горько», желают молодым счастья и долгих лет жизни. Ну, как положено. Тут звонок в дверь. Думают, что это либо опоздавшие, либо поздравительная телеграмма,— посылают открывать жениха с невестой. Те открывают. Вваливаются спиной в дверь два амбала, руки чем-то заняты, за ними еще два. И вносят... гроб. Невеста в обмороке. А амбалы хрипят: «Извините. Мы на минутку. Нам бы только развернуться. Уж больно у вас лестницы узкие».

Все было засмеялись, но тут же смолкли, уставившись куда-то. Лева обернулся и увидел, что по лестнице поднимается худенькая, бледная женщина в зеленом платье и почему-то синих перчатках. Рядом с ней седоватый мужчина, стриженный ежиком, невысокий, сухощавый, ладный, с военной выправкой. Ни на кого не глядя, они вошли в квартиру.

— Привезли,— выдохнул кто-то сзади.

Лева загасил о каблук сигарету и прошел следом. Сухощавый мужчина что-то отвечал на вопросы, кивал головой, пожимал руки. Увидев Гришу, двинулся к нему и, отведя ладонь, затем хлопком поздоровался с ним. Они поцеловались.

— Здравствуй, Гришенька, спасибо, что пришел. Аня-то звонила, что будет. А Борис приедет?

— Скоро должен быть.

— А Андрейка наш уже никогда...— он махнул рукой, отвернулся и неожиданно заплакал. Но сдержался, вытер слезы.

— Извини. Это твой товарищ? — спросил он о подошедшем Леве.— Вы нас извините, если что не так. Спасибо, что пришли. Посидите с нами. Андрейка любил гостей,— он говорил почти как автомат, но видно было, что только потому и держался.

Вышла Сима, под руку ее поддерживала Аня, следом две пожилые женщины вели Настасью Егоровну, старуху в тапках с разрезанными задниками, бабушку Андрея, мать сестер. Все принялись опускаться вниз по лестнице друг за другом, цепочкой. Перед подъездом на каком-то возвышении стоял открытый гроб. Около него дежурили старший брат покойного и несколько парней с хмурыми лицами. Люди подходили и бросали в гроб цветы. Неподалеку ждали два похоронных автобуса, в них сидели равнодушно-терпеливые шоферы.

К гробу подошел отец, посмотрел на сына, поцеловал его, поднял голову, обвел глазами собравшихся, на невестку в зеленом платье (на ней, кроме синих перчаток, был еще теперь черный платок) ни он, ни старший его сын старались не глядеть. Зато пухлую блондинку он мимоходом погладил по голове, а мать покойного прижала ее голову к своему плечу. Уткнувшись в плечо бывшей свекрови, первая жена опять начала плакать. Вторая глядела немного затравленно, но твердо, и твердо встала у изголовья гроба.

— Кто остается и на кладбище не едет и кто хочет, подходите и прощайтесь,— сказал отец, еще раз поцеловал сына и отошел.

Первыми к гробу двинулись родственники. Вид Андрея был страшен. Лицо его казалось неестественно вытянутым и плоским, он был до подбородка укрыт белым покрывалом так, чтобы не видно было горла. И все равно охватывала жуть при взгляде на него. Вся левая сторона лица была черно-синяя, словно гигантский синяк с уже почерневшим кровоподтеком. И хотя лицо было восковым, земляным, как у всякого умершего человека, из которого улетела душа, на лице застыло недоумение и страдание. К изголовью подошла Сима, склонилась, гладила лицо сына, целовала, что-то шептала, потом шепот перешел в громкие причитания:

— Сыночек, солнышко мое, мальчик мой золотой! Маленький мой, деточка моя! Не уберегла тебя твоя мама! Не устерегла, на ком женился, с кем связался!.. Все-то ты от матери скрывал и таился! Сама, сама должна была догадаться, сердцем почуять!.. Золото мое ненаглядное! Как я кудри твои расчесывала, на руках носила!

Ее увели, а ее место заняла деревенская тетка, которая встречала Аню у подъезда, и заголосила, к удивлению Левы, что-то старинное, с плачем и придыханиями:

И как от батюшки было от умаого,
Да и от матушки да от разумныя,
Зародилось чадушко безумноё,
Безумноё чадо неразумноё,
И унимает тут чадушко родна матушка:
— И не ходи-тко, чадо, на царев кабак,
И не пей-кось, чадо, да зелена вина,
И не имей союза со голями кабацкими,
И не знайся ты, чадо, со женками со блядскими,
И что ли со тема со девками со курвами.
И не послушал тут чадо родной матушки...
Ай тут ведь к добру молодцу да Горе привязалося...

Кто-то тронул Леву за плечо. Он отвлекся и обернулся. Сзади стоял полный мужчина с портфелем, беспокойным широким лицом, слегка раскосыми глазами в детских очках, небольшими рябинками по красноватому лицу (словно Лева увидел себя в зеркало) и шептал с прямотой труса и эгоиста, беспокоящегося только о себе:

— Такой молодой. Отчего он умер? Рак, наверное?..

— Нет,— неохотно и оторопело ответил Лева, чувствуя неожиданно себя причастным к близким людям умершего, а потому раздражаясь на праздное любопытство постороннего. А оттого, что был незнакомец на него похож. Лева старался даже тоном отделить себя, храброго и хорошего, от него, трусливого и плохого.

— Тогда сердце?..

— Нет,— тон Левы стал еще суше.

— Желудок? Печень?

— Нет, сказано вам!

— Что-нибудь заразное? Не грипп?..— не отставал тот.

— Да нет!

— Слава Богу! — совершенно неожиданно воскликнул мужчина с портфелем, будто ему надо было сейчас прощаться и целовать покойника в лоб или губы, а он боится заразиться.

— Он покончил с собой,— жестким голосом сказал Лева, чтобы пресечь этот неуместный радостный вопль и показать, что он, человек, близкий к покойному, испытывает неприязнь к своему собеседнику и осуждает его.

— А-а! Ну это не страшно,— нисколько не смутился незнакомец.— Уж этого-то я не сделаю,— самодовольно заметил он.— Я в карты не играю, не фарцую, не спекулирую, второй жены у меня нет. Меня так просто не поймаешь,— и, сделав шаг в сторону, он словно растворился в толпе соседей и случайных любопытных.

А Лева думал, что незнакомец прочитал его тайные мысли, в холодок пробежал искоркой по плечам: он вспомнил фразу из какой-то книги, что увидеть двойника — к смерти. Тут же он отругал себя за суеверие, чтоб не страшно было жить дальше, и окончательно решил стать рационалистом.

— Придется вас сызнова знакомить,— услышал он рядом Гришин голос и повернулся. Гриша подвел к нему парня лет тридцати пяти, со шкиперской бородкой, глаза его были унылы и тоскливы. Выглядел он робким и не очень уверенным.

— Это Борис. А это дядя Лева.

Они пожали друг другу руки и двинулись к гробу. Подойдя ближе, Лева вдруг поймал на себе взгляд второй жены покойного, худенькой девицы в зеленом платье, черном платке, с остренькой мордочкой. Она держала у глаз беленький платочек, как и первая жена, но не плакала, а прикрываясь платочком, зыркала по сторонам острыми глазками. «Очевидно, знает, в чем ее подозревают, и ищет хоть одно сочувствующее лицо»,— решил Лева.

Стали рассаживаться по автобусам. В первый сели родные, во второй — все остальные, в том числе и Лева. Сзади него на сиденье оказался арийского типа блондин, видимо, душа маленькой компании, окружавшей его. К нему сразу перегнулись двое со следующего за ним сиденья и повернулся лицом, а спиной к движению, Левин сосед. Не поворачивая головы, Лева стал прислушиваться. Автобусы покатили.

Глядя в окно, Лева тем не менее невольно слушал речь белозубого блондина, при каждой его фразе, произнесенной с хорошей дикцией, так и воображая его прямой нос, крепкую челюсть, серые глаза, зачесанные назад волосы, чистое лицо и белозубую улыбку.

— Ну, други,— ясным голосом говорил тот,— сам читал. В сборнике «На суше и на море». Реальный факт. Черт знает какая история! Не хуже этой. Ну, короче, други. Контролер канализации в Нью-Йорке, звали его, кажется, Дин Конвей, здоровый мужик, опытный обходчик, бывший вояка, попал в аварию, в автокатастрофу. Три года по больницам, а на его место пока другого не брали. В мире чистогана это тоже бывает, ценят специалистов.

— Это у нас не ценят,— сказал Левин сосед.

— Ну, это ты брось,— отрезал блондин.— Настоящих специалистов везде ценят.— Слово «настоящих» он подчеркнул.— Короче, через три года выходит он на работу. Одевает свой костюм, опускается в канализацию. А надо сказать, что без него обходили только центральные стволы, в боковые не ходили. Он этого не знал. Думал, что встретит все и везде привычное. А жизнь, други, как известно, штука коварная и изменчивая.

— Да к чему ты это рассказываешь? — снова перебил его Левин сосед, на сей раз голосом отчасти даже подхалимским: дескать, блесни, покажи, на что способен.

— А к тому, что в жизни все может быть. Вон как с Андрейкой получилось. Мы ж с ним вместе на вечернем учились. Такой был правильный мальчик, даже старостой курса был. Все думали, что жизнь его сложится так, а она взяла да сложилась совсем эдак. Неожиданно все повернулось. Короче, взял этот Дин Конвей свой фонарь и отправился на прогулку, добрел до самых отдаленных штреков. И что-то странное ему показалось там. Полная тишина. Только внимания он этому не придал. Потом только сообразил, что не слышал ни писка, ни шороха, ни воркотни, ни шуршанья. Короче, в канализации крыс ведь полно, все туда спускают, они и жрут.

— Твари не из приятных,— передернул плечами Лева, невольно вступая в разговор.

— Это только так кажется,— ответил уверенно рассказчик.— Крыса — животное умное, способное к научению и сопоставлению. У них своя общественная структура существует, строгая иерархия. Впрочем, долго рассказывать, да и не об этом речь. По сравнению с тем, кого он там встретил, крысы — это простодушные и безобидные существа. Короче, други, идет он себе дальше, фонарем дорогу освещает и вдруг видит, как прямо на него ползет, сопя, какое-то зеленое чудище. Как пишет этот журналист, ну, автор заметки, этот мужик сначала не поверил глазам. Дело в том, что на него полз... крокодил.

Лева вздрогнул, но промолчал, чувствуя, что сегодня ему везет на рассказы о крокодилах. «Так и свихнуться недолго».

— Откуда в канализации крокодил? — продолжал свое повествование холеный рассказчик с правильными чертами.— Это потом только выяснили, что какая-то семья купила во Флориде крокодильчика, привезла в Нью-Йорк и выпустила в свой бассейн. Крокодильчик там плавал, плавал, а потом исчез. Позвали рабочих, спустили воду и обнаружили дыру в канализационный сток. Но никому не сообщили, думали — погиб крокодильчик. А он и не погиб. В канализации прижился, ел крыс и всякое, что туда бросали, может, даже человеческие трупы, которые туда скидывали гангстеры. И за несколько лет вырос в здоровенного пятиметрового крокодила.

Откашлявшись, белозубый повествователь промолвил:

— Надо запить, а то горло пересохло.

Лева слегка повернул голову и увидел, как блондин вытащил из бокового кармана пиджака импортную блестящую флягу, очень плоскую и даже изящную, отвинтил колпачок, вытащил пробку, налил что-то в этот колпачок, выпил и пустил флягу по кругу. Лева отвернулся. Через минуту его похлопали по плечу:

— Может быть, присоединитесь? Одну рюмочку. Это «паленка».

Лева выпил рюмку и почувствовал вдруг в голове полную ясность. «Вот чего не хватало с самого утра. Теперь я здоров». Он вернул рюмку, а красивый блондин продолжил прерванный рассказ:

— Короче, крокодил приучился видеть в темноте, а свет его немного ослепил. Это и позволило обходчику опомниться, и он бросился наутек. Но через пару минут он понял, что крокодил его преследует и даже нагоняет.

— Да они же еле ползают, они же рептилии,— сказал кто-то.

— Там написано, что крокодил может обогнать кавалерийскую лошадь. Вот и вообразите, други, эту гонку. Мужик этот, канализационный контролер, вроде бы воевал, был не трус (там, у них, тоже ведь встречаются храбрые люди), но тут, как он сам потом рассказывал, испугался безумно. И не просто смерти, а то, что в этой нечистой канализационной трубе его сожрет грязное чудовище, и никто никогда не узнает, как он погиб, причем погиб бесславно и позорно — в желудке пресмыкающегося.

Лева слишком даже вообразил себе этот канализационный тоннель, темный, зловонный, пустой и гулкий от пустоты, с шумом спускаемых временами нечистот, мокрыми стенами, стоком журчащей воды вдоль одной из стен, а также человека, который бежит, задыхаясь в этом мефитическом воздухе, скользит, спотыкается, падает, дрызгается в грязи, а его догоняет длинное четырехлапое чудовище с огромной пастью, способной перекусить его пополам. И он все время помнит об этом, каждой клеточкой тела ощущает его приближение. И быть сожранным заживо, в клоаке, крокодилом — с ума можно сойти от ужаса, ведь никто даже не догадается, где ты пропал. В окно Лева видел, как автобус вышел уже на прямую дорогу к показавшемуся вдалеке кладбищу. Ехали недолго, минут двадцать пять. А за рассказом и вообще времени не заметили. Меж тем холеный блондин заканчивал свой рассказ, эпически повествуя, как Дин Конвей никак не мог попасть в отсек с выходом на улицу, но не сдавался, боролся до конца; как он потерял свой фонарь, а только его свет и останавливал крокодила; как, наконец, нашел отсек, взлетел по лестнице, но люк не открывался — на нем стоял автомобиль; как он несколько часов просидел, сжавшись, на верхней ступеньке, вцепившись в нее руками и обхватив ее ногами, а чудовище щелкало зубами в нескольких сантиметрах от его тела. Все же он выбрался.

Автобус остановился у домика перед воротами кладбища. Шедший впереди автобус уже стоял там. Около него ходили люди. Они курили и чего-то или кого-то ждали. Лева и его попутчики тоже вышли из своего автобуса и тоже закурили. Из домика рядом с воротами появились Николай и Виктор, то есть отец и старший брат покойного. Рядом с ними шагал какой-то ширококостный толстый мужик с равнодушным лицом и грубыми движениями. Мужик выкатил из находившейся рядом сараюшки катафалк на колесах, на него поставили гроб, мужчины, взявшие венки и большой фотопортрет покойного, возглавили шествие, и процессия направилась на кладбище.

Лева был среди тех, кто катил катафалк. Катил или делал вид, что катит. Когда

народу много, понять это трудно. Состояние духа у Левы было смутное и тяжелое. Непрестанное появление крокодила в его мыслях, рассказах и случайных словах окружающих казалось ему не очень нормальным. Он, правда, утешал себя тем, что когда не хочешь про что-то думать, оно тебе и является непрестанно. Это одно объяснение. Другое — и этот феномен Лева наблюдал в своей жизни тоже не раз — это то, что можно назвать направленным вниманием и интересом разума: стоит, скажем, четко обозначить себе тему исследования, как во всех книгах, статьях и явлениях жизни ты начинаешь замечать нечто, относящееся к твоей теме, что раньше — даже в неоднократно читанном — проходило мимо глаз. Лучше постараться принять это между прочим. Вот есть разговоры про крокодила, есть про Андрея, есть про похороны, вот идут люди меж оград по асфальтированной дорожке, катят катафалк, несут венки, вот вырытая могила, двое рабочих с лопатами и толстой веревкой; в стороне, прислонившись к могучему дереву, курит третий, тоже в брезентовой, запачканной землей робе, с брезентовыми рукавицами, торчащими из кармана куртки. Рабочие, привычные ко всякому, равнодушные, деловые, ожидают момента выполнить свою функцию в протекающей церемонии, получить из рук родственников свою десятку и пойти ее спокойно пропить.

Потом опять голосили женщины, укладывали гроб цветами, снова подходили прощаться, говорили «На кого ж ты нас оставил?!» и «Спи спокойно», потом закрыли гроб крышкой, рабочий поправил покрывало, чтоб не высовывалось, и заколотили гвозди в крышку, затем гроб на веревках опустили в глубокую могилу, все бросили вниз по комку земли, и рабочие, взяв лопаты, начали закидывать яму землей. Скоро вырос маленький холмик. Несмотря на массу сырой земли и холод, долго веявший из глубины ямы, погода по-прежнему казалась ясной и жаркой, а день — хорошим летним днем. Деревенская родственница в черной плюшевой жакетке обошла всех с железной миской, давая всем оттуда по чайной ложке кутьи — риса с изюмом. Лева первый раз ел такое. Потом отец и старший брат покойного укрепили в изголовье фотопортрет и дощечку с фамилией и датами жизни, чтоб впоследствии на этом месте стоял памятник. И все, разбившись на группки, двинулись опять к автобусам. Автобусы тронулись, и еще через час Лева с прочими оказались в квартире, где приступили к поминкам.

Они сидели за уставленным яствами столом. Но вначале подали блины. После блинов начали есть кто во что горазд. Произносили речи, вспоминали о покойном. Каждый рассказывал о своих встречах и разговорах с ним. Выступали по очереди. Вставали, поднимали вверх рюмку, говорили, выпивали. Молчала только вторая жена. Отец кивал, глаза у него были набрякшие от внутренних слез:

— Пейте! Ешьте! Не стесняйтесь! — временами обращался он к сидящим за столом.— Андрейка любил поесть. Он вообще все это любил,— и отец обводил рукой обильный стол.

Так получилось, что Лева оказался рядом с Борисом Кузьминым. Напротив них сидела молодая вдова Людмила в зеленом платье и черном платке, наброшенном на плечи. Свои нелепые синие перчатки она уже сняла. Она посматривала на них, один раз Леве даже показалось, что она подмигнула не то ему, не то Борису. Но потом он решил, что это ему померещилось. Правда, она, наклоняясь через весь стол, ухаживала за ними, подкладывала им в тарелки салат, буженину, осетрину, копченую колбасу, семгу. На руке ее, повыше запястья, Лева углядел (когда она протягивала руки к их тарелкам) синюю татуировку: цветок болотной лилии, а под ним слова: «Попробуй сорвать». Ничего особенного, но после всех рассказов об этой женщине Леве в этих словах почудился эротически-зазывный и одновременно угрожающий смысл. А в Людмиле-второй и в самом деле была некая порочная привлекательность того типа, когда мужчина начинает хотеть женщину, забывая об условностях и пренебрегая приличиями. «Даже за поминальным столом»,— испугался вдруг себя Лева. Но и опасность исходила от нее, как от какого-то болотного существа, от зеленой ящерки, зеленой змейки, зеленой кикиморы болотной — красотки с длинными волосами, заманихи, которая заманит и погубит. Да, Лева испытывал, глядя на нее, странное двойное чувство: желание распоясаться и лягушкой, жабой, раздевшись донага, запрыгать ей навстречу, а также страх — как бы не проглотила.

Лева искоса глянул налево и направо, не читаются ли его чувства у него на лице — ему было от них жутко и стыдно. Он вспомнил, как раскорякой прыгал на четвереньках за долговязой девицей в комбинации, визжавшей и уворачивавшейся от него, прыгал по мягкому ковру в комнате Саши Паладина. Висели на стене рога в серебряной облицовке, а сытый Саша, который с этой девицей уже наверняка спал, с ухмылкой наблюдал Левины прыжки. Но и тогда он так не хотел ту женщину, как эту теперь. Он даже сжался от неловкости, стараясь не смотреть на нее, но все же изредка взглядывал косыми, глупыми взглядами. А она, казалось, совсем не испытывала скорби о покойном. Когда все отговорили, она тоже встала и сказала, но не об Андрее, а о его сиротках, своих дочках:

— У Андрея остались дочки. Давайте выпьем за них, чтоб им было хорошо, чтобы дедушка с бабушкой их любили.

Этот тост был воспринят всеми отчасти враждебно, хотя все и выпили. По общему мнению, он означал, что «она за дочек горячится», как сказала деревенская родственница громко, и тем самым говорит родителям покойного мужа: не отвертитесь, голубчики, все равно внучкам помогать придется. «Неужели она и в самом деле соучастница?..» — цепенея, думал Лева. А молодая вдова тем временем смотрела «завлекающим» взглядом вовсе не на Леву, как тому сначала показалось, а на его соседа со шкиперской бородкой, на Бориса Кузьмина.

Где сидел Гриша, Лева не видел.

— У Эдварда Лира,— вдруг наклонился Борис к Леве,— есть стихотворение «Джамбли», помните? — и он прочитал:

Где-то, где-то вдали
От знакомой земли
На неведомом горном хребте
Синерукие Джамбли над морем живут,
С головами зелеными Джамбли живут...

Вот она прямо из-за этих морей и горных хребтов,— он украдкой кивнул на вдову в зеленом платье.— Так мне, во всяком случае, кажется. Просто непонятно, как она попала в эту уютную мещанскую квартирку.— Лева согласно закивал головой, а Борис сказал дальше: — Мне лет десять назад почему-то хотелось все фантасмагорическое, невероятное этим именем называть. Так и осталось.

Хотя стихотворение Лева не помнил, но что-то фантасмагорическое в этой худенькой женщине в зеленом платье и вправду было: влекущее и отталкивающее. Но и притяжение, и отталкивание имели какой-то животный характер.

— Действительно, прямо настоящая Джамбль,— шепнул он в ответ, видя с некоторой плохо осознаваемой обидой, что Людмила не в него целит. Стало опять щемяще на душе и тоскливо.

Хозяин повторял, разводя над столом руками:

— Вы ешьте и пейте. Андрейка любил поесть.

Сидели, пили, ели, курить выходили на лестницу. Бабка Андрея (мать Ани, Симы и толстого мужика в полосатом черном костюме, брата Ани, а следовательно, Гришиного шурина) все повторяла в перерыве между речами:

— Мне уже восемьдесят лет. Пожила. Хватит. Пора помирать. К деду хочу. Ждет он меня, давно ждет. А вот Андрейка меня опередил. Устала я. Хочу к деду в могилку.

Наконец, Сима прикрикнула:

— Мама, перестань. И без тебя тошно. Иди в свою комнату.

Старушку, с трудом ковылявшую на своих распухших ногах, одетую в коричневую полушерстяную кофту поверх темной юбки, подхватили под руки и повели две подвыпившие, а потому чрезвычайно осторожные в своих движениях пожилые родственницы. Лева встал, чтобы пойти покурить, но как-то невольно увязался за пожилыми женщинами и заглянул в комнату, где жила Настасья Егоровна, бабушка Андрея. И умилился. Высокая кровать на пружинах, с блестящими никелированными спинками у изголовья и в ногах, белое покрывало, в изголовье три подушки, уложенные пирамидой. Буфет с резными дверцами и цветными расписными стеклышками в верхнем отделении для чайной посуды. Круглый стол, два стула. На столе чашка, сахарница, тарелка с баранками. На стене, прямо напротив входа, висела икона Божьей матери, написанная масляными красками по доске. Лева, пивший на поминках немного, «придерживавший», боявшийся в чужом месте опозориться, увидел, что икона скорее всего девятнадцатого века, «новодел». Но это и было умилительно. Старушку усадили на стул и захлопотали вокруг нее, а Лева вернулся в комнату. Говорил Гриша — о том, что жизнь есть тайна, об Андрее, которого он знал с младенчества, о том, что жизнь не исчезает, не уходит, что пока мы живы, жив и любимый нами человек, потому что сильнее любящей памяти нет ничего на свете и все в таком же духе. Гриша всегда в любом человеке мог найти что-то светлое. Идя на лестницу покурить, Лева в коридоре вдруг наткнулся на молодую вдову в зеленом платье, шедшую в кухню. Увидев Леву, она глубоко вздохнула и, проходя мимо, на секунду прижалась к нему телом так, что Лева телом же ощутил ее маленькие мягкие груди: бюстгалтера под платьем у нее не было.

Опустив глаза долу, зеленая Джамбль пошла дальше. А Лева шагнул за ней, но тут же так испугался, что, чувствуя себя не активной жабой, а трусливой лягушкой и уж отнюдь не суперменом, готовым переспать с женщиной, только что ставшей вдовой, тихо подхватил портфель, плащ и, не прощаясь с Гришей и Аней, выскочил за дверь.

И поскакал вниз по ступенькам.

Глава VI. ПОХАБСТВО

Домой ему хотелось, домой. К себе, на Войковскую. Под корягу. Выпил он сегодня немного, как раз чтоб хватило энергии на такой рывок. Опыт подсказывал ему, что это возбуждение скоро перейдет в сонливость, потому что и мало выпитое легло на старые дрожжи. Вот и хорошо. Только бы добраться до своей комнаты. Забиться в нее, лечь в постель и чтоб никого не видеть, не слышать, только чтоб все справлялись о его здоровье, жалели его, приносили еду, питье и лекарство, но тут же уходили, чтоб было тепло и уютно. Возможно ли это в чужой, нанятой комнате, без телефона, без уютной библиотеки с Диккенсом и Львом Толстым? Все казалось ему возможным.

Выскочив из подъезда, он натянул плащ (все-таки уже был вечер) и посмотрел на часы. Начало девятого. Совсем немного времени прошло с тех пор, как приехали, а уже он убегал. Вполне можно было бы еще посидеть, выпить. Но, вспомнив Джамбль, Лева обрадовался, что удалось убежать. Еще было совсем светло. Вечер казался тихим-тихим, очень летним, каким-то даже радостно-тихим. Он сунул руку в карман, вытащил кошелек. Деньги еще были. Не так, чтоб очень много, но на такси должно было хватить. Скорее домой. Еще бы на такси в магазин заскочить и купить что-нибудь наутро пожевать: хлеба, кефира, масла, сыра, колбасы. Простой пищи. И бутылку пива на всякий случай. Завтра суббота, на работу не идти. Можно и почитать, подумать. Но не кидаться на все сразу. И не думать о доходных статьях, о книге. Честно, честно работать. Выбрать тему. А чего выбирать! Она есть. Надо разработать *теорию калейдоскопа.* Посмотреть наброски, которые делал сегодня утром с похмелья. В кои-то веки пришла в голову настоящая и самостоятельная мысль, о таких он раньше только в книгах читал, думал, что *у нас* такое сочинить невозможно, тем более ему, потому что он привык размышлять только в том направлении, как его в университете учили, как на работе требовали, как *надо.* А если эту мысль продумать как следует, записать, *оформить,* литературу по этому вопросу подсобрать, во всяком случае под углом этой проблемы просмотреть ранее читанное, ведь наверняка найдется многое, что он пропускал мимо глаз. А теперь полезет навязчиво, как тема крокодила полезла. Главное, заострить внимание на данной теме.

Надо вспомнить, кто из великих нечто сходное говорил. Платоновская «пещера» сюда явно не годится... Быть может, Вико, его corsi ricorsi, то есть приливы и отливы, его теория всеобщего круговорота?.. Нет, теория калейдоскопа — это нечто другое. Надо идти методом различения с прежними теориями. Скажем, экзистенциалисты говорят о хаосе истории, о беспорядочном, броуновском движении человеческих судеб и устремлений, а я добавляю и исправляю: история и жизнь — это не хаос, а калейдоскоп, в котором узор меняется, но в каждую данную историческую ситуацию он четок и кажется неизменным, более того, когда меняется только хоть один компонент, то меняется и вся структура, хотя поначалу этого могут и не замечать, но потом становится ясным, что возникла принципиально иная картина мира. Это специфическая система наблюдения и анализа. Потому что калейдоскоп не материальное тело, а философское. (Лева аж задохнулся от удовольствия точной формулировки.) Так изменение производительных сил меняет в конечном счете производственные отношения, а затем и надстройку, то есть всю духовную жизнь. Таким образом, кстати, я не выхожу за пределы Марксова материализма, диалектики. И я смело отказываюсь от идеи, муссируемой снобами и пижонами сегодня, от идеи Бога, Который якобы управляет миром. Калейдоскопом управлять невозможно. Его можно только наблюдать и пытаться уловить закономерность смены узоров. Сюда следует, пожалуй, присобачить и «морфологию культуры» Шпенглера, где всё в одном ряду для объяснения мира: и тексты, и утварь, и одежда, и архитектура, и нравы, и политика, и экономика, и искусство. Из этой морфологии и создается калейдоскоп культуры, эпохи. Но тут-то мы его и поправим,— хихикнул про себя Лева.— Он не видит изменяемости мира, не понимает диалектики этого изменения. Короче, что-то наклевывается, вырисовывается нечто. Короче, тему надо столбить, параллельно же начинать ее серьезную разработку.

А если ее удастся оформить и сформулировать,— задохнулся от счастья Лева,— то она наверняка останется. *Останется.* Даже когда его не будет. Пусть не напечатают про это. Можно и с докладом выступить. Лева тут же вообразил зал Ученого совета Института и себя на трибуне перед микрофоном с бумажками и стаканом воды. Конечно, его теорию не примут, но все о ней будут говорить, а поскольку она будет достаточно сумасшедшей, то никто из начальства не захочет присвоить его идей, как обычно делалось, когда Лева писал за высоких людей их статьи. Эта работа вхолостую, на чужого дядю, когда при этом и собственных мыслей развернуть нельзя, приучила Леву не додумывать до конца пришедшее в голову. Их паразитизм рождал и его духовное безволие. Все равно все ухало в болото, и никому ничего не было надо. Самостоятельного не было надо. А было надо, как надо. Нет, здесь он напишет для себя, свое. Пусть потом говорят. «Слыхали, какую идею Помадов выдвинул?» — «Да, совершенно сумасшедшая».— «Сумасшедшая-то сумасшедшая, да в этом что-то есть».— «Верно. Во всяком случае, поразмыслить заставляет». Лева довольно про себя улыбнулся, представив эти разговоры. Одно дело в пивной про калейдоскоп ляпнуть, другое — *теоретически* эту идею обосновать. В пивной ее только Тимашев и оценил. И то наверняка забудет. А *статус* теоретической идеи она может получить только после *научного* выступления.

После дождя и жары в воздухе стоял аммиачный запах, точно на уроках химии. Лева шел к шоссе, размышляя и помахивая портфелем, в котором лежали «Повесть о Горе-Злочастии», старая «Иностранная литература» с рассказами Кафки, которую Лева нашел в хозяйской библиотеке на Войковской и до которой у него уже третий день не доходили руки. И то, и другое надо бы прочесть. Вот ведь жадность. Имел, что читать, а все же книгу у Тимашева выцыганил. Теперь две читать придется. А времени мало. Впрочем, может, их удастся использовать как материал для его теории. Может быть. Это было бы хорошо. А то куча дел, и надо стараться, чтоб попусту времи не тратить. За квартиру еще платить. И за комнату. Да Верке, когда родит, коляску и кроватку надо. Остальное ее мать купит, а это вроде бы мужская обязанность, раз он порядочный человек. Хорошо людям типа Морковкина, мастерам жизнеустроения собственного. Пьет с нужными людьми, и не просто пьет, а умеет подружиться, у него есть машина: и чуть что — ах, куда же нам без Морковкина, а он безотказен, его машина к всеобщим услугам, и весельчак, и гитарист, и за пожилыми женами пожилых друзей ухаживает, предоставляя тем временем пожилым друзьям свою квартиру для встреч с любовницами, этакий жиголо, и пишет неплохо, пишет то, что нужно, но живо, живо, и с престижными цитатами из Аверинцева и Бахтина, зато от своих любовниц, которые собираются рожать, он умеет полностью устраниться: я-де был против, сама решила оставить ребенка, сама и расхлебывай, и сравнительно честно все это, и снова он свободен и независим, в любую компанию на своей машине, усатенький, худенький, гибкий, подвижный, и с деньгами. «Эх»,— Лева вздохнул. Конечно, на коляску и кроватку деньги отложены. Не так много и надо. Рублей сто вместе с доставкой. Да, а потом лишнего не будет. Пожалуй, придется рецензию написать, все-таки рублей сто она принесет. И книжка вроде бы ничего, да и рецензия с гарантией пойдет.

С такси Леве не повезло. Машины с зеленым огоньком, сколько Лева ни поднимал руку и ни выбегал даже на шоссе, не останавливаясь, проносились мимо, даже не притормаживали. Зато шли какие-то автобусы, номера которых были Леве неизвестны, как и их маршрут. Наконец, уставши ловить машины, Лева подскочил к передней дверце подошедшего автобуса и крикнул, обращаясь к шоферу и к двум-трем случайным пассажирам, семейной паре, очень благопристойной на вид, и парню с гитарой:

— Куда едем?

— Машина только до Савеловского,— сказал в микрофон водитель, услышав Левин вопрос, а увидев, что к задней двери двинулись еще двое людей (парень с девицей), повторил: — Граждане, машина следует только до Савеловского. Затем в парк.

— Мне подходит,— бормотал Лева, влезая и устраиваясь у окна.— До Савеловского, а там на трамвае до Войковской, как раз.

Он сел у окна, поставив портфель на колени. От выпивки, тянувшейся со вчерашнего вечера, Лева теперь чувствовал усталость во всем теле, хотя сонливости пока не было, он еще держался, потому что на поминках не усердствовал. Да и Джамбль-Людмила вовремя его спугнула. А то бы наверняка сорвался. Да еще бы к кому из женщин полез. Нет, все к лучшему. А с этой вдовой, ну ее к черту. Он снова вспомнил, как с Мишкой Вёдриным они подцепили откровенную на разговоры бабу, у которой оказался сын-инвалид. Вспомнив, пожалел об «Имбирной», которую они отдали бабе, и о нелепой драке из-за проблемы блага у Платона. Нет, дураки они были, что отпустили бабу. Не отпустили бы, и драки бы не было. Тогда про Платона и не вспомнили бы. Нет, тогда он не боялся женщины. Но эта Джамбль, ну ее. Слишком зазывная, чересчур. Хорошо, что он сбежал. Жаль только, Гришу не предупредил. Да догадается, надо надеяться.

Леву трясло, он подскакивал на сиденье, обнимая руками портфель, и старался сосредоточиться на чем-нибудь серьезном. Уже давно Лева решил, что спьяну читать в транспорте не будет, но каждый раз принимался за книгу: во-первых, чтоб продержаться дорогу, чем-нибудь завлечь свое внимание, а во-вторых, чтоб наверстать упущенную за время пьянки возможность интеллектуального усилия. На сей раз Лева, прежде чем прибегать к помощи чтения, решил вспомнить, где и когда он мог читать о калейдоскопе в художественной литературе. Мысленно пробежать ряд возможных книг, в которых хоть что-нибудь об этом говорилось. Но ничего не мог припомнить. Даже обидно стало. Вот о крокодилах — сколько угодно. Тут тебе и «Крокодил Гена» Эдуарда Успенского, и «Крокодил» Корнея Чуковского, и «Крокодил» Достоевского, а уж поминается он в разных стишках детских по многу раз. Целая *крокодилиада.* И почему так в стране, столь далекой от жаркого пояса, в стране, где люди крокодилов видали только в зоопарках? Что за тяга? Он вспомнил слова Тимашева, что русский философ Василий Розанов называл Волгу «русским Нилом». Но в Ниле, как известно, крокодилы водятся, а на Волге их и в помине нет. Какая же связь? Может, дело в том,

что крокодил — потомок древних ящеров. А ящеры здесь были. Это Леву в свое время поразило, когда он читал книгу академика Рыбакова «Славянское язычество». Оказывается, как глубока народная память. Ведь стишок «Сиди, сиди, Яша, под ореховым кустом» вырос из древнего заклинания «Сиди, сиди, ящер, под ореховым кустом, грызи, грызи, ящер, орешки каленые, милому даренные». Орех — он тоже какими-то волшебными свойствами обладает. Ящера заклинали ореховым кустом. А ящер сидел и ждал жертвоприношения. Вот жуть. Потом все забылось, и ящер стал невинным Яшей из детской песенки. Хоть крокодил тут, наверно, ни при чем. Древнее остается в слове, а тут слово другое, нерусское.

Лева вздохнул и, щелкнув замками, раскрыл портфель. Склонился над ним задумчиво. Все равно о калейдоскопе — ничего не вспомнилось. «Повесть о Горе-Злочастии» доставать не хотелось. Хватит с него сегодня и горя, и злочастия. Лучше «Иностранку» с Кафкой. Кафку образованному человеку надо знать. Хотя,— как спьяну говорил Шукуров, всё на свете читавший как «интеллигент в первом поколении» (Лева завидовал цепкости этих первооткрывателей культуры; где он проходил мимо, питаясь слухами, надеясь на общую эрудицию, они усердно штудировали, пытались разобраться, причем в наиновейших течениях, которые Лева презрительно игнорировал; им это было надо, у них не имелось *базы*, семейной *основы*, все самим приходилось добывать),— «в сочинениях Кафки нет просвета, потому что — и это видно из его текстов — для него Бог умер». «А на самом деле Бог не умер?» — спросил в ответ Саша Паладин. «Да его просто нет,— сказал Вася Скоков.— И не было». «Надоели мне эти псевдовыяснения псевдовопросов, на которые всем на самом деле наплевать и только все интересничают своим глубокомыслием,— высокомерно провещал Тимашев и тут же вопросительно обратился к лидеру.— Ты что скажешь, Кирхов?» Но Кирхов ухмылялся своей мефистофельской ухмылкой: мол, о чем тут говорить, все чушь и детские игрушки. Он поднял кружку пива, прищурился, глядя на нее, отхлебнул пива, все ждали решающего слова, но он засмеялся и ничего не сказал все же. А Лева тоже молчал, но был отчасти согласен с Тимашевым, что «Богом» нынче «пижонят», хотя идея эта глубочайшая и возникла не случайно; сейчас, конечно, Бога уже в сознании людей нет, потому что он не нужен. Хотя, разумеется, человечество с трудом отказывалось от этой идеи, боясь потерять нравственность, чему пример творчество Ф. М. Достоевского с его альтернативным положением: если Бога нет, тогда все дозволено.

Лева отлистнул страницы журнала и принялся читать Кафку, рассказ «Превращение» про Грегора Замзу, обратившегося в насекомое: «Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое. Лежа на панцирно-твердой спине, он видел, стоило ему приподнять голову, свой коричневый, выпуклый, разделенный дугообразными чешуйками живот, на верхушке которого еле держалось готовое вот-вот окончательно сползти одеяло. Его многочисленные, убого тонкие по сравнению с остальным телом ножки беспомощно копошились у него перед глазами». Но, в отличие от проснувшегося героя рассказа, глаза у Левы стали слипаться, как всегда с детства с ним бывало: когда что-нибудь неприятное настигало его, он засыпал, а здесь еще и алкогольная сонливость да в сочетании с мало приятным рассказом этого самого Кафки,— и Лева заснул. Журнал выскользнул у него из рук, и он лбом стукнулся о никелированный поручень переднего сиденья, блестевшего (как отметил Лева, еще только усаживаясь на свое место), как никелированная спинка кровати в комнате Настасьи Егоровны, Аниной матери. От удара Лева очнулся, подхватил с грязного пола журнал, расправил замызганные страницы, постарался стереть грязь, но только размазал... «Нет, читать я не могу»,— сказал он себе и сунул журнал обратно в портфель. И вспомнил почему-то идиотскую шутку Кирхова, прервавшего в тот раз (когда говорили о Кафке) этой шуткой свое ироническое молчание: «На ваш прямо поставленный вопрос, есть ли Бог, отвечаем утвердительно: да, Бога нет!»

— Савеловский вокзал. Дальше не поедем,— объявил шофер.

Лева собрался с силами и вышел. Толстая старуха с черными волосиками на подбородке, усиками и шишкообразным носом, похожая на ведьму, оттолкнула Леву, собираясь лезть в автобус.

— Он дальше не идет,— пояснил Лева.

— Но мне нужен именно этот автобус,— злобно окрысилась старуха.

— Я вас уверяю, он дальше не идет,— вежливо повторил Лева.

— Как ты можешь в чем-нибудь уверять, когда ты сам про себя ничего не знаешь! — пренебрежительно (что было обидно от такой неприятной старухи) сказала она, влезла в автобус, двери закрылись, и автобус куда-то покатил, хотя шофер и говорил, что дальше не едет.

Лева изумленно посмотрел вслед автобусу, досадуя на свою всегдашнюю неприспособленность и культяпистость: может, надо было понастойчивее поговорить с шофером, хотя, с другой стороны, куда ему-то дальше ехать на автобусе, ему на трамвае теперь надо. Но неужели у него на физиономии написана этакая интеллигентская растерянность, гамлетизированная нерешительность, что даже дурацкие грубые старухи замечают это с одного взгляда? А от гамлетизма и пьянство, и все остальное, потому что не может он, чтоб «да» у него было «да», а «нет» было «нет». Вечные экивоки, вечные «может быть»... Инга привыкла, прощала, а Верка («Века», как, ластясь, она сама себя называла своим детским именем), несмотря на обожание и преклонение, плохо восприняла его вчерашний запой по поводу выговора. Он ей утром по дороге на работу позвонил, хотел исповедаться, но она трубку бросила. Сволочь Главный, сам велел Гамнюкова сократить, а козлом отпущения оказался Лева, исполнитель. Впрочем, Верка уже пару месяцев, как стала смотреть на него с вопросом, без восторга и обожания, задумываясь, похоже, о судьбе их будущего ребенка. Это и добило Леву, довело до комнаты на Войковской. Не слова, не ругань, а взгляд, в котором перестало светиться обожание, а лишь недоумение и сожаление, что он оказался так нерешителен и слаб, что она не может им гордиться. А человеку надо, чтоб им кто-нибудь гордился! Отчего это на Западе, кто Гамлет, тот непременно действует и решителен чрезвычайно? А у нас, кто склонен к рефлексии, тот уже непременно запьет вроде Мити Карамазова, а уж действовать — ни в какую, как бы начальство чего не сказало! А об этом даже Грише не сказал — о выговоре, о том, что с Веркой поцапался, на Войковскую перебрался, и хоть уже и помирились, и о кроватке Лева думает, а Верка только о будущем малыше, а все-таки Лева уже живет отдельно от всех. Почему Грише не рассказал то, что все ребята в редакции знают, понять он не мог, ведь рассказал то, о чем никто не знает, что так поздно женщин узнал — в двадцать один год, всем же всегда рассказывал про свои еще школьные любовные похождения, как же, мужская гордость! В такой интимности признался, что жуть. Но тут же с тревогой, непонятно откуда взявшейся беспощадностью сказал себе, что и самобичевания его, и это интимное признание, самообнажение должны были показать Грише, что внутреннее ядро у него все же чистое, что он не испорчен, и вызвать этими признаниями похвалу себе. А про выговор и запой в результате выговора Гриша бы не понял, а то и осудил бы. Да, каждому свое, каждому надо рассказывать «свое», то есть то, что слушателю доступно. Но все равно про начало сексуальной жизни Грише тоже не надо было рассказывать, даже чтоб хвалил. Похмелье проклятое! Сколько лет были знакомы — он ни разу про это не сказал, а тут распустил язык!

Размышляя так, Лева не двигался с места, бессмысленно глядя на булочную, находившуюся прямо перед ним. Так он и стоял, пока проходившая мимо веселая троица парней не захохотала ему в лицо, а один, самый наглый, не постучал костяшками пальцев Леву по голове со словами:

— Эй ты, забыл, как ноги передвигаются?!

Был этот парень плечист, с квадратной челюстью, похож на Джека Лондона. Одет в ковбойку с короткими рукавами и расстегнутым воротом, на широкой груди топорщились мышцы, белая рука была огромной и мускулистой, а на кисти ее Лева увидел татуировку: «Цветы цветут в садах, а юность вянет в лагерях!» Поистине татуировки преследовали его сегодня. Лева испугался и замер, заморгав глазами. Но компания просто веселилась и, не тронув его, двинулась дальше. За ней, очнувшись от столбняка, потащился и Лева. Он спустился в подземный переход, но шел медленно, стараясь не нагонять этой компании. Парни вышли направо, а Лева, наоборот, налево, в сторону магазина «Восход». Ему-то надо было направо, в сторону телефонных будок, обогнув которые он как раз и выходил к трамвайной остановке. И теперь, увидев, что компания изрядно удалилась, Лева уже по поверхности собрался было двинуться к телефонным будкам, как к нему подскочил, подмазался, подрулил, подобрался мужичонка в затрепанном пиджачке с прорехами, с маленькой головенкой и обратился к вопросом, почему-то вполголоса произнесенным:

— Слышь? На двоих не будешь? А то у меня не хватает.

Видно, судьба следовала за Левой по пятам, и противостоять ей он не мог. А облик его, расхристанного после вчерашней пьянки, хотя и похмелившегося, вызывал на подобные вопросы. Лева не умел отказывать в таких просьбах (многолетняя привычка сказывалась), особенно «человеку из народа». Контакт, контакт с народом нужен русскому интеллигенту, любой ценой! Омыться в его простоте и чистоте, самому опроститься тем самым. И Лева сразу в ответ:

— А что, разве еще дают?

— Да здесь магазин до девяти. Водки нет, бормотухи тоже. Одна «Плиска» семирублевая. А у меня только трешка. Думал, бормотуха есть, вино, одним словом, а там только «Плиска»,— объяснил, сокрушаясь, мужик.

— А сколько времени? — спросил сам себя Лева, глядя на часы.— Давай пошли, можем не успеть.

Лева почувствовал, что в нем сразу проснулась активность, энергия. И еще он почувствовал, что он тут главный, что он нужен, что без него не обойтись. И с ребятами он в кабак не пошел, и на поминках тоже придерживал, а тут словно прорвало, словно в струю попал, и его понесло. И не с друзьями, а с каким-то малознакомым, малорос-

лым мужичонкой. Это как приключение, но не в джунглях, а в городе. Откуда взялись и живость, и бодрость, и задор, и быстрота движений, и резкость реакции! Они пошли быстрыми шагами, почти побежали, обгоняя прохожих.

У дверей магазина, на сером, истоптанном грязными башмаками асфальте, где валялись осколки случайно разбитой бутылки и виднелось неотмываемое и невыводимое пятно от дешевого вермута, именуемого в просторечии «краской», толпились мужики. Они малоразборчиво и не очень уверенно кричали, что еще-де пять минут по закону в магазин можно пускать, что нет такого права за десять минут до конца работы закрывать магазин, что пусть запустят хотя бы одного ходока, представителя от всех, хотя бы одного, ну, будь человеком. Но здоровенный кудлатый детина в ватнике и синем халате поверх ватника держал дверь на тяжелом крюке, временами снимая его и выпуская из магазина посетителей, отягощенных товаром, самодовольно прокладывающих путь сквозь толпу жаждущих. Мужики лезли к стеклянной входной двери, умоляюще прикладывали руки к груди, показывали на часы, на деньги, но страж был почти неумолим. Почти — потому, что у некоторых он деньги сквозь щель брал, на секунду исчезал и возвращался с бутылкой.

Новый Левин знакомый сказал:

— Это Витюша, я его знаю. Два рубля сверху надо. Есть у тебя?

Лева протянул две трешки. Мужичонка схватил их и протиснулся к двери. Кудлатый детина пропустил его внутрь, и неожиданный Левин знакомец исчез с трешками, будто его и не было. «Два сверху» — это значит надо было деньги мужику при входе дать, а раз он пропустил, то... нет, непонятно. Лева принялся ждать. Он ждал пять, десять, пятнадцать минут. Было ему обидно и жалко денег, но оставшийся в нем разумный человек, сидевший где-то глубоко внутри, говорил, что это хорошо, что не надо жалеть денег, что здоровье дороже, что зато он теперь не нарежется и за это еще бы стоило приплатить, и что надо бы тихо чапать себе к трамвайной остановке и ехать себе на Войковскую подобру-поздорову. Ведь были же у него хорошие планы на ближайшие дни, а если он выпьет, то все пойдет прахом и нескоро он тогда снова соберет себя. А ведь главное — начать, вработаться. Он даже уже приподнялся, но словно чародейная сила держала его на месте, нет, не большого дьявола, а так, какого-нибудь лешего или водяного, но держала, уговаривала подождать, а вдруг все же появится посланец. И точно, права оказалась чародейная сила, появился ожидаемый мужичонка из другой двери с бутылкой «Плиски» в руках и помахал Леве рукой.

— Извини, задержался,— сказал он, сойдясь на середине пути с Левой,— зато две конфетки дали. Держи.

И он протянул соевый батончик. Потом они решали, где пить. По предложению мужика они нырнули в ближайший дворик, сразу за магазином. Пристроились на низенькой деревянной ограде около клумбы с непременными анютиными глазками, за рядком мелкого кустарника, своей темнеющей зеленью скрывавшего их от случайных прохожих. Мужик поглядывал, не отхлебнул ли Лева лишний глоток, а сам рассказывал, что живет он с соседкой Нинкой, что они не расписаны, но все равно получку он ей как жене отдает, а она стряпает и обстирывает его. Конечно, говорил мужик, я от нее иногда зашибаю, особенно с Клавкой, из того же цеха, но все равно на Нинке, пожалуй что, женюсь. Потому что Клавка стерва, тварь болотная, еще и с начальником цеха крутит, живет то есть, а начальник — гад, иуда, наряды лишние выписывает и заставляет с собой делиться, но чуть что, на тебя же и валит.

При этих словах Лева, отхлебнув еще глоток коньяка и откусив кусочек батончика, передал бутылку напарнику и сказал, что все начальники — суки и что он сам пострадал через начальника, оттого и запил. «Я ему говорю,— жаловался Лева,— „Вы же сами мне сказали это сделать", а он отвечает: „Что-то не припоминаю". Я ему говорю: „Я вас считал порядочным человеком". А он все твердит: „Не припоминаю, вы меня с кем-то путаете". Он сам про себя говорит, что он ставит задачи,— тут Лева постарался придать своему голосу интонацию самодовольной тупости,— „не очень существенные по значимости, но важные, которые связаны с проблемами научного коммунизма, а не с фундаментальными философскими проблемами". Кретин! Как такого держат!.. Он при этом думает, что умнее всех, раз начальник, а в веках-то я останусь, потому что теорию калейдоскопа придумал,— спьяну Лева терял свое чинопочитание и становился очень дерзок.— Я им докажу, калейдоскоп не материальное тело, а философское! Докажу!»

— На, отхлебни,— сказал мужик, чтобы утешить его.— И плюнь,— добавил он,— все равно хуже баб ничего нет.

Лева опять отхлебнул и вспомнил сегодняшнюю молодую вдову, Людмилу-Джамбль, и продолжил свою речь, только сменив теперь предмет. Начал говорить о женщинах. Это был из тех пьяных рассказов-поступков, вспоминая которые, Лева готов был сквозь землю провалиться в буквальном смысле слова.

— Понимаешь, меня бабы за что-то любят,— хвастливо врал он.— Сам не знаю, за что. Знаешь, бывает в мужике такая внутренняя уверенность, что любая баба твоя, а они, суки, это чувствуют и липнут, как на мед. Я, конечно, много работаю, служба у меня такая, это и хорошо, потому что мы все же не восточные люди, века проводящие в безделье, сидящие в тени на порогах своих хибар, щурясь на солнце и попивая чай или какую-нибудь чачу. Там земля все сама родит, понимаешь? А нам работать нужно. Но как после работы расслабиться, если не с бабой да не с водкой?! Особенно под разговор по душам. Русскому человеку ведь поговорить надо. Вот как мы с тобой сидим, разговариваем. Утром еще и знакомы не были, а сейчас по душам говорим. А у меня тут, понимаешь, история сегодня вышла. Одна девка раза два меня видела, тоже такая тварь болотная, кикимора зеленая, но красоточка, пальчики оближешь, будь здоров, какая девка. Всегда в зеленом ходит. Моложе меня лет на двадцать, но влюбилась, понимаешь, по уши.

— А ты с ней?..— спросил мужик.

— Ну нет, врать не стану. Ну, может, один раз, ну два от силы. Но прилипла как банный лист.

— Для бабы два раза, если понравился, то есть по вкусу пришелся,— это немало, это много. Это мне Нинка так говорит,— заключил мужик.— Ну? Дальше.

— Ну вот. То ли она все мужу сказала, то ли еще что в этом духе, может, сам узнал, только он утопился, вот такие, брат, дела, понимаешь? — Лева как бы намекал на то, что повинен в смерти, что из-за него, удалого красавца-мужика, катастрофа произошла, почему-то хотелось ему выглядеть таким интересным, и ради этого он готов был на чудовищную ложь, ведь безнравственность и злодейство в пьяном разговоре — лучшая приправа, и наворот полуправд, перетолкованных и перевранных, продолжался.— Есть тут и другая версия, понимаешь ли. Из блатных моя подружка-то эта зеленая, слух прошел, что мужу-то она помогла... Понимаешь? С дружками своими договорилась, ну и... Во всяком случае, поминки сегодня были, мне она, конечно, ничего не сказала, что на самом-то деле с ее мужем произошло, но так ко мне на этих поминках лезла, буквально чуть не изнасиловала. Но я — нет. Неудобно, говорю, что ты, шалава, с ума сошла, а? Завтра давай.

— Правильно. Смерть уважать надо,— согласился мужичонка.

Они еще выпили по глотку. Коньяку осталось совсем немного, а Леве хотелось еще поговорить.

— Вот я и не остался, ушел,— говорил он, придерживая бутылку, чтобы мужик не торопился допивать.— Она-то очень хотела, чтобы я остался, все принималась уговаривать, в коридор провожать пошла, на родственников не посмотрела, что осудят, а там так прижалась, что я еле оторвался. Но я ни в какую. Лучше говорю, не уговаривай, а то поссоримся. И ушел.

— Молодец,— одобрил мужик.

— Я вот, думаю, может, сейчас к друзьям поехать,— неожиданно для себя сказал Лева (ему захотелось еще похвалиться и верными друзьями-мужчинами, которые, как рыцари Круглого стола короля Артура, готовы за него в огонь и воду).— Они у меня настоящие ребята, любят меня, понимаешь? А пьют так, что будь здоров.

Но коньяк кончался, и мужик, видимо, решил закругляться.

— Давай допивай,— сказал он.

Они допили. Лева лихо отшвырнул бутылку в кусты. Ему хотелось продолжить рассказ о своей романтически-преступной страсти и верных друзьях, готовых на все за него, и он предложил:

— Может, перекурим?

Мужик вытащил «Приму», Лева «Яву», но тут же решил закурить покрепче и взял у собутыльника его сигарету. Вдали проехал уже который по счету трамвай.

— Ты куда сейчас? — спросил Лева, надеясь начать новый тур беседы, незаметно переведя разговор на себя. Был он уже сильно пьян, в голове шумело, его пошатывало.

— Да я здесь живу. Дом на болоте,— и мужик указал на стоявший неподалеку девятиэтажный серый прямоугольник дома.

— Почему на болоте? — испугался чего-то Лева.

— Говорят, раньше болото тут было. Осушили и дом поставили. Родился я, значит, на болоте. На болото и переехал. Такая, то есть, судьба у меня на болоте быть. А сами мы с Севера. С болотистой местности. У нас там такие деревни досель есть. Мы еще язычники там. А в Москве, почитай, лет тридцать, не больше. У меня отца лешим в деревне звали.

— Ну ладно, расходимся,— заторопился, притушивая сигарету и отводя в сторону глаза, Лева.

Лева был человеком суеверным, и этот корявый мужичонка вдруг ему жутким показался: низенький, верткий, но чувствуется, что жилистый, не то, что рыхлый Лева. Лева испытывал такой же сейчас испуг, даже страх, как когда ему Кирхов сказал, что его Верка мышьяком подтравливает. Пьяный страх подкинул его вверх, он перепрыгнул деревянную планку ограды и, подвывая, бросился через кусты и клумбы к трамвайной остановке.

Глава VII. ВЕЧЕРНИЙ УЖАС

Было пустынно на трамвайной остановке. Да и стемпело уже. Правда, под фонарным столбом у остановки свет очерчивал некий круг безопасности. Лева трусливо и затравленно оглянулся, отдышиваясь. Мужик его не преследовал. Но оставленный сзади двор чернел таинственно и страшно, как дыра в иной мир. «Ишь, куда завел, в какую черноту»,— бессвязно думал Лева, дальше мысль не шла, потому что голова была полна хмеля, и сосредоточиться было трудно, просто невозможно. Стеклянный прямоугольник трамвайного павильона под крышей отражал свет электрического фонаря. В закутке этого стеклянного прямоугольника обнималась парочка, как разглядел Лева, подойдя поближе. Девушка стояла, вжатая в стеклянный угол, а парень зависал над ней, облапив двумя руками. От девушки виднелись только кусочек платья и ножки в туфлях-лодочках, обнимающие тумбообразные ноги парня и слегка вздрагивающие от любовного усилия. Парень сопел. А Лева, желая заручиться поддержкой живых существ от тьмы, идущей с оставленного им двора, не вдумываясь в ситуацию, окликнул их.

— Это в сторону Войковской трамвай? — он и сам знал, что трамвай с этой остановки идет в сторону Войковской, и спросил только, чтобы как-то дать знать о своем существовании стоявшим людям, чтоб они знали, что он здесь, на случай мало ли чего, но именно поэтому голос его прозвучал трусливо, заискивающе и фальшиво.

Парень повернул голову и хрипло и недовольно ответил:

— Ну?

Несмотря на прозвучавший в голосе вопрос, ответ этот означал утверждение. Лева закивал, что, мол, понял, а парень отвернулся и больше не обращал на него внимания. Лева стоял в освещенном круге, стараясь не отходить далеко от павильона, держась за поручень у стеклянной стенки. Он что-то понял, и его подмывало подойти к парочке с фамильярными словами о любви, но он стоял молча, изредка робко поглядывая то в темноту им оставленного двора, то в сторону, откуда должен показаться трамвай. Леве было нехорошо, но еще не то это было состояние, чтоб заснуть, где попало, просто отрубиться, или вообще ничего не соображать. Страх держал его на ногах, не давая расслабиться. Но он уже чувствовал, осознавал краешком сознания, что опьянение его все же выше нормы. Тоскливое отвращение к себе снова поднималось со дна его существа, изнутри того, что раньше именовалось душою. «Зачем опять нажрался? Ведь придерживал же, придерживал с ребятами, придерживал на поминках... Утром попил пива, похмелился, на поминках окончательно поправился... Ну и остановись!.. Так нет! И как этот гнус заманил меня на пьянку? Отец у него леший, как же! Сам он леший! И две трешки пропил, и завтра опять похмеляться придется. Как не устоял? Чего за ним побежал? Гриша бы, небось, ни за что не пошел, это точно. Ему бы и в голову не могло прийти пить по подворотням, он в свой кабинет, к книгам... А я? Опять неудобно было отказать простому человеку? А почему? Почему неудобно? Сказал бы, что денег нет или занят, тороплюсь, и все. Значит, самому это требовалось. А ведь хотел же забраться к себе, под корягу, и читать, читать, читать, читать, читать, читать, читать,— Лева почувствовал, что засыпает, и затряс головой, чтобы призвать себя к бодрости.— А вместо чтения опять вечер загубил. Впрочем, все равно бы сегодня вечером не работалось. Так что черт с ним! С кем? Да с вечером. Черт с ним, с вечером. Вот только наговорил я!.. Этому мужику-лешему!.. И чего наговорил?! Фу! Ужас! Хорошо одно, что никто никогда про это не узнает. Я не расскажу, а мужик никому не известен».

Утешенный этим соображением, Лева оглянулся и увидел подходивший светящийся трамвай. Уф! Наконец-то! Подальше от этого двора, подальше да поскорее. Парочка не обращала на трамвай внимания.

— Эй, ребята, трамвай,— захотел оказать им услугу Лева и тронул даже парня за плечо.

Тот обернулся, с ненавистью глядя на Леву:

— Тебе чего надо? Чего пристал?

Парень был широкоплеч и могуч, а взгляд излучал самую настоящую ненависть и жестокость. «Такой и на самом деле прибить может, не задумается».

— Ничего,— быстро отшатнулся Лева и поспешил влезть в полупустой и яркий трамвай.

Двери за ним закрылись, и трамвай поехал. Сидело в нем человек шесть или семь. На полу валялись использованные трамвайные билетики, недогрызок яблока и раздавленная длинная сигарета с фильтром. Коричневое табачное крошево было растерто по полу чьей-то подошвой. «Перед вечерной уборкой,— подумал Лева.— Завтра опять будет чисто». Он уселся у окна, укрепил на коленях портфель, прильнул к нему, обняв обеими руками, и моментально заснул.

— Эй, друг, проснись, конечная! — кто-то тряхнул Леву за плечо.

Он испуганно и полусонно вскочил, портфель как-то боком выскользнул у него из рук, упал на пол между сиденьями. Лева подхватил его за ребристый бок и поспешил за

выходящими пассажирами. И поспел аккурат за последним. В вагон повалил народ. На Войковской всегда садилось много народу. Вечер был уже совсем темный, но светились два стеклянных спуска в метро, фонари, афиша кинотеатра «Варшава». Лева посмотрел на часы — начало одиннадцатого. Голова со сна была тяжелая, его слегка мутило.

Лева подошел к стеклянным дверям подземного перехода, откуда выныривали и куда ныряли люди, напоминая плескание рыбок в аквариуме. Лева двинулся подземным переходом, где справа стояли автоматы с газетами, на каждом из которых виднелась по позднему времени надпись «выключен», а слева вход в метро с хлопающими дверьми. Лева опять припомнил уже посещавшее его сегодня воспоминание детства и таинственно-притягательных книжек, в которых люди пробираются куда-то рукотворными подземными переходами, как граф Монте-Кристо, или опускаются, как герои Жюль Верна, к центру земли сложной системой гротов и штолен, или, как одесские партизаны, прячутся в катакомбах, не говоря уже о страшном путешествии под землей Тома Сойера и Бекки Тэтчер. Там ужасные встречи и ежеминутно подстерегают опасности. А здесь звучит так привычно: подземный переход. И никаких тебе допотопных чудовищ и опасностей, потому что в метро всегда дежурит милиция. И потому из метро, из еще большей глуби, чем переход, тоже выходят всего-навсего люди. Но сейчас эти мысли только скользнули в Левином полусонном сознании. Скорей в свою комнату, в свою постель, укрыться одеялом и вырубиться. И чтоб никто-никто не знал о позорных речах. Никто и не узнает. А завтра с утра опохмелиться и начать новую жизнь. Если это возможно.

Потрясывая головой, вышел Лева наружу из подземного перехода на другую сторону Ленинградского шоссе. И двинулся перпендикулярно ему в глубь дворов, за которыми начинался уже лесопарк, жутковатый по вечерам. Окна магазинов вдоль шоссе светились, хотя двери и были заперты, зато кулинария по дороге к Левиному дому, сразу за углом, уже темнела окнами. Лева по утрам тут пил кофе с булочкой, когда не надо было похмеляться. С левой стороны стояли пятиэтажные дома стиля «баракко», как говорят архитекторы, или «хрущобы», как их называли в народе. И все равно спасибо хотя бы за такие дома, все лучше, чем жить в коммуналках, так в свое время спорил Тимашев, и Лева был с ним согласен. Справа, сразу за зданием с кулинарией и ателье, зданием постройки сороковых годов, массивном и просторном, выходившем фасадом с магазинами на шоссе, начинался пустырь с неасфальтированной, в колеях, дорогой. На пустыре стояло какое-то одноэтажное красное здание, к нему часто подъезжали грузовики, но что в нем находилось, Лева не знал и не интересовался. Дорога была темная, в колдобинах. Свет доходил только от дальних пятиэтажек, от лампочки, горевшей над железной, с тяжелым засовом, дверью красного одноэтажного дома да трех фонарей с неразбитыми еще лампочками в начале дороги. Дорога, правда, несмотря на выбоины и колдобины, была почти прямая, она вела к длинному двухэтажному бараку, теплому, оштукатуренному, где на первом этаже и снимал Лева комнату. Сразу за Левиным домом, за небольшой кучкой деревьев и деревянным забором проходила железная дорога, и воздух тут всегда пах характерной паровозной гарью, приятным Леве привокзальным запахом маленьких городков. Сразу за железной дорогой начинался лесопарк, куда ходили гулять местные жители. В темноте, да еще с алкоголем в организме путь был труден. Все цепляло Леву за ноги, он спотыкался, один раз даже упал, больно ударился, очевидно, ссадив под одеждой коленку и локоть. Но Лева упорно брел к своей цели, ведомый инстинктом не в меньшей степени, чем осознанным желанием — приклонить голову в безопасном месте.

А безопасности почему-то хотелось. Что-то тревожило его. И чем ближе продвигался, тем яснее ему становилась причина тревоги — вчерашнее столкновение в подъезде. Хоть и понимал он и помнил, что ребята ему говорили, но какой-то уж сегодня день был насыщенный страхами, испугами и малоприятными столкновениями. Бывают такие дни. Тимашев, любивший рассказывать истории и анекдоты, как-то среди философических рассуждений о полосах удач и неудач, рассказал следующее: два приятеля встречаются, один другого спрашивает: «У тебя сегодня день какой — как бутерброд с повидлом или г...ом?» И поясняет, что дни таким образом делятся: удачные — бутерброд с повидлом, неудачные — с г...ом. «С г...ом»,— отвечает второй. Через некоторое время они снова встречаются, первый спрашивает: «Как дела?», а второй кричит: «Помнишь, я тебе говорил, что мой бутерброд с г...ом? Так то было повидло!» Лева вспомнил этот анекдот неожиданно для себя, глупо захихикал и повторил: «Так то было повидло!» И снова захихикал. «А вообще-то не день сегодня был, особенно под конец, с этим лешим, а бутерброд с г...ом,— подумал Лева, опять спотыкаясь и мрачнея.— Скорей бы уж он был позади». Лева понимал, что вряд ли кто его будет поджидать в подъезде, даже если вчера кто и был. Шпана и всякая нечисть дважды в места, где нечем поживиться, не ходит, неопытно и наивно полагал Лева, начитавшийся книжек и полагавший, что благодаря пьянству *знает жизнь*. Хотя тут он припомнил, как в их большой дом, где жил он с Ингой, повадилась ходить шпана и жечь — забавы для — газетные ящики, и выкурить ее было трудно, пока пост мили-

цейский не установили. Но ведь не *его* же специально кто-то там ждет у двери!.. Кому он, Лева, нужен?! Хотя?.. Есть же на свете завистники. Вдруг тот же Тимашев решил мою теорию калейдоскопа присвоить, он ведь, сука, единственный понял, что это — открытие. И нанял кого-нибудь со мной расправиться?.. Шпану какую-нибудь. Эти за бутылку все могут. Пришьют — глазом не моргнут. Если уж, как говорят, в карты случайных прохожих проигрывают... Это как инициация у дикарей. Убьешь человека соседней деревни, скальп снимешь,— станешь мужчиной... Лева задрожал. А может, *кто другой* наш разговор в пивнухе слышал. Теория моя не то, чтобы идейно порочная, но и от ортодоксии далека. Услышал и сообщил, куда следует. Нет, тогда бы *вызвали...* Лева затряс головой, стараясь отогнать эти мысли. Краешком сознания он все же понимал, что опять начиналась «помадовщина», пьяный неврастенический психоз. Не думать о плохом! Эх, все же изменился узор его калейдоскопа! Да как незаметно, потихоньку, а все другое. Почему не жилось ему дома у матери? Рвался, рвался и вырвался — женился. А потом у Инги не жилось. Почему? Сидеть бы ему сейчас у Инги, или у Верки... Ругался бы, конечно, с ними, но зато в своем доме. Хорошо Грише! Уже пятьдесят лет на одном месте живет. Это в самом деле гнездо, что-то устойчивое, почти уже родовое. Понятно, что он с Аней не разводится. Из гнезда не улетишь! А тут прешься куда-то в темноту, в пустую, холодную, одинокую и чужую комнату. Он огляделся по сторонам. Ни живой души. Даже собачники не гуляли, хотя время совсем не позднее. А ведь обычно на пустыре два-три человека непременно своих шавок выгуливали. Только сзади, от уже очень дальнего метро, раздавался человеческий гул. Но не поворачивать же назад, когда до дома метров двадцать всего осталось, уже видно его.

Окна в его доме светились, некоторые были открыты. Желтый свет из комнат освещал пространство перед домом, небольшое, но освещал. Из окон второго этажа, из комнаты братьев Лохнесских звучала не то гитара, не то магнитофон, мужской голос пел:

Я был душой дурного общества
И я могу сказать тебе:
Мою фамилью, имя, отчество
Прекрасно знали в КГБ...

В меня влюблялася вся улица
И весь Савеловский вокзал.
Я знал, что мной интересу-ются,
Но все равно пренебрегал...

Лева обожал блатные песни, они были такие романтичные, мужественные. Он уже было подумал, что постоит под окнами и послушает, вдыхая привычный здесь вечерами запах подсолнечного масла и жареной трески, как вдруг приостановился, не доходя до дома, и даже сделал шаг назад. «Так то было повидло»,— промелькнула в мозгу та же фраза (он подумал о прежних своих столкновениях за сегодняшний день), но уже не в мажорно-хихикающей тональности, а скорее траурно-погребально. Он почувствовал, как под плащом опустился и обмяк его животик, а все внутренности тоже устремились куда-то вниз, под ложечкой затошнило, забулькало. «Вот так и бывает медвежья болезнь»,— подумал Лева, хватаясь за живот.

Перед домом был палисадничек. В нем стоял врытый стол и две скамьи. Обычно, днем и вечером, мужики там резались в домино или распивали. Лева вначале никого не заметил за столом. Пустым он ему показался. Но когда подошел он к этому столу почти вплотную (миновать его на пути в свой подъезд он не мог), донеслось от стола какое-то мычание и хрипение, вмешавшееся в звуки песни, и существо, сидевшее за столом, распрямилось. Фигура существа была длинной, очень длинной (даже в сидячем его положении это было заметно), с непропорционально вытянутой вперед физиономией, длиннее, чем у лошади, словно существо было в маске чудовища, в маске... крокодила... Лева сделал еще шаг назад. Он даже подумал было развернуться независимо и потрусить назад к метро. К Верке, к Инге, к матери — куда угодно! Уж больно страшен был поджидавший его (поджидавший? его?) субъект. Но пьяная слабость и трусливое бессилие стреноживали. Не было никаких сил шкандыбать (бежать — не было и речи) назад по той же дороге через буераки, выемки и колдобины. Непременно споткнешься и упадешь. Тут-то его и нагонят. И сожрут. Если это и вправду крокодил. Энергии, как у американского контролера-обходчика, отчаянно боровшегося за свою жизнь, он в себе не ощущал.

Да к тому же вдруг субъект не его и ждет. Да и вообще никого не ждет. И вообще никакой он не крокодил. А просто пьяный мираж. От слабости и страха на лбу у Левы выступила испарина, сердце заколотилось сильно-сильно, ноги стали вялые и недвижные. Глупо сворачивать в двух шагах от дома. Да и легче при такой его слабости добрести до дома, только бы ноги отвердели. Очень похож субъект на вчерашний пьяный бред, но вчера-то ничего не произошло. Надо было, не доходя до дома, пойти в милицию и сказать, что вчера у дома его пугал какой-то длинный в маске крокодила.

Засмеют. Не скажешь же, что к тебе крокодил пристает. Да ты же пьян, скажут, и справедливо скажут. Сколько вчера выпил? А сегодня опять? Э, да тебя в вытрезвитель надо. Это милицейское умозаключение представлялось Леве неотразимым, оно было словно впечатано в матрицу Левиного сознания. Подвыпив, он боялся милиции, как самый последний хулиган.

«Пройду себе независимо мимо. В конце концов *он* далеко от подъезда сидит. Если и бросится ко мне, то, пока из-за стола вылезет (если вообще будет вылезать, может, он *просто так* сидит), все равно я успею заскочить в подъезд. А там позвоню в квартиру, Иван или Марья откроют — и привет. *Тот* и сбежит».

И Лева сделал два или три шага по направлению к подъезду. Субъект не шевелился и молча смотрел на него. Лева еще шагнул. Из какого-то окна и впрямь резко пахнуло жарившейся на подсолнечном масле рыбой, но не треской, а не то мойвой, не то навагой. У Левы всегда был обостренный нюх. Но все запахи (тут он это тоже явственно ощутил) перебивал вязкий, струившийся по двору запах тины, болота, прелых листьев и какой-то гнилости. Стало сыро и зябко. Отяжелевшие ноги двигались медленно, с трудом. И вдруг из субъекта раздался голос — грудной, глубокий, сильный, мычащий, как у коровы, голос, не знающий возражений:

— Слышь? Поди сю-уда. Разговор есть.

— Зачем? — губы у Левы еле шевелились, когда он произносил это слово, но ноги окаменели, встали.

— Да надо. Иди, кому говорю-у!

И Лева подошел к столу. Но не сел, чтобы не запереть себя между столом и скамейкой, а остался стоять, не поднимая глаз на субъекта. В затылке был гул, будто стрекозы в жаркий день на болоте расшумелись до чрезвычайности, то зависая над водой, то делая бросок к какому-нибудь цветку и зависая над ним, шевеля крыльями. Но их много, стрекоз, и стрекот стоит ужасный. И еще было с ним, как бывает в ситуации предельного страха, чтоб не умереть с испугу: ощущение возникло, что не с ним это происходит, что как бы со стороны он наблюдает — защитная реакция организма. «Да, то было повидло»,— отстраненно думал он о своих прежних страхах, как о страхах кого-то совсем другого. Собеседник не вставал, и мычащий голос выходил из его нутра без напряжения:

— Вот послу-ушай,— сказал субъект,— не про тебя ли сказано? — и он начал, словно декламируя наизусть: — Пи-аный человек, согрешив, не кается, а трезвый, согрешив, кается и спасен бу-удет. Пианый человек горее бесного, бесный бо стражет неволею-у, добу-удет, добу-удет себе ве-ечну-ую-у му-уку-у,— говорил субъект нараспев тягучим, мычащим голосом, не раскрывая пасти, что по-прежнему заставляло думать о маске. Ибо Лева видел краем глаза, а может, и внутренним зрением вытянутую вперед совершенно крокодильскую морду, а субъект продолжал, словно отходную читал.— Пришедшие иереи молитву-у сотворят над бесным и прогоня-аю-ут беса, а над пи-аным, аще со всея земля сошлися бы попове и молитву-у бы сотворили, но вем, яко не прогнати пианства, самоволнаго беса. Пи-аный человек горее блу-удного, блу-удный бо на новь месяц блу-удит, а пи-аный напиваяся по вся дни блу-удит,— тут мычащий его голос стал гулким, как труба, и торжественным.— Пианица приложен есть к свинии. Божественный апостол рече, яко пи-аницы Царствиа Божиа не у-узрят, но у-уготована им есть му-ука, с прелюбодеи и с татми, с разбойники в векы му-учитися. Без Божиа Су-уда вскоре пи-аницы у-умирают, яко у-утопленицы. Аще кто пиан умрет, то сам себе враг и у-бийца, а приношение его ненависно Богу-у.

— А мне наплевать, я атеист,— пискнул Лева, чтобы проявить независимость, показать, что он не боится.

— Могу-у ли я о себе это сказать? — промычало существо.— Пожалу-уй, могу-у... И все же...

Вдали загудел паровоз, послышался грохот и лязг состава. Запах гари и жаренной на подсолнечном масле рыбы смешался с аммиачным болотным запахом, запахом гнилостной сырости. Леву подташнивало.

— Да ты не бойся, ты садись, к чему-у на ногах маешься, так у-у тебя голова закру-ужится, затошнит тебя,— субъект слегка приподнялся, положил переднюю конечность на плечо Леве, а его вытянутая морда с ноздрями на самом ее окончании и глазами под узким лбом оказалась прямо перед Левиным лицом.— Ду-умаешь, про тебя рассказывал?

— Ничего я не думаю и ничего не боюсь,— ответил Лева, но сел, вместо того, чтобы спросить, чего, мол, тебе надо и пошел ты куда подальше. Пьяный дух немного поддерживал его, хотя он же временами устранял контроль, и страх волнами тогда захлестывал Леву. Да и хмель уже выветривался, пусть и не очень быстро.— У тебя натурально очень похожая маска крокодила, но крокодилы в воде живут, в болоте, а если выходят на сушу, то уж не на двух ногах.

— Ой, не могу-у, у-уморил, у-ученый! Отку-уда ты это взял, такие сведения? А? Ой, не могу-у,— субъект сидел и хохотал так, что отвисла его нижняя челюсть, обна-

жив ряды замерцавших зубов, а из пасти пахнуло смрадом невыковырянного и загнивающего в зубах мяса, остатка прежних трапез.— Чтоб ты знал, крокодил происходит от архозавров, так называемых, вторичноводных рептилий. И он вернулся в воду-у, пройдя стадию-у чисто наземного обитания. Не исключено, слу-ушай меня, слу-ушай, что предки крокодилов, подобно многим динозаврам и дру-угим предковым гру-уппам рептилий, передвигались лишь на дву-ух задних конечностях. Понял? Так тебе напоследок и лекцию-у прочитаю-у. Бу-удешь знать, с кем дело имеешь. А может, метафизику-у хочешь?..

— Разумеется,— попытался Лева ответить с достоинством.

— Видишь ли,— задумчиво, как врач, пытающийся честно поставить диагноз, начал диковатый Левин собеседник,— такое состояние психической су-убстанции, какое сейчас наличеству-ует у-у тебя, позволяет, как показывает опыт, у-увидеть то, что норме не у-увидеть. Но это вовсе не значит, что ты галлю-уциниру-уешь. Просто ты видишь то, чего не видят дру-угие. В сознании твоем слой цивилизации прорвался. А под этим слоем — бездна. Вот я — отту-уда. В самом деле, почему-у лю-удям, а не ящерам владеть землей?! Сие есть вопрос. Впрочем, Божий Су-уд решит.

— А при чем здесь Божий Суд? — спросил Лева, чувствуя, что сходит с ума, обсуждая со странным и страшным субъектом метафизические тонкости вместо того, чтобы бежать прочь, как американский контролер-обходчик. Но американец за свою бурную жизнь в каменных джунглях Нью-Йорка, возможно, и привык к неожиданностям, к тому, что всякое бывает, что и невозможное возможно, а Левина жизнь все же к неожиданностям и небывальщине не прикасалась, а потому, кроме страха, отнимавшего силу у ног, его не покидало ощущение, что «такого не бывает».

— Объясню-у, объясню-у,— сказал мычащий субъект, сладострастно хрюкнув.— У-у Божия Су-уда много орудий. Сами по себе они могу-ут быть и у-ужасны, но их использу-уют, и в этом их оправдание. А крокодил, чтоб ты знал,— из древнейших орудий. В Библии его называли левиафаном, и он непобедим,— и субъект снова заговорил нараспев, как, по Левиным представлениям, должен бы был поп читать.— Можешь ли ты у-удою-у вытащить левиафана и веревкою-у схватить за язык его? вденешь ли кольцо в ноздри его? проколешь иглою-у челю-усть его? будет ли ов много умолять тебя и бу-удет ли говорить с тобою-у кротко? сделает ли он договор с тобо-юу и возьмешь ли его навсегда себе в рабы? Клади на него руку твою-у, и помни о борьбе: вперед не будешь,— при этих непонятных словах субъект так посмотрел на Леву, что тот невольно и послушно положил руку свою ему на плечо и почувствовал ладонью сквозь одежду странную костистость и зябкий холод, исходивший от тела существа, которое продолжало, не останавливаясь, говорить: — Надежда тщетна: не у-упадешь ли от одного взгляда его? Нет столь отважного, который осмелился бы потревожить его. Не у-умолчу-у о членах его, о силе и красивой соразмерности их. Кто может открыть верх одежды его, кто подойдет к двойным челюстям его? Кто может отворить двери лица его? круг-уг зу-убов его — у-ужас; крепкие щиты его — великолепие; они скреплены как бы твердою-у печатью-у; один к другому прикасается близко, так что и возду-ух не проходит между ними; один с дру-угим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются. Из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет у-угли, и из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, и перед ним бежит у-ужас. Мясистые части тела его сплочены между-у собою-у твердо, не дрогну-ут. Сердце его твердо, как камень, и жестко, как нижний жернов...

— Ты-то здесь при чем? — перебил его Лева, ему казалось, что он должен поддерживать разговор ради спасения своей жизни, ведь тех, с кем беседуют, особенно, если они ведут себя независимо, как бы *на равных*, не должны трогать.— Это о тебе, что ли?

Словно бы не замечая вопроса, субъект, дав Леве произнести еще несколько слов, продолжал:

— Когда он поднимается,— тут он и в самом деле приподнялся над столом так, что Лева шарахнулся от него, но остался при этом сидеть, квк пригвожденный,— силачи в страхе, совсем теряю-утся от у-ужаса. Меч, косну-увшийся его, не у-устоит. Железо он считает за солому-у, медь — за гнилое дерево. Свисту-у дротика он смеется. Под ним острые камни, и он на острых камнях лежит в грязи. Он кипятит пучину-у, как котел, и море претворяет в кипящу-ую мазь; оставляет за собою-у светящу-ую-уся стезю-у; бездна кажется сединою-у. Нет на земле подобного ему-у; он сотворен бесстрашным; на все высокое смотрит смело; он царь над всеми сынами гордости,— тут он кончил говорить нараспев и добавил просто, скорее даже деловито.— Честно говоря, для жертвы всегда сложно понять: действует орудие, будучи направляемо высшей рукой и из высших побуждений, или само по себе, для собственной прихоти, ну-у, для тренировки, в конце концов.

Субъект замолк. Молчал и Лева, поражаясь, как после этой недвусмысленной угрозы он все равно не в состоянии вскочить и побежать наутек. «Так и есть,— потерянно думал он.— Сейчас конец. Правда, если он не бандит, а просто... взгляды мои выяснял,— в Леве вдруг затеплилась надежда,— тогда пожурит и... отпустит?.. На худой конец с собой заберет. То-то он о божественном, о метафизике речь вел. О теории моей калейдоскопа кто-то стукнул. Теперь за идеализм мне вмажут. Интересно, кто стукнул. Тимашев?.. А мог и Шукуров... Вряд ли. Скоков?.. Не случайно он в высокие разговоры никогда не лезет. Слушает, да на ус мотает. Оправдаюсь. Я все же материалист. Сейчас им не тридцать седьмой год!.. А если все-таки бандит?.. Тогда хана». Он сидел в полной прострации, а в голове закрутилось воспоминание из тех дней, когда он был еще женат на Инге. И он сидел и вспоминал, вместо того чтобы «рвать когти». Никаких сил в нем не осталось. Он вспомнил, как однажды вечером, устав от работы — редактирования, чтения и писания,— он пошел было на улицу прогуляться, подышать свежим вечерним воздухом, так он и Инге сказал. Машин под вечер уже немного, шум, копоть, запахи бензина и выхлопных газов пропадали, и можно дышать сравнительно чистым воздухом. К тому же в их четырехугольном дворе росло несколько деревьев, которые создавали ощущение зелени, во всяком случае, был шелест листьев и потрескивание ветвей, что навевало умиротворение. И это-то умиротворение и хотел испытать Лева. Он не торопясь спускался по лестнице, чувствуя себя очень значительным после проделанной, завершенной работы, мудрым, усталым, солидным. То, что произошло через минуту, было просто невероятно и дико, как в кошмаре. Он уже спускался последним, маленьким пролетом лестницы, как вдруг входная дверь распахнулась навстречу ему (перед этим на секунду к ее стеклу прилипла чья-то расплющенная физиономия) и из подъездного тамбура высунулся какой-то малый в кепке, глаза его блестели и бегали по сторонам, гнусно и вороватo, улыбался он нагло и как-то криво, лицо у него было вытянутое, бледное, он даже не вошел, а, скорее, вкрался в подъезд, изогнувшись так, что часть его тела как бы осталась в тамбуре, поманил Леву пальцем и подморгнул:

— Слышь, ты,— хрипло и шепотом позвал он.— Выдь во двор, дело к тебе есть. А? Поговорить с тобой надо.

Иногда бывало, что распивавшие во дворе мужики просили у жильцов стакан. Но эти просьбы были понятны и конкретны, здесь же явное выманивание в темноту, неизвестно зачем. И эта-то неизвестность вызвала прямо панический ужас. Леве в тот момент стало так страшно, что, позабыв о мужском достоинстве, просто *позабыв*, ни о чем не думая, он сделал два или три шага спиной назад, а прошумевшие вдруг от ветра в темном дворе деревья прозвучали грозным звуковым оформлением, фоном к словам малого в кепке. И, резко развернувшись, Лева стремглав бросился вверх по лестнице, нисколько не стесняясь своего страха и опасаясь только одного — что парень бросится его догонять. Парень что-то прокричал снизу, типа «подожди», но Лева уже отпирал свою дверь. И на недоуменный вопрос Инги, чего он вернулся, Лева, уже заперший дверь на цепочку, опомнившись и раскаиваясь в своей трусости, только пробурчал, что расхотел гулять. Но весь вечер, несмотря на раскаяние, липкий страх опасности, подстерегающей его за дверью подъезда, на улице, под тревожно шумящими деревьями, никак не покидал его. Тем более, что совсем непонятно, о чем этому малому в кепке с Левой говорить! И всякие жуткие истории о проигранных в карты случайных прохожих так и лезли ему в мысли, и думал он, что чуть не стал этим случайным прохожим. И от того, что опасность уже прошла, он судорожно вздыхал. Даже когда Инга попросила вынести мусорное ведро на помойку, он, несмотря на ее раздражение, отказался безо всяких объяснений, сказав, что сделает это завтра — утром или днем. «Когда будет светло и на улице будут люди»,— добавлял он про себя.

И сейчас, сидя около страшного, крокодилоподобного незнакомца, он все не мог взять в толк, почему у него не хватает сил броситься наутек, почему сил нет, почему ноги не слушаются, да и руки вряд ли послушаются, когда замок отпирать будет.

— Ты что ж, не рад со мной сидеть? Или все боишься меня? А чего боишься, и сам не знаешь? — начал субъект новую речь.

Но его перебил весело-разухабистый хулиганский мужской голос, под гитарный перебор громче обычного выкрикивавший слова:

Прилетит Чебурашка
В голубом вертолете
И бесплатво покажет стриптиз.
Крокодил дядя Гена
Выньмет вроде полено —
Это будет наш главный сюрприз!

Из окна братьев Лохнесских послышался шумный регот, хохот и неразборчивые выкрики, перебор гитарный смолк, а субъект сказал:

— Ишь ты, опять крокодил!.. Почему-у у вас все крокодилы действуют? Не медведи, волки и лисы, а крокодилы! Ведь ты, Леопольд, над этим уже сегодня, небось, думал. Потому ли, что появление крокодила кажется самым невероятным, нереальным в этой географической полосе? А? Что скажешь? Ну, говори же. Или ты полагаешь, что

ты, как вчера, пьян, и тебе все мерещится. Да, не трезв. Но и не так, чтобы чересчур. Но тебе и вчера, может, не мерещилось? Ты ж материалист... А? Или надеешься, что я исчезну-у, как тот крокодил в анекдоте?

— Каком анекдоте? — со странной надеждой спросил Лева.

— А, так ты не знаешь! Тогда расскажу. Едет человек с крокодилом в автобусе, а тот, пресмыкающееся этакое, все ноет: «Хочу-у в трамвай! Хочу-у в трамвай! Мне здесь все лапы отдавили и хвост неку-уда девать». Хорошо. Поехали они в трамвае. А крокодил все ноет: «Хочу-у в такси, хочу-у в такси. Меня здесь все толкают, лапы отдавили и хвост некуда девать». Поехали они в такси. А крокодил и там ноет: «Мне здесь тесно, мне здесь неудобно». Тут человек рассердился и говорит: «Перестань приставать, а не то еще одну-у рюмку выпью-у и ты не только приставать перестанешь, но и вовсе пропадешь к чертовой бабушке». Хороший анекдот? Правда, тебе, я думаю, уже никакая рю-умка не поможет.

— Почему это? — робко и с испугом спросил Лева.

— Да ты у-уж почти все свое отпил. Тебе у-уж вряд ли что поможет. Ты у-уж и проспаться не можешь, совсем дурак стал.

— Н-не думаю, надеюсь, что это не так,— бормотал Лева, чувствуя, что окончательно сошел с ума, что сознание его явно раздвоилось: и в мозгу, в душе, и в глазах сопрягаются два несовместимых как будто плана: реальный и ирреальный. Стол, с обрывками газеты, на котором, видно, сегодня воблу ели, судя по рыбьим ребрышкам, которые случайно задел Лева рукой, втоптанные в землю пробки из-под пива, два травмайных билетика, засунутых в щель меж досок стола и кучки песка: очевидно, дети не то куличи из песка на столе делали, не то просто песком кидались в расположенной рядом песочнице. И вот на обычной скамейке, за этим, таким реальным и осязаемым столом сидело существо, произносило слова на человеческом языке, но при этом не то и в самом деле было крокодилом, не то человеком, как-то превратившимся в крокодила (но кому это надо?), не то в маске крокодила, которая срослась с человеком (нечто подобное Лева читал в современной западной литературе), но, во всяком случае, существо это сидело как посланец не из Левиного мира, из другого, чуялось в нем что-то ужасное, запредельное. Хулиган — это тоже наследие далеких, диких предков, идет из джунглей, от хищных пралюдей, поедавших друг друга. Но это хоть знакомо, поэтому от них можно убежать, не столь силен запах нечеловеческого. А от этого существа веяло холодом даже додикарского периода, периода каких-нибудь и в самом деле динозавров, ихтиозавров, или, как *он* сам сказал, архозавров. Как *он* вылез? *Он* или *оно?* Как правильно? Да не важно это. Важно другое. Откуда? Кто *его* разбудил? Уж не он ли, Лева?.. Говорил же Гриша, что заигрывание с темными силами ведет к сдвигу геологических пластов. Треснула земля, появилась щель, и *оно* вылезло.. Или чвакнуло болото, и *оно* оттуда появилось... И Главный, и Чухлов — они, в конечном счете, не страшны. Крокодил же... Не знаменует ли его появление решающую перемену элементов в его калейдоскопе?..

— А ведь представь себе,— засмеялся утробно субъект, не раскрывая пасти,— что не трудно догадаться, о чем ты сейчас думаешь. Ты роман Сартра «Слова» читал? Его, кажется, переводили. В нем герой вспоминает поразившу-ую его в детстве гравюру-у: из пру-уда высовывается мерзкая клешня, хватает пьяницу-у и волочет его к себе. А под гравю-урой подпись: «Галлю-уцинация ли это алкоголика? Или то приоткрылся ад?» Ну ты чего? чего? — протянул свою переднюю конечность через стол, похлопал Леву по плечу, потом слегка сжал плечо, так что когти слегка вонзились в тело, но не сильно.— Ну-у, у-успокойся. Ладно? Ты чего так разнервничался? — он отпустил Левино плечо.— Надо бы нам выпить, размягчиться, по ду-ушам погу-утарить. Ну-у, ладно, ладно. Сегодня я тебя утру-уждать не буду, да и вроде сыт я. Я к тебе завтра зайду-у. Посидим, выпьем, заку-усим.

— Чем? — почему-то вдруг с испугом выдохнул Лева.

— Кто чем... Кто чем...

И тут субъект распахнул пасть и сразу же захлопнул ее. Лязг зубов такой раздался, что Лева вдруг почувствовал, как спала с него скованность. Он вскочил, в секунду выдрался из-за стола, побежал, придерживая под мышкой портфель, упал, вскочил, снова кинулся бежать, зацепился ногой за трубу ограды, растянулся, собрался, как червяк, поднялся на колени, опираясь на кулаки, и побежал на четвереньках, прямо перед подъездом распрямился и нырнул в подъезд головой вперед. Сердце его колотилось, ключ, разумеется, никак не попадал в замок, толстые бока тряслись, рубашка на животе вывалилась из-под ремня брюк, но, наконец, он дверь отпер, обдирая пальцы, так что они даже закровоточили, ввалился в переднюю и захлопнул за собой дверь. Но за дверью, судя по тишине в подъезде, никого и не было.

Из комнаты справа, сразу при входе, раздавался капризный писк пятилетнего Оси: «Не хочу спать. Не буду. Не хочу спать! Не буду!» Значит, днем на очередную проверку своей комнаты приехала с внуком Ванда Габриэловна Картезиева и решила сегодня переночевать. В комнате напротив входной двери, как всегда, ссорились супруги Хайретдиновы, Иван да Марья. Из-за чего у них бывали ссоры — Лева за малостью времени проживания в квартире еще не разобрался: Иван вроде бы пил не больше других, а Марья после работы бежала в магазин и мужиков в дом вроде бы не водила. Но ссоры бывали постоянно, как только они сходились вместе на своих одиннадцати метрах. Затем Марья вытаскивала свою постель в ванную и там на всю ночь запиралась. Была она худощавая, смуглая, темноглазая, вид имела независимый. Иван, с узкими глазками, плешивой башкой, длинной шеей, но в остальном сбитый крепко, жилисто и мускулисто, вроде бы был правом послабее жены, во многом ей подчинялся, а потому, проявляя мужскую самостоятельность, временами бил Марью. Из комнаты их раздавалось бурчанье, хлопки, удары, потом доносился Марьин крик: «Животное!» Это довольно-таки интеллигентное слово в устах не очень интеллигентной женщины удивляло и умиляло Леву.

Лева прокрался мимо их ссорящейся комнаты в свою, опасаясь одного, как бы кто из них не выскочил в азарте ссоры на лестничную площадку, оставив дверь открытой. Лева запер за собой дверь комнаты, благословляя трусоватых хозяев, установивших в свое время чугунную решетку на окне. Прислушался. Тишина, если не считать крика Марьи из-за стенки: «Животное!» и тяжелого удара по мягкому телу. И бурчанья.

Мысли в голове крутились самые тусклые. О теории калейдоскопа, о том, что, конечно, сил у него сегодня ее разрабатывать не хватит, да и вообще какая-то это чушь, даже думать про нее стыдно. Надо бы просто лечь поспать, утром похмелиться — для тонуса, потому что хмель-то почти весь выветрился и голова вряд ли болеть будет. Хорошо бы сейчас рюмашку принять. Он снял плащ, принялся вешать его в стенной шкаф и увидел, что из-за груды грязного белья высовывается полная бутылка лимонной, «с винтом», причем ноль восемь. Он сообразил, что это — даяние позавчерашнего автора, про которое он сегодня утром с похмелья и не вспомнил и промучился, как дурак, до пивной. «Вот завтра рюмашку отсюда отолью, думал Лева, завинчу и назад поставлю. Это будет моя лечебная бутылка». Он думал о чем угодно, только не о крокодиле. Ему казалось (подсознательно он это чувствовал, не выводя наружу), что стоит ему о крокодиле подумать, как тот тут же явится. И он прилагал все усилия, чтобы этого избежать.

Лева лег, не раздеваясь, на кушетку. Укрылся пледом. Хотелось заснуть, чтоб, вернее, ни о чем не думать. Он уткнулся головой в подушку, очки больно нажали ему на переносицу, он снял их, положил рядом на стул, поразившись, как за время бега и падений они не шелохнулись у него на носу, и снова закрыл глаза. Ему представилось его темное зарешеченное окно, потом это окно закрыл какой-то поднос, прямоугольный сверху и нежно-округлый снизу, чем-то напоминающий женский торс, но еды на этом подносе не было, да и сам поднос вскоре превратился и вправду в женский торс с крупными широкими бедрами, пушистым густым лобком, тело было нежное, девичье, такой когда-то воображал себе Лева свою будущую «первую любовь», идеально прекрасную, идеально добрую, так и не встреченную, но так долго жданную, вот и лицо ее над торсом проступило, глаза полуприкрыты, розовые губы плотно сжаты. Лева потянулся было к ней, но она исчезла, вместо нее проявилась черная чернота, глубокая, как космическое пространство, она-то и стала засасывать Леву в себя. На него нахлынул весь выпитый за день алкоголь, голова закружилась, и он отрубился.

Но ненадолго. Звонок разбудил его, звонок в дверь. Он проснулся в тревоге, но, услышав какой-то разговор в коридоре, вполне миролюбивый, успокоился и начал снова задремывать. Неожиданно услышал свое имя. Он постарался прислушаться, не в силах выбраться из цепенящей дремы. Но стук в дверь его комнаты заставил Леву спустить ноги на пол и тем самым окончательно проснуться.

— Левка! — слегка гортанным голосом звал его Иван.— К тебе тут.

— Кто?

— Приятель твой тебя спрашивает.

«Сашка? Кирхов? Кто еще помнит, где он теперь живет? Скоков? Может, кто из старых?.. Мишка Вёдрин? Этот может заявиться и заполночь. Или Гриша? Нет. Гриша не знает и даже не спросил моего нового адреса. Небось, думает, что у себя на хате Левка то и делает, что пьет. Эх! А может, Верка приехала звать домой. Хотя вряд ли в таком положении она вечером куда поедет. Инга? Тем более вряд ли. Хорошо бы это был Гриша»,— думал Левка, отпирая дверь.

На пороге стоял высокий субъект с крокодильской мордой. Рядом маячил Иван, красная опухшая физиономия которого не очень-то отличалась от морды пришельца.

— Левк! — говорил Иван.— Ты извини, если разбудил. Но человек, приятель твой, дело предлагает. Говорит, у тебя бутылка есть и нас за компанию зовет. Марья счас картошки нажарит.

— Да вот решил зайти посидеть,— мычаще гундосил субъект.— Ду-умаю-у, дайкось выпьем. А то сижу-у и чувству-ую, что часа не прошло, а ты меня у-уже забыл.

Лева ухватился за дверной косяк, предобморочное состояние посетило его, в глазах плясали зеленые крокодильчики и проскакивали какие-то искорки, все это кружилось,

как в калейдоскопе, только много быстрее. И диалог последовал быстрый, как в скетче.

— У меня нет,— твердо, насколько сил хватило, сказал он.

— Чего нет? — недоуменно спросил зеленоватый незнакомец.

— Неужто бутылки нет? — спросил Иван.

— Нет,— повторил Лева.

— В заначке не держишь? — удивился субъект.

— Да разве я похож на человека, который бутылку в заначке держит? — настаивал на своем Лева, боясь, но надеясь, что не полезут они в его комнату рыться среди вещей.

— Это да,— сказал зеленоватый субъект,— может, ты у-уже ее и выпил. Спорить не бу-уду-у. Что же делать?

— Я могу друзьям позвонить. Из автомата. Они привезут,— вызвался Лева.

«Только скорее и подальше отсюда. До метро бы добраться. Или хоть до трамвая. Как голова кружится. Неужели Иван этого кошмарного гнилостного запаха не ощущает? Или это я с ума сошел и вижу то, что другие не видят?.. »

— Ну-у пойдем,— тянул его за руку субъект.— Я тебя провожу-у.

Лева обмер. А Иван сказал:

— Значит, мы вас ждем с победой. Я спать не ложусь. Скажу пока Марье, чтоб картошки начистила. Если что, утром съедим.

Лева шагнул к себе в комнату, но пришелец остановил его:

— Не волну-уйся. Дву-ушки у-у меня есть. Хватит.

Они были уже у дверей, когда на коридорный шум и разговоры открыла дверь Ванда Габриэловна Картезиева, пожилая седоволосая дама в чепце. Из-под ее руки вывинтился ее внук Ося и, увидев незнакомца, слабо пискнул. Тот стоял высокий, под самый потолок, слегка даже сутулясь, чтоб не удариться крокодильской своей башкой. Ося поглядел на него снизу вверх, потом сделал шажок и спросил:

— А ты настоящий?

Вместо ответа субъект засмеялся, не открывая пасти, и промычал:

— Мы скоро бу-удем.

Он взял Леву под руку. Они вышли из дома и пошли к телефонам-автоматам.

Глава VIII. КОНЕЦ

Пустые, механические мысли вились как змейки или ящерки в мозгу у Левы. Будто думает их кто другой, а к Леве они поступают как внешняя информация. «Той же дорогой будем идти. Опять через выбоины и колдобины. Опять спотыкаться. Нет, *этот* так под руку держит, словно несет. Не споткнешься. И не убежишь. Если б одного из дома выпустил, тогда можно было бы не вернуться. А *рядом* ноги слабеют, рядом с *этим*. Прямо парализованным себя чувствуешь. Радиус *его* действия — метров десять».

Из окна братьев Лохнесских по-прежнему доносилась музыка, приблатненный мужской голос с теми же интонациями пел ту же песню о душе дурного общества:

С тех пор заглохло мое творчество,
Я стал скучающий субъект.
Зачем же быть душою общества,
Когда души в ём вовсе не-ет?!

«Значит, это магнитофон, а не живая гитара»,— думал Лева.

Телефоны-автоматы стояли сразу за пустырем около серого дома с кулинарией и ателье. Они были освещены изнутри. Лева машинально посмотрел на часы. Начало двенадцатого. Прошло всего около часа, как сошел он с трамвая. Этот мой жест, думал Лева, можно ведь истолковать как желание узнать, не поздно ли звонить друзьям. Он словно подыскивал оправдание себе, если существо начнет его *допрашивать*.

— Звони. Я тебя на у-улице обожду-у. Воздухом пока подышу-у.

Лева бросил взгляд по сторонам. На улице никого не было. Он вошел в будку телефона-автомата и закрыл за собой тяжелую дверь. И ему показалось, что он на время огражден и защищен и может сейчас срочно, как герой приключенческого фильма, послать в эфир «SOS». Только кому? «Пусть хоть кто приедет. Кто сломит это странное состояние нормальности происходящего, которое ненормально. Иван даже не удивился внешнему облику пришельца. Не удивился тому, что в дом запросто, на двух ногах, одетый в цивильное платье зашел *крокодил* (так впервые Лева для себя твердо назвал мычащего незнакомца).— А ведь это *бред*. Если бы я был один, то ясно было бы, что у меня *белая горячка*. Но их много, соседей, и все спокойны, будто так и должно быть. Ха-ха. Жил да был крокодил, он по улицам ходил, папиросы курил, по-турецки говорил!.. Фу! Не по-турецки, по-русски! Кто поймет, что я в опасности? — Лева снял трубку, услышал далекий гудок. Телефон жил своей жизнью, и его жизнь могла спасти Левину.— Все-таки изменился мой калейдоскоп. Надо позвать, а кого? Не сходим ли с ума мы в пестрой смене придуманных пространств, времен, имен?.. Имен!.. Когда-то Инга по первому звуку бросилась бы его выручать. Но после всего, что было, ей звонить?.. И что сказать?.. А Верка?.. Куда ей тащиться, беременной! Гриша? Саша? Кирхов? Где мои друзья?! Гешке-переплетчику позвонить, с кем вчера нарезался? Так у него в Реутово телефона нет. Он бы приехал. Не звонить же *престижным* приятелям, тем, про кого лестно сказать, что он твой приятель, но кто никогда не придет на выручку. Они с места своего удобного никогда не сдвинутся. Итак: Верка? Инга? Гриша? Саша Паладин? Получалось, что звонить некуда и некому. Никто не приедет по первому слову, а объяснить *такое* невозможно. Все-таки Верке, Верунчику, Ве-ке, маленькой моей, позвонить, сказать последнее „прости", в подол поплакать...».

И он набрал Веркин телефон. Подошла теща, почти Левкина ровесница, Левку не любившая, всегда пользовавшаяся случаем поговорить с ним сухо и неприязненно — в Веркино отсутствие.

— Веры нет дома.

— Где она?

— В гостях. У соседей.

Бац — трубка положена. Даже не сказала, когда придет Верка. Не любила она Левку. За то, что не заботился, как *надо*, о Верке, не создал *настоящую* семью, пил. Она будет только рада, если Лева исчезнет с Веркиного горизонта. Ах так!.. И он тут же набрал номер телефона Инги.

— Ингуша! Дорогая. Как живешь?

— Твоими молитвами.

— Не надо так сухо, Инга!

— А как надо?

— Инга, мне плохо, мне страшно!

— Уверяю тебя, мне тоже нехорошо.

— Инга, у меня беда. Меня преследуют...

— Опять пьян.

— Ты что?! Ни капли!..

— Что ж я тебя не знаю, что ли? По голосу слышу, что пил. Вот с кем пил, тому и жалуйся.

— Да ни с кем я не пил. Мне просто страшно.

— Еще бы! От такого пьянства можно и до белой горячки допиться! Зеленые чертики еще не мерещатся?

— Мерещатся.

— Что с тобой, Левка? Ну, приезжай ко мне.

— Не могу, Веру... то есть, Ингуша. Приезжай ты.

Молчание. Затем ледяным тоном:

— Ты, видно, совсем обалдел.

Бац — и эта трубка на рычаг положена. Лева глянул из окна телефонной будки на улицу. Крокодил похаживал взад-вперед перед будкой, из пасти торчала сигара. Грише, Гришеньке позвонить. Он умный, добрый, поймет.

— Гришенька, родной, здравствуй. Это опять я. Ты давно дома?

— Давно. Мы вскоре после тебя уехали. Там скандал разразился.

— Что такое? — надо спрашивать, если сам ищешь сочувствия.

— Ты Витю ведь запомнил, если не очень пьян был?.. Ну, старшего брата покойного Андрейки. Он вдове, ну, этой, Людмиле, ее почему-то мой Борис все Джамблью именует, короче, Витя этой вдове съездил по физиономии...

— И за дело,— не утерпел Лева, вспомнив эту болотную не то ящерку, не то змейку.

— Ты тоже так считаешь? А за нее вступился парень, красавец, блондин такой белозубый. Еле их растащили. Ну и все стали разбредаться потихоньку.

— Ч-чушь какая-то,— тяжело сказал Лева.— Драка на поминках. Такое только на свадьбах бывает. Какого хрена мы в этой мещанской семейке сидели!.. Лучше бы посидели вдвоем, на бутылку бы у меня нашлось! Посидели бы, прошлое вспомнили. Какого хрена, в самом деле! Я мимо тебя сегодня опять часов в десять ехал. Как в трамвай на Савеловском садился, то думал сойти, думал — судьба ведет снова к старому другу. Ведь, наверно, это судьба, что так близко от тебя я теперь живу — на Войковской. Я только сегодня это понял. Какой я был скот, Гришенька, не соображал так долго, что близко от тебя теперь живу. Понимаешь? Ведь старая дружба — это надежнее всего. И какого хрена мы к этим мещанам на поминки поехали?..

— Лео, нехорошо так, человек умер...

— А я? Я, может, тоже скоро помру, даже скорей, чем ты думаешь! Думаешь, я во внимании не нуждаюсь? Потом тоже, небось, Левку пожалеете! А посидеть с Левкой?..

— Левка, дорогой, ты о чем? Мы же сегодня виделись. Давай завтра встретимся, если хочешь, посидим... А сейчас, перед сном, хочу еще немножко почитать.

— Завтра, завтра, завтра!.. Хорошо вам, книжным геллертерам, в своих кабинетах. Я и не рассчитывал, что ты поймешь. Простой мужик, с которым я час назад коньяк пил, и то со мной сидел, дал мне выговориться. Ну, приезжай ко мне, Гришенька, а?

У меня бутылка есть в заначке. Посидим, выпьем, по душам поговорим, завьем наше горе-злочастье веревочкой. Может, тогда это зеленое чудище от меня отвяжется...

Он глянул в окно. Крокодил по-прежнему шагом часового или охранника прогуливался перед дверью телефонной будки. А Гриша, видно, не так, как Лева хотел, понял слова о зеленом чудище.

— Шел бы ты лучше спать, Левка,— сказал он.— Утро вечера мудренее. И лучший способ избавиться от зеленого чудища, на мой взгляд, это больше к нему не прикасаться. Зеленый змий твердости боится. Разбей сам свою бутылку и скажи: начинаю новую жизнь,— и все будет в порядке,— но в Гришином голосе, произносившем тоном дружеского увещевания эти прописные истины, не было уверенности.

— Если я пойду спать, то, боюсь, усну навечно. И ты тогда пожалеешь о плохом ко мне отношении.

— Слушай, хватит. Нехорошо спекулировать таким образом. Я к тебе не поеду. Поищи другого собутыльника. А лучше иди спать.

— Ну и черт со мной! Пропадай, Левка!

И Лева сам резко повесил трубку на рычаг. Выходить из будки к крокодилу ему не хотелось. Да и смущало почему-то, как он будет оправдываться, что бутылки не достал. Он-то думал, что кто-нибудь приедет, Лева ему тихонько свою бутылку передаст, как будто приехавший привез, и порядок. А признаться, что он обманул крокодила и Ивана насчет заначки, казалось неловким, некрасивым, неудобным, постыдным, наконец. Что же делать? Ничего другого — звонить дальше. И конечно же, конечно же, Саше Паладину. Кому же, как не тому, кто всегда не прочь выпить.

Трубку снял Кирхов.

— Лео? Х-хе. Поздно ты сообразил. Все уже выпито. Эй! — крикнул он в сторону от трубки.— Да ты не жадничай! — и пояснил Леве: — Это Скоков. Услышал, что ты звонишь, и впопыхах хлопнул последнюю рюмку. Да ты не волнуйся, Помадов далеко и твою рюмку не отберет. А ты, Левка, чего звонишь? Если есть лишняя бутылка, то бери мотор и гони сюда. Мы, по-моему, все выпили, что могли. Вон Шукуров, х-хе, как и положено хранителю традиций, даже лосьон весь выжрал. Ну, что там у тебя? Ты чего звонишь? Если бутылка есть, давай сюда, а нет, то пошел на хрен! — тон Кирхова был резок, слова отрывисты, как всегда бывало, когда он напивался.— Ладно. Все. Все. Надоел. На вот Сашку, с ним говори.

Трубку взял Сашка Паладин. Он тоже был пьян, но благожелателен.

— Здравствуй, Лео. Чего звонишь? Кирхов тебе диспозицию правильно нарисовал. Шукуров пьян, как свинья. Скоков... Скоков, отстань. Слушай, я не могу его остановить. Сейчас с тобой...

Он не договорил, трубку у него вырвал Скоков:

— Лео? Слушай, Лео,— спьяну Вася Скоков становился агрессивен и настойчив,— если ты сейчас не приедешь, то все, мы тебя вычеркиваем из нас. Ты тогда будешь не гусар, а улан. Понял? Не гусар, а улан. Так что приезжай, ждем.

Лева услышал вдалеке от мембраны смех Кирхова и голос Саши, шум борьбы:

— Ладно, Скоков, уймись. Отдай трубку.

— Не гусар, а улан! — еще раз выкрикнул Скоков, и трубка снова оказалась в Сашиных руках, и он сказал:

— Ну, еле отобрал. Так ты чего, Лео, звонишь?

Лева не произнес почти ни слова, но уже знал все, что произошло сегодня с *ребятами* (стекляшка, походы в магазин, затем нежелание расставаться после закрытия кафе, и вот собрались, как всегда, у Саши), и их огневое, рыцарское, как ему казалось, вольное веселье захватило его, как всегда. Конечно, вот они — рыцари, вольные казаки, никаких нежностей, сентиментов. И крокодил не так уже страшен. Да и не бред ли все это, когда рядом царит веселье.

— Чувствую, хорошо посидели! — воскликнул Лева, хихикая и включаясь в их тональность.

— Неплохо.

— А кто был?

— Да все те же. Все здорово пьяны, кроме Тимашева, который, как последняя сволочь, тискает Ольгу и никого к-к ней не п-подпускает. Но и он п-пьян.

— Вы в стекляшке были?

— И там б-были. Орешин заходил, Мишка Вёдрин на Морковине приезжал. Тот в их сборник статью сдал, и теперь Вёдрина вовсю катает.

— Ты что-то Морковина недолюбливаешь.

— Точ-чно. Что-то я его, бля, недолюбливаю. Зато все остальные любят. Кого он облизывает. Короч-че, он не пил — за рулем! — а Вёдрин, как падла, взял два портвейна, но нам только стакан уделил. Вот т-ты как знаток лишних людей и русской интеллигенции скажи: почему это доктора наук все такие жлобы и никогда у них денег нет? Или лучше скажи: он лишний человек или нет, Миша Вёдрин? Вот Кирхов считает, что лишний и никому на хрен не нужен. Ну, я думаю, он Морковину пока нужен.

— А Вёдрин сейчас у тебя?

— Да нет, его к-куда-то Морковин на своей машине повез. К каким-то своим кискам-пискам.

Издали похоже, что с середины Сашиной комнаты донесся в трубку пьяный вопль Скокова:

— У меня есть киска! А у киски писка!

— Слышал? — захохотал Саша.

— Слушай! Приезжайте все сейчас ко мне! А? — вот она, лучшая защита от крокодила — веселая компания, будь этот крокодил реальностью или только «продуктом разгоряченного воображения».

— Нет, Левка, невозможно. Сил уже нет.

— Да тут вам от Савеловского пятнадцать минут на такси.

— А какого черта нам у тебя делать? Ну, л-ладно, л-ладно, не обижайся, едем. Через пять минут мы у тебя.

Но Лева знал цену этому пьяному «едем» и «через пять минут». Наверняка никто и с места не собирается трогаться.

— Но я в самом деле вас жду.

— Жди. Конечно, жди.

— Я серьезно.

— И я серьезно. Как только Тимашев кончит тискать Ольгу, мы все поедем к тебе. Точно.

— Ну, тогда это не скоро, хорошо, если на следующее утро,— гнусненько захихикал Лева.

— А выпить у тебя найдется? — вдруг спросил с надеждой Саша.

— Еще бы! Черт! Самое-то главное и не сказал. У меня бутылка «Лимонной» ноль восемь.

— Тогда едем! — с энтузиазмом произнес Саша.— Эй, поднимайтесь! Ну, живо! Леопольд Федорович нам ставит! Эй, Лео, только нам придется на крокодиле ехать, а пока его поймаешь...

— На каком крокодиле? — похолодел Лева.

— Такси ш-шестиместное так называется. Т-ты, Лео, на своем вчерашнем видении совсем свихнулся.

— Сука! значит, мы едем,— это уже голос Кирхова.— А чем ты гарантируешь, что у тебя есть, что выпить?

— Клянусь. Точно. Одна бутылка.

— Конечно, из-за одной бутылки тащиться к такому засранцу, как ты, да еще с оравой идиотов довольно глупо. Впрочем, хрен с тобой. Ладно, все. Едем. Мне все равно еще один визит нужно в районе Сокола совершить. Там день рождения один. До утра тарарам будет. Слушай, Сашк,— это он не Леве говорил, а в сторону,— на хрена нам тащить с собой этот погребальный обоз. Шукуров все равно спит. Будить его бессмысленно. Скоков давно уже не гусар, а улан. Ладно, ладно, пускай гусар. Все равно тебе ехать ни к чему. Да и одной бутылки на всех все равно мало. Тимашев вон и не собирается никуда отсюда. Я б на его месте тоже остался. Все. Решено. Едем одни. На трубку, точный адрес возьми.

Трубка снова в руках у Саши.

— Давай, Лео, диктуй.

Лева продиктовал адрес и добавил:

— Только тут такая ситуация. Я вот тебя попрошу. Когда приедете, сказать, что это вы бутылку с собой привезли.

— Так у тебя, что, нет бутылки?

— Тогда на хрен он нам нужен,— раздался издали рев Кирхова.

— Да есть, есть,— заторопился Лева.— Ноль восемь, как я и говорил. Только я ее тебе передам, а ты скажешь, что это ты ее привез. Я сказал, что у меня нет. А потом получилось, что пришлось ставить, ну и в таком вот духе...

— Так ты не один? А кто там у тебя? Чего? Чего? Наш великий протестант-инакомысл Кирхов говорит, что, если у тебя там компания, он не поедет.

Лева испугался. Крокодил продолжал ходить у будки. Ухо у Левы онемело и даже распухло от долгого разговора, но нежелание друзей ехать надо переломить.

— Скажи Кирхову, что если он настоящий писатель, то ему будет интересно... Живого крокодила увидит...

— К-ко-го? Кого-кого?

— Крокодила.

— Ты что, опять бредишь? — и в сторону от трубки, Кирхову: — Говорит, что мы у него крокодила увидим.

— Опять «помадовщина» начинается! Совсем с ума сошел от пьянства,— раздался в ответ голос Кирхова.— Ну что? Может, не ехать? Ладно, черт с ним. Едем.

— Едем,— повторил Саша.

И повесил трубку. Все. Звонить больше никому не нужно было. Двух таких мужиков достаточно, чтоб любую нечисть прогнать. Саша — бывший мастер спорта по боксу, а Кирхов просто здоровый мужик. Лева приоткрыл дверь. Свежий воздух летней ночи показался ему буквально райским после спертого, мефитического запаха телефонной кабины.

«И все же этого не может быть,— думал Лева.— Прав Саша, прав Кирхов. Этого просто не может быть. Я грежу. Наверно, спьяну этот бред у меня материализовался — для меня, разумеется. Так сказать, оплотнел. Правильно, что ни Инга, ни Гриша не приехали. В конце концов, ведь я материалист. *Его* просто нет. Нет, и все. Потому что не может быть. Они бы приехали, не нашли крокодила и решили бы, что я и в самом деле допился до сумасшествия. Нет, надо с ребятами сейчас жахнуть, и все к черту пройдет».

Чего-то явно не хватало. В пространстве словно образовалась какая-то пустота. Лева растерянно огляделся. Крокодила нигде не было. Лева даже за угол дома заглянул. Там тоже никого. Ушел?! Или вообще не существовал?.. И быть может, правильно Кирхов обругал его?.. И все это был пьяный фантазм?.. Побольше реализма, тогда не будет мерещиться черт знает что! Как говорил Декарт: я мыслю, следовательно, существую. Стало быть, если он, Лева, не мыслит крокодила, тот и *не* существует. Лева облегченно вздохнул и потер рукой лоб. «Пойти позвонить ребятам, что сам к ним еду...» Он взялся за дверь телефонной будки, приоткрыл ее. Дорога к метро была свободна. Да, он, наконец, свободен!.. «Хотя, куда спешить?.. Дома *бутылка*, да и ребята скоро приедут». И Лева, спокойный, довольный, заковылял неторопливо по дороге, через колдобины и выбоины, мимо пятиэтажек в стиле «баракко», вдоль пустыря, мимо одноэтажного домика с электрической лампочкой над железной дверью... Но только миновал он этот домик, как от задней его стенки, из густой черноты, выдвинулась долговязая, громоздкая фигура и буквально в два шага нагнала его. Крокодил!..

Лева закрыл глаза. Потом открыл. Крокодил оставался. Более того, он даже приблизился к Леве и спросил:

— Ну-у что, наговорился? Бу-удет бу-утылка?

— Будет,— потухшим голосом ответил Лева.

— Ну-у и хорошо. Я у-уж ду-умаю, пу-усть наговорится напоследок. Дру-узей соберет.

— Почему *напоследок?* — и опять все внутренности у Левы ухнули куда-то вниз, а в горле ком застрял.

— Почему-у?.. Почему-у? — ворчливо пробормотал крокодил.— По кочану и по капусте, вот почему-у. Идем домой, нвс жду-ут. Заждались, думаю. Когда твои дру-ужки приеду-ут?

— Минут через пятнадцать. Им от Савеловского ехать. Пока такси поймают, вот время и пройдет,— искательно ответил Лева.

Они стояли под фонарем.

— Ну-у, подождем, дождемся. И мы тоже. Только дома. Может, и ты свою-у заначку-у вытащишь, вскроешь ее, а? Сжалишься над соседом. Такой хороший му-ужик, симпатичный. До слез его прямо жаль, как и тебя,— утробно мычал крокодил (крокодил?), правой рукой утирая и вправду катившиеся из глаз по морде крупные слезы, а левой поддерживая Леву под локоть.

Они двинулись к дому. Вернее, двинулся крокодил, а Лева потащился рядом, увлекаемый его могучей лапой.

— Откуда ты взялся на мою голову?! — вскричал вдруг влекомый против воли Лева.— Почему ты ко мне явился? Почему?

— Могу-у ответить. Могу-у,— промычал субъект, немного замедляя шаг.— Есть такой анекдот. Два рыбака рыбу на червя ловили. У одного черви всегда были хорошие, крупные, а у другого так себе. Но как-то раз первый признался, как крупных червей достает. «Я, говорит, беру две батарейки от карманного фонарика, к ним проводки подсоединяю и проводки в земле закапываю зачищенными концами. Меж ними возникает напряжение, как между катодом и анодом, и червь наружу выползает, как раз тот, какой нужен». «Спасибо»,— говорит второй. Вот проходит день, и первый узнает, что его дружок, избитый, в больнице. Едет он его навестить. «Ну, спасибо, научил! — возмущается избитый.— Я, говорит, провод высокого напряжения оборвал и в землю воткнул. Сначала, правда, червь полез хороший, потом ящерицы, змеи и другие пресмыкающиеся, потом кроты, суслики и всякие подземные животные покрупнее, а потом пошли шахтеры, шахтеры, шахтеры. Вот они-то мне и накостыляли».

— Не понял,— сказал Лева,— в чем здесь аналогия.

— Ну-у, что ж, не понял — так не понял,— равнодушно отозвался крокодил, продолжая неуклонно двигаться вперед.

«Мне все это снится»,— сказал себе Лева. Так бывает, что сны более подробны, чем действительность, он у кого-то читал такое, и только алогизм говорит, что это сон. Беда, правда, в том, что во сне этого алогизма не замечаешь, и понимаешь, что это алогизм был, только проснувшись. Так размышляя, Лева незаметно, и в самом деле почти как во сне, с помощью своего спутника, облегчавшего ему путь по колдобистой дороге да еще в темноте, добрался до двухэтажного барачного домика, где Лева проживал. И тут Лева немножко приободрился. Все-таки люди сейчас появятся. Только теперь он понял, что наедине с субъектом ему было страшнее, чем при людях. И из окон братьев Лохнесских по-прежнему звучала музыка, но теперь они там, видимо, допились до сентиментально-мужественного настроения, и репертуар несколько изменился. На сей раз, очевидно, был не магнитофон, а пластинка:

Если радость на всех одна!..
На всех и беда одна!..
В море встает за волной волна,
Как за стеной стена.

Лева тоже знал эту песню, и она ему тоже нравилась.

Здесь, у самой кромки бортов,
Друга прикроет друг.
Друг всегда уступить готов
Место в шлюпке и круг.

И хотя Лева не очень представлял себе, что значит «кромка бортов», и никогда не попадал в морские кораблекрушения, да и вообще по морю не плавал, но суровая морская мужественность, казалось ему, звучала в этих словах, говоря о настоящих мужских отношениях.

Его не надо просить ни о чем,
С ним не страшна беда.
Друг твой — третье твое плечо,
Будет с тобой всегда...

Лева знал эту пластинку. Ее очень любил Саша Паладин и часто, подвыпив, заводил. Он заводил ее, когда все уже были под кайфом, но еще до того, как опьянение доводило всех «до разброда и шатания», как называл это Орешин. И все, как и Саша, проникшись его настроением и впадая в сентиментальную дружественность, сидели молча, пока игралась эта песня, воображая себя не то рыцарским дружеством, не то ремарковскими товарищами, готовыми друг за друга в огонь.

Ну, а случится, что он влюблен,
А я на его пути.
Уйду с дороги, таков закон —
Третий должен уйти...

Лева вздохнул и, дослушав песню, первым переступил порог. В дверях его встретил Иван.

— Ну? — спросил он ожидающе.

— Приедут сейчас,— ответил Лева.

— Привезут?

— Привезу-ут, привезу-ут,— ответил за Леву крокодил.

Из кухни доносились женские голоса и капризный голосок Оси. Пахло чем-то жареным на сале, как обычно и готовила Марья.

— Пошли пока на кухню посидим,— сказал Иван.— Там Марья картошки с котлетами нажарила и даже бутылку из комода достала. Любит она у меня гостей,— пояснил он крокодилу,— особенно вежливых мужчин. От меня, от мужа, прятала, а гостям достает... Ишь,— повторил он снова, ухмыляясь,— от меня, от мужа, прятала, а гостям достала...

Крокодил скинул в прихожей плащ, оставшись в сером летнем костюме, и они прошли на кухню. За столом сидели Ванда Габриэловна и Ося. Окно на улицу было открыто, в помещение проникал теплый ночной воздух, унося запах жареной картошки и принося свежесть, аромат леса, к которому слегка примешивалась паровозная гарь. Марья, в летнем легком светло-зеленом платьице возилась у плиты. На столе стояли тарелки, рюмки, бутылка водки и миска со свежезаквашенной капустой.

— Я подумала и вспомнила,— указывая на миску с капустой, заметила важно Ванда Габриэловна,— что водку закусывают капустой в России. Надеюсь, Лева, вы не возражаете против капусты. Она полезна для печени и работы желудка. Перистальтика просто чудесно функционирует, когда утром ешь капусту.

— Спасибо, Ванда Габриэловна,— диким голосом сказал Лева.

Белый плафон под потолком ярко светился от сильной электрической лампочки, специально ввернутой вместо всегдашней тусклой. Плафон, как показалось Леве, был почему-то разрисован болотными лилиями. «Попробуй сорвать»,— вспомнил он татуи-

ровку. Крокодила посадили рядом с Левой, и он выглядел совсем крокодильски в ярком электрическом освещения. Обмануться было невозможно. Почему же никто не удивляется? Сколько может тянуться этот бесконечный сон? «Может, мне не то мерещится, что *крокодил* пришел, а то, что пришедший человек, которого все нормально воспринимают, является крокодилом»,— окончательно запутался Лева в своих умственных построениях. «Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью»,— это была любимая шуточка Кирхова. «А может, вступить с крокодилом в неформальные отношения? — мелькнула безумная надежда.— Ведь известно, что неформальные отношения ведут к взаимопониманию. Надо бы скорей выпить для этого».

— Вы не возражаете выпить? — обратился к ним Иван, потирая руки.

— Отню-удь, отню-удь,— сказало зеленое чудовище.— Ему-у так это очень бы было полезно,— указывая на Леву.

Марья разложила по тарелкам еду, Иван разлил по рюмкам водку. И они выпили, причем крокодил, чтоб никого не задеть своей длинной мордой, когда будет глотать, башку свою откинул глубоко назад, и только тогда вылил в пасть рюмку водки.

— Будем здоровы,— сказала Марья и тоже выпила.

А Ося закапризничал и закричал:

— Я тоже хочу!

Ванда Габриэловна сказала строго:

— Бери пример с бабушки. Она не пьет, а ест то, что полезно.

Но внучок не отставал:

— Дядя Лева, а давай, ты мне почитаешь!

— Ну вот! сейчас он все бросит и пойдет тебе читать!..— возмутился Иван.

Все принялись есть картошку с капустой. Потом Иван пихнул крокодила в плечо:

— Как тебя звать-то?

— Имя у меня сложное, непростое, вон как у Леопольда.

— А тебя что, Леопольдом разве зовут? — удивился Иван, взглядывая через плечо на Леву.— Вот бы никогда не сказал, думал, Левой.

— Лева — это сокращенно,— объяснил Лева.

— А, ну-ну. Это я понял. А тебя как же? — снова пристал он к крокодилу.— Чтобы, значит, знать, как обращаться.

— Давно имя мне дали, несовременное оно,— оправдывался крокодил.— Левиафан. Вот тебе и имя, правда, смешное? Но можно сокращенно просто Левой звать. Вон как его,— он опять кивнул на Леву.

— А ты клокодил? — вдруг спросил Ося.

Сердце у Левы замерло. Сейчас все разъяснится. Вот он мальчик, как у Андерсена, увидевший, что король голый. Но Ванда Габриэловна оборвала внука:

— Неприлично влезать в разговор взрослых. Учись мыслить самостоятельно, чтобы достойно существовать.

И Иван добавил:

— Ты, правда, Оська, помолчи пока,— и опять обратился к крокодилу: — Значит, так, издалека ты. Я это сразу понял. Вот и на Левку, когда первый раз поглядел, тоже сразу понял, что он малый с извилинами. Вот и моя зассыха сразу в тебе непростого почувствовала, ишь, принарядилась, бутылку от мужа прятала, а тут достала. Ну ты там у себя расскажи, что я свою так и зову: зассыха. Ладно, отстань,— отмахнулся он от Марьи.— Так и скажи. А в остальном — мир, дружба. Вот почти и познакомились. Левка, он со мной своими переживаниями не делится, думает, не пойму. А я пойму. Я ведь ПТУ кончал в Оптиной.

— Это за Козельском? — охнул Лева.

— Ага, за Козельском. Там монахи, колодец такой, говорили, что святой. Вода чистая, я сам видел. На тракториста я учился. Там девка была, я присмотрелся, на мордочку симпатичная. Я к ней. А дело зимой. Мы ходили в таких опушных валенках, до колена. У дома низ каменный, а верх деревянный. Мы наверх поднялись, я штанишки с нее уже стацил, а она как заорет. Понял? Под уголовку решила меня подвести за изнасилование. Я тогда валенок снял и по морде ей слева направо. Пусть знает, с кем дело имеет. Мужчина за себя постоять должен, меня так мать учила. Девка меня потом встретила: «Я тебя люблю». Я ей: «Сука! Люблю! А сама под уголовку подводишь». Я потом трактористом-мотористом стал. На целине был. Жизнь всякую повидал. Утром начинаешь борозду, конца-края не видно, а на вечерней заре кончаешь. Такие там поля. Ты, Лева, запоминай. У вас, небось, такого ты не видал,— он похлопал крокодила по плечу.— И вшей! Воротник отвернешь, а они ползут, крупные. Воды нет. Только болото рядом. Мы из него воду на чай брали. А от вшей болотной водой не отмоешься. Во двор выйдешь, разденешься, ведро под машину поставишь, солярки наберешь — и на себя. Тогда и спишь наконец. Спокойно. Недели две ничего, наверно, их запах отпугивал, а потом снова. Правда, платили хорошо. А человек должен знать, за что он работает. Ты как думаешь?

— Д-умаю-у, ты прав,— ответил с улыбочкой крокодил.

— Ну вот. Только вначале было скверно. Выйдешь из кассы, в руках толстая пачка портянок, ну, сотенных, мы их портянками звали, а уж тебе в бок ножик уперт и шипит падла: «Одну портянку оставь себе на прокорм, а остальные тебе ни к чему. Если голодно станет, подкормим». Блатных там много было. И отдавали. Ну, блатным отдавали. Один отказался, так его зарезали. А потом приехал Артур Чередниченко, бригадиром к нам, у него у самого прошлое было, велел нам шланги нарезать с металлическими наконечниками и в рукав спрятать. Вот ты сейчас, когда меня услышишь, скажешь, что я эсэсовец, бандит, я смирный, мухи не обижу. Разве Марью под горячую руку приложу. И все. А так, в пивной никого не трону. А тогда только из кассы на улицу вышли, только к нам приставать стали насчет портянок, каждый шланг в руку схватил — и по голове, а она, знаешь, какая штуковина, от нее череп вдребезги.

— Насмерть? — изумился Лева. Это была та настоящая жизнь с драками за существование, с которой он не сталкивался, ибо драки за существование в его мире происходили не кулаками, а словами.

— Конечно, насмерть,— сказал Иван,— я же тебе говорю — череп от нее вдребезги. А Артур с главарем схватился, сначала яйца ему сапогом разбил, а затем головой об камень. И заметьте, следствия никакого не было. Покрутились, но мы все друг за друга горой, одно показывали, они и уехали несолоно хлебавши. Да и рады, наверно, были, что от блатных избавились. А с тех пор я смирный, мухи не обижу, но за товарища всегда встану. Понятно? Так Артур меня на всю жизнь выучил.

Он налил еще по рюмке, и они снова выпили. Бутылка пустела, а ребят все не было. Лева уже отчаиваться стал, Иван на него принялся посматривать с неодобрением, как на лгуна, но тут в дверь, наконец, позвонили.

— Я открою,— с облегчением вскочил Лева.

— Иди открой,— разрешил уже пьяный Иван,— а я пока с твоим тезкой погутарю. Очень он меня интересует.

— Неу-ужели? — гукнул со смехом крокодил. Затем встал и пошел за Левой в коридор. Но Лева и не думал убегать.

«Вот так и надо,— говорил он себе, идя к двери.— Так и надо. Надо уметь драться без пощады, чтоб себя защитить. Вот Гришин племянник Андрейка этого не сумел. Главное, понимать, что когда перед тобой беспощадный враг, то и ты должен быть без пощады. Как Иван. И девку валенком по физиономии — и это правильно. Это тоже способ разрешения межполовых конфликтов, да. Андрейка этого не сумел, и он, Лева, пожалуй, никогда не сумеет. Поэтому и ездят на нем бабы, всю жизнь ездят. Что Инга, что Верка... Запилили. А он им не обещал вовсе, что будет на себя не похож. Вот и сбежал».

Лева открыл дверь. На площадке стоял, покачиваясь, Саша, прижимая к груди полупустую бутылку.

— А где Кирхов? — невольно спросил Лева. Все-таки втайне он надеялся, что не меньше двух их приедет. Двое — это уже сила.

— Твой любимец Кирхов,— произнес Саша, стараясь твердо выговаривать слова,— оказался засранцем и сошел у Сокола. Мы купили у таксиста эт-ту бутылку, но прежде чем сойти, Кирхов выжрал половину, сказав, что это его доля. У Помадова, говорит, еще есть. Может, он и прав. Не берусь судить. Ты как думаешь?

И увидев крокодила:

— Эт-то и есть твой новый приятель? — и, взмахнув рукой с бутылкой, объяснил себе и Леве: — Зелененький.

А крокодилу:

— Рад познакомиться.

Тот, не открывая пасти, ответил:

— Взаимно,— и увидев, что дверь в квартиру уже захлопнута, вернулся на кухню.

А Лева потащил Сашу к себе в комнату.

— Ты куда? — крикнул Иван.

— На секунду,— объяснил Лева.

В комнате он сразу пошел к стенному шкафу и вытащил бутылку. Саша задумчиво наблюдал его действия и говорил:

— Я т-только глоток отпил. За компанию. Остальное — Кирхов. Я, если друг сказал «надо», значит, надо. Я у таксиста и купил. Д-думаю, не пропадет, пригодится. Ого! И вправду ноль восемь. Я думал, что врешь, просто заманиваешь. А забавный у тебя этот богемный парень. Н-настоящий крокодил.

— Саша,— с всхлипом сказал Лева,— но он и есть крокодил.

— Ну, конечно,— иронически хрюкнул Саша,— и ты его пригласил к себе в дом посидеть и выпить. Ладно, хватит мне мозги пудрить. Расскажи лучше диспозицию. Д-девушки есть?..

И тут, несмотря на страх и растерянность перед крокодилоподобным существом, какой-то рычажок переключился в Леве, и его понесло в молодцеватом хвастовстве:

— Есть. Смуглая такая, стройненькая, как ветка орешника. Жена моего соседа,

Ивана. Только ты не моги,— добавил он, заметив, что Саша приосанился и чувствуя, что Саша сейчас закадрит Марью, а ему обидно будет, что сам этого сделать не сумел.

— Почему это не моги?

— Место занято.

— Кем это?..

— Мною, Леопольдом Федоровичем,— самодовольно вдруг хихикнул Лева, и в самом деле испытывая самодовольство, будто не соврал, а Марьн взаправду была его любовницей.

— Ох, Лео! Ох, Помадов! То-то ты все на Войковскую стремишься! Комнату здесь снял. Хитрован! Ну, мы еще посмотрим, чья возьмет. Нравственность, как говорил один мудрец, начинается выше пояса.

— Попробуй, попробуй,— продолжал самодовольно улыбаться Лева, потому что ему льстило, что Саша поверил или сделал вид, что поверил в наличие у Левы молодой любовницы.

— Эй! Вы заснули там или умерли?! — гаркнул вдруг Иван.

— Да-да,— засуетился быстро Лева, точно на него учитель прикрикнул или плеткой стегнули.— Саш, держи бутылку. Только как бы так сделать, чтобы подумали, что онв у тебя с собой была?

— Да не расстраивайся ты так. Смотри,— и он быстро засунул толстую бутылку во внутренний карман пиджака. Пиджак оттопырился.

— Заметно,— сказал Лева.

— Что? Что у меня бутылка? Конечно, заметно.

— Но раньше ее тут не было.

— Это еще доказать надо. Они ж меня под лупой не рассматривали. Да и им-то всем не все ли равно. Твой богемистый приятель уже аж позеленел от водки. Пойдем. Все о'кей.

На кухне их ждали, потому что предыдущая бутылка была уже пуста. Лева иногда удивлялся, сколько в человека может влезть спиртного в течение дня. Удивлялся, но пил.

— Привет честной компании,— сказал Саша, ставя на стол полупустую бутылку, а затем из внутреннего кармана доставая бутылку «Лимонной» ноль восемь и тоже выставляя ее на стол.

— У-у,— зарычал Иван, наваливаясь грудью на край стола и жадно хватая «Лимонную».— Понеслась! Хорошие у тебя друзья, Лева, хоть ты и Леопольд.

— Он уже хотел кричать: Леопольд, подлый трус, выходи,— застенчиво поглядывая на плечистого Сашу, несмотря на опьянение прямо сидевшего на стуле, сказала Марья. Сашина выправка всегда поражала Леву, и он относил ее за счет, так сказать, дворянского воспитания. Видно, что человека учили держаться в обществе.

— Ну, не такой уж Лева у нас и трус,— заступился Саша Паладин.— Все же на статью самого Гамнюкова руку поднял. Правда, по просьбе Главного, за то ему Главный и выговор влепил.

— Как влепил? Уже? — испугался Лева, на минуту забыв о крокодиле.— Ведь его же в редакции не было.

— Вернулся под вечер. А наш общий друг Чухлов Клим Данилович проектик приготовил. За ним ведь такое не заржавеет. И к Главному. А тот «проправил» и подписал.

— Вот сволочи! — совсем разволновался Лева.— Я им покажу!

— Видите! — воскликнул Саша.— Конечно, Лева у нас особенно опасен в состоянии «завязал». Но и так неплох. Идеологически вооружен и при задержании может оказать сопротивление.

— Как? Как? Что ты сказал? Повтори,— рассмеялся вдруг крокодил.

Услышав его мычаще-лязгающий голос, Лева снова забыл и о Главном, и о Чухлове, и о выговоре. А Саша ответил:

— Сказал, что ты слышал,— не боялся он вовсе крокодила.— Давай лучше выпьем.

Все быстро выпили по одной, потом сразу по другой.

— А ты чего не закусываешь? — обратился Иван к крокодилу.— Ты трескай. Котлеты свежие, сам брал.

— Потом,— ответил крокодил.— Не хочу аппетит перебивать.

— Днядя Лева! — сказал неожиданно маленький Ося, возившийся в тарелке и не поднимавший глаз.— А тебя клокодил не любит.

— Почему? — опешил Лева, старавшийся хмелем заглушить сомнительную реплику крокодила насчет закуски и аппетита.

— Я знаю. Он тебя съест. Он сказал, что меня с бабушкой есть не будет, а Иван да Малья ему нлавятся. А пло тебя ничего не сказал. Значит, тебя съест.

— Железная логика,— ухмыльнулся Саша.— А может, меня? Ведь про мени он тоже ничего не сказал.

Все захохотали. Громче всех крокодил. От смеха из глаз у него даже слезы потекли двумя струйками. Ванда Габриэловна тоже смеялась, затем поправила чепец и, взяв Осю за руку, сказала:

— Ну все. Хватит. Скажи взрослым спокойной ночи и пойдем.

И несмотря на Осины вопли, его увели. Выпили еще по одной. Уже Иван прикладывался щекой к столу, но тут же встряхивал головой, отгоняя хмель. Саша по-прежнему сидел прямо, а Марья все нежнее поглядывала на него. Все молчали, тяжело отдуваясь.

— Расскажу-у вам для веселья анекдот, чтоб не ску-учали,— нарушил молчание крокодилоподобный субъект.— Про крокодила.

«Сам-то кто? Крокодил или нет?» — думал, преодолевая алкогольный дурман, Лева.

— Так вот. Слу-ушайте. Возвращается как-то какой-то человек домой. Ну-у, слегка подвыпил, как это у-у многих водится. А перед подъездом его какая-то высокая фигура останавливает, пахнет от фигуры тиной, гнилостью — словом, болотом. И видит человек, что перед ним крокодил. И крокодил говорит человеку: «Я тебя съем». Ну-у, человек испу-угался, вырвался, бросился домой, заперся. А у-утром ко врачу-у пошел. Все ему-у рассказал. Врач посмотрел на него и говорит: «Голу-убчик, у-у вас галлюуцинации. Вот попринимайте эти порошки. И крокодил перестанет вам являться». Человек ку-упил в аптеке порошки, принял один, принял дру-угой, и понял, что явление крокодила было обыкновенным бредом. И у-уже ни от кого не вырывался. Вот проходит неделя, больной не является. А шизофрения — опасная вещь, врач испугался, как бы больной чего не натворил, и решил его навестить. Хороший был врач. Приходит по адресу. Спрашивает: «Здесь живет такой-то человек?» А соседи ему говорят: «Нет, не живет».— «Как же так? — интересуется врач.— У меня адрес записан». Соседи говорят: «У вас все правильно записано. Только он больше не живет. Его крокодил съел».

Все засмеялись, кроме Левы. А Саша сказал:

— У нас д-давно установилось анекдотическое мышление. Мы мыслим анекдотами, а не категориями разума. Анекдотами и разговариваем. Информации деловой и мыслительной друг другу не сообщаем. О чем это говорит? — спьяну Сашей овладевало иногда желание обличительно порассуждать.— Д-да, о чем это г-говорит? О том, что мы... Ч-черт, не знаю... Ну, что наше сознание подвержено анекдотической заразе. Это же не случайно, что мой друг Лео вбил себе в голову, что его преследует крокодил. И не случайно, что его приятель так вырядился,— он кивнул на крокодила.

Крокодил громко, утробно и радостно засмеялся и игриво поддел Леву зубом около шеи. Он тоже был зверски пьян.

— Ты что?! — отпрянул от него Лева.— Больно!

— Ничего,— давился от смеха крокодил.— На зуб пробую.

Иван спал, раздвинув тарелки и уткнувшись лицом в стол. Саша спал тоже: с закрытыми глазами, покачиваясь, но прямой, как на параде. Марья, поглядев на них, пошла к себе в комнату, и Лева услышал, как она перетаскивает матрас в ванную. Лева пихнул Сашу в бок и, увидев, что тот открыл глаза, зашептал ему в самое ухо:

— Саша, спаси меня, спаси. Ты же рыцарь, сам говорил. Значит, можешь сразиться с чудовищем.

Саша пристально посмотрел на Леву, пока слова проскакивали в его извилины, видно, что с трудом. Накопец, до него дошло.

— Все в порядке, старик. Полная спокуха. Все в порядке. Не вижу здесь чудовища, да и ты не девушка. Давай еще по одной.

— Давай,— горестно сказал Лева. «Вовсе он не рыцарь-паладин. Поладин, он со всеми поладит, со всеми в лад живет».

Они выпили и, наконец, все поплыло у Левы перед глазами: стол, Иван, крокодил, Саша. Потом возникла откуда-то Марья и потащила за собой Ивана. Надо было лечь, но сдвинуться с места не было сил. Потом кто-то толкнул Леву. Это была Марья. Она поднимала со стула Сашу. Одну его руку она закинула себе на шею, другая висела, болталась. Марья обнимала его за талию, и Саша шел за ней.

— Я этого вашего друга в ванную уложу,— сказала Марья Леве, заметив его взгляд.— А другого уж у себя пристраивайте.

Они с Сашей исчезли. А крокодил сказал:

— Ну-у ладно, пойдем.

Он подхватил Леву под локоть. Леве было почти все равно, кто его тащит, лишь бы скорее раздеться и в постель рухнуть. И все-таки обрывки мыслей еще мелькали у него в мозгу: «Пусть все это будет сон, пусть. Пусть бред. Завтра проснуться и чтоб ничего этого не было. Все уже позади. Все сон, жизнь и та сон. Пусть...» Он почувствовал, что лежит уже на кушетке, а незнакомец (или незнакомка?) стаскивает с него пиджак, рубашку, башмаки, брюки. «Дорогая моя девочка, ложись рядом»,— хотел прошептать Лева, но язык не слушался. Он куда-то проваливался, в черноту с искорками, где вовсю

действовал закон калейдоскопа: перед глазами мелькала то пивная и Тимашев с Ольгой, то Мишка Вёдрин, хватающий его за руки, то молодая вдова в зеленом, то долговязая девица в комбинации, бегающая от него вокруг стола, то упрекающий его Гриша и сердитая Аня, то рыдающая Инга, то всхлипывающая Верка, беременная, с опухшим лицом. Потом — и это было последним его сознательным ощущением — он увидел, как крокодил внимательно посмотрел на его голое, жирное, обмякшее тело, вздохнул, разинул пасть, и Лева почувствовал с безумным ужасом и пронзительной болью в спине, в которую вонзились зубы, как головой вперед он нырнет в жаркую, смрадную утробу.

И все кончилось...

Утром Саша открыл дверь в Левину комнату и хрипло сказал:

— Друг мой Лео, не желаете ли со своим приятелем составить мне компанию сходить за пивом. Полечиться бы не мешало.

Но комната была пуста. Кровать была застелена, будто в ней никто и не спал. Хотя окно было открыто, в комнате все же чувствовался легкий гнилостный болотный запах.

— Ч-черт! Ранние пташки,— недоуменно и хрипло произнес Саша.— И не разбудили. Благородно, если они, конечно, пиво сюда принесут,— и, обернувшись в коридор, спросил: — Марья, у вас пивная поблизости есть? Скорее всего, они там.

1986 г.

Екатерина ШЕВЕЛЕВА

Поминки

На нищенских поминках так,
На пышной тризне:
Порой припомнится пустяк,
Как сущность жизни.

...Звучал вопрос в моем дому,
Острее прочих:
«Чего ты хочешь, не пойму?
Чего ты хочешь?!»

Упреком сердцу и уму
Больней всех прочих:
«Чего ты хочешь, не пойму?
Чего ты хочешь?!»

Мне чудится, что тот вопрос,
На зло поминкам,
В немое мирозданье врос
Усталым криком;
Ко мне доносится сквозь тьму
Вселенской ночи:
«Чего ты хочешь, не пойму?
Чего ты хочешь?!»

Реплика о «корнях»

Я видела в детстве донские туманы,
Я знала повадки лихого коня.
Далекие предки мои — атаманы.
И нет иудеев в роду у меня.

Среди православных имен — не ищите
Еврейских, в которых таится печаль.
Но Бейлис нуждался в правдивой защите,—
Отец мой, Василий, его защищал.

Пришла моя мама на батарею,
Спасавшую небо Москвы от врагов.
Как донор пришла.
И солдату-еврею
Свою отдала чисто русскую кровь.

Сейчас, меж безумных воителей века,
На грани последнего в мире огня,
Донская казачка,— я — тоже еврейка!
И, если Освенцим,
— то он — для меня.

Леонид ЗАМЯТНИН

◆◆◆

Тополей промокших шепот.
Шин рассерженных следы.
До рассвета — плеск и шорох
Неотчетливой воды.

И на набережных гулких —
Ни прохожих, ни машин.
Одинокие прогулки —
Исцеление души.

Не скажу, что боль проходит,
Просветленье в голове.
Просто майский дождик бродит
По Фонтанке, по Неве.

◆◆◆

Пробежала незримая трещина
И поранила каждый предмет.
Дом, который покинула женщина,—
Все на месте, а главного нет.
И будильник колотит по темени.
И гудят за окошком ветра.
И вздыхает мужчина потерянно.
И на кухне сидит до утра.

Спустившись с гор

Жара размягчает умы.
Слезится асфальт перегретый.
Я жил по законам зимы.
А здесь — разливанное лето.

Любовь и беда — на виду...
Кровати, кастрюли, собаки...
Бесчинствуют в старом саду
Тропически буйные злаки.

И сумерки пахнут вином.
Красивые, как на картинке,
О чем-то ином, неземном,
Как птицы, щебечут грузинки.

Не верю. Предвижу обман.
На море гляжу диковато.
Лениво стекает в туман
Желток некрутого заката.

Утро

В лице рассвета — тень свинца.
В чужой квартире душной,
Как два сиамских близнеца,
Сопим на раскладушке.

Спешат троллейбусы гурьбой.
Бренчат стаканы с чаем.
Огромный Космос нас с тобой
Пытливо изучает.

Пока, не зная ничего,
Мы спим без отвлечений —
Мы два объекта для его
Секретных излучений.

Земля вращается, кряхтя,
В мерцанье звездной пыли.
Прижмись ко мне, мое дитя,
Чтоб нас не расщепили.

◆◆◆

О, эта комната, как ящик!
Здесь даже сон наркозом скован.
Среди чужих людей храпящих
Зачем лежу перебинтован?

Зачем труба торчит в окошке,
Как перископ подводной лодки,
И боль, подобна дикой кошке,
Затихла где-то посередке

Меня, прибитого к постели?
И вспыхивают, словно спички,
И гаснут, словно отсырели,
Мои деньки...
Мои странички...

Лев КУКЛИН

Баллада о подвалах

...В подвалах и котельных
Не спят истопники.
Борис Пастернак

Презрев судьбы удары,
Душою дорожа,—
Шли люди в кочегары,
В ночные сторожа.

Вели о жизни споры,
Пред правдою в долгу
Философы-вахтеры
С дипломом ЛГУ...

Ругать не стоит, право,
Подобных сторожей,—
Раз не доходит правда
До верхних этажей!

Идут не в автосервис,
С клиентов стричь деньгу:
Из них чиновной стерве
Не вылепить слугу!

Не просто тары-бары:
Работа чем мила? —
Поэты-кочегары —
Хранители тепла!

Не в номерах отельных,
Где сервисный комплект,
А в жэковских котельных
Ютится интеллект!

И в жизни растреклятой
Попробуй — заглуши
Тот главный ретранслятор —
Крик собственной души!

Малюта Скуратов

Раздирая рубаху ката,
Глухо воя: «Господь, спаси!»,
Тосковал Малюта Скуратов —
Первый Берия на Руси...

— Дай-ка, дьяк, мне лихого зелья,
Да гулящих девок покличь.
Что-то нет на Руси веселья,
А с чего — не могу постичь.

Пей-ка, смерд, а не то — ударю.
Пей со мной, коль жизнь дорога!
Я ль не пес цепной государю?
Я ль отечеству не слуга?

Я ли дел кнутобойных не мастер?
Мне ль от всех — не страх, не почет?
Я не туз ли козырной масти?
Отчего ж на душе печет?!

Так рыдал он, чем дальше — тем чище,
Девок за волосы таскал
И угрюмые кулачищи
На столешницу опускал.

— Я извел на Руси крамолу.
Был, скажу, лесок стоерос!
Кто в тюремных гниет каморах,
Кто травой из костей пророс.

Но глаза — словно бельма рыбьи,
Все лупятся по ночам.
Видно, те, кого правил на дыбе я,
Заявляются к палачам.

Я им в зубы тычу рукою,
А они — в чем душа жива? —
Видно, знают что-то такое —
Все слова мне твердят, слова...

Ух, слова те мною зазубрены!
Мол — иная придет пора...
Вишь — на месяце-то... зазубрины —
Как на лезвии топора!

Думу я одну хорошею:
Эх, была б у моей Руси
Лишь одна голова на шее,
И сказали бы мне: «Снеси!»

На столе б не скудело брашно,
Я бы бога добром удивил...
Страшно, дьяк, мне. Ты слышишь — страшно!
Хоть бы кто меня удавил!

Хлипкий дьяк аж под стол упрятан:
«Ох, нечистый дух, пронеси!»
Песни пел Малюта Скуратов —
Первый Берия на Руси.

Он пудовый коцель развязывал,
Метил гривной в Христа в углу,
И косою женской размазывал
Слезы пьяные по столу...

1968

Воскресиие

Что делать тем, кто не сидел,
И — в свой черед — оправдан не был?
Мы остаемся не у дел
Под этим скудным общим небом...

Разоблачители вождей,
С того вернувшиеся света,
Истолкователи идей
Все сплошь — философы, поэты.

Они уже на склоне дней
Все испытуют нашу совесть:
Воспоминанья их важней,
Переживанья их весомей.

Они блуждают меж людей,
Почти такие же по виду,
Зияют раны от гвоздей,
Что были им в ладони вбиты!

Но все-таки, живем и мы.
Мы нынче пьем двойную чашу,-
Нам словно дали срок взаймы:
Отбыть их жизнь и после — нашу...

Поминальник

Владимир Святославович, Александр Ярославович,
Дмитрий Иванович, Петр Алексеевич,
Елизавета Петровна, Екатерина Алексеевна,
Павел Петрович, Александр Павлович,
Александр Николаевич, Николай Александрович...
— Со свя-а-ты-ми упо-о-кой!

Павел Иванович, Кондратий Федорович,
Георгий Валентинович, Петр Алексеевич,
Владимир Ильич, Николай Иванович,
Сергей Миронович, Анатолий Васильевич,
Василий Иванович, Михаил Николаевич,
Георгий Константинович, Константин Константинович...
Ве-е-чна-а-я-а па-а-мять!

Михайла Васильевич, Александр Сергеевич,
Михаил Юрьевич, Николай Васильевич,
Михаил Евграфович, Лев Николаевич,
Михаил Иванович, Петр Ильич,
Модест Петрович, Илья Ефимович,
Александр Александрович, Борис Леонидович,
Дмитрий Дмитриевич, Анна Андреевна...
— Ве-е-чна-а-я сла-а-ва-а!

Иван Васильевич, Иосиф Виссарионович,
Лаврентий Павлович, Лазарь Моисеевич,
Вячеслав Михайлович, Климент Ефремович,
Георгий Максимилианович, Андрей Александрович,
Леонид Ильич, Шараф Рашидович...
— Ана-а-фема-а! Ве-е-чный позор!

Иван Иванович, Остап Тарасович,
Алесь Богданович, Мираб Мухтарович,
Давид Исаакович, Шота Вахтангович,
Темир Салахович, Армен Аветисович,
И прочая, и прочая, и прочая...
— Мно-о-гая ле-е-е-та-а-а!

◆◆◆

Какие-то странные числа
Рождаются из темноты.
Во всем было мало бы смысла,
Когда бы не ты.

И нехотя солнце б вставало
Среди ерунды, сусты,
И было бы радости мало,
Когда бы не ты.

И не было б дивного дива
У самой последней черты,
И жизнь усмехалась бы криво,
Когда бы не ты!

И ныли бы гнойные раны,
И руки бы были пусты,
И смерть наступила бы рано,—
Когда бы не ты...

Наталия КАРПОВА

◆◆◆

Великий город с областной судьбою
Бурлит, идет жестокий разговор
О Ладоге с отравленной водою,
Про дамбу, Лисий Нос, Сосновый Бор.

Астрологи готовят гороскопы,
Предсказывают городу расцвет.
Влетает вольный ветер из Европы,
Окну в нее уж скоро триста лет.

Над городом кружит усталый ворон,
По городу петляет «воронок»,
В автобусе профессор рядом с вором,
Студентка права, карточный игрок.

А вечерами у дверей гостиниц
Фарцовщики и шлюхи... Жизнь пестра.
Вот дарит внуку бабушка гостинец,
Муж бьет жену, сестре грубит сестра.

На кухнях варка, рядом, в ванных,—
стирка.
В подъездах парни, пары во дворах.
Великий город, где народ впритирку
Живет, творит и любит впопыхах.

Но нынче время говорить и спорить —
Горят глаза, взрываются слова...
И прозреваем мы свою историю,
И горькой правды требуем сполна.

◆◆◆

Портфель тугой набит битком
Бумаг не счесть, бумаги кормят.
Они шуршат под каблуком,
Они пустили в землю корни.

Они сквозь стены проросли
И лихо облепили стены.
Они — в уме, они — в горсти,
Они взметнулись, как антенны.

Открой портфель — и полетят,
Придавят душу, ошарашат.
Гурьбой нахальных чертенят
Они вбежали в сущность нашу.

Бумага — маг у нас в стране,
Хотя давно с бумагой плохо.
Бумага ставила к стене,
Бумагу слушала эпоха.

Одних доносов сколько тонн
Хранят архивы управлений?
Там слышен лязг, и вопль, и стон...
Да не поставят на колени
Бумаги новые — людей
Во время праведных дождей,
Идей, дискуссий, отрезвлений!

Старушки

Древние, нелепые старушки —
Полушалок, вытертый жакет...
Но в церквах они бросают в кружки
Все, что могут,— горсточку монет.

И живут они давно на крохи,
Не прося у Бога щедрых благ.
Брошенные пасынки эпохи,
Помнящие тюрьмы и ГУЛаг.

И хотя теперь о милосердье
Много пишут, много говорят —
Их оно обходит, путь в бессмертье
Выстрадан — они прошли сквозь ад.

◆◆◆

Наконец растерянных собратов
По перу собрать мне удалось.
Длился Съезд народных депутатов,
За гвоздем вбивался новый гвоздь
В мирозданье, ветхое насквозь.

Окрики, хлопки и нетерпимость
К здравым мыслям, боли... Торжество
Большинства, и все ж непримиримость
Многих с этой мерой «большинство».
Кризис, перемен необходимость.

И когда мы обсуждали речи
Депутатов, предложенья с мест,
Понимали, что противоречий
Жизни — устранить не сможет Съезд,
Столько языков у нас, наречий...

Да и наши дни на мелководье —
Высыхают реки наших дней.
Но растут событий новых грозди,
Насыщая и травя людей.
Век двадцатый отпустил поводья.

Б. Л. Пастернаку

1

В Переделкине теплое утро 89-го лета
Двадцатого века.
Не толпятся туристы, толпы не рвутся к могиле поэта —
Еще не лето
Столетней его годовщины.
Здесь будут подростки, старцы, женщины и мужчины.
В 1990-м придут сюда поклониться
Вам, Борис Леонидович, и вол, и ослица.
И различим мы лица
Древних волхвов.
Будут здесь почитатели ваших стихов
И выступят очевидцы
Славы вашей и силы,
И смертоносных стрел, летящих до самой могилы
В вашу живую душу.
А сейчас пробегает мальчишка, жуя зеленую грушу,
Ковыляет старушка
До могилы близких своих мимо могилы вашей,
И быстрая птица даже
Не собирается примоститься и склевать накрошенный хлеб.
Мир велик и нелеп.

2

Борис Леонидович, было бы вам сто лет.
Кто же теперь оспаривает ваш гений?
Перепечатывают газеты из старых газет
Образцы клеветы, обнажив механизм гонений.

Ну вот и отметили ваш юбилей,
Как это принято ныне — с шумом, размахом.
Но не затянут раны предсмертной мед и елей,
Не возвратят вас, покрытые свежим лаком
Сто фотографий блестящих, хотя и в том,
Что миллионы людей их увидели — благо.
Гром отгремел, но оставил немало на память гром.
Главное, вас оставил для нас Живаго.

Борис РОМАНОВ

◆◆◆

Так солнце пылает над нами,
созвездья расставлены так,
что долго не спится ночами
под лай одиноких собак.

Магнитные бури ломают
всю жизнь, как июньая страсть,
и, сердце скрепя, заставляют
признать непонятную связь.

Надрывы твои, возвращенья
и благоразумья порыв —
магнитных полей возмущенья,
звезды раскалившийся взрыв.

И наши безумные страсти
из тех же космических сил,
и слово бессмысленной власти
грозней заплутавших светил.

Не спится. Искрят метеоры
над садом, ушедшим во тьму,
в которой сдвигаются горы,
послушные слепо уму,

в которой беспечные реки
рокочут в ловушках плотин...
И вся эта тьма в человеке,
и он в ней плутает один.

Свидетель

В. М. Василенко

Жив нежелательный свидетель
былых свершений, тех эпох,
когда мы верили, как дети,
что нами правит полубог...

Боками он запомнил нары,
и десять беспощадных лет
его травили кашевары
баландой щедрой на обед.

Двужильная седая муза
его напарницей была,
сгибаясь вместе с ним от груза,
носилки скорбные несла.

Он помнит, что не виноваты
ни сторожа, ни палачи —
приказу верные солдаты
полярной лагерной ночи.

А до сих пор не забывает
и годы те, и лица те,—
всех, кто никак не истлевает
в надежной вечной мерзлоте.

◆◆◆

Памяти Г. И. Алексеева

В воды памяти опущен
ты с размаху, как весло.
Вспоминаешь город Пушкин,
город Царское Село.

Дней осенних освещенье,
светлый взгляд недвижных вод.
Смерть последнее значенье
краткой жизни придает —

чуть не каждому мгновенью,
что, запомнясь, не ушло,
каждому стихотворенью,
уж такое ремесло...

Взгляду дружескому. Слову.
Душ прекрасному родству.
И всему в тебе живому,
что бессмертно наяву.

Погост

Погост заброшенный. На храме
не крест, а деревце растет,
куда-то вбок, в разбитый свод,
в забытый год вцепясь корнями.

Торчит, дрожа, над куполами
и, как живой громоотвод,
прямых ударов храбро ждет.
А ветры машут топорами.

Железо рваное гремит,
ворон пугает, и вороны
взмывают, каркая навзрыд.

А толпы одичалых трав
у степ облезших бьют поклоны,
могилы походя сравняв.

З. ПАСТЕРНАК

ВОСПОМИНАНИЯ

Конечным местом нашего назначения был Чистополь, где для нас приготовили два дома, оборудованных на зиму. Это было кстати, потому что в Берсуде было уже холодно — дачи, в которых мы там разместились, были летними.

Итак, в конце сентября мы прибыли на пароходе в Чистополь. Здесь я уже официально заняла место сестры-хозяйки. Хотя не дело сестры-хозяйки заниматься черной работой, но в свободное время я топила печи, мыла горшки и так далее. Делала я все это с удовольствием, но в бухгалтерии я ничего не понимала, и началась моя работа с недоразумения: когда мы расположились, пришел кладовщик переписывать инвентарь и принес две бумаги — одну на имущество дома старших детей, а другую на наш дом малышей. Пересчитывали весь инвентарь, и я по неопытности расписалась на обеих бумагах, таким образом получилось двойное количество инвентаря. Этого кладовщика вскоре призвали в армию, и я его больше не видела, он был убит на войне, и некому было подтвердить, что в бумагах двойное количество инвентаря указано ошибочно. Этот факт я упоминаю как анекдот только потому, что в конце эвакуации, когда я получила в Москве медаль «За трудовую доблесть», надо мной смеялись из-за этой истории, и директор Литфонда Хмара сказал, что он мог бы отдать меня под суд и прощает все за мою честную работу. На это я отвечала, что ненавижу бухгалтерию и, сталкиваясь с ней, всегда запутываюсь, и получались недоразумения. От цифр, накладных и документов у меня кружилась голова.

В Чистополе было очень трудно: кругом воровали продукты, дрова, и я вставала в четыре часа утра и сама топила печи во всем доме, хотя это не входило в мои обязанности. Но я чувствовала, что все наше хозяйство развалится, если я не буду этого делать.

Директор дома Фаина Петровна к каждому празднику брала со всех обязательства улучшить работу и однажды, когда я тоже хотела взять обязательство, она написала другое и повесила у меня над кроватью. В этом «обязательстве» говорилось, что я должна брать выходные дни и больше отдыхать. Кроме наших ста детей, мы еще кормили приходивших за обедами и завтраками матерей, у которых были грудные дети.

Трудностей было очень много. Я была не в ладах с директором обоих детских домов — нашим главным начальством Я. Ф. Хохловым. Он был представительный мужчина, прекрасно одевался, и все гнули перед ним спину, подхалимничали, таскали для него продукты, делали ему подарки. Я же находила, что ему скорее подходит должность директора конюшни, а не детдома. Он не понимал, что маленькие дети нуждаются иногда в диетическом столе и, когда я выписывала лишние полкило манной крупы или риса, он кричал, что дети болеют от обжорства, потому что я их закармливаю. Однажды он довел меня до того, что я вспылила, хлопнула чернильницей и облила его роскошный костюм. Речь шла о каких-то дополнительных продуктах для праздника 7-е ноября. Он назло выдал мне плохо разваривавшуюся пшеничную крупу и вместо белой — ржаную муку. Я пришла домой и написала заявление об уходе. Через два часа пришла бумажка, на моем заявлении было написано, что вплоть до особого распоряжения я не имею права оставить свою должность. Как ни странно, он стал после этого случая лучше относиться ко мне и не так часто отказывал в моих просьбах.

Праздники приближались. Я знала, что 7-го ноября наш детдом посетит обкомовское начальство. Фаина Петровна хотела устроить торжественную часть вместе с детьми и просила меня придумать какое-нибудь печенье. У меня в наличии была только ржаная мука, и я всю ночь делала с ней всякие пробы. Наконец, я ее пережарила на сковородке, растолкла, прибавила туда меду, яиц и белого вина, и получилось вкусное пирожное «картошка». С утра я засадила весь штат делать бумажные корзиночки для пирожных. Вечером к пятичасовому чаю прибыли гости и, когда мы подали эти пирожные, все подивились моей выдумке и стали аплодировать.

Я немного забежала вперед, так как в октябре произошло знаменательное для меня событие: приехал Боря. Немцы были под самой Москвой, и 17-го октября его, Федина и Леонова срочно эвакуировали самолетом [1]. Борин приезд был большой радостью и вознаграждением за все пережитое. Он привез мне шубу, теплые вещи. Это было весьма кстати — в Чистополе стояли уже морозы.

Федину и Иванову их жены сняли комнаты, а Боре пришлось ночевать в детдоме. На другое утро меня отпустили на целый день, и мы отправились искать жилье для него. Нам повезло, и мы нашли близко от детдома на проспекте Володарского хорошую, просторную комнату. Я сказала Боре, что работу не брошу, я в нее втянулась и мне совершенно все равно, за кем я ухаживаю, за своим сыном или за чужим, я стою на страже их здоровья и умру, но привезу их живыми в Москву. Он был удивлен и огорчен моей непреклонностью, но, как всегда бывало, сразу все понял, похвалил меня, сказал, что слухи о моей работе докатились до Москвы, и он гордится мной. Говорил, что провожал Адика в эвакуацию под Свердловск, что был очень тревожный день, тогда Москву непрерывно бомбили, и туберкулезных детей не смогли вынести в бомбоубежище. Когда Боря провожал Адика, тот рассказал ему, как о поразившем его чуде, про такой случай: бомба попала в соседний дом, от этого взрыва в санатории выбило стекла, и тут вошел врач. Он двумя обыкновенными человеческими словами быстро успокоил детей и, несмотря на сильную бомбежку, остался с ними. Кроме Бори, Адика провожал отец. Ехали больные дети ужасно, по трое, четверо на одной полке, тогда как многих из них нельзя было шевелить и перекладывать.

Меня удивил бодрый и молодой вид Бори. Он сказал, что война многое очистит, как нечто большое и стихийное, и он уверен, что все кончится очень хорошо и мы победим. Тут же решил засесть за переводы Шекспира. Тогда уже были переведены «Гамлет» и «Ромео и Джульетта», а в Чистополе он принялся за «Антония и Клеопатру».

Мне прибавилось работы: я бегала на рынок покупать Боре на завтрак и ужин (обеды все писатели брали у нас в детдоме) и стирала его белье. Он по нескольку раз в день приходил ко мне в детдом, отвлекая меня от работы, но на него никто не сердился — его обаяние покоряло всех. Мне приходилось теперь брать выходные дни, и мы с маленьким Ленечкой отправлялись к нему, оставались ночевать, а на другое утро возвращались в детдом.

Как-то потребовалась помощь при разгрузке дров на берег, Боря записался в бригаду и горячо взялся за дело. Он говорил, что хорошо понимает, почему я увлечена работой, и от меня не отстанет, он, как и я, считает, что физический труд — главное лекарство от всех бед. Боре очень нравилась жизнь в Чистополе, и он хотел там остаться. В городе нашелся дом, где раз в неделю собирались писатели. Это был дом Авдеева, местного врача [2], при доме был чудесный участок. В дни сборищ писатели там подкармливались пирогами и овощами, которыми гостеприимно угощали хозяева. Но, конечно, не только возможность хорошо поесть привлекала к Авдееву. Всех тянуло в их дом как в культурный центр. У Авдеева было два сына, один литературовед, а другой имел какое-то отношение к театру [3]. Там читали стихи, спорили, говорили о литературе, об искусстве. Бывая там, мне иногда казалось, что это не Чистополь, а Москва. У Авдеевых Боря читал свой перевод «Антония и Клеопатры».

В начале ноября до нас дошли слухи об аресте Генриха Густавовича. Эта весть потрясла всех, кто его знал: более непричастного к политике человека трудно было себе представить. Однажды я зашла к Треневым, у которых сидел А. Сурков. Это был мой выходной, и они угостили меня обедом с водкой. Никогда не забуду, как Сурков сказал: «Лица, которые не уехали из Москвы вовремя, находятся на подозрении». Я была слегка навеселе, потому расхрабрилась и сказала: «Коли подозревают таких, как Нейгауз, то я поздравляю вас с тем, что вы считаете это правильным. А я слышала другое — кто слишком быстро удирал из Москвы, тот тоже на подозрении и надо, наконец, твердо выяснить, что же подозрительно». На это Сурков ответил: «Смотря как удирать и как оставаться».

К моему большому счастью, стали приходить письма от Адика, и, наконец-то, я узнала его точный адрес. В первом письме он писал, что ни капельки на меня не сердится, я поступила правильно, ведь он находился не один, а в коллективе, и это придавало ему силы и бодрость во время бомбежек и трудного пути. Он писал, что здоровье его улучшилось, о нем заботятся хороший персонал, хорошие врачи, но только немножко голодно.

Мы с Борей долго обсуждали, стоит ли писать Адику об аресте отца: он был комсомолец, авторитет отца был для него очень велик. Я считала нужным скрывать это до освобождения, в котором я не сомневалась. Но Боря не согласился и тут же написал Адику письмо. Письмо это я помню наизусть. Боря писал, чтобы Адик не думал, что его отец в чем-то провинился, наоборот, он знает, что всех лучших людей России сажают и он должен гордиться арестом отца. К нашему большому удивлению, это письмо каким-то чудом дошло.

В декабре 1941 года [4] Боря улетел в Москву по делам. Он умолял продолжать топить его комнату, которую он особенно ценил за то, что ему здесь хорошо работается, и ни в коем случае от нее не отказываться. Я писала Адику каждый день, заклиная его не капризничать и луч-

---

Окончание. Начало см.: «Нева», 1990, № 2.

ше кушать, обещала ему взять отпуск и приехать его навестить.

Стасик, находясь в детдоме, работая в колхозе, таская дрова, совершенно забросил музыку, что меня очень огорчало. В столовой стоял какой-то разбитый рояль, и иногда по вечерам он садился играть. Детдомовское начальство разрешило ему работать до двенадцати часов ночи и всячески создавало подходящую для занятий обстановку. Потом он стал выступать у нас в детдоме. Иногда мы выступали вместе, играя в четыре руки симфонии Бетховена.

Приближался новый 1942 год. Стали думать о елке. Игрушек не было, и, достав какой-то бумаги и ваты, я созвала всех матерей, и мы принялись за работу. Надо было наклеивать вату слой за слоем клейстером из картофельной муки. Получились замечательные игрушки. Хохлов ворчал, что вся вата ушла на пустяки. Я возмущалась этим, считая, что чем меньше малыши будут ощущать бедствия войны, тем для них лучше. Елка получилась блестящая и нарядная. Встреча Нового года совпала с днем рождения Лени и, бросив все дела в Москве, Боря поторопился к нам.

Вскоре в детдоме организовали кружок по сдаче норм ГТО. Никто не хотел ходить на занятия, посвященные главным образом военно-оборонительным предметам. Опять мне пришлось показывать пример. Я первой сдала экзамен и получила значок. За мной потянулись некоторые матери, но многим это показалось напрасным. Чистополь находился далеко от фронтовой полосы, и нам ничего не угрожало. Наш преподаватель вызвал меня и сказал, что назначает меня как сдавшую экзамен на отлично начальником пожарной охраны. Я согласилась, будучи так же, как и другие матери, уверенной в полной нашей безопасности. Мои обязанности заключались в том, чтобы правильно расставить работников детдома по постам в случае пожарной тревоги.

Все было спокойно. Как-то в мертвый час все матери разошлись кто куда, и я осталась одна в детдоме. Вдруг ко мне в комнату ворвалась соседка и сообщила, что на Чистополь летит немецкий самолет. Спальни детей находились наверху, и я знала, что одна не смогу одеть и вынести всех детей в бомбоубежище и мое положение безвыходное. Это произошло после обеда, я лежала, сняв обувь, и вся моя деятельность ограничилась тем, что я надела валенки и села, ожидая бог знает чего. Мне казалось, что устраивать панику и пугать детей нельзя, но вместе с тем я сомневалась, правильно ли я поступаю. Однако самолет пролетел у нас над головой, не причинив никому вреда. Мне казалось, что беда нас миновала потому, что я горячо молилась об этом Богу. Я думала, что меня осудят за то, что я не подняла тревоги и спокойно выждала в нижнем этаже. Но на первом же собрании меня похвалили за выдержку, одобрили мой поступок и сказали, что если б я подняла панику, я только напугала бы детей, ведь все равно справиться с сотней детишек и с их одеждой я одна не смогла бы.

Бывали и смешные случаи. Под мой выходной день мы с Леней шли ночевать к Боре, и однажды ночью, когда мы у него были, я услыхала сигнал тревоги, по которому я была обязана явиться в детдом. Моментально одевшись, я бросилась туда. На улице мне встретились веселые знакомые люди, возвращавшиеся из кино. На их вопрос, куда я бегу, я ответила, что была тревога. Они засмеялись и сказали, что в Чистополе об окончании сеанса оповещают, звоня в колокольчик. Мне пришлось одураченной вернуться обратно.

Боря продолжал жить в Чистополе, изредка выезжая в Москву по денежным делам. Он с подъемом работал над переводом «Антония и Клеопатры», был в хорошем настроении, ждал скорого конца войны, всяческих удач, был уверен в моральном подъеме народа и предсказывал перемены к лучшему после войны. Дела на фронте поправлялись, и в одну из поездок в Москву он просил, чтобы его отправили на фронт с писательской бригадой. Но с ним поступили по-хамски, много раз обманывали, и в результате он попал на фронт только в 1943 году. Я очень переживала эту обиду.

Весной 1942 года я получила письмо от врачей из санатория «Нижний Уфалей» под Свердловском, где находился Адик. Они спрашивали у меня разрешения на ампутацию ноги, так как это якобы могло спасти его жизнь. Поскольку вопрос шел о жизни и смерти, я дала согласие. Но я никак не могла себе представить этого молодого, красивого человека, отличного спортсмена, любителя танцев и всяческого движения — и вдруг без ноги. Боря меня утешал и говорил, что мы закажем протез и будет совершенно незаметно, если же здесь не смогут сделать хороший протез, то он повезет Адика в Англию. Итак, я дала согласие, а через месяц получила душераздирающее письмо от сына. Он писал, что не представляет себе дальнейшей жизни, теперь он калека без ноги и мечтает он только об одном: попасть в Переделкино и лежать у меня в саду, единственное, чем он может быть полезен — это исполнять роль чучела в огороде.

После этого письма я решила поехать навестить его. Ко мне отнеслись очень хорошо и моментально устроили отпуск на две недели. Деньги у нас были, я купила Адику мед, масло, сухари и, взявши Стасика, которому было четырнадцать лет, пустилась в путь, с большим трудом добившись пропуска. Боря настаивал на том, чтобы я взяла как можно больше денег, и привез нам на вокзал десять тысяч рублей. Эти деньги целиком вернулись обратно, так как ничего нельзя было купить, и мы со Стасиком питались в «Нижнем Уфалее» грибами и малиной.

Всю дорогу я думала, как объяснить Адику арест отца и не взволновать его, а утешить. Но все произошло, как в сказке. Приехав в санаторий, я застала Адика с письмом в руке, и слезы лились у него градом. Он сказал, что такого счастья он не выдержит: радость видеть меня и получить письмо от освобожденного отца была слишком велика. И вышло так, что не мы его должны были утешать, а он сообщил нам чудесную весть. Отец писал, что он уже на свободе. Ему предлагают выехать в Свердловск, в Алма-Ату или в Тбилиси, но он выбрал Свердловск, чтобы быть ближе к нему и навещать его.

Мы целый день сидели у Адика. Меня очень огорчило, что после ампутации ноги, отрезанной выше колена, температура продолжала повышаться. Он говорил, что его преследует ощущение пятки (то есть временами кажется, что ампутированная нога болит или чешется в пятке). Лежа в санатории, он влюбился в одну девушку. Она была ходячая больная, часто его навещала, сидела у его постели, и между ними завязался роман. После операции же она совершенно отвернулась от него, и он испытывал тяжелую обиду.

Утешая его, я говорила, что жалеть ему не о чем, вся моя жизнь убедила меня, что любовь — прежде всего, жертва, и если эта девушка на жертву не способна, то он ничего не потерял и о такой любви плакать нечего. ⟨...⟩

В Чистополь мы добрались без всяких приключений. Боря встретил нас на пристани и был удивлен, что все деньги вернулись обратно. Я ему рассказала о поездке. Об освобождении Нейгауза он не знал и страшно обрадовался.

На другой день я отправилась в милицию и с возмущением набросилась на работников. Дело в том, что до отъезда в Свердловск паспорт лежал у них целую неделю, пока оформлялся пропуск, и они должны были его проверить. У меня взяли паспорт и попросили зайти на другой день. Не было сомнения, что меня оштрафуют, но они, вероятно, почувствовали вину и выдали мне паспорт без всякого штрафа.

В 1943 году многие писатели получили пропуска в Москву. Боря стал настаивать, чтобы я бросила работу и ехала с ним домой. Это было раннею весной. У нас в детдоме решили посадить огород в виде подсобного хозяйства. Директор Фаина Петровна не могла без меня обойтись и просила меня пока не уезжать. Я заболела плевритом и перебралась в Борину комнату. Он за мной ухаживал и все время настаивал, чтобы, как только я поправлюсь, я бы ехала с ним в Москву. Болела я целый месяц, и за это время Фаина Петровна окружила место для огорода забором. Она приходила меня навещать и уговаривала отсрочить поездку в Москву хотя бы на две недели после выздоровления. Я была между двух огней. Мне очень хотелось в Москву, и вместе с тем я чувствовала, как непорядочно было бы бросить детдом и не помочь им создать подсобное хозяйство для детей. Я уговорила Борю подождать еще две недели после болезни, и он согласился. ⟨...⟩

Итак, в июне 1943 года мы переехали в Москву. Всю дорогу Боря уговаривал меня остановиться в гостинице и подыскивать новое жилье или поменять квартиру в Лаврушинском. Но было очень жарко, наступало лето, и я настойчиво просила поехать прямо в Переделкино и жить там. Так мы и сделали. Но, попав на дачу, которую мы оставили с полной обстановкой, я увидела печальное зрелище: не было ни одного стула, стола, кроватей, всем надо было обзаводиться заново. Погибло все. В сундуке с коврами Боря спрятал самые дорогие картины отца и свои рукописи. Стали искать этот сундук. Но Ленина няня Маруся, оставшаяся на даче, сохранила только кухонный стол и Ленин велосипед, чем очень гордилась. Когда мы ее спросили о сундуке, выяснилось, что военные, занимавшие все дачи в Переделкине во время войны, перетащили его в дом Ивановых, вскоре сгоревший дотла. Очевидно, сундук сгорел вместе с дачей. Что было делать? Мое намерение остаться на даче и жить там оказалось неосуществимым: ни спать, ни сидеть, ни есть было не на чем.

Мы переехали в город и увидели квартиру в Лаврушинском в таком же состоянии. Окна были выбиты и заклеены картинами Леонида Осиповича Пастернака. Зенитчики, жившие у нас в Лаврушинском, уже выехали, и мы стали хлопотать о ремонте квартиры. Временно нам пришлось расстаться с Борей. Меня и Стасика приютили Погодины, а Боря переехал к Асмусам, у которых сохранились и мебель и вещи, потому что они никуда не выезжали. Стояло лето, и Маруся уговаривала нас отдать ей Ленечку. Леня спал на столе на кухне в Переделкине, а она на полу. Но, зная Марусину любовь к Лене, я была за него спокойна. ⟨...⟩

Квартира в Лаврушинском была приведена в порядок, и мы стали обзаводиться обстановкой на даче. Старые наши вещи были разбросаны: одни оказались у Фединых, другие у Вишневских. Мы принялись их собирать, и к осени 44-го года

дача приняла более или менее жилой вид. Где-то на чердаке отыскалось пианино в ужасном состоянии. Привели его в порядок, и Боря со Стасиком и Леней поселились на даче. Я старалась наладить быт так, чтобы каждый мог заниматься своим делом, и стала думать о переезде Адика в Москву. С большими трудностями я достала пропуск в Нижний Уфалей и накопила водки, которая была тогда еще в большем ходу, чем деньги.

Безногий Адик не мог передвигаться самостоятельно, но и я знала, что будет трудно его перевозить. Письма от него были тревожные. Он писал, что во время купания обнаружил опухоль в нижней части позвоночника, что температура доходит до 39°. Боря уговаривал перевезти его к нам на дачу. Я же понимала, что он может заразить Стасика и Леню, и стала хлопотать о санатории под Москвой. Хлопоты увенчались успехом, и мне дали путевку в туберкулезный санаторий на Яузе. Генрих Густавович обещал мне помочь с перевозкой Адика.

Итак, я отправилась за сыном. Генрих Густавович встретил меня на вокзале в Свердловске, и мы поехали поездом в Нижний Уфалей. Он не имел права на въезд в Москву и знал, что расстается с Адиком надолго, поэтому он уговаривал меня пожить в Нижнем Уфалее и не торопиться в Москву. Но продукты, которые я привезла с собой для Адика, таяли и водка тоже. Я дрожала за каждый стаканчик: санитары и носильщики за водку делали чудеса, а без водки ничего нельзя было добиться. Состояние Адика было ужасное, температура вечером повышалась до 40°, но все же я решила его забирать. Из-за высокой температуры его не хотели пускать в вагон, и пришлось подкупить проводника водкой. Водкой же я платила за каждый глоток воды для сына. Адик был счастлив, что едет в Москву, и очень радовался переезду. К моему удивлению, в дороге у него ничего не болело 〈...〉

На вокзале нас встретили Боря, Асмусы, Стасик, Ирина Николаевна и Шура. Увидев Адика, Боря разрыдался. Мы тут же вызвали карету «скорой помощи» и вдвоем с Борей отвезли Адика в санаторий.

Его поместили в общую палату. На дворе стояла осень, и меня удивило, что все больные лежат с открытыми окнами. Было очень неуютно. Заведующая санаторием З. Лебедева сказала, что Адику ничего не нужно привозить, кроме фруктов, больных кормят хорошо, и просила меня за него не беспокоиться. Мы вернулись в Переделкино, и тут моя жизнь стала гораздо труднее, чем в Чистополе. Приходилось заботиться о Стасике, который переехал в город в связи с очень серьезными занятиями в училище, через день я ездила к Адику, снабжала его продуктами, а потом, возвращаясь в Переделкино, обслуживала Борю и Ленечку. 〈...〉

Я понимала, что Адик гибнет, и спасти его уже нельзя, и однажды, когда я приехала в санаторий, он мне сообщил, что началось перерождение почек и это смертельно. Я была возмущена тем, что от него этого не скрыли, но он сказал, что виноват сам: при нем врачи назвали болезнь по-латыни, он заинтересовался этим словом и попросил медицинскую энциклопедию, которую по неосторожности ему дали. Я отправилась к Лебедевой, которая, получая бесчисленные ордена, не могла обеспечить детей кипяченой водой. У нее не было в палатах баков, и я предложила перевезти свой самовар, случайно сохранившийся на даче вместе с Лениным велосипедом. Она страшно обиделась на это, но на другой же день во всех палатах появились баки. Я не удержалась и сказала ей пару теплых слов по поводу того, что больному мальчику дали в руки медицинскую энциклопедию. Она оправдывалась тем, что Адик не знал латыни, но я ей ответила, что, зная французский, легко понять латынь. В конце концов, я с ней поругалась и сказала, что заберу Адика из этого орденоносного санатория, где происходят такие вещи.

Возвратясь в город, я позвонила Ролье. Ролье была подругой Милицы Сергеевны Нейгауз. Она согласилась взять Адика к себе в туберкулезную клинику в Сокольниках. На другой же день я перевезла его туда. Там все было по-другому. Его поместили в палату на двух человек. Питание и уход были значительно лучше. Да и ездить в Сокольники мне было легче, чем на Яузу.

В 1944 году Генриху Густавовичу дали разрешение жить и работать в Москве. Стасик делал огромные успехи в музыке. Все больше и больше он мне нравился как пианист. Его игра меня захватывала и удовлетворяла моим строгим требованиям. Мы с Леней и Борей продолжали жить на даче. Мысль о предстоящей гибели Адика меня не оставляла. Мне казалось чудовищным и непонятным, как могла случиться такая катастрофа с моим самым крепким и здоровым сыном! Боря всячески меня поддерживал, хотя сам был в ужасе и слезы наворачивались у него на глазах.

В апреле 1945 года, приехав в санаторий, я увидела, что Адик один в палате, и спросила, где его товарищ. Он сказал, что товарищ проболел три дня туберкулезным менингитом и умер. На него это произвело удручающее впечатление. Опять было непонятно, как могли допустить такое близкое соседство Адика с больным инфекционным менингитом. Но было не до упреков. 〈...〉

Ролье предложила мне поселиться у него в палате и провести с ним последние дни его жизни, потому что конец неотвратим. Она сказала, что спасти его может только стрептомицин, но его в России еще не изготовляли, а пока его выписывали бы из Америки, Адика уже не было бы в живых.

Когда мы вошли с Борей в палату, Адик приоткрыл глаза и сказал, что он умирает, что у него безумные головные боли, и тут же потерял сознание. 〈...〉

Мне очень не хотелось кремировать Адика, но я согласилась на это из-за того, что мне разрешили взять урну домой. Через три дня после похорон Стаси привез в Переделкино урну. Вырыли в саду яму в месте, которое выбрал Боря близко от дачи, закопали там урну. Боря сказал, что если он умрет раньше меня, чтобы его похоронили рядом с Адиком. Он меня очень поддерживал, философски рассуждал о смерти, доказывая, что смерти нет. Эти рассуждения были ценны для меня. Он говорил, что умершие продолжают жить в памяти близких. Это меня не утешало, но, если бы рядом со мной не находился Боря, то, может быть, я покончила бы с собой. За мной следили жившие у нас Асмусы, не оставляли меня одну. Боря, как всегда, находил для меня нужные слова, его такт и ум отрезвляли меня, и я стала свыкаться с мыслью, что все, что ни делается, все к лучшему, ведь Адик, оставшись жить без ноги и калекой, вряд ли был бы счастлив.

Мы продолжали каждую весну переселяться на дачу. Летом обычно у нас гостили Асмусы. Мы сажали вместе с Борей огород и много физически работали. Он каждый день выходил в сад в трусиках и, работая, загорал. Меня удивляло, с какой страстью он возился с землей. Каждую весну я разводила костры из сухих листьев и сучьев и золой удобряла почву, потому что не было других удобрений. Боря очень любил из окон кабинета смотреть на эти костры и посвятил им стихотворение: «У нас весною до зари костры на огороде...». Любопытно, что впоследствии критики подкапывались под эти строчки, ища в них тайный политический смысл. Некоторые уверяли, что слова «Языческие алтари на пире плодородья» — относятся к революции. Это было просто смешно. Когда я возмущалась критиками, Боря говорил, что не стоит протестовать, это получается даже интересно, так как он и не подозревал, что писал эти стихи о революции.

Он переводил Шекспира. Пьесы стали ставить, и наше материальное положение улучшилось. Однако в Переделкине мы не зимовали, так как на даче было холодно, и на зиму приходилось переселяться в Лаврушинский 〈...〉

В 1945 году мы опять проводили лето в Переделкине и опять у нас жили Асмусы. Ирина Сергеевна часто приходила ко мне на огород и говорила, что я так худа, что, наверное, скоро умру, и просила меня написать завещание о Лене. Она хотела взять его к себе, потому что, по ее словам, Борис Леонидович после моей смерти женится и Леня попадет в чужие руки, а она любит его как сына родного и ей будет больно смотреть, как чужой человек станет его воспитывать. Это она повторила три раза, пока я не взорвалась и не ответила ей: еще неизвестно, кто раньше умрет. Эта фраза мучает меня и по сей день. В сентябре они уехали в Коктебель, оттуда приехали в начале ноября, а в декабре Ирины Сергеевны не стало, она умерла от рака крови.

В 1948 году мы познакомились с секретаршей Константина Симонова Ольгой Ивинской [5]. Она сообщила нам, что она вдова, ее муж повесился, и у нее двое детей: старшей девочке двенадцать лет, а мальчику пять. Наружностью она мне очень понравилась, а манерой разговаривать — наоборот. Несмотря на кокетство, в ней было что-то истерическое. Она очень заигрывала с Борей.

Еще раньше, в 1947 году, при Союзе писателей создалась комиссия помощи детям погибших воинов под председательством Тамары Владимировны Ивановой. Возглавлял Союз в те годы Александр Фадеев. Я стала участвовать в работе комиссии.

Как и всегда, я увлекалась этой работой. Было очень утомительно пешком обходить дом за домом, ни одного не пропуская. Мы с Погодиной поделили между собой улицы и обследовали разные кварталы. 〈...〉

Работать в комиссии было очень интересно. Мы переселяли детей из сырых подвалов в сухие комнаты, устраивали кое-кого в детские дома, но меня, как всегда, мучила бухгалтерия. В конце года нам нужно было составлять финансовые отчеты. Все счета у меня были в порядке, и, в конце концов, просидевши чуть ли не полночи, я справилась.

Боре очень нравилась моя работа и мое увлечение ею, он всячески поощрял меня к этой деятельности, но, как ни странно, это все повлияло на мою дальнейшую жизнь с ним. Поневоле мне приходилось часто и надолго уходить из дому. Наверное, тогда начались встречи с Ольгой Ивинской, и я стала замечать, что что-то чужое встало между нами. 〈...〉

В этот период мы жили с ним очень дружно. Наши близкие знакомые, которые у нас бывали и слышали об измене, говорили мне, что они потрясены его нежностью ко мне и вниманием, и если так изменяет мужчина, то и пускай.

После войны начался повальный разврат. В нашем писательском обществе стали бросать старых жен и менять на

молоденьких, а молоденькие шли на это за неимением женихов. ⟨...⟩

Боря снова стал писать роман, и я всячески старалась оградить его от шума, от лишних визитов и подчас мне хотелось разогнать палкой этих бездельниц. Как прямой и подчас резкий человек, я им говорила, что Борис Леонидович очень занят, и я удивлялась их досугу, тому, что у них хватает времени без конца мешать ему не только физически, но и морально, он иногда говорил, что у него мозги от них высыхают. В общем, я слыла у них суровой и жестокой, и они удивлялись, что он так долго может жить со мной. ⟨...⟩ Исключение составляла Крашенинникова, которая до самого последнего времени редко, но бывала у нас. Для меня самое неприятное заключалось в том, что, по доходившим до меня слухам, они делали из него совершенно неправдоподобную фигуру. На самом деле Боря был очень современен, в церковь не ходил, хотя любил читать Библию, заучивал наизусть псалмы и восхищался их высоконравственным содержанием и поэтичностью. Я понимала его так, что вселенную он считает высшим началом и обожествляет природу как что-то вечное и бессмертное, но для меня было ясно, что в общепринятом понятии религиозным он не был. Встречаясь с нынешней молодежью, мы с ним подчас жалели, что она не знает Библии и катехизиса, и от этого ее нравственный уровень не так высок. Однажды он высказал такую мысль: не нужно верить в Бога, а надо читать и понимать нравственные учения, это огрвдило бы людей от многих несчастий. ⟨...⟩

Начиная с 1954 года Борю стало посещать много корреспондентов из западных стран. Снимали его, меня, нашу дачу во всех видах и проявляли необычайный интерес к Боре. Оказалось, его выдвигают на Нобелевскую премию. Меня пугало количество иностранцев, начавших бывать в доме. Я несколько раз просила Борю сообщить об этом в Союз писателей и получить на эти приемы официальное разрешение. Боря звонил Б. Полевому в иностранную комиссию, и тот сказал, что он может принимать иностранцев и делать это нужно как можно лучше, чтобы не ударить лицом в грязь. ⟨...⟩

Работа над романом подходила к концу. Боря собирал людей и читал им первую часть. На первом чтении присутствовали Федин, Катаев, Асмусы, Генрих Густавович, Вильмонт, Ивановы, Нина Александровна Табидзе и Чиковани. Все сошлись на том, что роман написан классическим языком. У некоторых это вызвало разочарование. Поражались правдивости описания природы, времени и эпохи. На другой день после чтения к нему зашел Федин и сказал, что он удивлен отсутствием упоминаний о Сталине, по его мнению, роман был не историческим, раз в нем не было этой фигуры, а в современном романе история играет колоссальную роль.

В те годы мы подружились с Ливановыми, они часто у нас бывали. Я очень полюбила Бориса Николаевича. Он был не только талантливым актером, но и художником, блестящим собеседником. Когда роман был весь дописан, Ливановы взяли его почитать. Приехав к нам, они навели суровую критику. Говорили, что доктор Живаго совершенно не похож на Борю и ничего общего с ним не имеет. С этим я была совершенно согласна: для меня доктор Живаго, в отличие от Бори, был отнюдь не героическим типом. Боря был значительно выше своего героя, в Живаго же он показал среднего интеллигента без особых запросов, и его конец является закономерным для такой личности. Несмотрн на суровую критику Ливановых, я стала с ними спорить и доказывать, что в романе есть замечательные места. Ливанова сказала, что я слишком смело беру на себя оценки. Я рассмеялась и ответила: по-моему, вообще было большой смелостью с моей стороны выйти за Борю замуж я прожить с ним тридцать лет. Некоторые удивлялись, что Лара — блондинка с серыми глазами, намекали на ее сходство с Ивинской; но я была уверена, что от этой дамы он взял только наружность, а судьба и характер списаны с меня буквально до мельчайших подробностей. Комаровский же — мон первая любовь. Боря очень зло описал Комаровского, Н. Милитинский был значительно выше и благороднее, не обладая таквми животными качествами. Я не раз говорилв Боре об этом. Но он не собирался ничего переделывать в этой личности, раз он так себе его представлял, и не желал расставаться с этим образом.

В 55-м и 56-м годах он усиленно отделывал роман и писал стихи к нему. Когда собиралось общество, он часто читал эти стихи. ⟨...⟩

В 1957 году, по требованию директора Гослитиздата Котова, Боря дал ему роман[6]. Котов нашел роман гениальным и обещал обнзательно его издать. В это времн в Москве был Международный фестиваль молодежи. Однажды к нам на дачу прибыла большая группа иностранцев, среди них было шесть итальянцев. Из русских присутствовали Ливановы и Федин. Был грандиозный обед, все перепились, в том числе и Борн. Когда уезжали итальянцы, он дал одному из них какую-то толстую папку. Я догадалась, что это роман, тут же вышла в переднюю, остановила его и сказала, что это поступок страшный и очень для него опасный. Но Боря просил меня успокоиться, роман, по его словам, он дал длн прочтения на несколько дней. Наверно, так это и было... Зная о намерении Гослитиздата издать

роман, он не мог желать опубликованин его за границей. По-видимому, один из итальннцев увез его и передал его издателю Фельтринелли. Между итальянским издательством и Гослитом по поводу романа завязалась переписка. Они заключили между собой договор, согласно которому роман мог быть издан в Италии только после выхода его в Москве. ⟨...⟩

Ежедневно зимой и летом, когда бы Боря ни лег спать, он подымался в восемь часов утра. После завтрака шел в кабинет, работал до часу я потом сразу уходил гулять. В полтретьего он занимался водными процедурами, в три часа садились обедать. После обеда спал, хотя врачи запрещали ему это. Спал недолго, минут сорок. Напившись в пять часов крепкого чаю (чаем заведовал и заваривал его сам), снова садился работать до девяти-десяти часов вечера. Перед сном гулял полтора часа — иногда вместе со мной. Он всегда любил плотво ужинать часов в одиннадцать, несмотрн на запреты врачей. Утверждал, что не сможет заснуть, если будет ужинать в семь часов вместе со мной. Во всем, что не касалось больной ноги, он мало прислушивался к мнению врачей, и привычка так жить была его второй натурой. Что бы ни случилось в доме, он каждое утро занимался гимнастикой. В выходные дни и праздники, если ему не мешали, он так же проводил день. По воскресеньям обычно кто-нибудь приезжал к обеду.

За последние годы он все больше и больше отходил от писателей и единственно, с кем он из литераторов дружил,— это с семьей Всеволода Иванова.

Когда еще он лежал в больнице ЦК № 1, н привезла ему письмо от итальянского издателн Фельтринелли. Тот писал, что обязательно напечатает роман, но только после изданин его в России, он держит связь с Гослитиздатом, где ему обещали, что роман будет издан в сентябре 1957 года. Боря твердо рассчитывал нв скорое появление романа в печати и был совершенно спокоен. ⟨...⟩

Какая-то часть его жизни не попадала в поле моего зрения, поэтому мне трудно описывать это время. На старости лет мне хотелось пожить спокойно и без сплетен, я ни во что не вмешивалась и даже не касалась материальных дел, так мы с ним условились. Он давал мне на жизнь определенную сумму, а до остального мне не было никакого дела ⟨...⟩ материальные вопросы меня мало интересовали. Постановки в театрах Москвы и провинции пьес в Бориных переводах приносили много денег: в те времена театры платили переводчикам 6% сборов с каждого спектакля. Все театральные деньги он переводил мне на книжку, и таким образом я была обеспечена. Мое поведение может показаться странным, но как жена я представляла некоторое исключение. ⟨...⟩ Боря был очень внимателен и нежен ко мне, и эта жизнь меня вполне устраивала. Все мои друзья негодовали по поводу моей позиции невмешательства, давали мне разные советы и говорили с Борей на эту тему. ⟨...⟩ Боря ни за что не хотел порывать со мной, он был предан семье и заинтересован в нашей совместной жизни.

В конце 1957 года Фельтринелли не дождался напечатания романа здесь и издал его в Италии. С этого времени началась обоюдная спекуляция и у нас и на Западе. У нас возмущались и считали это предательством, а там главной целью было заработать много денег и нажить политический капитал. Обстановка создалась невозможная. Я чувствовала, что все это грозит Боре гибелью. Он этого не понимал. Он сказал мне, что писатель существует для того, чтобы его произведения печатали, а здесь роман лежал полгода и по договору, заключенному между Гослитиздатом и Фельтринелли, тот имел право публиковать роман первым. Боря был абсолютно прав в своем ощущении, но я укоряла его за действия, потому что он поступил незаконно, и лучше было бы этого не делать. Может, это и рискованно, отвечал он,— но так надо жить, на старости лет он заслужил право на такой поступок. Тридцать лет его били за каждую строчку, не печатали,— и все это ему надоело.

Из-за границы доходила критика, не всегда благоприятная. Мнения критиков разошлись. Все же книгу перевели на все языки и, как утверждалось в присланном нам сообщении, роман стал сенсацией. Началась шумиха. Борю вызывали в ЦК, выговаривали ему, упрекали в непатриотическом поступке, но меннть что-либо было поздно, несмотря на усилия Суркова забрать рукопись у Фельтринелли, который наотрез отказал. Роман выдержал на Западе большое количество изданий.

Опять стали прибывать корреспонденты, снимали дачу, Борю, его кабинет и даже собак. По их сведению, он обязвтельно должен был получить Нобелевскую премию, кандидатом на которую выставили Шолохова и Борю. Он был очень доволен и, хотя все обходили нашу дачу, как заразную и страшную, и знакомые отворачивались от него, это его мало смущало. Атмосфера накалялась, чувствовалось приближение пожара, а Боря ходил как ни в чем не бывало, высоко держал голову, утешал меня и просил не огорчаться тем, что писатели от него отвернулись. ⟨...⟩

Двадцать четвертого октября в Зинаидин день у нас бывало шумно и наезжало много гостей. Незадолго до этого к нам приехала гостить Нина Александровна Табидзе. Я отправилась с ней в город за покупками к именинам. Когда мы вышли

из машины в Москве, к нам подошел один знакомый Нины Александровны. Оказалось, он слышал по радио о присуждении Пастернаку Нобелевской премии. Нина Александровна очень обрадовалась, а меня это известие ошеломило. Я была взволнована, предвидя большую неприятность для нас. Приехав в Переделкино, мы тотчас же рассказали об этом Боре, он обрадовался и тут же спросил, почему я такая печальная. Я рассказала ему о своих опасениях, и о том, что, по-моему, присуждение Нобелевской премии вызовет большой скандал в нашей стране.

В эту же ночь, с 23-го на 24-ое, когда я уже была в постели, пришли Ивановы поздравлять нас с Нобелевской премией. Я даже не встала и, когда они стояли на пороге моей спальни, я им сказала, что не предвижу ничего хорошего я все будет очень страшно. Они меня успокаивали, говорили, что я не понимаю этой чести, и даже, если здесь будут неприятности, то все равно — это все заслужено. Какое-то предчувствие говорило мне, что это будет его концом. Разве они понимали, как я хотела, чтоб Боря подольше жил, побольше работал и как дорога мне его жизнь! Всем своим существом я поняла, что теперь заварится каша и вокруг этого дела начнется холодная война, тут будут бить его, а там этим пользоваться в своих интересах.

24-го утром, в ожидании гостей по случаю именин, я занялась пирогами. Вошел Федин и зло ухмыльнулся, покосясь на мои пироги. Он отлично знал про Зинаидин день, бывая ежегодно в числе гостей. Но тут он, видно, забыл про именины и решил, что праздноваться будет премия. Он сухо со мной поздоровался, забыв меня поздравить с именинами и с премией, чем очень удивил меня, так как это был человек вполне европейски воспитанный. Он прошел к Боре в кабинет, и там состоялось короткое, но шумное объяснение. Не зная о содержании беседы, я не удержалась и, когда он уходил, спросила, что же он не поздравил нас с премией, разве он не знает о ней? Знаю,— отвечал он,— положение ужасное.— Для Союза писателей? — спросила я.— Да, я понимаю, для Союза все вышло неудобно.

Боря спустился злым и возмущенным и рассказал, что Федин приходил убедить его отказаться от премии, тогда все будет тихо и спокойно, а если не откажется, то начнутся неприятные последствия, которых он, Федин, не сможет предотвратить.

В числе близких людей постоянно бывал у нас Федин. Боря и Федин были совершенно разные, но что-то в Федине нас покоряло. Однако с годами пришлось в нем разочароваться. Когда арестовали ближайшего друга Федина Пильняка, он отнесся к этому с полным безразличием.

Нас удивляло, что после войны Федин быстро пошел в гору. Он менялся на наших глазах: становился все более и более официальным, и поведение его преобразилось. Но все-таки он продолжал бывать у нас и, слушая чтение Бориных стихов, он нередко пускал слезу и говорил: «Ты, Боря, чудо!» Окончательно мы с ним разошлись после истории с Нобелевской премией. Всегда больно разочаровываться в людях, но такой резкой перемены в отношении к Боре я ни у кого не встречала. Он забыл все: тридцатилетнюю дружбу, свои восторги по Бориному адресу, все пережитое совместно во время войны. Во время истории с Нобелевской премией он был председателем Союза писателей, и он предал Борю. И не то важно, что он официально отрекся от него и участвовал в исключении его из Союза, а то, что он внутренне в этом не раскаивался. Только спустя две или три недели после Бориных похорон я получила его письмо следующего содержания: сегодня, пятнадцатого июня, он открыл чехословацкий журнал и увидел некролог о Боре. Он жил рядом с нами за забором в течение тридцати лет, во время Бориной смерти находился на даче (правда, он был болен) и в этом письме он сетовал на то, что от него скрыли Борину смерть! Навряд ли из открытых окон до него не донеслась похоронная музыка и он не видел и не слышал многотысячной толпы... ⟨...⟩

Есть поговорка: «Друзья познаются в беде». В тяжелые времена осенью 1958 года я познала Федина с плохой стороны.

Боря говорил, что ни в коем случае не откажется и не верит, что это предотвратит неприятности. С утра в этот день стали прибывать поздравительные телеграммы и приезжать корреспонденты. В их числе оказался русский фотокорреспондент А. В. Лихоталь, который в эти тяжелые дни стал часто у нас бывать. В этот же день пришел к нам Корней Иванович Чуковский, и его тоже стали фотографировать. ⟨...⟩

24-го все было благополучно и тихо. Боря был занят целый день чтением телеграмм, не только из-за границы, но и от русских. Сельвинский, например, написал о своей радости и гордости по поводу премии, которую он считал вполне заслуженной. Было несколько телеграмм из Грузии.

Утром 25-го нам привезли газеты из города. Против Бори начался неслыханный поход. Он не хотел их смотреть, а я, прочитав некоторые статьи, пришла в ужас. Особенно меня потрясла статья Заславского с намеком на еврейское происхождение (это в то время, как сам Заславский был евреем). Статья была возмутительная: он называл Борю предателем, продажной личностью и бездельником [7]. Было много и других статей, но эта превосходила все. 25-го вечером приходили Погодины, Ивановы, Чуковский — каждый со своим советом. Погодина, например, считала, что лучше умереть, чем отказываться от столь почетной премии. Чуковский советовал написать Фурцевой письмо с просьбой оградить его от обвинений и нападок. Боря так и сделал. Он поднялся наверх, написал письмо и, спустившись вниз, показал его нам. Он писал, что потрясен впечатлением, произведенным Нобелевской премией на товарищей, был уверен, что, наоборот, все будут гордиться выпавшей советскому писателю честью, и напоминал о выдвижении его кандидатом на премию еще до написания романа пять лет назад. В конце он прибавил о своей вере богу, который оградит его от всего страшного. Письмо раскритиковали главным образом за упоминание о боге. По словам Чуковского, Боря — ребенок и не понимает, что упоминание о боге в письме к Фурцевой зачеркивает все. Присутствовавший в это время Лихоталь взялся передать это письмо лично Фурцевой [8]. Присутствие Лихоталя на меня производило успокаивающее действие: его бодрый тон, веселый голос и утверждения, что все кончится благополучно, поддерживали меня. Впоследствии Лихоталь меня разочаровал: он не только занимался фотографированием, но и лишними расспросами — например, по поводу Ивинской. Я рассердилась и предложила ему заниматься своим делом, поскольку он только фотокорреспондент. Но он на это не обиделся.

На другое утро кто-то приехал из газеты «Правда» за подписью под отказом от Нобелевской премии. Я влетела в комнату и в истерике стала кричать, чтобы он убирался вон, мы все уже знаем, что Борис Леонидович бездельник, предатель и больше я не позволю издеваться над ним. Боря спустился и попросил на меня не обижаться: жена очень непосредственное создание и нервы ее не выдержали — тот что-то пробурчал, мол, он это понимает, и быстро удалился, ничего не добившись. Боря собрался в город, ничего нам не говоря. Оказывается, как позже выяснилось, он отправил в Шведскую академию тайком от всех телеграмму об отказе от Нобелевской премии. Он хотел избежать всяких противоречивых советов.

Когда он возвращался из города, то всюду кругом дачи стояли машины, иностранные и русские. Вскоре по его возвращении к нам подъехала санитарная машина. Из нее вышла врач с большим ящиком Красного креста. Оказалось, она прикреплена к Боре по указанию ЦК и будет жить у нас целый месяц. Я ей сказала: ваши предосторожности излишни, он не собирается покончить с собой, а как раз наоборот. Но, по ее словам, она не имела права отказаться. Присутствие постороннего человека в доме в такие тревожные дни ужасно тяготило.

На другой день появилась газета с выступлением Семичастного. Он требовал высылки Пастернака за границу. На семейном совете долго обсуждали, как поступить. Все были за то, чтобы написать в Правительство просьбу никуда его не высылать,— он родился в России, хотел бы до самой смерти тут жить и сможет еще принести пользу русскому государству. Одна я была за то, чтобы он выехал за границу. Он был удивлен и спросил меня: «С тобой и с Леней?» Я ответила: «Ни в коем случае, я желаю тебе добра и хочу, чтобы последние годы жизни ты провел в покое и почете. Нам с Леней придется отречься от тебя, ты понимаешь, конечно, что это будет только официально». Я взвешивала все. За тридцать лет нашей совместной жизни я постоянно чувствовала несправедливое отношение к нему государства, а теперь тем более нельзя было ждать ничего хорошего. Мне было его смертельно жалко, а что будет со мной и Леней, мне было все равно. Он отвечал: «Если вы отказываетесь ехать со мной за границу, я ни в коем случае не уеду».

Вечером подъехала машина из ЦК, и он отправился на ней с тем, чтобы написать письмо в «Правду». На другой день письмо было опубликовано. Все эти дни он очень хорошо держался, всех нас успокаивал, подшучивал над врачом, охранявшей его от самоубийства, которого он не собирался совершать. Бедной врачихе было очень скучно, она ходила из угла в угол, смотрела телевизор, и, наконец, я ей сказала: пойдите хотя бы погулять, вы целую неделю не выходили. Когда она ушла, мы открыли ящик с лекарством, чтобы убедиться, нет ли там магнитофона. Но ничего подозрительного мы не обнаружили. В ящике были главным образом хирургические инструменты и всяческие лекарства.

У Бори вдруг стали болеть правая рука и плечо. Он шутя говорил, что надо воспользоваться присутствием врача и подлечиться. Та велела взять руку на повязку и ничего не писать. Но он продолжал работать и научился писать левой рукой. Мы не выходили за калитку и, по моему настоянию, он гулял на нашем участке. Очевидно в эти дни он написал стихотворение «Нобелевская премия».

Вечером 29-го из Союза приехал какой-то товарищ, приглашая его на собрание писателей. Боря с площадки покричал мне, чтобы я поднялась в кабинет. Он был весь в холодном поту и бледен. Я позвала врача, она сделала ему укол камфары, а приехавшему товарищу я сказала: «Не может быть и речи, чтобы Борис Леонидович в таком состоянии ехал на собрание».

Боря расписался в получении извещения. Я сказала этому человеку, чтобы он уезжал, нас совершенно не интересует, что там будет, все равно поступят так, как считают нужным.

31-го октября состоялось большое собрание в Союзе писателей. Боря на него не поехал. Хотя он поступил так, как от него требовали (отказался от Нобелевской премии), его исключили из Союза [9]. Он принял это известие очень мужественно. Утешая меня, он сказал, что давным-давно не считает себя членом этой прекрасной организации. В этот же день он написал письмо Хрущеву, напечатанное 2-го ноября. Это письмо было вызвано словами Семичастного на пленуме ЦК Комсомола о том, что правительство не чинило бы никаких препятствий к его выезду за границу [10]. Пастернак в этом письме писал: «Выезд за пределы моей Родины для меня равносилен смерти и поэтому я прошу не принимать по отношению ко мне этой крайней меры».

Несмотря на это письмо, газеты продолжали публиковать требования некоторых товарищей о высылке Пастернака за границу. 5-го ноября 1958 года Пастернак написал письмо в редакцию газеты «Правда».[11] После последнего письма кампания против него стала постепенно сходить на нет. Еще в разговоре с Поликарповым [12] в ЦК ему удалось отстоять свободу переписки с Западом.

Ходили слухи о послании шведского короля к Хрущеву, в котором он просил сохранить жизнь Пастернака и оставить ему его «Поместье». Нас всех удивила наивность короля — дача была государственная, и ее могли отобрать каждую минуту. Не знаю, почему нас не выселили с дачи. Мы продолжали спокойно жить в Переделкине, Боре даже давали переводы. Он переводил Тагора, Незвала, Церетели и других. Много времени отнимала переписка. Приходило иногда по пятьдесят писем в день. Он знал три языка — английский, французский и немецкий, но не так блестяще, чтобы не работать над каждым ответным письмом со словарем. Я слышала его шаги в кабинете иногда до двух-трех часов ночи. Мне казалось, что он так мало спит из-за этой переписки.

По моему настоянию, после трехнедельного существования у нас врач уехала.

В этом же 58-м году приехал к нам английский корреспондент Браун [13], и я видела, как Боря передал ему стихотворение «Нобелевская премия» и просил вручить его сестрам, жившим в Англии. Не прошло и недели, как нам прислали вырезку из английской газеты с этим стихотворением и с возмутительнейшими комментариями к нему [14]. Я отлично знала, когда было написано это стихотворение и по какому поводу, и была крайне рассержена комментариями. В этом стихотворении была строка: «Я пропал как зверь в загоне» — она комментировалась так: «Вся Россия, мол, загон, а Запад — воля и свет». На самом же деле строка эта была вызвана вот чем: в разгар событий, связанных с присуждением Нобелевской премии, вокруг нашей дачи стояло много машин, как говорили, для охраны жизни Пастернака. Он очень любил выходить за калитку и гулять по полю, а в те дни я его не пускала, выставив ультимативное требование ограничить его прогулки нашим участком. Впрочем, я не верила в возможность каких-либо покушений на его жизнь. Он пользовался большим уважением со стороны рабочих и крестьян. Однако я боялась случайных пьяных, которые могли бы его оскорбить. «Воля, люди, свет» — ни в коем случае не оскачали Запад, а лишь то, что окружающие писатели чувствовали себя свободно и ходили, где хотели. Особенно вызвали мое негодование комментарии к последней строчке стихотворения: «Но и так, почти у гроба, знаю я, придет пора, силу подлости и злобы одолеет дух добра». Все тридцать лет во время критических нападок и неправильных толкований его стихов он всегда говорил: все это временно, и в конце концов люди станут добрее и лучше. В английских комментариях было сказано по-другому — будто он ждет переворота и смены власти. У меня потемнело в глазах от страшного возмущения, и я сказала ему: нужно прекратить принимать эту шваль, и впредь они перешагнут порог дома только через мой труп. Он тут же повесил объявление на дверях входного крыльца: он никого не принимает, будучи очень занят работой. Объявления были написаны на трех языках. Кроме того, он дал распоряжение нашей работнице отказывать всем иностранцам. С тех пор они перестали у нас бывать.

Сейчас, два года спустя после его смерти, мне думается, что я поступила неправильно. Ивинская воспользовалась этим и стала принимать у себя на даче иностранцев ⟨...⟩ Наверное, было бы лучше, если бы контакт с иностранцами происходил на моих глазах. Многое можно было бы предотвратить.

В феврале 1959 года ожидался приезд Макмиллана [15] в Россию, и нас предупреждали о его намерении навестить Пастернака. Боясь этого свидания, я уговорила его уехать со мной в Грузию. Он не любил расставаться со своим кабинетом — как он шутя говорил, он прирастал к своему стулу — и уговорить его было трудно, но мне это удалось. Я послала телеграмму Н. А. Табидзе, сообщая, что вылетаю с Борей в Грузию и прося не устраивать встречи — мы приедем инкогнито ⟨...⟩

Нина Александровна окружила его заботами. Она страшно удивилась, почему я написала в телеграмме слово «инкогнито». Я ей объяснила, что мы скрылись от визита Макмиллана, боясь новых западных спекуляций над Бориным именем. Едва мы добрались до новой квартиры Нины Александровны на улице Гогебашвили, как моментально распространился слух о нашем приезде. Пришли Леонидзе и Чиковани с женами и многие другие. Говорили речи, подымали тосты. По их рассказам, на них вся эта буча не произвела никакого впечатления, в Грузии было очень тихо. Состоялось, правда, какое-то общее собрание в Союзе, но выступавшие избегали резких выражений и все кончали речи на одном: Пастернак очень много сделал для Грузии, переводы его гениальны.

Обстановка была очень теплая, и Боря как бы встряхнулся и забыл все неприятности. Ему надо было из-за ноги много ходить, и дочь Нины Александровны Наточка ходила с ним на прогулку каждое утро и вечер, охраняя его и избегая шумных улиц, где могли произойти неприятные встречи.

Был один смешной эпизод. Один знакомый повез нас на своей машине смотреть замок и церковь V века в Мцхетах. Мы вошли в собор, и Боря стал осматривать грузинскую живопись и восторгаться ею. Вдруг, откуда ни возьмись, появился молодой человек и, подойдя к нему, спросил: «Вы, кажется, Пастернак? Я знаю вас по портретам. Позвольте пожать вашу руку». Боря ужасно растерялся и ответил: «Почему, а впрочем, может быть и да». Он нас очень рассмешил, и мы вскоре взяли его под руки и увели из собора. Так же, как раньше он не желал ехать в Грузию, так теперь он не хотел уезжать из Тбилиси. Выглядел чудесно и там пришел в себя. К нам приходили старые знакомые — художники, писатели, и Боря читал свои новые стихи. Я была счастлива, что мне удалось его увезти проветриться в Грузию, которую он считал нашей второй родиной.

Через три недели мы собрались домой. Он снова настаивал на самолете, а я боялась обратного пути, и мы взяли билет, сговорившись с Ниной Александровной, в международный вагон, а ему наврали, будто на самолет билетов не было. Нас провожало много народу. В поезде он говорил, что все в Грузии напоминало ему 31-й год и в общем он вернулся помолодевшим, окрепшим и в отличном настроении. ⟨...⟩

В первый день пасхи 17-го апреля [16] к нам приехала немка Рената Ш.[17] На обеде были грузины: Чиковани с женой и Леонидзе. За обедом он чувствовал себя хорошо и даже пил коньяк. После обеда он пошел провожать Ренату на станцию. Придя домой, он со стоном разделся в передней и сказал: «Какое тяжелое пальто!» Мы с Ниной Александровной были взволнованы его бледностью. Двадцатого приехала Рената прощаться с нами перед выездом в Германию. Боря хотел с ней пойти в театр на «Марию Стюарт», но я запротестовала и сказала: по моему мнению, этого не следовало делать, меня удивляет такое легкомыслие, я не рекомендую ему показываться в многолюдном обществе с немкой. Рената извинилась, а он снова пошел её провожать на станцию. Вернувшись, он почувствовал себя очень плохо. Нина Александровна повела его в кабинет и он сказал: «Не пугайте Зину и Леню, но я уверен, что у меня рак легкого, безумно болит лопатка». Мы его тут же уложили и на другое утро вызвали Самсонова. Он нашел отложение солей, назначил диету и даже гимнастику. Он запретил ужинать в одиннадцать часов перед сном, но разрешил спускаться вниз обедать и в туалетную (чему Боря очень обрадовался) и даже выходить немного гулять. Я пригласила Самсонова приезжать к нему через день. 25-го Боре стало очень плохо, и мы отложили поездку в Грузию. Я его уложила внизу в музыкальную комнату. Он все еще пользовался туалетной комнатой, куда я его водила под руки. Обратно мне приходилось его тащить чуть ли не на своих плечах, а он терял сознание от боли.

Самсонов бывал у нас через день. По моему настоянию сделали на дому электрокардиограмму, которую Самсонов признал хорошей. Но состояние не улучшалось. Я вызвала Бибикову, ассистента профессора Вотчала, лечившего Борю от первого инфаркта в Боткинской больнице (самого Вотчала в это время не было в Москве). Она нашла стенокардию и велела лежать, не вставая. 6-го мая я позвонила Александру Леонидовичу и просила его приехать жить в Переделкино, потому что состояние Бори мне не нравится, и мне за него очень тревожно. С этого дня до самого конца Шура жил в Переделкине. 7-го мая я вызвала врача Кончаловскую. Она отрицала инфаркт...⟨...⟩

Сговорились с Фогельсоном. Он велел сделать все анализы и повторить кардиограмму. Когда все было готово, он приехал в Переделкино и определил глубокий двухсторонний инфаркт. Из Литфонда прислали для постоянного дежурства при больном врача Анну Наумовну. В помощь ей было налажено круглосуточное дежурство сестер из Кремлевской больницы. ⟨...⟩

Во время болезни, длившейся полтора месяца, в доме бывало много народу. Приезжали Ахматова, молодые поэты, Е. Е. Тагер. Нина Александровна Табидзе. Александр Леонидович и Ирина Николаевна жили безвыездно в доме. Боря

никого не принимал и никого не хотел видеть. Как он сказал, он всех любит, но его уже нет, а есть какая-то путаница в животе и легких, и эта путаница любить никого не может. Круглосуточно дежурили сменявшие друг друга сестры, но на всяческие процедуры он всегда звал меня. Я несколько раз спрашивала, не хочет ли он повидать Ивинскую и говорила ему: мне уже все равно, я могу пропустить к тебе ее и еще пятьдесят таких красавиц. Но он категорически отказывался, и я этого понять не могла. Я думала, что он не хочет перед смертью огорчать меня и просила Нину Александровну устроить свидание с Ивинской без моего ведома. Но он сказал Нине Александровне, что не хочет этого и что если она увидит ее, то он просит ее не вступать с ней в разговоры. Было ли это разочарование в ней, были ли у них испорчены отношения, но я продолжала этого не понимать, и мне казалось это чудовищным. Она часто подходила к калитке со слезами, но каждый раз к ней выходил Александр Леонидович, и Боря передавал через брата просьбу больше не приходить. Я же, несмотря на всю мою неприязнь к ней, готова была ее впустить. Как сказал мне Боря, он не хотел в больницу потому, что она приезжала бы туда к нему. Он говорил: «Прости меня за то, что я измучил тебя уходом за мной, но скоро я тебя освобожу и ты отдохнешь». Он не понимал, что в больницу я хотела его отправить, боясь взять на себя ответственность, но с тех пор, как выяснился диагноз — рак легкого, и я знала точно, что он умрет, я совершенно оставила мысль о больнице. Он много раз говорил о своем желании умереть только на моих руках. ⟨...⟩ Он просил поскорее сделать второе переливание, но на следующий день, в субботу, нельзя было — ежедневно переливания не делают, а в воскресенье, хотя мы и хлопотали, но никто не мог приехать, и отложили на 30-е мая — понедельник. Утром он чувствовал себя сравнительно хорошо и даже попросил меня, как всегда, привести его в порядок и тщательно его причесать. Во время причесывания он капризничал и попросил переделать ему пробор. Приехал Попов, который ежедневно у него бывал. Он нашел улучшение в состоянии сердца, и я упросила его приехать второй раз вечером и присутствовать при переливании крови. Он согласился. ⟨...⟩

Все уехали, кроме Попова. Прощаясь со мной он сказал: «Мне здесь делать нечего, через десять минут он умрет». Меня удивило, что он не остался, но он сказал: «Я не в силах спасти Бориса Леонидовича, это было кровотечение из легких». В полдесятого Боря позвал меня к себе, попросил всех выйти из комнаты и начал со мной прощаться. Последние слова его были такие: «Я очень любил жизнь и тебя, но расстаюсь без всякой жалости: кругом слишком много пошлости не только у нас, но во всем мире. С этим я все равно не примирюсь». Поблагодарил меня за все, поцеловал и попросил скорей позвать детей. Со мной он говорил еще полным голосом, когда же вошли к нему Леня и Женя, голос его уже заметно слабел. Врач и сестра все время делали ему уколы для поддержания сердца, кислородная палатка мешала бы этим уколам, поэтому Стасик непрерывно подавал и надувал кислородные подушки. Агонии не было и, по-видимому, он не мучился. Он говорил детям, что не дождется свидания со своей сестрой Лидой (которую вызвали по его просьбе из Англии), но она все знает об его денежных распоряжениях, и дети будут обеспечены. После каждой фразы следовал интервал в дыхании, и эти паузы все удлинялись. Таких интервалов было двадцать четыре, а на двадцать пятом, не договорив фразы до конца, он перестал дышать. Это было в одиннадцать часов двадцать минут. ⟨...⟩

Я с работницей Таней обмыла его, одела и положила, пока прибудет гроб, на раскладушку. Мы с Ниной Александровной, Ириной Николаевной, Шурой и Стасиком (Леня с Женей уехали в город сообщить о смерти) оплакивали его кончину, а к трем часам Анна Наумовна дала нам всем снотворное. Она и две медицинские сестры тоже ночевали у нас. Когда в три часа ночи мы ложились спать, какая-то машина стояла у наших ворот. В пять часов утра я проснулась от шума у нашего крыльца. Я слышала, как Александр Леонидович что-то кричал. Оказывается, американский корреспондент Шапиро приехал собирать сведения и подробности смерти, и Шура, не зная, что это Шапиро, накричал на него, возмущаясь бестактностью этого вторжения.

За неделю до смерти Боря хотел попросить Катю Крашенинникову устроить отпевание на дому. Но я сказала, что обойдусь без Кати и обещала ему позвать хоть самого патриарха. ⟨...⟩

⟨...⟩ Хотя я была сама против отпевания, но просьба Бори была для меня священна. 31-го мая с него сняли маску и бальзамировали тело. Привезли гроб, мы переложили его, и начались бесконечные визиты корреспондентов, и западных, и наших, они без конца фотографировали его. Из Литфонда мне прислали двух распорядителей по похоронам. Запершись со мной в комнате, они спрашивали, как я представляю себе похороны. Во время гражданской панихиды, отвечала я, будет непрерывно звучать музыка. Юдина дала согласие сыграть трио Чайковского со скрипачом и виолончелистом. Стасик должен был сыграть похоронный марш Шопена, а Рихтер — похоронный марш из сонаты Бетховена. Распорядители очень беспокоились, не будет ли провокационных речей. Я отвечала: «Я совершенно спокойна и постараюсь провести панихиду так же скромно и тихо, как была тиха и скромна его жизнь».

Вынос тела был назначен на 3 часа дня 2-го июня. Хотя объявления о похоронах в газете не было, люди узнавали друг от друга, к даче шла бесконечная вереница людей. Гроб стоял в столовой и весь был укрыт цветами. Никому и в голову не приходило что-либо выкрикнуть. Беспрерывно звучала музыка, и без конца прибывали все новые и новые люди. Получилось так, как я и думала. В доме создалась тихая, благоговейная атмосфера, которую никто не решился нарушить речами. Остановить людской поток было невозможно. Несколько раз ко мне подходили распорядители, прося прекратить допуск к телу, а я решительно отказывалась и успокаивала их: все происходит настолько благородно и торжественно, что их страхи не оправдываются. Назначили самый крайний срок выноса — полпятого. Таким образом удалось многим людям попрощаться с ним. Говорят, что какие-то корреспонденты стояли у выхода и считали людей — насчитали около четырех тысяч. От Литфонда прислали венок с надписью: «Члену Литфонда Б. Л. Пастернаку от товарищей» Привез венок тот самый Арий Давыдович, который пятнадцать лет тому назад хоронил Адика. Пришел закрытый автобус, и распорядители настаивали на том, чтобы в нем везти гроб на кладбище. Но Леня, Стасик и Федя (племянник Бори) заявили категорически, что будут нести гроб на руках. Распорядители опять пригласили меня в отдельную комнату и сказали: «Это недопустимо, будут какие-нибудь демонстрации». Я ответила: «Ручаюсь вам головой, что его не украдут и никто стрелять не будет, шествие будет состоять из рабочих, молодых писателей и окрестных крестьян, все его очень любили и уважали и из этой любви и уважения никто не посмеет нарушить порядок».

Так оно и было, Леня и Женя бессменно шли впереди, а Стасик и Федя менялись с другими молодыми людьми. За гробом первой шла я, меня вел Ливанов — рослый, сильный мужчина. Ему приходилось с помощью локтей заботиться о том, чтобы меня не оттолкнула Ивинская с дочкой и подружками, которые всячески старались пролезть вперед. На кладбище нас ожидала громадная толпа. Гроб поставили рядом с ямой, и наш большой друг философ Асмус произнес речь. Мне больше всего понравились в этой речи слова о том, что Пастернак никогда не умел отдыхать, много трудился, много работал, был демократичен, любил простых людей и умел с ними разговаривать. В конце речи он назвал Борю величайшим поэтом XX века. На кладбище царила тишина, и все внимательно слушали. Потом актер Голубенцев прочитал стихи: «О знал бы я, что так бывает...» Раздались выкрики рабочих, хорошо нас знавших, кричали, что Пастернак написал роман, в котором «высказал правду», а «ублюдки» его «запретили». Ко мне опять бросились распорядители, прося прекратить речи, но я сказала, что ничего страшного в этих выкриках нет. Они были взволнованы, и мне стало их жаль. Я просила их объявить, чтобы подходили прощаться, через десять минут будем опускать гроб. У меня в голове вертелись следующие слова, которые, конечно, казались бы парадоксальны тем, кто его не знал: «Прощай, настоящий большой коммунист, ты всей своей жизнью доказывал, что достоин этого звания». Но я этого не сказала вслух. Я в последний раз поцеловала его. Гроб стали опускать в яму, по крышке застучали комья земли, мне сделалось дурно, и меня увезли на машине домой. Что было потом на кладбище — я не знаю. Как потом рассказывали, люди стояли вокруг могилы до позднего вечера, не расходясь, и некоторые читали его стихи...

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Б. Пастернак выехал из Москвы 14 октября поездом до Казани. Оттуда самолетом прилетел в Чистополь.

[2] Дмитрий Дмитриевич Авдеев (1879—1952).

[3] Арсений Дмитриевич Авдеев (1901—1966), театровед. Валерий Дмитриевич Авдеев (1908—1981), биолог. Переписывались с Пастернаком. Автор воспоминаний о пребывании Пастернака в Чистополе.

[4] Сентябрь 1942 года.

[5] Пастернак познакомился с О. В. Ивинской в октябре 1946 года. О. В. Ивинская в 1946—1947 годах работала в «Новом мире» в отделе по работе с начинающими авторами. К. М. Симонов был в то время главным редактором журнала.

[6] Роман был передан в Гослитиздат весной 1956 года.
[7] Статья Д. Заславского «Шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка» была напечатана в «Правде» 26 октября 1958 года.
[8] Письмо отправлено не было.
[9] Б. Пастернака исключили из Союза писателей СССР 27 октября на совместном заседании Президиума правления Союза писателей СССР, бюро оргкомитета Союза писателей РСФСР и Президиума правления Московского отделения Союза писателей под председательством Н. Тихонова. «Все участники заседания единодушно осудили предательское поведение Пастернака, с гневом отвергнув всякую попытку ваших врагов представить этого внутреннего эмигранта советским писателем». Было принято постановление: «О действиях члена Союза писателей СССР Б. Л. Пастернака, несовместимых со званием советского писателя». «Литературная газета» от 28 октября 1958 года.
Общее собрание московских писателей 31 октября лишь «всецело поддержало решение руководящих органов Союза писателей о лишении Б. Пастернака звания советского писателя и об исключении его из рядов членов Союза писателей СССР» и обратилось к правительству с просьбой о лишении его советского гражданства. «Литературная газета», 1 ноября 1958 года.
[10] Владимир Ефимович Семичастный — в то время первый секретарь ЦК ВЛКСМ. В своем докладе на Пленуме ЦК ВЛКСМ он сказал: «Пастернак — это внутренний эмигрант, и пусть бы он действительно стал эмигрантом, отправился бы в свой капиталистический рай... Его уход из нашей среды освежил бы воздух». «Правда» и «Комсомольская правда» от 30 октября 1958 года.
[11] «Правда» от 6 ноября 1958 года.
[12] Дмитрий Алексеевич Поликарпов (1905—1966), в то время заведующий отделом культуры ЦК КПСС.
[13] В январе 1959 года.
[14] Стихотворение «Нобелевская премия» было опубликовано в английской газете «Дэйли мэйл» 11 февраля 1959 года.
[15] Гарольд Макмиллан (1894—1986), в то время премьер-министр Великобритании.
[16] 1960 года.
[17] Рената Швейцер, немецкая писательница, переписывалась с Пастернаком с апреля 1958 года. Автор книги «Дружба с Борисом Пастернаком», Базель: 1963.

Роберт
КОНКВЕСТ

БОЛЬШОЙ ТЕРРОР

В республиках

Положение дел в республиках было таким же, как в областях самой России. В 1935 и 1936 годах Ежов использовал проводившуюся «проверку и обмен партийных документов» для исключения из партии «половины всего состава партийной организации» в Белоруссии за связи с каким-то антисоветским подпольем. Местные партийные работники протестовали против таких действий, которые на самом деле были первой фазой разрушения прежней партии и создания на ее руинах совсем другой организации. 17 марта 1937 года, т. е. сразу после февральско-мартовского пленума, в Минск был послан эмиссар из центра В. Ф. Шарангович, которого сделали первым секретарем ЦК компартии Белоруссии [1]. В Белоруссии Шарангович работал и раньше, до 1936 года.

Однако сопротивление террору на высшем уровне белорусского республиканского руководства было распространено широко. Как сообщил в той же речи Мазуров, на одном из заседаний ЦК партии республики председатель Совнаркома Белоруссии М. М. Голодед «поставил под сомнение итоги проверки и обмена партийных документов». Это было поводом для того, чтобы направить в Минск Маленкова. Он прибыл в июне 1937 года и уничтожил почти все республиканское руководство.

Председатель Президиума Верховного Совета Белоруссии Червяков — «глава государства» этой «суверенной республики» — покончил самоубийством. Голодед был обвинен в «буржуазном национализме». Его арестовали по дороге в Москву и расстреляли. Предшественник Шаранговича Гикало, сам проводивший террор против других, был также расстрелян.

Продолжение. Начало см.: «Нева», 1989, № 9—12; 1990, № 1—3.

[1] См. XXII съезд КПСС, т. 1, с. 291 (выступление К. Т. Мазурова)

Согласно Мазурову, «почти весь руководящий состав республики, в том числе секретари ЦК, председатель Совнаркома, наркомы, многие руководители местных партийных и советских органов и представители творческой интеллигенции были исключены из партии и многие из них арестованы». На процессе Бухарина Голодед, Червяков, Гикало, а также бывший третий секретарь ЦК КП Белоруссии Жеборевский и народный комиссар земледелия Бенек были упомянуты как участники «национал-фашистской организации», чья деятельность в основном заключалась в шпионаже в пользу Польши и вредительстве в сельском хозяйстве.

В середине июня, на республиканском партийном съезде, Шарангович горячо приветствовал проходивший террор. В августе на пленуме ЦК КП Белоруссии он сам пал жертвой террора — его «разоблачил» Я. А. Яковлев, присланный из Москвы на его место. С Яковлевым прибыла группа новых правителей, в том числе преемник Червякова Наталевич. В течение лета и осени террор распространился до местного и даже массового уровня.

Судьба Шаранговича типична, и на его примере можно говорить об одном примечательном явлении. В те годы за решетку попадали даже представители нового поколения сталинских карьеристов—людей, вполне приспособившихся к новой системе. Это в особенно большой степени относится к первым, наиболее энергичным из них, вырвавшимся на высокие посты. Они были уничтожены младшими по возрасту, но подобными им по характеру типами, которые позже, в свою очередь, нередко становились жертвами террора.

Объяснение краткости пребывания на своих постах многих из тех, кто был выдвинут взамен первых жертв террора, сводится к следующему:

«Люди этого типа имели тенденцию доводить партийную линию до нелепых крайностей, что объяснялось их неразборчивостью в средствах и служебным рвением. В результате их действия позже объявлялись „перегибами“ и отходом от партийной линии. Кроме того, люди подобного типа по природе своей склонны к коррупции и к использованию своих постов в личных целях. Этим они возбуждали ненависть и ревность со стороны младших сослуживцев. А это еще более укорачивало сроки пребывания их на постах» [1].

Как известно, на февральско-мартовском пленуме Сталин высказал пожелание, чтобы каждый партийный работник подготовил себе «на всякий случай» двух заместителей. В этом предложении содержалось известное предвидение, хотя и не-

[1] F. Beck and W. Godin. «Russian Purge and the Extraction of Confession». London, 1951, p. 92.

достаточное. Во многих случаях только четвертый или пятый преемник выживал на своем посту до конца террора. Но были и такие, кто как раз в те годы начинали делать карьеру,— например, тот же К. Мазуров (к моменту сдачи этой книги в набор член Политбюро ЦК КПСС) [1], занимавший в 1938 году ответственный пост в политотделе Белорусской железной дороги, персонал которой тяжело пострадал от террора.

В Белоруссии террор, кстати говоря, помимо политических деятелей и инженеров, тяжело обрушился на деятелей культуры — в особенности это относилось к Наркомату просвещения и Институту языковедения. Оба эти учреждения как бы олицетворяли все национальное, чисто белорусское. Почти неизменно арестованных белорусов объявляли польскими шпионами, что объяснялось географическим положением республики.

История террора в Белоруссии интересна тем, что здесь жестокостям оказывалось несколько более сильное сопротивление, чем в большинстве собственно русских областей. Вероятно, тут слегка помогали местные национальные чувства. Гораздо более заметным это явление было на Украине, где полное покорение оказалось еще более трудным, так как пришлось иметь дело с большим количеством высших украинских руководителей. Террор в Грузии начался тогда, когда не было никакой нужды уничтожать высшее руководство. В свое время, в 1919 году, Грузия была полностью меньшевистской; меньшевики имели 105 из 130 мест в Национальном собрании республики. За них голосовали на выборах 640 тысяч человек, а за большевиков всего 24 тысячи, так что последние не получили в парламенте вообще ни одного мандата. Но потом положение коренным образом изменилось. Сталин протащил старого оперативника ОГПУ Лаврентия Берию в первые секретари компартии Закавказской Федерации. Это случилось в 1931 году, и с тех пор чекист с тонкими чертами лица и в пенсне стал властвовать в Грузии. С самого своего назначения Берия рьяно вел террор. Уже 11 августа 1936 года он застрелял в своем кабинете первого секретаря ЦК КП Армении Ханджана [1].

Таким образом, внутрипартийный террор в Грузии был жестоким, но обычным. Для проведения и усиления террора не нужен был никакой эмиссар ЦК. С другой стороны, Грузия стала ареной нескольких публично объявленных судов, хотя эти процессы фактически проводились при закрытых дверях.

Наиболее важный процесс произошел 10—12 июля 1937 года. На процесс выведи людей, столь же известных в грузинском большевистском движении, как были известны во всесоюзном масштабе жертвы московских процессов. Совершенно очевидно, что вначале было намерение сделать процесс показательным. Ибо все обвиняемые были старыми врагами Сталина. Среди них выделялся Буду Мдивани, бывший председатель Совнаркома Грузии, которого Ленин защищал от Сталина перед самой своей смертью. Фактически именно дело Мдивани послужило Ленину поводом к тому, чтобы включить в свое «Завещание» пункт о нежелательности пребывания Сталина на посту генерального секретаря. Вместе с Буду Мдивани судили старого большевика Окуджаву, отца известного ныне поэта и менестреля Булата Окуджавы, и других коммунистов.

Есть сведения, что решение провести этот процесс было принято на февральско-мартовском пленуме 1937 года [1]. Но обвинения против подсудимых были выдвинуты задолго до того. Обвинение Мдивани в незаконной троцкистской деятельности было выдвинуто уже в 1929 году. Но затем Мдивани примирился с партийной линией, так как, по его собственным словам, он был слишком стар, чтобы организовать новую партию. На процессе Зиновьева имя Мдивани упомянуто не было; однако было сказано, что «грузинские уклонисты» были, «как известно», сторонниками террора еще с 1928 года. Тогда, на зиновьевском процессе, это было поистине рекордным обвинением: к тому времени ни одна группа не обвинялась еще в том, что разрабатывала террористические планы до 1930 года. На процессе Пятакова в 1937 году о Мдивани уже говорилось, что он готовил террористические акты против Ежова и Берии. После уничтожения Мдивани, на суде над Бухариным и другими в 1938 году, его называли английским агентом.

Когда следователь попытался вынудить у Мдивани признания, он, по имеющимся сведениям, ответил так: «Вы меня уверяете, что Сталин обещал сохранить жизнь старым большевикам! Я знаю Сталина 30 лет. Сталин не успокоится, пока всех нас не перережет, начиная со своего непризнанного ребенка и кончая своей слепой прабабушкой!» [2]. Мдивани и Окуджава горячо отрицали свою вину. Но Верховный суд Грузии приговорил их к смерти и они были расстреляны.

29 сентября и 29 октября в двух автономных республиках Грузии — Аджарии и Абхазии состоялись два подобных процесса, устраившие других старых ветеранов. Любопытна судьба старого аджарского большевика Нестора Лакобы, который умер 28 декабря 1936 года в результате каких-то тайных действий Берии [1]. Через десять месяцев после этого, на тайном же суде, Нестора Лакобу посмертно обвинили в попытке организовать покушение на Сталина. Тогда же был расстрелян и сын Лакобы.

К началу осени обрушился новый удар на недавно пришедших к власти грузинских руководителей среднего масштаба. В 1964 и 1965 годах было реабилитировано много грузинских и закавказских коммунистов и выяснилось, что очень многие из них были арестованы в короткий период с 1 по 3 сентября 1937 года. Это было началом общего террора без какого бы то ни было объявления о процессах над участниками оппозиции. На XVIII съезде партии в 1939 году представитель Грузии Джаши сообщил, что за 1937 и 1938 годы на партийную, государственную и хозяйственную работу в Грузии было выдвинуто 4238 человек (представляющих из себя, очевидно, руководящие кадры). К моменту предыдущего, XVII съезда партии, полная численность грузинских коммунистов составляла 34000 человек. Вывод ясен: за годы террора были уничтожены практически все руководящие кадры.

На компартию Армении террор обрушился еще в мае 1937 года. 17 мая 1937 года «Правда» опубликовала статью о том, что в «самом аппарате ЦК компартии Армении обнаружены сомнительные люди». Вскоре руководитель местного НКВД вызвал к себе в кабинет бывшего председателя Совнаркома республики Тер-Габриеляна. Прямо в кабинете несчастного допрашивали в течение 7 часов по поводу каких-то растрат на железных дорогах — после чего прямо там и убили.

В сентябре 1937 года в Ереване состоялся пленум ЦК КП Армении. Там произошел решительный разгром. ЦК ВКП(б) представлял Микоян, сопровождаемый Берией и Маленковым. По новой конституции Армения не принадлежала больше к прежней «Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республике», находившейся под управлением Берии. В известном смысле Армения все еще находилась под его эгидой, но приезд из Москвы Маленкова, который завернул сначала в Тбилиси, а потом отправился в Ереван, не считался в данном случае вмешательством в дела бериевской епархии. В 1937 году Маленков выехал на Кавказ «с ведома и по поручению Сталина» [2]. В Тбилиси Маленков сделал остановку, чтобы совместно с Берией выработать удовлетворительную версию смерти армянского руководителя Ханджана, которого, как мы уже знаем, Берия расстрелял. Как теперь известно из публикации в том же «Коммунисте» и из речи Шелепина на XXII съезде партии, оставшиеся в живых армянские руководители были сделаны ответственными за смерть Ханджана.

Первым обрушился на местных руководителей Микоян. Передавали, что первый секретарь ЦК КП Армении Аматуни оказал ему сильное сопротивление и даже кричал в ответ на обвинения Микояна: «Вы лжете!». Вскоре и он, и второй секретарь ЦК и председатель Совнаркома республики, а заодно и республиканский нарком внутренних дел были арестованы. 23 сентября все они были объявлены «врагами народа». Затем был арестован почти весь личный состав армянского ЦК и Совнаркома. Причем, «Маленков в ряде случаев лично участвовал в допросах арестованных, которые проводились с грубым нарушением норм социалистической законности» [1].

На этой самой третьей неделе сентября 1937 года волна массовых арестов прокатилась по всей республике. К октябрю не осталось на свободе ни одного из 16 членов и кандидатов Бюро ЦК, избранных в июне 1935 года. А из тех, кто сформировал новое Бюро в 1937 году, к 1940 году выжили только двое. В июне 1937 года был также избран полный состав нового ЦК КП Армении. Из его 55 членов только 15 были вновь избраны годом позже, в июне 1938 года. И среди этих пятнадцати были к тому же трое «посторонних» — Сталин, Берия и Микоян. Можно проследить судьбы примерно 30 человек из тех, кто был устранен из состава ЦК. Все они были исключены из партии и, наиболее вероятно, арестованы.

Так же, как в Грузии, террор смел с лица земли и второй эшелон партийных руководителей. Свыше 3500 ответственных партийных, советских, хозяйственных, военных и комсомольских работников были арестованы в течение нескольких месяцев одного только 1937 года. Многие из них были расстреляны без суда и следствия [2]. В последний день 1937 года — 31 декабря — было объявлено о казни восьми руководящих работников в Армении и — по иронии судьбы, в том же номере газеты — о посмертных обвинениях, выдвинутых против Ханджана.

То, что массовые аресты и в Грузии и в Армении начались в сентябре, не было совпадением. Наиболее вероятно, что было принято общее решение о разгроме

---

[1] См. «Коммунист» (Армения), 28 ноября 1963 г.

[1] См. Б. Николаевский, примечания к «Crimes of the Stalin Era» (английское издание доклада Хрущева на закрытом заседании XX съезда КПСС), прим. 58 и 3.

[2] A. Orlov, p. 249.

[1] См. Г. А. Дзидзария в «Вопросах истории КПСС», 1963, № 5 («Отважный революционер»).

[2] «Коммунист» (Армения), 15 нояб. 1961 г.

[1] «Коммунист» (Армения), 15 нояб. 1961 г.

[2] Там же.

старого состава компартии в национальных республиках. Все правительство Татарской республики, например, было арестовано в середине лета того же года. В сентябре началась совершенно неожиданная и чрезвычайно злобная кампания в печати против того, о чем мало говорили в предыдущие годы,— против «буржуазного национализма». Статьи под заголовком вроде «Гнилая позиция дагестанского обкома» стали обычным явлением. Примерно с 8 сентября партийные организации в районах национальных меньшинств стали мишенью постоянных нападок, подававшихся под крупными заголовками. Повсюду — в Узбекистане, Киргизии, Казахстане, Башкирии, Карелии — среди руководства были «обнаружены» большие группы предателей. Практически все руководство было объявлено предателями. В дальнейшем, в главе 11 этой работы, я коснусь подробнее того, что произошло в Узбекистане.

Ход террора в национальных республиках поражает одной страшной особенностью. Она состояла вот в чем: по тщательно разработанным предварительным планам люди, присланные из Москвы, хладнокровно уничтожали имевшуюся в республике партию, создавая вместо нее из рядов работников и новичков особый набор энтузиастов, представлявший собой уже не партию, а некую новую организацию террористов и доносчиков. Необходимо подчеркнуть именно размах операции, полноту уничтожения всей партийной иерархии. В центре, в Москве, Сталин уже создал свои кадры и протащил их на все высокие посты. В ближайшие месяцы в Москве тоже предстояли грандиозные опустошения. Однако здесь сохранялась видимость непрерывности руководства, поскольку кучка самых высших сталинцев пережила террор, а инструментами власти Сталина были вновь назначенные более молодые работники. В республиках же «черный ураган» вырвал с корнем всех старых «партийно-сознательных» сталинцев — ветеранов, представлявших некую непрерывную линию руководства и связь с подпольной дореволюционной партией, с революционерами 1917 года и участниками гражданской войны. Это была еще одна революция — не столь заметная, но настолько же полная, насколько и предшествовавшие ей другие коренные изменения в стране.

Необходимо отметить еще один факт, хоть и меньший по значению: если до тех пор самым полновластным человеком в национальной республике был первый секретарь ЦК, то теперь таким лицом стал нарком внутренних дел. В течение следующего года или двух новые партийные руководители вернули себе значительную часть власти. Но в этот момент именно НКВД — сам по себе тоже все время «прочищаемый» террором — был прямым исполнителем воли Центра и проводил в жизнь все главные задания.

Украинская глава

А възстона бо, братiе, Кiевъ тугою.
«Слово о полку Игореве»

Победа Сталина над партией была окончательно закреплена, когда он сокрушил «умеренных» на февральско-мартовском пленуме 1937 года. Оставалось лишь пустить террористическую машину в ход. И только на Украине оставался еще слабый очажок сопротивления.

Среди недавних официальных разоблачительных материалов о терроре 1937—1938 года украинские события представлены весьма скудно. Публикация таких материалов проводилась под наблюдением Хрущева, и в результате мы имеем подробности о событиях в тех районах, с которыми сам Хрущев в годы террора не был связан — и особенно в тех, где ответственность за террор несли его различные соперники.

Имеются, однако, и другие источники. По ним можно видеть, что еще летом 1937 года, несмотря на удаление Постышева, руководящие украинские работники сохраняли солидарность между собой в сопротивлении дальнейшему развертыванию террора. Они действовали в местном масштабе, пытаясь уберечь Украину от общего психоза, оставив ее очагом относительного здравомыслия. Не было больше, конечно, никаких надежд на победу в масштабе Советского Союза. Борьба, происходившая в Киеве, напоминает отчаянное сопротивление гарнизона окруженной крепости, который продолжает сражаться с храброй безнадежностью отчаяния после того, как главные силы вокруг разгромлены.

И в Центральном Комитете партии в Москве и в других крупных городах, в областных центрах, в окраинных республиках были люди, сопротивлявшиеся террору. Но к тому времени, о котором мы рассказываем, они представляли собой изолированные фигуры, бессильно ожидающие своей судьбы. И лишь на Украине старое руководство, опирающееся на ЦК местной компартии, оставалось еще у власти. После того, как убрали Постышева, могущественного второго секретаря, Сталин рассчитывал, что власть в Политбюро Украины перехватит кто-либо из противников Постышева. Но и Косиор и Петровский — два оставшихся высших руководителя Украины — оба были из числа «сомневающихся». Место Постышева занял его предшественник на этом посту — Хатаевич. Он был членом ЦК ВКП(б) и с 1933 года входил в Политбюро ЦК КП Украины.

После февральско-мартовского пленума на Украине, по данным американского историка Сэлливанта, была проведена основательная чистка — было исключено из партии около 20 % всего состава. Тем не менее на съезде компартии Украины в мае — июне 1937 года старое руководство было избрано вновь. И когда Сталин попытался захватить позиции на Украине методом «дворцового переворота», его попытка сорвалась.

История украинской компартии имеет некоторые особенности. Ленин определенно недооценивал силу украинских национальных чувств. На выборах в Учредительное Собрание (как, впрочем, и в Великороссии) в 1917 году 77 % украинских голосов было подано за эсеров и меньшевиков, и лишь 10 % за большевиков. Местные советы на Украине обычно находились под враждебным большевизму руководством. С 1917 по 1920 год на Украине существовали различного рода националистические режимы, и большевистское руководство и первоначально и по окончании гражданской войны было навязано Украине в значительной мере извне.

В отличие от великорусской, немалая часть украинской коммунистической партии состояла из бывших левых эсеров. Их главная организация на Украине имела националистический характер и носила название «боротьбисты». Эта партия была распущена в начале 1920 года, и ее члены вступили в компартию.

Москва посылала на Украину все новых и новых большевистских руководителей, верных сторонников централизованного руководства,— и всякий раз эти руководители с течением времени меняли свои взгляды: пытаться управлять Украиной полностью с позиций агента иностранной державы,— эта перспектива выглядела для них нежизненной.

В июле 1923 года председателем Совнаркома Украины стал Влас Чубарь, державшийся относительно умеренных взглядов по национальному вопросу. Однако, в 1925 году первым секретарем ЦК КП Украины посадили Кагановича. Его беспощадно централизаторская политика была непопулярна среди местных партийных руководителей, которые во всех других отношениях не имели разногласий со Сталиным. В изданном в Москве еще при его жизни 8-ом томе собрания сочинений Сталина есть любопытное признание, что в 1926 году на Украине выдвигались требования о замене Кагановича Чубарем или Гринько. Сталину это не понравилось, но занятый сложной борьбой в центре, он не хотел входить в противоречия с более умеренной фракцией украинских руководителей по такому местному вопросу и в конце концов в июле 1928 года убрал Кагановича с Украины. В июле 1928 года Бухарин говорил Каменеву, что Сталин «подкупил украинцев, удалив Кагановича из республики». Сменил Кагановича Станислав Косиор — низкорослый, лысый, длинноголовый поляк, который безоговорочно поддерживал Сталина до самого ежовского периода.

В годы полемик с левой и правой оппозицией выявилась правильность сталинского расчета. Неприятностей в украинской компартии не было. Троцкизм почти не нашел в ней распространения. Национальные меньшинства вообще относились к Троцкому еще хуже, чем Сталин. Осетинский коммунист Григорий Токаев, позже перешедший на Запад, пишет, что методы Троцкого весьма напоминали сталинские, но что в национальном вопросе Троцкий был «еще более реакционен».

Опыт с украинской оппозицией не был, однако, обнадеживающим. Пятаков, например, который в годы гражданской войны короткое время управлял в Киеве, считал, что Украину следует полностью подчинить России: «Можем ли мы допустить, чтобы форма существования пролетарско-крестьянской Украины могла бы определяться исключительно и независимо трудящимися массами Украины? Конечно, нет!» [1].

В начале 30-х годов коллективизация на Украине превратила республику в поле битвы между партией и населением. На Украине это чувствовалось сильнее, чем где-либо. И решающим критерием была партийная солидарность. Некоммунистический национализм оставался все еще сильным. В марте-апреле 1930 года состоялся процесс 42 ведущих культурных деятелей на Украине, который был представлен как суд над «Союзом освобождения Украины». Последовали и другие процессы подобного рода, направленные против действительного народного сопротивления.

Столь крайними и жестокими мерами старая украинская интеллигенция была практически стерта с лица земли. Лишь старый большевик Скрыпник, возглавлявший Наркомат просвещения республики, продолжал оставаться защитником остатков украинской культуры. Эти остатки Скрыпник был намерен защищать любой ценой.

Нет сомнения, что Скрыпник со своим искренним желанием сопротивляться Москве был представителем сильного течения среди рядовых партийцев. Но остальные руководители республики занимали другую позицию. Война Сталина против крестьянства поставила их в такое положение, что единственным насущным

[1] См. VIII съезд РКП(б). Протоколы. М., 1959, с. 80.

вопросом был старый ленинский вопрос «кто кого?». У нях могли быть скрытые сомнения; они могли думать разное о планах, которые привели республику к кризису. Но ожидать от них критики по адресу центрального руководства было бы не более разумно, чем ожидать от генерала, ведущего отчаянный бой, что он будет тратить время на обсуждение стратегических ошибок высшего командования.

И все же эти руководители, по-видимому, чувствовали себя потрясенными и опустошенными после беспрекословного выполнения в республике приказов Сталина о коллективизации.

В начале 1933 года трое из семи украинских секретарей обкома были сняты со своих постов. Такая же участь постигла трех членов Политбюро и Секретариата ЦК КП Украины. А из Москвы на Украину с неограниченными полномочиями был послан секретарь ЦК ВКП(б) Постышев. В течение 1933 года из России на Украину было переведено много ответственных работников не украинской национальности, известных своей партийной преданностью (по оценке американского историка Сзлливанта, число таких работников составило 5000 человек).

8—11 июня 1933 года был дан первый «критический залп» по Скрыпнику. Он, однако, отказался каяться в каких-либо грехах и получил за это чрезвычайно резкий выговор от Постышева. Последовала новая кампаняя в печати против Скрыпника, и 7 июля он покончил с собой. Незадолго перед этим совершил самоубийство украинский писатель Хвылевский — тоже после обвинений в излишнем украинском национализме. Весьма возможно, что Хвылевский послужил примером Скрыпнику.

В свое время, в 1909 году, Скрыпник был одним из трех представителей подпольных организаций на территории Российской Империи, прибывших на конференцию большевистских руководителей в Париже. Тем не менее, на следующий день после смерти Скрыпника «Правда» назвала его самоубийство «актом трусости». «Правда» писала, что Скрыпник был «не достоин звания члена ЦК», что он пал жертвой буржуазно-националистических ошибок.

В следующем, 1934 году, выступая на XVII съезде партии, Петровский говорил: «Мы не так легко отбили эти националистические атаки, потому что во главе национал-уклонистов, как вам известно, стоял старый большевик Скрыпник». Петровский заявил, что «помощь со стороны ЦК, особенно присылка к нам известных уже вам товарищей, была вполне своевременна». Он особенно приветствовал нового руководителя ОГПУ Балицкого, прибывшего на Украину вместе с Постышевым.

От сторонников Скрыпника избавились одним ударом: вскоре после его смерти последовало «разоблачение» так называемой «украинской военной организации», состоявшей главным образом из ученых Института лингвистики, сотрудников Госиздата, факультета марксистской философии и научно-исследовательского Литературного института им. Шевченко. В большинстве это были представители молодого поколения, занявшие свои посты в 1930 году или позже.

После этого до самого падения Постышева в начале 1937 года особых нападок на украинские кадры не было. Когда Власа Чубаря перевели в Москву на должность заместителя председателя Совнаркома, то его место на Украине занял Панас Любченко, бывший боротьбист, разделявший взгляды Чубаря во всем. Любченко был худеньким человечком с редкой бородеякой и одухотворенным интеллигентным лицом. Он, однако, сумел угодить высшему начальству своей твердостью во время только что прошедшей коллективизации.

Но когда в марте 1937 года Постышева удалили, террор на Украине разразился с особенной силой. Как сообщил в мае 1937 года в речи на XIII съезде компартии Украины С. Косиор, уже к тому времени были заменены две трети всего руководящего аппарата в областях республики и одна треть районного аппарата. До поры до времени это не коснулось остатков высшего руководства. Как мы уже говорили, на том же XIII съезде (май—июнь 1937 года) прежние руководители были вновь избраны в ЦК. Правда, съезду пришлось принять резолюцию, осуждающую ошибки во всех областях идеологии — в печати, в Институте марксизма-ленинизма, в институте Красной Профессуры и других местах,— а также выступить с резкими нападками на Постышева и прежнее киевское руководство. Косиор, который еще во время снятия Постышева занимал сравнительно мягкую позицию, теперь заговорил об отсутствии бдительности в высшем руководстве, которое позволило троцкистам проникнуть в киевский обком партии, а на том же XIII съезде выступил с разоблачениями Постышева, на сей раз названного по имени и обвиненного в том, что при нем «на Украине допустили серьезное засорение партийного аппарата врагами. Особенно засоренной оказалась киевская партийная организация и ее обком. Здесь больше всего окопались троцкисты. Они захватили в свои руки серьезные посты. В этом повинен в первую голову бывший секретарь киевского обкома тов. Постышев».

К числу ответственных за такое «засорение» принадлежал, очевидно, и злополучный Карпов, который описывался как «бывший секретарь ЦК» на Украине, отказавшийся верить «сигналам» о том, что один из его подчиненных был троцкистом, и оставивший его на посту, на котором этот последний до самого своего ареста имел доступ к секретной документации [1].

Около этого же времени был переведен на другую работу, а вскоре арестован нарком внутренних дел Украины Балицкий, член ЦК ВКП(б), который, как упомянуто выше, прибыл на Украину вместе с Постышевым. В следующем году в одной из своих речей Хрущев назвал Балицкого фашистским агентом. После XIII съезда украинской компартии появились признаки того, что давление на украинских руководителей нарастало. Когда 20 июня 1937 года были опубликованы приветствия летчикам Чкалову, Байдукову и Белякову, то послание московских руководителей было подписано, а ЦК КП(б) Украины приветствовал летчиков анонимно, что противоречило прежней практике. 15 июля прозвучала критика по адресу руководящих органов Украинской республики — в частности, за то, что продвинутые Постышевым «троцкисты» переводились из Киева на другие посты в республике. А 21 июля мишенью было украинское радио. На следующий день — украинский комсомол, секретарь которого, Клинков, был объявлен врагом народа. Наконец, на пленуме ЦК ЛКСМ обвинение было брошено ЦК партии Украины как таковому: «ЦК КП(б)У несет полную ответственность за то, что творится в руководстве комсомола Украины. Трудно понять, как люди терпели подрывную работу врага среди молодежи». В том же месяце последовал арест первого из членов украинского Политбюро — Шелехеса.

Для малосведущего внешнего наблюдателя все выглядело нормально в «славном граде Киеве». Стояло теплое спокойное украинское лето. На открытой эстраде, окруженной кипарисами, регулярно давались симфонические концерты. На самом же деле даже музыканты ощущали растущее давление — подобно всем остальным деятелям культуры. Директор Украинского государственного театра оперы и балета Яновский был вскоре, в числе других, объявлен фашистом.

И все же, хотя украинское руководство принимало резолюции о необходимости чистки аппарата, хотя проходили массовые снятия с работы на низовом уровне, хотя произвольные аресты органами НКВД были обычным делом, Политбюро и ЦК все еще не были сломлены. Теперь Сталин решил, что пришло время их раздавить.

[1] «Партийное строительство», 1937, № 15.

Начались доносы в Кремль о предательстве и взяточничестве на Украине через голову украинских руководителей. Эти руководители протестовали в каждом случае, говоря, что не видели даже копий доносов. Один из таких случаев и послужил поводом для чрезвычайного вмешательства сверху. В августе 1937 года в Киев прибыла комиссия в составе Молотова, Хрущева и Ежова, сопровождаемая крупными силами спецвойск НКВД. На пленуме Украинского ЦК Молотов предложил снять с постов Косиора, Петровского, Любченко и других, вывести их из состава ЦК, а также избрать первым секретарем Хрущева.

Члены ЦК КП Украины отказались, однако, голосовать за эти предложения, несмотря на то, что Молотов звонил в Москву, чтобы получить личные инструкции Сталина. В конце концов Молотов предложил, чтобы украинское Политбюро отправилось в Москву для совместного заседания с Политбюро ЦК ВКП(б) [1]. Такой маневр трудно было отвергнуть без открытого нарушения партийной дисциплины. Любченко это понял. 30 августа он застрелил жену и застрелился сам, «запутавшись в своих антисоветских связях» [2], по выражению «Правды».

О самоубийстве Любченко есть несколько слегка отличающихся версий, но все они сходятся в том, что сам Любченко и его жека умерли одновременно. У них было двое детей, дочь-студентка и 13-летний сын. Согласно одной из версий, дочь умерла вместе с родителями.

Часть украинской делегации, отправившейся в Москву, была арестована немедленно, остальные вернулись на Украину и исчезли все подряд. Если уж Сталин сурово мстил тем, кто предпринял сонершенно безнадежную попытку удержать его на февральско-мартовском пленуме, то сопротивление украинцев, имевшее временный успех, должно было вызвать и вызвало еще более страшную и всестороннюю месть Сталина.

В течение следующего года были арестованы все члены Политбюро, Оргбюро и секретари ЦК КП Украины, за исключением одного Петровского. Из 102 членов украинского ЦК выжили только трое. Были арестованы все 17 членов украинского правительства. Пали жертвами все секретари обкомов на Украине.

Террор прокатился абсолютно по всем республиканским учреждениям. Промышленные предприятия, местные сове-

[1] Этот эпизод, впервые рассказанный А. Авторхановым... позднее подтвержден югославскими источниками, которые, впрочем, по имени называют лишь Молотова «с двумя членами советского Политбюро». См. Vladimir Dedijer. «Tito Speaks». London, 1953, p. 202.

[2] «Правда», 2 сент. 1937 г.

ты, учебные и научные учреждения — все теряли руководителей буквально сотнями. Союз писателей Украины был практически уничтожен.

Пошли дикие нападки на украинские организации в целом, и в частности на киевское и харьковское радио. «Правда» заявила, что все это было результатом деятельности вражеской организации, которую украинский ЦК не сумел раскрыть, злобно нападала на украинскую систему народного просвещения, якобы усеянную националистами, указала, что даже музеи на Украине полны агентов, занятых исключительно подчеркиванием антирусского украинского национализма, что в республике не отпраздновали достойным образом годовщину победы Петра I над шведами под Полтавой.

Для украинских жертв Сталина были избраны особые клеветнические обвинения. Как известно, участники оппозиции, которых судили на трех больших московских процессах, были объявлены предателями, троцкистами, шпионами и соучастниками фашистов. Но от них никогда не требовали, чтобы они объявляли себя просто открытыми фашистами. А на Украине был якобы раскрыт не какой-нибудь «право-троцкистский блок» — тут, оказывается, действовала «национал-фашистская организация», возглавляемая председателем Совнаркома Любченко и включавшая наркома финансов СССР Гринько (еще один бывший боротьбист), Балицкого, Затонского, Якира и целый ряд работников украинского правительства, Центрального Комитета и даже культурных деятелей вроде Яновского.

Косиора, однако, пока не трогали. Его послали обратно в Киев после того, как он подчинился всем инструкциям об уничтожении своих подчиненных. На собрании актива киевской парторганизации, проходившем 15 и 16 сентября 1937 года, Косиор выступил «с докладом о раскрытой на Украине контрреволюционной банде буржуазных националистов», а нарком просвещения УССР Затонский «признал, что Наркомпрос и многие школы засорены врагами. Он признал, что не сумел разоблачить их».

Затонский был учителем физики, скромного вида круглолицым человеком в железных очках; вместе с Пятаковым он руководил украинским коммунистическим правительством в 1918 году, все короткое существование которого прошло в непрерывной борьбе. После критики Затонский отправился в Москву, но его не допустили на октябрьский пленум ЦК 1937 года. Он вернулся в Киев, но 3 ноября был вызван с университетского собрания и арестован.

Осенью того же 1937 года был арестован третий секретарь ЦК КП Украины Н. Н. Попов, а затем заместитель председателя Совнаркома Порайко и другие. В декабре арестовали К. В. Сухомлина как «японского шпиона». Преемник Постышева М. М. Хатаевич еще до конца 1937 года был «оклеветан и репрессирован» [1].

Столь же быстро менялись лица на более низком уровне. Как мы помним, Постышев занимал также должность секретаря киевского обкома партии. На этом посту его сменил Кудрявцев. В конце 1937 года сменили и Кудрявцева и объявили в январе 1938 года «врагом народа». Занявший его пост Д. М. Евтушенко был арестован 17 апреля 1938 года. Позднее этих людей связали между собой в единый центр «вражеского руководства», который будто бы совратил большинство секретарей райкомов Киевской области [2].

Председателем Совнаркома Украины после Любченко стал молодой коммунист М. И. Бондаренко. Но его арестовали через два месяца, и некоторое время Украина вообще не имела председателя Совнаркома. Постановления Совнаркома подписывались именами неизвестных подчиненных Петровского.

Наконец был назначен следующий председатель Совнаркома Маршак. В феврале 1938 года его снизили до заместителя председателя, а вскоре арестовали. Рассказывают, будто Маршак однажды вечером пьянствовал вместе с преемником Балицкого — наркомом внутренних дел Украины Леплевским. В пьяном виде он сделал несколько скептических замечаний о виновности Тухачевского. Наутро Маршак вспомнил эти слова и подумал, что Леплевский, как высший представитель НКВД в Киеве, мог его провоцировать. Маршак решил опередить события: он позвонил Ежову, донес на Леплевского, и тот был арестован. При допросе Леплевский в свою очередь обвинил Маршака, и в конце концов оба они признались в заговорщицкой деятельности, в терроризме и шпионаже [3]. Третьим руководителем НКВД на Украине за один год стал Успенский, которого тоже расстреляли через несколько месяцев.

Террор был настолько всеобщим и настолько «скорострельным», что законные органы власти фактически распались. В украинском ЦК не было больше кворума; не существовало органа, назначающего правительство. Наркомы, назначаемые нерегулярно, появлялись в наркоматах на недели или даже дни и затем исчезали. Беспрецедентный удар по политическому руководству означал полное разрушение

[1] М. Д. Беднов в «Вопросах истории КПСС», 1963, № 6 («Несгибаемый коммунист»).

[2] См. XVIII съезд ВКП(б), М., 1939, с. 595 (выступление З. Т. Сердюка).

[3] Weissberg, p. 461—462.

украинской партии. Республика стала не более, чем вотчиной НКВД, где даже формальная партийная и советская работа практически замерла.

В конце концов в январе 1938 года состоялся пленум ЦК КП Украины, вероятно, с подтасованным составом, избравший Хрущева первым секретарем. Хрущев привез с собой из Москвы нового второго секретаря Бурмистенко, который в 20-е годы долго служил в ВЧК, а позднее был тесно связан с секретариатом Сталина. Вместе с Хрущевым прибыл и новый председатель Совнаркома Украины Демьян Коротченко.

В мае—июне 1938 года все украинское правительство было заменено опять. С февраля по июнь 1938 года были сняты с постов все двенадцать новых секретарей обкомов, в большинстве случаев вместе со вторыми секретарями. Среди 86 членов и кандидатов в члены ЦК КП Украины, избранных в июне 1938 года на XIV съезде партии, оказалось только трое из прошлого состава, избранного за год до того,— все трое лишь почетные и аполитичные фигуры. В первый раз была полностью нарушена преемственность руководства. Ни один из новых членов Политбюро, Оргбюро и Секретариата не вел раньше какой-либо подобной работы.

Тогдашнее Политбюро представляло собою смехотворный орган-обрубок, состоявший всего из шести членов: Хрущева, Бурмистенко, Коротченко, командующего военным округом Тимошенко, наркома внутренних дел Успенского и вездесущего Щербакова. Последний находился на Украине временно, будучи послан на несколько месяцев для чистки нескольких обкомов.

Эти-то люди и отстроили новую партию снизу доверху. В течение 1938 года 1600 членов партии были выдвинуты в секретари райкомов и горкомов. Среди них, между прочим, был и молодой Леонид Брежнев. В мае 1937 года он был выдвинут в заместители председателя днепродзержинского горисполкома. В 1938 году, при Хрущеве, стал заведующим отделом в днепродзержинском обкоме, а на следующий год—уже секретарем этого обкома. Его карьера была обеспечена. Назад он больше не оглядывался.

Еще одним способным карьеристом того времени был А. П. Кириленко, в настоящий момент (1970) член Политбюро ЦК КПСС [2]. В 1938 году он стал секретарем райкома, а на следующий год —уже секретарем запорожского обкома партии. Но в общем, таких счастливцев было не очень много. Между 1938 годом и следующим республиканским партийным съездом в 1940 году текучесть кадров оставалась все еще высокой. Среди 119 членов ЦК КП Украины, избранных в 1940 году, было 73 новичка.

Сталин и Хрущев преуспели в уничтожении старых партийных кадров на Украине. Они сумели заменить их людьми, отличающимися только покорностью и дисциплиной или энтузиазмом по отношению к новому методу правления. Тем не менее, это не разрешило украинской проблемы. Во время войны, на конференции в Ялте (аргументируя в пользу принятия УССР в Организацию Объединенных Наций), Сталин заметил в разговоре с Рузвельтом, будто «на Украине его положение трудное, ненадежное» [1]. А позже Сталин сожалел, что было невозможно выселить с Украины всех украинцев, как он выселил чеченцев и калмыков [2].

В центре

Пока карательные экспедиции, посланные Сталиным и Ежовым, громили провинцию, Москва оставалась эпицентром шторма. Тогдашний ЦК состоял из 71 члена; примерно две трети из них постоянно работали в Москве. В их числе были все члены Политбюро, кроме Косиора, наркомы, заведующие отделами ЦК, высшие руководители комсомола, профсоюзов, Коминтерна. Словом, обычная концентрация высокопоставленных лиц централизованной государвственной машины.

Террор среди этих людей вели непосредственно Сталин и Ежов. Когда требовалось, они получали ценную помощь от Молотова и Ворошилова, но в целом Сталин исключительно прочно держал весь процесс в своих руках, работая только через Ежова.

Только за период 1937—1938 годов Ежов послал Сталину 383 списка, содержащих тысячи имен тех лиц, приговоры которым «заготавливались заранее», но требовали личного его утверждения [3]. Поскольку Ежов был у власти лишь немногим более двух лет — а его особенно активная деятельность продолжалась и того меньше,— это значило, что Сталин получал такие списки чаще, чем через день. Число лиц в каждом списке в точности не известно. В списках были имена «лиц, дела которых подпадали под юрисдикцию коллегий военных трибуналов» [4]. Советский историк Рой Медведев утверждает, что эти списки охватывали около 40 000 имен. Хрущев, не называя определенной цифры, тоже говорит о «тысячах» [5]. Мы можем себе представить, как

[1] Edward Stettinius, Jr. «Roosevelt and the Russians: The Yalta Conference». New York, 1949, p. 187.

[2] Доклад Хрущева на закр. зас. XX съезда КПСС...

[3] Там же.

[4] Там же.

[5] Там же.

Сталин, приходя в кабинет, находил почти каждый день в секретной папке список из сотни, а то и больше имен осужденных на смерть; как он просматривал эти списки и утверждал их в порядке, так сказать, нормальной кремлевской работы. На XXII съезде КПСС З. Т. Сердюк цитировал одно из писем Ежова Сталину, с которыми посылались списки обреченных:

«Товарищу Сталину,

Посылаю на утверждение четыре списка лиц, подлежащих суду Военной Коллегии:

1. Список № 1 (общий).
2. Список № 2 (бывшие военные работники).
3. Список № 3 (бывшие работники НКВД).
4. Список № 4 (жены врагов народа).

Прошу санкции осудить всех по первой категории. Ежов».

Сердюк добавил, что «под первой категорией осуждения понимался расстрел. Списки были рассмотрены Сталиным и Молотовым, и на каждом из них имеется резолюция: За. И. Сталин. В. Молотов». Отметим попутно, что в списке № 4 были имена жен Косиора, Эйхе, Чубаря и Дыбенко.

Постановления об аресте тех или иных людей, а часто даже ордера на арест подписывались, бывало, за месяцы до фактического ареста (подробнее расскажем об этом через несколько страниц). И случалось, что руководящие работники награждались орденами «за неделю до ареста». Объяснение этому дал однажды высокопоставленный сотрудник НКВД, сказав, что следственные власти информировали о заведенных делах только их непосредственных старших начальников, а Ежов информировал только лично Сталина[1].

В столице, как по всей стране, новая террористическая волна поднялась в мае 1937 года.

Иностранные наблюдатели, присутствовавшие в 1937 году на первомайском параде на Красной площади и видевшие на трибуне Мавзолея Политбюро во главе со Сталиным, отмечают нервозность и беспокойство членов Политбюро. Этим людям было отчего тревожиться, ибо на трибуне отсутствовал член партии с 1905 года, просидевший 10 лет в царских тюрьмах и ссылках, в прошлом член, а ныне кандидат в члены Политбюро Ян Рудзутак. По-видимому, его только что арестовали. Рудзутак был арестован за ужином, после театра. Сотрудники НКВД арестовали всех, кто присутствовал на этом ужине. Три месяца спустя Евгения Гинзбург встретила в Бутырской тюрьме

[1] W e i s s b e r g, p. 168.

четырех женщин в растерзанных вечерних туалетах. Эти четыре женщины были в числе других арестованных с Рудзутаком. Его дача перешла к Жданову.

Рудзутака арестовали как якобы «правого». Он будто бы был руководителем «резервного центра», готового продолжать борьбу в случае разоблачения Бухарина. Рудзутак, дескать, особенно подходил для этой цели, ибо, как говорится в показаниях на процессе Бухарина, «никому не было известно о каких-либо его разногласиях с партией»[1]. Здесь фактически впервые признается тот факт, что даже сталинцев старой закалки стали арестовывать — особенно (но не только) если они выказывали признаки сопротивления террору. Пятном в биографии Рудзутака было его нежелание рекомендовать смертную казнь для Рютина, когда в 1932 году Рудзутак был председателем Центральной Контрольной Комиссии. По-видимому, Рудзутак придерживался той же линии и на февральско-мартовском пленуме.

И опять, как в прошлом году, волна террора сопровождалась грандиозным отвлекающим спектаклем. Год назад это были перелеты советских летчиков; теперь, в мае 1937 года, газеты были полны сообщениями о высадке на Северном полюсе группы исследователей под командой И. Д. Папанина. Всей операцией по высадке руководил О. Ю. Шмидт. Участники экспедиции, доставившей папанинцев на льдину, были приняты партийными вождями, награждены и осыпаны почестями. А лагерь на льду тем временем дрейфовал к югу месяцы подряд, посылая время от времени верноподданнические поздравления руководителям и получая от них ответы — как самый дальний форпост партии и государства.

Всю весну и начало лета на газетных столбцах печатались и другие внеполитические новости. Руководители партии и правительства посетили ряд спектаклей и балетов, после чего были напечатаны длинные списки вновь произведенных народных артистов и театральных награждений.

Ясное, солнечное лето, наступившее на русских равнинах, стало свидетелем новых арестов. Один за другим исчезали бывшие участники оппозиции. Еще в марте 1937 года бывший член Политбюро и секретарь ЦК Николай Крестинский, до того времени работавший заместителем наркома иностранных дел, был переведен в заместители наркома юстиции РСФСР. На состоявшемся при переводе Крестинского партийном собрании он сам одобрил свою перестановку, сказав, что в нынешних обстоятельствах бывшие участники оппозиции не должны работать в Нарко-

[1] «Дело Бухарина», с. 251.

мате иностранных дел, где требуется полное доверие высшего руководства и незапятнанное прошлое.

В конце мая Крестинского арестовали. После недели допросов он начал давать показания — около 5 июня. К тому времени только-только начал «признаваться» и Бухарин, с которым Крестинскому предстояло вместе сесть на скамью подсудимых через девять месяцев.

Любая связь с арестованными оппозиционерами теперь сама по себе считалась преступлением. В этом смысле характерен пример члена партии с 1903 года Г. И. Ломова, до революции члена московского бюро большевистской партии, который был вторым человеком (после Троцкого), с энтузиазмом поддерживавшим Ленина на заседании ЦК в его плане захвата власти в октябре 1917 года. История гибели Ломова рассказана на XXII съезде партии А. Н. Шелепиным.

В июне 1937 года один из работников Госплана СССР направил письмо Сталину, в котором указал, что член бюро Комиссии Советского Контроля при Совнаркоме СССР Ломов Г. И. (Оппоков) якобы имел дружеские отношения с Рыковым и Бухариным. Сталин наложил на этом письме резолюцию: «Т-щу Молотову. Как быть?». Молотов написал: «За немедленный арест этой сволочи Ломова. В. Молотов». Через несколько дней Ломов был арестован, обвинен в принадлежности к правооппортунистической организации и расстрелян.

Имя Ломова (который, по-видимому, расстрелян в 1938 году) позже упоминалось на процессе Бухарина-Рыкова, где говорилось, что Ломов состоял в заговоре с Бухариным против Ленина.

Но даже после всего этого оппозиция не была еще полностью раздавлена. В последнюю неделю июня состоялся еще один пленум ЦК — официально он обсуждал вопросы овощеводства. Там разыгрывались сцены с взаимными обвинениями. Член Центральной Ревизионной Комиссии Назаретян, которого Орджоникидзе спас в начале 30-х годов, был арестован по дороге в Кремль, направляясь на этот пленум.

В последующие месяцы Сталин добился возможности натравливать органы безопасности на любых своих противников, уже не придерживаясь политического протокола. На июньском пленуме 1937 года, по имеющимся сведениям, его речь отличалась беспощадностью. В частности, Сталин требовал более сурового обращения с заключенными.

В зале заседаний пленума недосчитывались уже многих — Бухарина и Рыкова, Рудзутака и Чудова, Гамарника, Якира, Ягоды и нескольких других. Однако дух сопротивления был все еще не полностью подавлен. Если верить показаниям на процессе Бухарина, «после февральского пленума ЦК в кругах заговорщиков была поднята кампания против Ежова», была сделана «попытка дискредитировать Ежова и его работу внутри партии, оклеветать его».

На июньском пленуме 1937 года нашелся еще один человек, достаточно храбрый, чтобы встать и высказаться против террора. Это был уже обреченный нарком здравоохранения Каминский, который твердо держался своего мнения. На XX съезде партии Хрущев рассказал, что «на одном из пленумов ЦК бывший Народный комиссар здравоохранения Каминский сказал, что Берия работал на мусаватскую разведку». Каминский (вступивший в большевистскую партию еще студентом-медиком за несколько лет до революции) был «арестован и расстрелян», «едва пленум ЦК успел окончиться».

В то время как страна погружалась в тотальный террор, был предпринят еще один отвлекающий маневр. В июне Чкалов с Байдуковым и Беляковым перелетели на самолете АНТ-25 через Северный полюс и приземлились в американском городе Фолкленде, в штате Орегон. В июле еще один такой же перелет под командой Михаила Громова закончился в городе Сан Джасинто, штат Калифорния, с новым мировым рекордом на дальность. Эти два перелета (оба, несомненно, отличные достижения) были поводом для новой шумной кампании в прессе. Страницы за страницами в газетах заполнялись поздравлениями, торжественными митингами, биографиями летчиков, фотографиями их и т. д. Когда же, в конце концов, 15 декабря 1938 года Чкалов погиб в катастрофе, Беляйкин, возглавлявший Главное управление авиационной промышленности, Усачев, директор завода, построившего самолет Чкалова, и Томашевич, конструктор этого самолета, были репрессированы за саботаж[1].

Одновременно газеты продолжали призывать к бдительности и рассказывали о различных методах, применяемых врагом. «Правда» обратила даже внимание на опечатки в местных газетах, которые отнесла за счет вредительства. Например, в одной газете было напечатано «беды» вместо «победы» социализма. Публиковалось много сообщений о судебных процессах на местах. Но основной удар наносился в то время против руководящих кадров режима. Он имел целью уничтожить старый ЦК и тысячи партийных работников, стоящих на одну ступень ниже.

Теперь, начиная с мая 1937 года, под арест пошел цвет административной политической машины, которую Сталин

[1] А. С. Я к о в л е в. Цель жизни. М., 1966, с. 77.

взращивал долгие годы. После Рудзутака и до конца года не был арестован ни один член или кандидат в члены Политбюро. На свободе оставались некоторое время и высшие сотрудники, непосредственно подчиненные членам Политбюро — до тех пор, пока их всех не забрали в ходе специально подготовленной операции в течение ноября и декабря 1937 года. А пока что, в летние месяцы, шла суровая чистка среди работников, стоявших на ступеньку ниже. Среди них оказался, например, заместитель председателя Совнаркома Антипов, член партии с 1902 года, несколько раз арестовывавшийся при царизме, организатор подпольных типографий. Во время первомайской демонстрации 1937 года он еще стоял на трибуне вместе с членами Политбюро. Но в том же году «кипучая деятельность Н. К. Антипова была прервана» [1]. Позднее, на процессе Бухарина, Рыкова и остальных членов «право-троцкистского блока», Антипов был назван в числе главных заговорщиков: он якобы являлся «руководителем параллельной группы правых». Но на суде он так и не появился.

В последний раз стоял на трибуне Мавзолея первого мая 1937 года и Акулов — лысый, монгольского типа человек. В начале 30-х годов Сталин хотел поставить его во главе ОГПУ как своего прямого представителя. Акулов был предшественником Вышинского на посту генерального прокурора. Теперь он занимал бывшую должность Енукидзе — старый и почтенный пост секретаря Центрального Исполнительного Комитета. Акулова сняли с этого поста 9 июля, и с тех пор о нем ничего больше не известно.

В самом аппарате ЦК был полностью обновлен отдел руководящих партийных органов, возглавлявшийся Маленковым. На процессе Бухарина-Рыкова был упомянут в качестве важного связного в бухаринском заговоре бывший народный комиссар земледелия Я. А. Яковлев. Летом 1937 года он был заведующим сельскохозяйственным отделом ЦК партии. В июне он еще фигурировал как докладчик на том самом июньском пленуме — докладчик по единственному открыто объявленному вопросу, т. е. по овощеводству. После этого он исчез из поля зрения до самого своего чудесного превращения в «правого» в марте 1938 года — очень странное название для человека, который был одним из главных действующих лиц в коллективизации.

Еще один исчезнувший заведующий отделом ЦК был человек, в свое время выдвинувшийся чуть ли не на вершину власти. Речь идет о заведующем отделом науки К. Я. Баумане. В течение нескольких месяцев 1929—30 годов Бауман был секретарем ЦК и кандидатом в члены Политбюро (заменив Угланова). Энтузиаст-сталинец, он был сделан козлом отпущения за эксцессы коллективизации после статьи Сталина «Головокружение от успехов». Тем не менее, Бауман оставался членом ЦК! 14 октября 1937 года Баумана расстреляли. С ним вместе было уничтожено большинство сотрудников отдела науки. Заведующий параллельным, но еще более важным отделом агитации и пропаганды ЦК Стецкий — старый экономист, занимавший этот пост с 1929 года — был арестован почти одновременно с Бауманом, а расстрелян позднее.

Вместе с террором господствовал цинизм. Высокопоставленный военный, находясь в тюрьме, рассказывал, как однажды на приеме его весело приветствовала жена Молотова. «Саша, что это? Почему вы еще не арестованы?» Эта женщина стала председателем косметического треста «ТЭЖЭ» после ареста ее бывшего начальника Чекалова. Этот пост она занимала несколько лет. Что касается Чекалова, то он был послан на Воркуту, в лагеря строительства железной дороги. Супруга Молотова была в 1939 году избрана в ЦК, где также заменила кого-то «исчезнувшего». В 1948 году арестовали и ее.

Партийные и правительственные учреждения окутала атмосфера ужаса. Народных комиссаров арестовывали по дороге на работу по утрам. Каждый день исчезал кто-нибудь еще из членов ЦК или заместителей наркомов или других крупных сотрудников.

Радость в тот момент царила только в одной сфере. 18 июля Ежов был награжден орденом Ленина, что послужило предлогом для опубликования его фотографий, передовых статей и всеобщих празднеств.

Ту же самую награду 21 июля получил Вышинский — правда, с меньшим шумом.

Ордена были также вручены многим руководителям органов безопасности. По окончании дела Мдивани награды получили работники и грузинского НКВД. Среди награжденных тогда грузин встречаются имена тех, кто через год заменил руководящих оперативников и в Москве и в других местах и кто исчез только с окончанием эпохи Берии в 1953—1955 годах: Гоглидзе, Кабулов, Рапава и им подобные. Вскоре была награждена еще одна группа ежовцев, в том числе Ушаков (позднее руководивший пытками Эйхе), Фриновский, а из нижестоящих — Л. Е. Влодзимирский. Этот прожил относительно долго; он служил под началом Берии, в 1953 году Берия даже назначил его руководить следственным отделом по особо важным делам. Однако в декабре того же года Влодзимирский был расстрелян.

[1] См. «Известия», 19 дек. 1964 г.: М. Ефимов. «Посланец питерских рабочих. К 70-летию со дня рождения Н. К. Антипова».

Сам Ежов удостоился теперь высшей чести: его именем назвали город. 22 июля бывший сотрудник ОГПУ и протеже Кагановича Булганин был назначен председателем Совнаркома РСФСР. Это случилось после падения его предшественника на этом посту Сулимова. И столица Черкесской автономной области, называвшаяся ранее городом Сулимовым, была срочно переименована в Ежово-Черкесск.

Будущий коллега и соперник Булганина Хрущев вел в то время террористическую работу — чистку — как в самой Москве, так и в Московской области, к удовлетворению высшего руководства. Как в свое время в Ленинграде, он начал эту деятельность во второй половине марта. А 23 августа того же 1937 года на собрании актива московской организации ВКП(б) Хрущев выступил с целой серией обвинений против местных руководителей, вроде председателя облисполкома Филатова (что предшествовало исчезновению этого человека вместе со многими другими). К. В. Уханов, еще недавно председатель Московского Совета, теперь возглавлял Наркомат местной промышленности РСФСР. Его тоже арестовали, и он умер в 1939 году.

В августе Советский Союз посетило больше иностранных туристов, чем когда-либо. И никто из этих туристов не заметил подавленного настроения народа. Был отпразднован еще один дальний перелет — на сей раз Леваневского на «Н-29» вокруг Советского Союза. Хотя газеты были очень заняты торжествами по поводу этого перелета, в них нашлось место для того, чтобы к концу августа объявить о награждении орденом Ленина трудолюбивых военных юристов, в том числе Ульриха, Матулевича и Никитченко. Матулевич и Никитченко были названы при этом заместителями председателя Военной Коллегии Верховного Суда. А 22 августа было объявлено также о награждении прокуроров, вроде уже упоминавшегося выше Рогинского.

Между тем органы безопасности хватали наркомов и их заместителей из промышленных наркоматов. Нарком земледелия Чернов исчез 30 октября. Нарком финансов Гринько и нарком лесной промышленности Иванов появились в следующем году на показательном процессе вместе с Бухариным и Рыковым. А вот о заместителе наркома тяжелой промышленности М. Л. Рухимовиче ничего не было слышно после того, как 30 октября он был снят и заменен братом Кагановича — М. М. Кагановичем. В годы всех оппозиций Рухимович был верным сторонником Сталина; еще раньше близко участвовал в интригах Сталина и Ворошилова против Троцкого при обороне Царицына в годы гражданской войны. Рухимович умер в 1939 году. К той же самой категории относился и народный комиссар легкой промышленности Любимов, которого 7 сентября 1937 года сняли с работы вместе с обоими его заместителями. (По-видимому, с Любимовым расправились немедленно. В книге «От Февраля к Октябрю» [Москва, 1957] сказано, что он умер в 1937 году. Но на процессе Бухарина, Рыкова и др. в марте 1938 года имя Любимова упоминалось в связи с бухаринским «резервным центром».)

К концу года, кроме Ворошилова и Кагановича, уцелело совсем немного наркомов. В дополнение к названным выше были арестованы нарком связи Халепский, нарком внутренней торговли Вейцер, нарком тяжелой промышленности Межлаук, нарком просвещения Бубнов, нарком юстиции Крыленко и нарком водного транспорта Янсон. Было также арестовано новое руководство Государственного банка, а потом и следующее руководство и подчиненные им служащие.

Расскажем сейчас более подробно еще об одном аресте. Глава весьма деликатного Наркомата внешней торговли Розенгольц был 15 июня снят и «переведен на другую работу». Тут же исчезли оба его заместителя — Элиава и Логановский. Элиаву расстреляли в том же 1937 году.

Широкоплечий решительный Розенгольц, по национальности еврей, был отличным администратором. В последние несколько лет он сумел приспособиться к новому стилю руководства. Происходил он из семьи революционеров. Рассказывая о себе на процессе Бухарина, где Розенгольц был одним из подсудимых, он говорил: «Уже в десятилетнем возрасте моя детская рука была использована для того, чтобы ночью прятать, а утром вынимать нелегальную литературу оттуда, куда не могла проникнуть рука взрослого». В большевистскую партию Розенгольц вступил, еще не достигнув 16-летнего возраста, а в 16 лет был впервые арестован. В 17 лет он был избран делегатом на съезд партии. Во время революции Розенгольц активно действовал в Москве, а потом отличился на нескольких фронтах гражданской войны. После этого он управлял Донбассом и делал это беспощадно. После кратковременного флирта с троцкистской оппозицией Розенгольц был назначен послом в Лондон. В 1928 году он вернулся в страну и с тех пор находился на ответственной работе. Наркомом внешней торговли он был с 1930 года.

В июньском указе 1937 года об освобождении Розенгольца от занимаемой должности его все еще называли «товарищем» — и некоторое время не трогали. Все это было в полном согласии с обычной практикой Сталина. Решение об аресте

принято, снятие с поста произошло — а потом жертву на несколько месяцев оставляют на какой-нибудь маленькой должности, и несчастный не знает, в какой момент на его голову обрушится удар. Американец, живший в Москве в августе 1937 года, рассказывает о бывшем высокопоставленном советском чиновнике, чья квартира была напротив. После освобождения от своего поста этот человек целыми днями сидел на балконе и ждал ареста. Американец — это был недавно скончавшийся Луи Фишер — писал так: «Ожидание его убивало. Он ждал три недели, жена его чахла на глазах, а НКВД все наблюдало да наблюдало. Наконец, они пришли».

Некоторые вернувшиеся из лагерей после смерти Сталина утверждают, что психологически ожидание ареста было более изматывающим и разрушительным для человека, чем сам арест и последующие допросы. Ожиданием человека доводили до такого состояния, что потом при допросах от него легко удавалось получить что угодно. Таким образом, часть своей работы НКВД выполнял, что называется, не пошевельнув пальцем. Это, разумеется, сберегало силы и энергию сотрудников столь перегруженной работой организации.

В таком положении Розенгольца оставили на много недель. В августе 1937 года он еще был на свободе и даже сделал несколько отчаянных попыток добиться приема у Сталина. Позже, на суде, это было представлено как попытки Розенгольца убить Сталина.

Еще больше пугало это жуткое ожидание жену Розенгольца. Согласно одному описанию, она была «веселой рыжеволосой молодой женщиной, весьма слабо образованной и выросшей в религиозной семье». В эти томительные недели она решила помочь мужу, чем могла.

Когда Розенгольца арестовали и сделали личный обыск, то обнаружили, что в подкладку заднего кармана его брюк был зашит кусочек сухаря, обернутый в тряпочку. А внутри сухаря оказался клочок тонкой бумаги, на котором жена Розенгольца написала восемь стихов из 67-го и 90-го псалмов, чтобы отвести от мужа зло [1]. Вот эти стихи, эти древние выклики беспомощных жертв, обращенные против мучителей:

ПСАЛОМ 67

2 Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, и да бегут от лица Его ненавидящие Его!

3 Как рассеивается дым, Ты рассей их; как тает воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица Божия.

ПСАЛОМ 90

Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится.

2 Говорит Господу: «прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю»!

3 Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы.

4 Перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение — истина Его.

5 Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем,

6 Язвы, ходящей в мраке, заразы, опустошающей в полдень.

---

[1] «Дело Бухарина», с. 548.

Перевод с английского
Л. ВЛАДИМИРОВА

Продолжение следует

ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКЦИИ

[1]) Первое английское издание «Большого террора» вышло в 1968 г.

[2]) Кириленко Андрей Павлович (р. 1906), с 1947 г. первый секретарь Николаевского ОК КПСС, с 1955 г. первый секретарь Свердловского ОК КПСС, член ЦК КПСС (1956—1986), член Политбюро ЦК КПСС (1962—1982; кандидат с 1957 г.), член Президиума Верховного Совета СССР (1958—1982); в 1962—1966 г. первый зам. председателя Бюро ЦК КПСС по РСФСР.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ
КЛУБ
«АЛЬТЕРНАТИВА»

И. ЛЕБЕДИНСКИЙ,
доктор экономических наук

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И ДОПЛАТА

Недавно знакомая кассирша утверждала, что на выдачу аванса настройщику сверхчувствительной аппаратуры у нее уходит больше времени, чем директору предприятия. Токарь-инструментальщик на заводе, где я побывал, получает зарплату, вдвое превышающую зарплату инженера.

Таковы реальности сегодняшнего дня. Они порождены не только неупорядоченностью нормирования труда, уравниловкой, финансовыми извращениями, но и в значительной степени тем, что по аналогии с ценообразованием следовало бы назвать зарплатообразованием. Неуемным стремлением бюрократического аппарата было и остается во что бы то ни стало нивелировать оплату труда, показать, как мало он, чиновник, получает, сколь ничтожно у нас различие в уровне заработков высоко- и низкооплачиваемых категорий трудящихся, искусственно сузить границы материальной заинтересованности, ввести ее в рамки заранее установленного, жестко ограниченного диапазона.

При этом бюрократ, как он это делает почти всегда, цепляется за то или иное выражение В. И. Ленина, отрывает от условий, в которых оно прозвучало, и абсолютизирует во времени. Действительно, в 1919 году В. И. Ленин, как достижение советской власти, отметил, что самый низкий оклад рабочего лишь в пять раз меньше заработка хорошего специалиста. Можно ли этот диапазон применять для наших дней? Он ведь был установлен в период, когда народное хозяйство было разрушено и в стране существовал полунищенский уровень жизни. «Бедность — не социализм...» — эти слова Дэн Сяо-пина характеризуют развитие любой страны, перешагнувшей капиталистическую формацию. А СССР — тем более! Как первой из них. Мы строим хозрасчетную экономику. Самая низкая заработная плата должна существенно превышать прожиточный минимум. Диапазон заработков у нас уже во многих случаях неограничен. Попытки нивелирования оплаты труда в принципе неприемлемы.

Без материальных стимулов ни одно государство существовать не могло и не может. Так оно было, так оно есть и так, очевидно, оно будет. Нужно не отказываться от стимулов, не ограничивать их, а решительно менять, вводить стимулы, отвечающие требованиям хозрасчетных взаимоотношений.

В сталинские времена привилегии были тайными. «Пакеты» — двойные, тройные и более месячные оклады — выдавались за особые заслуги и далее «по инерции», не облагались никакими налогами и взносами. «Подкармливание» в том или ином виде реализовывалось на всех верхних «ступеньках» иерархической лестницы управления. Партийные руководители пьянствовали в квартирах, окна которых были наглухо зашторены. При Брежневе раздача государственных благ приобрела особенно широкий размах, преобразовалась в своеобразную «политику». Явные, «купеческие» и тщательно, на всякий случай, завуалированные стимулы жили и развивались, переходили на новые структуры. Появилась огромная сеть закрытых распределителей, школ и институтов, куда принимали только по протекции, охраняемых милицией медицинских заведений, дач, санаториев и т. д. Структуры облекались в некую, условно неденежную форму. Так родилась, укрепилась, расцвела и ныне здравствующая система привилегий и льгот. Человек в результате все больше и больше стал стремиться не к профессиональному росту, повышению заработной платы, а к бюрократической должности, «теплому» местечку, открывавшему путь к заветному государственному «пирогу». Весьма расчленяясь по категориям и группам работников, условно неденежные доплаты внесли существенные различия в размеры реально получаемых материальных благ. Одному — всевозможные привилегии, льготы, дефициты стали доставаться за пятерых, превращаясь в денежном исчислении в несколько прибавочных зарплат, а пятерым — за одного, и того меньше.

Полный хозрасчет и самофинансирование мы рассматриваем как лекарство от застарелой болезни. Если хозрасчетные взаимоотношения охватят общество и по горизонтали, и по вертикали,— а только при таком условии хозрасчет и будет работать! — то распределение любых благ должно быть приведено к единому для всех измерителю — рублю, причем рублю заработанному, а не дармовому. Для того,

чтобы повысить материальную заинтересованность в труде, стимулировать рост производительности трудящихся, следует изменить как систему образования цен, так и систему образования заработной платы. При этом нужно по возможности оценить в денежном выражении действительно полезные обществу привилегии и льготы, включить их средние значения (по категориям и группам работников) непосредственно в зарплаты, пенсии, стипендии, решительно отбросив устаревшие «добавки», пережившие самих себя, не соответствующие букве и духу перестройки.

Мы все должны четко уяснить: любая доплата, кому бы она ни шла, дается только за счет других. Это — не манна небесная. Материальных благ не хватает. Кто-то получил льготную или бесплатную туристическую путевку, значит, кто-то оплатит аналогичную путевку по повышенной цене. Кому-то «по закону» немедленно предоставлена квартира, значит, кто-то квартиру, на которую тоже имеет законные права, не получил.

Только всеобщее равнение на честно заработанный рубль (при обязательном условии ликвидации товарного «голода») вернет каждого из нас на единственно верный путь профессионального совершенствования, роста производительности труда, максимальной экономии материальных ценностей, причем с ориентацией как на свои собственные, так и на государственные, общественные интересы, которые полностью «состыкуются». Как свидетельствует социологический опрос, 57 % пожелавших дать ответы, заявили, что система льгот и привилегий либо нуждается в серьезных изменениях, либо вообще должна быть отменена. Если же учесть двусмысленности тех, кто вроде бы и не против раздачи благ, но тут же в приписках возражает против них, то число неудовлетворенных системой приблизится к 2/3.

Конечно, переход на хозрасчетное стимулирование потребует вначале определенных государственных субсидий. Против этого могут быть возражения. Но почему, скажите, мы даем дотации сельскому хозяйству, жилищному строительству, службам содержания и эксплуатации жилого фонда, доплачиваем за дешевый детский ассортимент одежды и обуви, за лекарства и выступаем против поддержки материальной заинтересованности? К тому же отметим, что новое зарплатообразование в значительной степени может быть обеспечено за счет перераспределения средств, ныне выделяемых на льготы и привилегии, на непосредственное увеличение зарплат, пенсий и стипендий. Нельзя также забывать, что упорядочение зарплатообразования сулит реальную отдачу в виде роста производительности труда и дополнительного выпуска продукции.

Какой же видится новая заработная плата и ее формирование? Приведем конкретные выкладки. Ориентиром во всех примерах будет служить не зарплата-минимум, как сейчас это делается, а зарплата-максимум в ее первоочередном значении.

На предприятие по ремонту бытовой радиоаппаратуры поступила работать инженер — мать двоих детей. Ее оклад 130 рублей. Проанализируем составляющие в новом исчислении. Согласно постановлению «О мерах по коренной перестройке сферы платных услуг населению» за расширение зоны обслуживания инженер может получать 50 % оклада. Один ребенок женщины устроен в ясли, другой — в детский садик, причем оба бесплатно. Примем, что содержание обоих обходится государству в 140 руб. ежемесячно.

С точки зрения хозрасчетных отношений, максимальная заработная плата в данном случае должна быть установлена в размере 335 руб. (с выплатой при условии расширенной зоны обслуживания). Деньги за содержание детей в детских учреждениях следует полностью взимать с матери (с родителей). Тогда мать скорей либо договорится с подругой, работающей по вечерам, по очереди следить за детьми, либо призовет на помощь бабушку. И 140 руб. останутся в кармане! Семья безусловно выиграет. А не проиграет ли государство? Подумаем, посчитаем. В детские садики сейчас ходят 17,5 млн. малышей, т. е. более чем половина. А сколько их ждет в очереди! Чтобы обеспечить всех, нужно количество мест увеличить почти в 1,5 раза. А может быть, не нужно? Может быть, лучше доплачивать матери и сэкономить более 10 млрд. руб. капитальных вложений? Сэкономить, наконец, на эксплуатационных расходах?

У нас сегодня, с одной стороны, разрешены неограниченные заработки — только работай, трудись! — для кооператоров, работников предприятий, перешедших на аренду, вторую модель хозрасчета; установлены неограниченные премии, в частности, работникам торгового обслуживания населения... С другой стороны, подавляющее большинство заводов и фабрик, находящихся на первой модели хозрасчета, по-прежнему не вправе превысить установленный им лимит заработной платы. Фонд зарплаты для них остается нормативом номер один. Мы пытаемся, таким образом, сочетать экономическую демократию и жесткий финансовый консерватизм, что неприемлемо.

На операции напыления запланирован технологический брак в размере 10 деталей, каждая стоимостью 18 рублей. Зарплата рабочего 230 руб. Премия за экономию электроэнергии 30 руб. А не правильнее ли будет рассчитать заработную плату на максимум — 440 руб.? Разве можно выплачивать не расценку, а полную стоимость детали? Почему бы и нет? Рабочий спас деталь от верного выхода в брак. Пусть и получит сполна! Это стимулирует его на безупречное выполнение операции, на творческий подход к повышению качества и экономии. Чем выше окажется личный заработок, жестко привязанный к реальной отдаче, тем лучше будет и рабочему, и государству. А бояться перерасхода фонда зарплаты или превышения средней зарплаты и вовсе нечего — каждый выплаченный рубль будет полностью оправдан.

Ныне разрешены всевозможные совместительства. Это хорошо. А не лучше ли было бы разрешать и даже поощрять совместительства в пределах одного предприятия? Сразу закладывать его в штатные обязанности? К примеру, ассистент кафедры должен выполнять еще работу младшего научного сотрудника или методиста на половину ставки с совмещенным окладом. Вахтеру вменяется проводить уборку помещения, редактору многотиражки печатать материалы вместо машинистки, причем соответственно и зарплата подлежит увеличению. Пусть разворотливый лаборант, снабженец, посыльный и кто угодно еще работает за троих, четверых, четко выполняет их функции и получает за всех зарплату. Только тогда нерадивый, ленивый начнет шевелиться, поймет, что иначе останется без работы.

Основы максимизации заработной платы работников управления, прежде всего его высшего звена, выглядят несколько иначе. Во что обходится государству министр? В 550 руб. ежемесячно? Цифра вызывает улыбку. Что же, министр металлургической промышленности получает меньше сталевара? И куда меньше удачливого кооператора? По ведомости о зарплате именно так и выходит... Не случайно ведь бывший министр финансов СССР Б. И. Гостев в интервью журналу «Огонек», сравнивая труд по его ответственности, длительности, напряженности, назвал полуторатысячные заработки «нечестными». Логика здесь несомненно присутствует. И все же дело в другом. Зарплата, установленная министру и, кстати, по всем инстанциям согласованная с финорганами, далеко не полностью отражает реально выделяемые ему социальные блага. Да и не только руководителям отраслей, ведомств, но и многим другим высокопоставленным чиновникам. Всем им, в частности, «положены» государственные автомобили, шоферы, секретари, машинистки, дачи...

Примем сначала «чистые» деньги. Возьмем, к примеру, управляющего делами Совмина союзной республики. Его оклад — 430 руб. Но управляющий буквально «оброс» привилегиями. Ежегодно он имеет путевку в лучший санаторий за 30 % ее стоимости (любому из нас пребывание на отдыхе в аналогичных условиях обойдется этак рублей в 25—30 в день). При выходе в отпуск кроме того управляющий получит пособие в размере месячного оклада. Ему гарантирована также тринадцатая зарплата. Это — привилегии по-крупному. А сколько их еще «по мелочам»... Возможно, он их и заслужил! Но не будет ли правильнее сразу установить управляющему делами Совмина оклад, предположим, 700 руб. и напрочь лишить каких бы то ни было льгот и привилегий?

Теперь поговорим о министре. О «неденежных» его благах.

Обратимся к иной точке отсчета. Крупный писатель (композитор, драматург, песенник...), книгами которого мы зачитываемся, предположим, не является титулованным администратором, работает только творчески. По времени не меньше, чем почтенный руководитель чиновничьей иерархии. С государством, однако, он пребывает в иных взаимоотношениях. От издательств, журналов, газет, радио, телевидения ежегодно может получать десятки тысяч рублей. На собственные деньги, заработанные тяжелым трудом, содержит секретаря, машинистку, шофера с купленной автомашиной...

Не рациональнее ли будет радикально пересмотреть зарплату министра, наладить точный учет необходимых ему затрат на содержание «команды» и покрыть их ежемесячными денежными добавками, ввести некие элементы хозяйственного расчета? В качестве примера для остальных, тоже высокостоящих. К слову, оценить содержание, как и положено главе отрасли, «Чайки», включая все виды ремонтного и гаражного обслуживания: стоимость бензина и масел, оплату в рассрочку, амортизацию — предположим, в 400 руб., зарплату шофера (полторы ставки) — в 260 руб. Итого: 660 руб., которые и должны органически входить в министерское жалованье. На них министр нанимает шофера (при безусловном соблюдении трудового законодательства) и оплачивает все свои поездки, без исключения, днем ли, ночью ли, на деловое заседание или к больному отцу в деревню — это уж никого не касается. Как облегчилась бы заодно работа контролирующих органов и ГАИ! Точно также в министерское жалованье должны включаться затраты на дачу с обслуживающим персоналом, которая ему заслуженно предоставляется, но фактически «задарма». При условии соответствующих ежегодных отчислений дача может быть приобретена в собственность. В общем, если все учесть, заработная плата министра

«перемахнет», пожалуй, за две тысячи в месяц. И это будет правильно.

Обратимся к директору предприятия. Сопоставление его заработка и заработка руководителя аналогичной капиталистической фирмы настойчиво тянет к выводу, что наш менеджер материально обделен. Так ли уж? Какой администратор США, Англии, Японии, ФРГ ежегодно имеет даровую или весьма льготную путевку на лучший южный курорт? Отправляет, зачастую не тратя ни гроша, любимого отпрыска в нечто, похожее на Артек? Получает бесплатную квартиру со всеми удобствами? Если эти (и другие) социальные блага, которыми наделяется директор, перевести на арифметику денежных расчетов, то кривая его заработной платы устремится круто вверх. Наверно, именно так и нужно сделать!

Автомашины для руководителей предприятий тоже следует оценивать по министерскому принципу. Тогда наверняка директора заводов помельше, победнее, охотно пересядут с «Волг» на более экономичные «Лады», «Москвичи», «Запорожцы». Не будет ли это полезно для всех?

Прочитав написанное, иной финансист схватится за голову: «Помилуйте! Что произойдет со средней зарплатой?!»

Вопрос непростой. Попробуем его разобрать на общем фоне сложившейся ситуации. Полный хозрасчет потребовал отмены строжайшего лимита средней заработной платы. Что и было выполнено. Это сразу же сказалось на темпах роста производительности труда — они быстро пошли «в гору». Давно уже не были такими высокими, как последнее время. Но вот снова начались разговоры о введении прежнего лимита. Оказалось, что темпы роста зарплаты все же опережают темпы роста производительности труда.

Да, меры принимать надо, но меры экономические, а не возвращаться снова к административно-командным мерам, которые нами же самими были осуждены. Мы опять не задумываемся, что непроверенные, некомплексные решения могут иметь и обратное, нежелательное воздействие. Так, на наших глазах получилось с чересчур прогрессировавшим ограничением продажи вина и водки, приведшим к вспышке наркомании, токсикомании, самогоноварения, дефициту сахара, конфет, кондитерских изделий. Не приведет ли жесткое регламентирование средней зарплаты к снижению темпов роста производительности труда? Не противоречит ли это основополагающим принципам перестройки?

Подавляющая часть доплат высокопоставленным чиновникам, о которых мы уже говорили, имеет место и сейчас. Только проходит по другим, полускрытым «каналам». Предлагается элементарно простое решение: сделать доплаты явными и в качестве хозрасчетных элементов ввести в заработную плату. Средняя зарплата при этом, конечно, пойдет вверх. Но зачем закрывать глаза, она ведь и без того куда выше, если учесть доплаты!

Неотражение привилегий и льгот в заработках приводит к определенной путанице, неразберихе в реальной оплате труда. Я, к примеру, не берусь ответить на простой, казалось бы, вопрос: сколько, работая в вузе, получает ежемесячно кандидат наук, доцент с максимальным стажем работы? 320 рублей? Вроде бы так. А вроде бы и нет. Научным работникам предоставлено право на дополнительную жилплощадь, которая оплачивается без излишков. В действительности кто-то кабинет имеет, а кто-то нет... В кооперативных домах вообще указанной льготы не существует — там все равны. Выходит, значит, так: мало того, что удачливый доцент имеет собственный кабинет в государственном доме. Он сравнительно со своим, менее удачливым коллегой имеет еще и льготу по оплате жилплощади, т. е. фактически получает большую зарплату. А ведь по справедливости надо было бы доплачивать тому, у кого нет нормальных условий для научной работы. Реальный размер доцентской зарплаты зависит, следовательно, также от размера комнаты, которая принимается за кабинет. Мало того! Иногда доцент, чтобы иметь возможность спокойно работать, вынужден для кого-нибудь из членов семьи снимать на стороне комнату... Это стоит — ого! — как недешево! Так что доцентскую зарплату де-факто я затрудняюсь оценить.

Кстати, по жилью у нас весьма много привилегий. И я бы сказал — недоразумений. Пенсия у персонального пенсионера вроде и не очень-то большая. Дополняют ее льготы. Персональный пенсионер оплачивает половину квартирной платы, половину израсходованной электроэнергии, газа, воды. Означает все это только одно — размеры пенсии искусственно занижены, социальная защищенность персонального пенсионера гораздо выше. И снова парадокс — больше от льготы выигрывает не малообеспеченный человек, имеющий, предположим, однокомнатную квартиру, а зажиточный, проживающий в 3—4-комнатной квартире. Первый — этак рублей десять, а второй — может быть, и тридцать, и более. По метражу у нас есть нормативы, есть они и по электроэнергии, и по воде, и по газу. Не следует ли упорядочить ситуацию? Всем персональным пенсионерам дать одинаковую добавку к пенсиям и отменить льготные выплаты за квартиру и квартирные услуги. Если пенсионер иллюминацию устраивает, использует электроэнергию для подзарядки соседского аккумулятора или вообще, как довелось наблюдать, создал в одной комнате оранжерею, выращивает и продает тюльпаны, то пусть уж оплачивает перерасход полностью. А тот, у кого метраж маленький, квартирные услуги мизерные, положит себе в карман несколько рублей дополнительно,— они ему никак не помешают. И это будет социально справедливо — человек живет в худших условиях, чем ему положено — вот общество ему и доплачивает. Подобное изменение вполне соответствует требованиям хозрасчета и побудит к экономии.

Иногороднему студенту положено место в общежитии. За место он платит четыре рубля в месяц. Государству оно обходится раз в восемь дороже. Фактическая бесплатность общежития приводит к тому, что ни один проживающий в нем не заинтересован в экономии — затратная экономика работает в полную силу. И так — сколько уже лет! В результате многие общежития доведены до состояния «общаг». А ведь куда было бы полезней всем проживающим в общежитиях студентам увеличить стипендию, к слову, на сорок рублей. А плату за проживание взимать по фактическим расходам. Тогда любой поломанный стул будет означать, как это и должно быть, удар по собственному карману, а сбережение электроэнергии, воды, газа, выполнение текущего ремонта своими силами пополнит кошелек.

Аналогичная система расчетов должна быть (по нашему глубокому убеждению) применена и в рабочих общежитиях. Причем зарплата должна равно увеличиваться на каждого совместно проживающего члена семьи. Таким методом удастся, наконец, навести порядок в общежитиях. Это и есть хозрасчет в быту.

Особый разговор о привилегиях в очередях. Сколько из-за них возникает неприятностей, некрасивых сцен! Молодой «афганец», обойдя других, вдвое старших, покупает килограмм полусъедобной колбасы или дефицитные полуботинки; раз в пять лет, отодвинув записи с жаждущими новоселами, может обзавестись комплектом пользующейся «повышенным» спросом мебели... До чего же мы дошли, устанавливая подобные, уязвляющие человеческое достоинство привилегии? У нас осталась лишь одна очередь, где нет внеочередности, где все равны; парадокс, но это — очередь за водкой.

Как положительное явление перестройки следует отметить сокращение дефицитных наслоений, в принципе чуждых социалистическому обществу. В стране развертывается передача бывших «государственных» особняков организациям здравоохранения и культуры. Ликвидированы многие распределители, некоторые льготы, закрытые лечебные заведения... Процесс этот идет. Но в нем не чувствуется организационного начала. Впечатление, что он стихиен, неуправляем и осуществляется преимущественно как следствие «возмущающих спокойствие» действий и выступлений снизу.

Все привилегии, которые по мнению народа — и только так! — должны иметь место, следует перевести на исчисление в рублях, непосредственно включить в денежные выплаты. Как мы, к примеру, делаем с именными стипендиями студентам — выделяем ведь им не талонами на мясопродукты или зарубежную обувь, а денежные купюры. Доплаты должны быть достаточно весомыми, чтобы старые большевики, инвалиды войны и труда, участники Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты, многодетные матери и т. д. могли пару раз в месяц пойти не в распределитель, не без очереди получить дефицит, а без дрожи за завтрашний день отправиться в кооперативный магазин, на рынок, в «комиссионку» и купить то, что им надо. Они это заслужили и государство обязано их обеспечить. И так, и так благодарить будет народ. Но гораздо этичнее, красивее и, что не менее важно, общедоступнее с точки зрения проверки и управления. Трансформацию привилегий и льгот в денежную форму, на наш взгляд, следует рассматривать как обязательное дополнение к реформе зарплатообразования.

Реформа цен, похоже, приближается с каждым месяцем, с каждой неделей. Оздоровление государственных финансов (с одной стороны) должно быть (с другой стороны) сопровождено оздоровлением покупательной способности трудящихся. От материальной заинтересованности человека сегодня, его устремленности к высшим достижениям заатра, во многом зависит производительность труда, творческий подход к делу, инициативность, трудовой энтузиазм и в итоге — ликвидация товарного голода, насыщение рынка. Если мы не введем зарплату на максимум, если не охватим все материальные стороны жизни хозрасчетными принципами, реформа будет однобокой, уподобится некоему экономическому флюсу. Предупредить это нужно немедленно.

Мы охватили лишь некоторые проблемы формирования заработной платы. Не рассмотренных — куда больше. Особенно в связи с упорядочением нормирования, бригадной оплатой, многократным увеличением доли премий в заработках, стимулирующих и количество и качество выпускаемой продукции и услуг, и безусловно экономически оправдываемых повышением отдачи. Реформа ценообразования, которую тоже еще нужно исследовать и исследовать, должна быть и тщательно продуманной, всенародно обсужденной реформой зарплатообразования.

В. РОНКИН
С. ХАХАЕВ

НА РАСПУТЬЕ

Свою не слишком удачную речь на XIX партконференции писатель Ю. Бондарев начал с прямой подтасовки. «Нам нет смысла разрушать старый мир до основания, нам не нужно вытаптывать просо, которое кто-то сеял, поливая поле своим потом, нам не надо при помощи современных бульдозеров разрушать фундамент еще не построенного дворца...» Незаметно перейдя от «Интернационала» к детской песенке-игре — «а мы просо вытопчем, вытопчем», Бондарев стал обвинять нашу сегодняшнюю прессу в том, что она «разрушает, уничтожает, сваливает в отхожие ямы прожитое и прошлое, наши национальные святыни, жертвы народов в Отечественную войну, традиции культуры...»

Между тем строфа «Интернационала» звучит так: «Весь мир *насилья* мы разрушим до основанья...» Те, кого Бондарев именует «рыцарями экстремизма», «силами быстрого реагирования», обрушивают свои удары именно на мир насилья, на теорию и практику «великого перелома», «ежовых рукавиц», «вялотекущей шизофрении». Неужели Бондарев и ему подобные именно это считают традициями нашей культуры, нашими национальными святынями?

Действительно, история нашей страны как до, так и после 17 года, полна примеров самого жестокого насилия государственной власти по отношению к народу. Причем при Сталине чудовищный маховик насилия раскручивался под звуки «Интернационала», призывавшего как раз покончить с насилием.

Вопрос о том, почему светлые мечты об идеальном обществе привели к кровавой диктатуре, сейчас широко обсуждается в советской литературе, причем не столько в научной, сколько в художественной. Можаев («Мужики и бабы»), Тендряков («Покушение на миражи») прямо обвиняют весь утопический социализм в том, что он предлагал во имя общих интересов уничтожить человеческую личность и тем проложил дорогу к идеологии Нечаева и практике Сталина и Гитлера.

Утописты всех времен и народов пытались сконструировать общество, в котором между личными и общими интересами не существовало бы противоречий. Когда выяснялось, что эти противоречия неизбежны, теоретики разделялись на два лагеря: демократический и тоталитарный. Сторонники демократии видели выход в поисках разумных компромиссов между личностью и обществом, признавая их равноценность и равноправность. («Свободное развитие каждого является условием свободного развития всех».) Другие («тоталитаристы») считали личные интересы несравненно менее ценными, чем общие и предлагали полностью подчинить их общим, не останавливаясь и перед самым жестоким насилием. Поскольку функции организации общественного насилия могло выполнять только государство, интересы общества стали подменяться интересами государства. Если демократическая тенденция рассматривала государство, как общественный договор, являющийся формой компромисса, то «тоталитарная», воскрешая традиции родового сознания, навязывала идею государства-семьи, где вождь, фюрер — отец народа. Соответственно реставрировалась идея о коллективном достоинстве и коллективной вине, отдельный человек терял статус субъекта — субъектом истории становился коллектив.

При этом в западном варианте тоталитаризма (гитлеризме) насилие было сакрализовано и стало одной из идеологических ценностей общества.

В советском обществе, несмотря на неменьший его размах, насилие всегда рассматривалось только как средство.

Вот что писал своей жене узник X павильона Варшавской цитадели 24 июня 1914 г.: «Я помню вечера в нашей маленькой усадьбе, когда мать при свете лампы рассказывала, а за окном шумел лес, как она рассказывала о преследовании униатов, о том, как в костелах заставляли петь молитвы по-русски на том основании, что эти католики были белорусами; помню ее рассказы о том, какие контрибуции налагались на население, как его донимали налогами и т. д. и т. п. И это было решающим моментом. Это повлияло на то, что я впоследствии пошел по тому пути, по которому шел, что каждое насилие, о котором я узнавал, было как бы насилием надо мной лично. И тогда-то я вместе с кучкой моих ровесников дал (в 1894 г.) клятву бороться со злом до последнего дыхания». Письмо это сугубо личное и, следовательно, сомневаться в искренности его нет оснований. Интересно, что думали о насилии полвека спустя те же униаты в кабинетах, украшенных портретом автора этого письма — Ф. Э. Дзержинского?

Как бы ни относились к насилию лично Сталин и его окружение, безусловно, что для абсолютного большинства членов партии насилие все так же оставалось только средством и поэтому тезис об отмирании государства существовал все сталинские годы. Для большинства участников событий насилие было платой за светлое будущее, которое ожидало страну нашу и все человечество.

Хорошим примером эволюции взглядов на сочетание личности и общества является сопоставление таких хрестоматийных стихотворений, как «Железная дорога» Некрасова и «Рассказ о Кузнецкстрое и людях Кузнецка» Маяковского. Некрасов, разумеется, прекрасно понимал значение железной дороги для экономического развития России. Но он, прежде всего, сострадал «униженным и оскорбленным» и ставил вопрос о той цене, которую платил народ за экономическое развитие своей страны. Совсем другая тональность у Маяковского. Цена, уплаченная за строительство Кузнецкстроя не кажется ему чрезмерной, ибо он рассматривал Кузнецк не как очередной экономический объект, а как город-сад — реализацию светлого будущего, извечной мечты утопистов.

Некрасов тоже верил, что русский народ «широкую, ясную грудью дорогу проложит себе», но не рассматривал строительство реальной железной дороги, как непосредственное строительство этого пути.

Точка зрения Маяковского, позволяющая оправдывать любые лишения и любой произвол была широко распространена в 20—30-х годах не только среди руководителей, но и среди рядовых строителей кузнецкстроев. Именно верой в то, что «через четыре года здесь будет город-сад» и создавалась возможность таких чудовищных преступлений, как коллективизация, репрессии 30-х годов и т. п.

Прошло много больше четырех лет, и вот современный Новокузнецк — с экологическими и квартирными проблемами, с безнадежно устаревшим в техническом отношении комбинатом, с отсутствием продуктов в магазинах и спецраспределителями для начальства, коррупцией, пьянкой и всеобщей апатией.

Такой результат в корне подорвал веру в город-сад и коммунистическую идеологию в той ее форме, в какой она еще могла существовать в 30-х годах.

Этим и объясняется отчаянное заклинание Бондарева: «Один грамм веры дороже порой всякого опыта мудреца». И не случайно оно вызвало отнюдь не иронические аплодисменты.

Большинство аппаратчиков до сих пор надеются, что людей и впредь можно заставить верить не собственному опыту, а идеологическим заклинаниям. Они уверяют, что речь идет о спасении идеалов коммунизма. На самом же деле речь идет об оправдании средств.

Систему ценностей (цели) человек не может принимать иначе как на веру. (Вопрос о том, служить ли высоким идеалам, и каким, определяется не логическими рассуждениями, а чисто эмоционально.) В течение тысячелетий общественная мысль выработала гуманистический идеал, который получил столь широкое распространение, что открыто опровергать его почти никто не решается. Другое дело, что для достижения этого идеала различные политические движения предлагают различные средства. И вот именно эти средства и требуют проверки опытом. Негодные средства необходимо отбрасывать — идеалы здесь совершенно ни при чем!

Призывая нас не оплевывать пройденный путь, Бондарев предлагает нам верить в целесообразность сталинских методов, средств, которые ни к чему, кроме всеобщей деградации, не привели.

Признав банкротство старых методов, общественная мысль страны и ее руководство вновь стоят перед той дилеммой, о которой мы говорили в начале статьи:

1. Признать ли личность и общество равноценными и искать пути гармонизации их интересов с помощью компромиссов.

2. Полностью подчинить интересы личности интересам общества-государства путем открытого насилия.

Как показывает *опыт*, второй путь неизбежно приводит к тому, что интересы общества подменяются личными интересами тех, кто занимает высшие ступени иерархии. Насилие как средство гармонизации приводит к обратному результату — к тотальному торжеству личного над общим, только это «личное» обеспечивается для узкого круга руководства, а для всех остальных с помощью того же насилия выдается за «общее».

Именно те, кто надеется быть в этом кругу, и провозглашают устами андреевых, бондаревых и иже с ними пренебрежительное отношение к опыту, подменяя веру в гуманистические идеалы верой в созидательную роль насилия.

Утопическая идеология первых большевиков, не выдержавшая проверки опытом, неминуемо распадается на социал-демократическую и тоталитарную.

При этом тоталитарная идеология в СССР приобретает новые черты — она апеллирует не столько к будущему, сколько к прошлому и приобретает черты национал-социализма. При этом насилие из временного средства построения города-сада становится самостоятельной ценностью, а апелляция к истории используется для подыскивания его жертв, «обидчиков», виновных во всех прошлых,

настоящих и будущих бедах. Уже сейчас раздаются призывы к расправе с евреями, масонами, либералами и т. п. (Призывы, ставшие в Сумгаите кошмарной действительностью.)

Подобного рода идеология имеет, к сожалению, глубокие психологические корни. Если аппаратчики просто эксплуатируют ее, как средство сохранения своих постов и привилегий, то в широких массах она может приобрести влияние, т. к. позволяет снять личную ответственность за свои нынешние беды (во всем виноваты враги!) и за заботу о собственном будущем (государство-семья позаботится о каждом!). Немаловажно и то, что эта идеология санкционирует проявление агрессивности, которая, с одной стороны, является биологической реакцией на стрессовые ситуации (даже у животных объект агрессии не обязательно должен быть виновником стресса), с другой — обещает наиболее простое решение всех проблем. Преодоление этой агрессивности требует высокой гуманистической культуры.

Задачей демократической общественности в настоящее время является не форсированное копирование западных политических структур, а создание единого, по сути своей — антифашистского фронта, направленного против подобного рода тоталитарных тенденций.

При этом необходимо тесное сотрудничество с той частью партийного руководства, которое начало и проводит политику демократизации нашей страны. Это станет возможным, если с обеих сторон будет проявляться стремление к компромиссам и отказ от идеологических ярлыков и непомерных притязаний.

В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «НЕВА»

Мои дневниковые заметки «Сужу и судим буду» опубликованы в девятом номере Вашего журнала. Одна из этих заметок касается судьбы братьев Вознесенских: члена Политбюро, председателя Госплана СССР Николая Алексеевича и его брата, ректора ЛГУ Александра Алексеевича. Оба они были незаконно репрессированы по «ленинградскому делу» в 1950 году и расстреляны, а сестры их и мужья сестер высланы.

Излагая трагическую судьбу этой семьи, я написал, что пересказываю все это по статье, напечатанной в ленинградской молодежной газете «Смена». Но мой пересказ, сделанный по памяти, почти полностью не соответствует содержанию статьи газеты «Смена» от 9 февраля 1988 года, на которую я ссылался. Проверив, к величайшему моему сожалению, это слишком поздно, я продолжал все-таки быть убежденным, что факты, рассказанные в моей дневниковой заметке, не могли быть выдуманы мной, а взяты из какого-то иного опубликованного источника. Однако оказалось, что подобного источника я найти и указать не могу.

Следовательно, моя публикация о судьбе семьи братьев Вознесенских ввела в заблуждение редакцию журнала «Нева», многочисленных ее читателей,— главное же: я предоставил серьезное основание живущим ныне родственникам братьев Вознесенских оскорбиться моей совершенно непростительной небрежностью.

Я хочу, чтобы это мое письмо в редакцию «Невы» дало мне возможность принести свои искренние глубокие извинения.

Израиль МЕТТЕР

ПРОВОКАТОРЫ И ПОЛИЦЕЙСКИЕ

Ф. ЛУРЬЕ

ГАПОН И ЗУБАТОВ

МНОГОЛИКИЙ ЗУБАТОВ

Сергей Васильевич Зубатов родился в Москве в 1863 г. Учась в шестом классе гимназии, он оказался вовлеченным в работу кружка радикальной молодежи. Из гимназии пришлось уйти. Юноши и девушки собирались на квартире Зубатова, а после его женитьбы на А. Н. Михиной, в помещении ее библиотеки, известной на всю Москву. Знавшие Зубатова в тот период его жизни, отзывались о нем, как о человеке умном, интеллигентном, энергичном, бескорыстном и обаятельном.

Увлечение Зубатова радикальными идеями совпало с периодом наивысшего подъема деятельности «Народной воли» и, последовавшим за ним, мрачным временем дегаевщины, временем «кровосмешения» революционеров с полицейскими, когда члены партии гибли от доносов предателей, когда джин провокации, выпущенный Судейкиным, поселился всюду, и люди потеряли доверие к близким и друзьям. Руководитель одного из народовольческих кружков М. Р. Гоц, впоследствии один из основателей партии социалистов-революционеров, вспоминал: «Это было вообще ужасное время. „Народная воля“, истекшая кровью, несомненно шла быстрыми шагами к своему окончательному разложению, но это еще не вошло в сознание действующих революционеров. Им казалось, что все дело только в новой концентрации сил при старых организационных принципах и тактических приемах. Однако сил становилось все меньше и меньше, а наряду с громадными провалами 84 года страшную разрушительную работу совершила получившая начало от „Дегаевщины“ деморализация в революционных рядах. ...Помнится, мне передавали в 85 году, что Зубатова вызвал к себе начальник Московской охранки Н. С. Бердяев, который предложил ему или поступить в шпионы, или быть высланным из Москвы. Зубатов рассказывал, что с негодованием отверг предложение, но на самом-то деле вернее всего тогда же начал свою доблестную службу».

Вызов Зубатова в Охранку состоялся 13 июня 1886 г., и он дал согласие на сотрудничество без колебаний. Период от визита в Охранку до разоблачения, время своей провокаторской деятельности, Зубатов называл «контр-конспиративным». Уж очень не хотелось ему произносить такие слова по отношению к себе, как «агент», «шпион», а точнее — «провокатор». Библиотека Михиной, вокруг которой группировалась радикальная молодежь, превратилась в гнездо провокации. Зубатов агитировал вновь приходивших вступать в революционные кружки, с помощью Московского охранного отделения обеспечивал подпольные типографии оборудованием и шрифтами, писал прокламации, пытался проникнуть в разбросанные по России народовольческие кружки, собирал о членах партии нужные сведения и передавал их в Охранку.

24 октября 1886 г. стараниями Зубатова за решеткой оказались члены кружка Гоца М. И. Фондаминский, умерший в Иркутске в 1896 г., и О. Г. Рубинок, сошедший с ума от избиений и вскоре умерший. Гоцу повезло больше, он умер в 1906 г. на операционном столе берлинской больницы.

5 февраля 1887 г. полиция арестовала шестнадцатилетнего Леонида Меньщикова, впоследствии крупного чиновника Департамента полиции, перешедшего на сторону революционеров. В 1911 г., находясь в эмиграции, он опубликовал открытое письмо министру внутренних дел Столыпину, где, вспоминая свой арест, писал: «С самого начала моего сидения в тюрьме в мою душу закралось подозрение, что я сделался жертвою доноса. Моя догадка нашла себе подтверждение. Очень скоро выяснилось, что я и многие другие были арестованы вследствие предательства одного молодого человека. Имя этого господина Вам должно быть известно; министерство, во главе которого Вы числитесь, платит ему ныне 5000 рублей ежегодной ренты. Это был С. В. Зубатов».

2 мая 1887 г. Московская полиция арестовала около двухсот молодых людей. Эта грандиозная облава производилась не без помощи Зубатова. Двести искалеченных жизней и тысячи жертв впереди. Так началась карьера Зубатова — восходящей звезды полицейского небосклона Российской империи. В 1887 г. его разоблачили народовольцы, и он перешел на легальное положение чиновника Московского охранного отделения.

Благодаря незаурядным способностям и бескорыстной преданности любимому делу, Зубатов быстро занял должность помощника начальника Охранки, а с 1896 г.— начальника. Недоучившийся гимназист оказался много умнее и образованнее своих коллег. Несмотря на повседневную занятость, он много читал специальной, общеобразовательной и революционной литературы, выходившей в России и вне ее. Он нашел себя в политическом сыске. Охранка оказалась его стихией.

Жандармский полковник П. П. Заварзин, коллега и последователь Зубатова, писал о нем: «Зубатов был одним из немногих правительственных агентов, который знал революционное движение и технику розыска. В то время политический розыск в империи был поставлен настолько слабо, что многие чины не были знакомы с самыми элементарными приемами той работы, которую они вели, не говоря уже об отсутствии умения разбираться в программах партий и политических доктринах. Зубатов первый поставил розыск в империи по образцу западноевропейскому, введя систематическую регистрацию, фотографирование, конспирирование внутренней агентуры и т. п.». Зубатов превосходно знал революционное движение заката народничества, в тонкостях революционного движения более позднего периода он разбирался хуже. Что касается политического сыска, то в нем его следует признать мэтром.

После разгрома народничества и появления социал-демократов Зубатов понял, что назрело изменение методов борьбы с революционным движением. Он читал теоретические работы, включая Маркса, изучал практику революционной борьбы, анализировал: «Рабочий класс — коллектив такой мощности, каким в качестве боевого средства революционеры не располагали ни во времена декабристов, ни в период хождения в народ, ни в моменты массовых студенческих выступлений. Чисто количественная его величина усугублялась в своем значении тем обстоятельством, что в его руках обреталась вся техника страны, а он, все более объединяемый самим процессом производства, опирался внизу на крестьянство, к сынам которого принадлежал; вверху же, нуждаясь в требуемых знаниях по специальности, необходимо соприкасался с интеллигентным слоем населения. Будучи разъярен социалистической пропагандой и революционной агитацией в направлении уничтожения существующего государственного и общественного строя, коллектив этот неминуемо мог оказаться серьезнейшей угрозой для существующего порядка вещей».

Зубатов, как ему казалось, нашел блистательное решение, позволяющее отвлечь рабочий класс от желания уничтожить существующий государственный строй. Его замысел отличался завидной простотой: он предложил вытеснить революционеров из рабочей среды и подменить их правительственными агентами, а борьбу политическую борьбой экономической. Зубатов полагал, что для достижения поставленной цели достаточно на средства Департамента полиции создать сеть легальных рабочих организаций, напоминавших западноевропейские профсоюзы и назначить в них своих лидеров — людей, преданных монархическому строю. Зубатов надеялся внешне похожими способами достигнуть противоположных результатов. В апреле 1898 г. он изложил свои мысли в записке на имя обер-полицмейстера Москвы Д. Ф. Трепова, тут же доложившего ее содержание генерал-губернатору великому князю Сергею Александровичу. Получив одобрение и поддержку московских властей, Зубатов приступил к действиям.

Кроме названных лиц, Зубатову почти никто не сочувствовал, но покровительство в. к. Сергея Александровича и Трепова позволило ему реализовать свои замыслы в Москве, Минске, Одессе и позже в Петербурге. Первые результаты показались заманчивыми, и Зубатова в октябре 1902 г. назначили начальником Особого отдела Департамента полиции — главой политического сыска империи. Следом за ним в столичных полицейских учреждениях оказались его бывшие подчиненные по Московскому охранному отделению Л. П. Меньшиков, Е. П. Медников, А. И. Спиридоич и другие.

За время работы в Департаменте полиции Зубатову удалось провести крупные преобразования в политическом сыске. Он ввел новые методы слежки и регистрации, покрыл Россию густой сетью Охранных отделений, во главе которых встали молодые жандармские офицеры. «С появлением этих лиц,— вспоминал один из бывших чиновников Департамента полиции,— все взгляды на революционное движение и, в особенности, на приемы борьбы — совершенно изменились: был провозглашен лозунг, что все агентурное дело сводится к купле и продаже, и что цель оправдывает все средства, хотя бы и не вполне чистоплотные; создалась система исключительных награждений за открытие сенсационных дел, как, например, тайных типографий, складов бомб и т. д., что неизбежно натолкнуло розыскные органы на искусственное оборудование блестящих дел, с помощью которых возможно будет сделать головокружительную карьеру».

Система исключительных награждений существовала и до Зубатова. Высшая администрация почему-то не понимала, что она тем самым содействовала не раскрытию преступлений, а созданию видимости кипучей деятельности, развитию и расширению полицейской провокации. Система исключительных награждений в правоохранительных органах существовала в 1930—1980 гг., когда требовалось наладить небывалый по масштабам процесс истребления людей, и действовала она более эффективно, чем при Зубатове.

Переход в столицу явился концом полицейской карьеры Зубатова. Неожиданно его отстранили от должности и 20 августа 1903 г. выслали в Москву, оттуда во Владимир под гласный надзор полиции с запрещением въезда в столицы.

Причин падения Зубатова можно назвать несколько. Он был умнее и строптивее, чем разрешалось Департаментом полиции, разозлил многих крупных чиновников непривычными преобразованиями, в том числе и министра внутренних дел В. К. Плеве. Плеве верил, что к революционному пролетариату начала XX в. можно применить методы борьбы, оказавшиеся эффективными в 1880-х годах в отношении кучки самоотверженных народовольцев, и поэтому постепенно превращался в идейного противника Зубатова. Зубатовские методы работы были для него чрезмерно тонки. Зубатов понимал, что рано или поздно Плеве захочет от него отделаться, и решил попробовать опередить события. Он искал покровительства у министра финансов С. Ю. Витте, врага Плеве, пытался склонить его на свою сторону. Плеве донесли об интриге, затеянной Зубатовым. Расплата последовала молниеносно и в исключительно грубой форме.

После убийства Плеве опального Зубатова вызвали осенью 1904 г. в Петербург для объяснений, его реабилитировали, дали пенсию, сняли гласный надзор, но на службу не пригласили.

Уже ко времени увольнения Зубатова из Департамента полиции его идеи на практике потерпели поражение. Он недооценил мудрость народа. Когда дело касалось его кровных интересов, он точно формулировал свои требования и не шел за лжеповодырями — полицейскими агентами. Рабочие в своих целях использовали организации, созданные и финансируемые правительством. Тогда экономическая борьба против конкретного хозяина-эксплуататора, заложенная в основу зубатовских организаций, перерастала в политическую борьбу против монархического правления, а лжеповодыри или исчезали, или переходили на сторону боровшегося народа. Злейшие враги зубатовских организаций — капиталисты, привыкшие видеть в рабочем бессловесный придаток производственного процесса, не желали вступить в сговор с Департаментом полиции и более других содействовали краху зубатовщины.

В 1905 г., пока Витте оставался у власти, а страсти вокруг зубатовских новаций несколько улеглись, ему предлагали вернуться на службу в Министерство внутренних дел, но после оскорбительного изгнания, он не пожелал вновь надевать мундир надворного советника.

Зубатов затворнически жил во Владимире, много читал, анализировал результаты внедрения своих изобретений, но взглядов не переменил. Переехав в Москву, он некоторое время сотрудничал в крайне реакционной газете «Гражданин». Ее редактировал и издавал кн. В. П. Мещерский, составлявший с Витте и Зубатовым триумвират, противостоявший Плеве. Зубатов делал и другие попытки заняться литературным трудом, но безуспешно. Те, для кого он писал, считали его опусы скучными и заумными. Сегодняшний читатель прочел бы их с интересом и пользой. В стойкости и последовательности идее монархического управления в совокупности с «полицейским социализмом» ему нв откажешь.

Подтверждение сказанному можно найти в переписке Зубатова с историком революционного движения, редактором журнала «Былое» В. Л. Бурцевым. Так, в письме от 21 марта 1908 г. из Владимира он сообщал своему корреспонденту в Париж: «Я — монархист самобытный, на свой салтык и потому глубоко верующий. Ныне идея чистой монархии переживает глубокий кризис. Понятно, эта драма отзывается на всем моем существе; я переживаю ее с внутренней дрожью. Я защищал горячо эту идею на практике. Я готов иссохнуть по ней, сгнить вместе с нею...».

Из писем Зубатова можно понять, почему он позволил легко себя завербовать в Охранку. Его связь с радикалами началась в период революционного подъема. В годы реакции он ожесточился против тех, с кем посещал революционные кружки, он понял, что борьба с правительством не для него. В отличие от других перебежчиков, Зубатов не искал богатства и чинов.

В первых числах марта 1917 г., узнав об отречении Николая II от престола, Зубатов застрелился. Он начал полицейскую карьеру в качестве провокатора и разработал свой, необычный тип провокации.

ГАПОН

Сразу же по переходе на службу в столицу Зубатов создал кружок рабочих, распространявший на заводах «мысль о возможности серьезных улучшений в жизненных условиях рабочей среды путем развития в ней сословной самодеятельности и взаимной помощи». 21 ноября 1902 г. депутацию кружка благосклонно принял В. К. Плеве, а 10 нояб-

ря митрополит Антоний. В это же время произошло знакомство Зубатова с Гапоном.

Георгий Аполлонович Гапон (1870—1906) родился в селе Беляки Полтавской губернии и происходил из зажиточной крестьянской семьи. В 1893 г. он окончил Полтавскую семинарию по второму разряду с плохой аттестацией и лишь через год с большими трудностями получил выгодное место священника Всесвятской кладбищенской церкви г. Полтавы. В 1898 г. Гапон приехал в Петербург и явился в Синод с рекомендательным письмом. Благодаря покровительству обер-прокурора Синода К. П. Победоносцева и товарища обер-прокурора В. К. Саблера его приняли в Духовную Академию. На первом курсе он был оставлен на второй год за неуспеваемость, через год 25-м переведен на второй курс, затем 47-м — на третий. 21 сентября 1902 г. Гапона исключили из Академии за неуспеваемость. Через голову академического начальства его восстановили на третьем курсе и, наконец, в 1903 г. он окончил Академию 35-м по II разряду. Заключительная часть рецензии на его выпускное сочинение «Современное положение прихода в православных церквах греческой и русской» гласила: «Работа небольшая (70 стр.) и написана компилятивно большей частью. Признается однако вполне удовлетворительною для степени кандидата богословия».

И в семинарии, и в Академии Гапона не любили, студенты — за эгоизм, практичность и заносчивость, преподаватели — за наглость. Из Семинарии его чуть не выгнали за грубость, причины увольнения из Духовной Академии исследователи считают до сих пор невыясненными. Студентом третьего курса Гапона пригласили служить одновременно священником в приюте Синего Креста и Ольгинском доме для бедных, но вскоре отовсюду изгнали за высокомерие, распущенность и нечистое ведение денежных дел. Наверное, громкий скандал, разразившийся в приюте и доме для бедных, послужил причиной увольнения Гапона с третьего курса Академии. В «Журналах» Академии записано, что его отчислили как не сдавшего переходных экзаменов по шести предметам. После восстановления в Академии по требованию митрополита Антония и ее окончания Гапон получил место священника церкви при Петербургской пересыльной тюрьме, числившееся за ним до 31 января 1905 г., когда Синод лишил его сана и исключил из духовного звания.

Первая встреча Зубатова с Гапоном состоялась поздней осенью 1902 г. на Фонтанке, 16, в здании Департамента полиции. Она подробно описана в чрезвычайно бесцеремонных и субъективных воспоминаниях Гапона, продиктованных им в середине 1905 г. Вот как он передает монолог Зубатова: «Я сам ставлю единственной целью своей жизни помощь рабочему классу. Вы, может быть, слышали, что я сперва пробовал это сделать при помощи сторонникоа революции, но скоро убедился, что это был ложный путь. Тогда я сам стал организовывать рабочих в Москве и думаю, что я успел. Там у нас организация твердая. Они имеют свою библиотеку, чтение лекций и кассу взаимопомощи. Доказательством того, что у меня удалась организация рабочих, служит то, что 50 тысяч рабочих возложили 19 февраля венок на памятник Александру II. Я знаю и вы интересуетесь этим делом и хотел бы работать вместе с Вами».

Сохранились записи Зубатова, характеризующие Гапона и освещающие начало его сотрудничества с Департаментом полиции: «Из бесед я убедился, что в политике он достаточно желторот, в рабочих делах совсем сырой человек, а о существовании литературы по профессиональному движению даже не слыхал. Я сдал его на попечение своему московскому помощнику (рабочему), с которым он затем не разлучался ни днем, ни ночью, ночуя у него в комнате...

При сдаче мною должности тому лицу, которое навязало мне знакомство с Гапоном, оказался такой казус: просматривая оправдательные денежные документы, оно увидело запись: "Гапону — 100 рублей" и очень взволновалось, так как само платило ему столько же. Впоследствии это лицо мне призналось, что, будучи вынуждено давать градоначальнику подробные сведения о моих начинаниях в С.-Петербурге по рабочему вопросу и опасаясь быть назойливым в отношении меня своими расспросами, оно приставило ко мне в качестве агента Гапона, которому и платило за осведомление 100 рублей в месяц. Такова была начальная карьера героя 9-го января».

Из сообщения Зубатова следует, что Гапон был завербован не им, а навязан ему в качестве соглядатая подполковником Сазоновым из Особого отдела Департамента полиции. После знакомства с Зубатовым Гапон среди полицейских считался своим человеком. Он объединился с первым зубатовским кружком столичных рабочих и приступил к организации «С.-Петербургского общества взаимного вспомоществования рабочих в механическом производстве». Пока преодолевались трудности с утверждением устава Общества, рабочие под руководством Гапона возбудили ходатайство о разрешении открыть другое Общество с более широкой программой: «Собрание русских фабрично-заводских рабочих в С.-Петербурге».

После неожиданного увольнения Зубатова Гапон удалил из организации всех его ставленников и принялся искать новых покровителей. 14 октября 1903 г. он обратился с пространным письмом к директору Департамента полиции А. А. Лопухину. В нем Гапон последовательно изложил все свои действия по созданию «Собрания» с приведением истраченных сумм, номеров счетов сберегательных касс, указанием ответственных лиц и их адресов. Более всего этот документ, напоминает отчет с ярко выраженными элементами доноса, а его автор — полицейского агента, выполняющего роль посредника между правительством и рабочими. Письмо Гапона является не только отчетом-доносом, в нем сформулирована идеология создаваемого им «Собрания».

Приведу три отрывка из письма. «Нельзя теперь смотреть на растлевающую, все усиливающуюся революционную пропаганду, особенно среди рабочих, с поверхностно-прямой точки зрения, а также нельзя забывать и вообще духа и запросов фабрично-заводских настоящего времени. 〈...〉 Пусть лучше рабочие удовлетворяют свое естественное стремление к организации для самопомощи и взаимопомощи и проявляют свою разумную самостоятельность во благо нашей родины явно и открыто, чем будут (а иначе непременно будут) сорганизовываться и проявлять неразумную свою самостоятельность тайно и прикровенно во вред себе и всему может быть народу. Мы это особенно подчеркиваем — иначе воспользуются другие — враги России. 〈...〉 Одним словом, сущность основной идеи заключается в стремлении свить среди фабрично-заводского люда гнезда, где бы Русью, настоящим русским духом пахло, откуда бы вылетали здоровые и самоотверженные птенцы на разумную защиту своего царя, своей родины и на действительную помощь своим братьям-рабочим». Руководство действиями Гапона Департамент полиции поручил основателю русской школы филеров Е. П. Медникову, человеку малограмотному, по-собачьи преданному Зубатову и сыску. Для его характеристики приведу отрывок из письма Медникова от 30 июня 1905 г. к опальному Зубатову: «Дорогой мой, что творится на белом свете, уму не постижимо. Нужно иметь терпение, чтобы не закрывая глаза, смотреть, видеть и молчать. Кажется весь свет пошел кругом: вертится и вертится. Каждый божий день по несколько убийствов, то бомбой, то из револьверов, то ножом и всякими орудиями; бьют и бьют, чем попало и кого попало; за что-то и Шувалова (Московский градоначальник, убит эсером П. Куликовским.— *Ф. Л.*), ну, кому он что сделал дурного, никто этого не скажет. Так теперь и свободно все стачки проходят и никаких арестов и в помине нет, а террористы палят и палят». Конечно же, Медников не мог руководить серьезным делом государственного масштаба.

Департамент полиции регулярно получал от Гапона реляции о состоянии дел. В них он лгал самозабвенно, лгал мастерски и ему верили, от него слышали только то, что желали слышать. Его следует считать лжецом талантливым. Благодаря этому свойству, Гапон, утаив от хозяев много важного, заслужил у них редкостное доверие. В Департаменте полиции не догадывались об истинных настроениях рабочих, составлявших костяк «Собрания», о положении, которое занимал в нем Гапон. Хозяева были уверены, что от него зависело все, что он полновластный кормчий их детища. Поэтому поведение Гапона в январе 1905 г. оказалось для Департамента полиции полнейшей неожиданностью.

СОБРАНИЕ РУССКИХ ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКИХ ГАБОЧИХ В С.-ПЕТЕРБУРГЕ

Через десять дней после высылки Зубатова из столицы, на Выборгской стороне в доме № 23 по Оренбургской улице (дом не сохранился) в квартире № 1 30 августа 1903 г. открылась чайная — клуб. Деньги на оборудование клуба дал Департамент полиции. В сентябре Гапон составил устав нового Общества, его долго обсуждали в клубе и, наконец, 9 ноября подали в Министерство внутренних дел. 15 февраля 1904 г. Плеве утвердил устав, а 11 апреля новое общество под названием «Собрание русских фабрично-заводских рабочих в г. С.-Петербурге» начало свою деятельность.

На первых порах мероприятия «Собрания» скорее напоминали посиделки с песнями и танцами, чем самые безобидные сходки рабочих. 20 мая Плеве удостоился высочайшей благодарности. Монарх одобрил действия министра внутренних дел, доложившего о «Собрании» как о гапоновской, а не зубатовской организации, состоящей из рабочих, решивших преградить путь в свою среду революционерам и, главным образом, социал-демократам.

Следом за Выборгским отделением, выросшим из клуба на Оренбургской улице, образовались Василеостровское и Нарвское отделения. В июне Нарвское отделение насчитывало 700 человек, а к ноябрю 1904 г. работало одиннадцать отделений «Собрания» в Петербурге и одно в Сестрорецке, они объединяли около 10 000 рабочих. Правление «Собрания» выбрали в апреле. В него вошли И. В. Васильев — председатель, Д. В. Кузин — секретарь, А. Е. Карелин — казначей, Н. М. Варнашев — председатель Выборгского отделения, и

еще несколько человек. Гапон в правление никогда не входил. Четверо основных членов правления, перечисленных выше, составляли «штаб» (так назвал это объединение активный член «Собрания» И. Я. Павлоа) или «тайный комитет» (так назвал его Гапон). Связь Гапона с «тайным комитетом» поддерживалась через Кузина.

«Тайный комитет» сформировался из умных, решительных людей. Кузин и Карелин состояли в социал-демократической партии, Васильев и Варнашев были беспартийными. В честности и искренности никому из них отказать нельзя. Весной 1904 г. члены «тайного комитета» потребовали от Гапона немедленного разрыва с Департаментом полиции. Гапон юлил, выкручивался, объяснял, что получает деньги на содержание «Собрания», иначе негде их взять, обращал внимание комитетчиков, что давал и свои деньги, что никого из членов «Собрания» и выступивших на его собраниях не арестовали.

В течение всего 1904 г. Гапон регулярно получал в Департаменте полиции деньги на организацию, расширение и нормальное функционирование «Собрания». Ему открыто покровительствовали Плеве, митрополит Антоний, Петербургский градоначальник Фуллон. Популярность Гапона и его детища росла. В июле 1904 г. глава московских черносотенцев В. А. Грингмут искал с ним встречи в Петербурге и приглашал посетить Москву.

Назначение П. Д. Святополк-Мирского министром внутренних дел вместо убитого Плеве внесло оживление в общественную жизнь столицы. 6—9 ноября 1904 г. в Петербурге состоялся съезд земских и городских деятелей. А. Е. Карелин вспоминал:

«Начались земские петиции, мы читали их, обсуждали и стали говорить с Гапоном, не пора ли, мол, и нам, рабочим, выступить с петицией самостоятельно, но он отказывался.

Сошлись в то время мы с интеллигентами, Прокоповичем, Кусиковой, Богучарским и еще две каких-то женщины. Просили Кузина привести их. Он привел, и вот в начале ноября, в субботу, четверо нас — я, Кузин, Варнашев и Васильев и эти интеллигенты сошлись у Гапона. ‹...›

Вот тогда-то на этом собрании Гапон объявил свою петицию. Интеллигенты были очень сильно поражены и сознались, что это было лучше их программы, шире».

Обнародовать тогда петицию или «царскую хартию», как называл ее автор, Гапон не хотел. Но еще в начале 1904 г. он говорил: «...Если бы обстоятельства могли сложиться таким образом, чтобы депутация от рабочих могла явиться непосредственно к царю, то, принимая во внимание психологию момента, таким шагом можно было бы достигнуть многого».

Гапон недолюбливал интеллигентов, ему было с ними тревожно. Он опасался, что они ограничат его влияние на рабочих, не подпускал руководителей революционных партий к делам «Собрания», и это ему удавалось. Партийные члены «Собрания» входили в него как частные лица и не информировали свои организации о том, что происходит в «Собрании».

Известный революционер В. И. Невский писал: «Как это ни странно, но революционные организации столицы проглядели тот рост и, вместе с ростом, то постоянное перерождение основанных Гапоном легальных рабочих организаций, которое уже к началу 1904 г. сделало их своего рода рабочими клубами, а не простыми лишь обществами взаимопомощи, какими они являлись при своем зарождении. Причиной этого было частью то, что гапоновские отделы в отличие от зубатовских обществ 1902—1903 гг. не взяли агрессивной политики против рабочего движения. Таким образом, собрания конца декабря 1904 г., когда на почве местного конфликта на Путиловском заводе гапоновское начало открыло борьбу с союзом фабрикантов и заводчиков, застали социал-демократов врасплох».

В конце декабря 1904 г. за Нарвской заставой распространилось известие об увольнении мастером вагонной мастерской Путиловского завода Тетявкиным рабочих Сергунина, Субботина, Уколова и Федорова. Все они оказались членами «Собрания». 27 декабря сходка Нарвского отделения постановила послать депутации к директору Путиловского завода Смирнову, фабричному инспектору Чижову и градоначальнику Фуллону. Смирнов принял депутацию 30 декабря, сказал, что уволен один Сергунин за неумелую работу, Субботин перестал ходить на завод, Уколов предназначался к увольнению, но не уволен, об увольнении Федотова вопрос не ставился. Визит к Чижову не дал никаких результатов, Фуллон обещал содействия. 2 января 1905 г. собрание Нарвского отделения признало объяснения директора завода неудовлетворительными и постановило «поддержать товарищей», то есть начать забастовку.

Конечно же, не Тетявкин и не увольнение рабочего Сергунина, да еще к тому же законное или почти законное, возбудило людей к действию, а отчаяние от голодной, бесправной и беспросветной жизни. В тот же день на Путиловском заводе забастовало 1300 рабочих. 3 января Фуллон разыскал по телефону Гапона и попросил под обещание председателя Комитета министров С. Ю. Витте о восстановлении рабочих прекратить забастовку, но Гапон ответил, что поздно.

Иного ответа Гапон и не мог дать. Он никогда полностью не контролировал действий «Собрания», тем более не контролировал их и в конце декабря — начале января. У Гапона всегда была сильная оппозиция, в лице «Тайного комитета» и актива «Собрания».

Зубатов при создании своих организаций рассчитывал на серую, безграмотную рабочую массу, неспособную выделить из своей среды революционных лидеров. Он был уверен, что поставленный им поводырь будет для всех членов организации непререкаемым авторитетом. Но в начале XX в. русские рабочие были много сознательнее, чем предполагал Зубатов. Из их среды выделялись люди, способные вести за собой, способные противостоять лжелидерам. Гапон это понял, быть может, не сразу, но сделать ничего не мог.

Один из членов оппозиции И. Я. Павлов писал:

«Всем, не знавшим организации на вид, бросался прежде всего Гапон. На самом же деле Гапон не играл той роли, какая ему приписывается. Душою всего дела были супруги Карелины; к ним непосредственно примыкали Харитонов, Иноземцев и др.,— это была прямая оппозиция Гапону вплоть до 9 января. К названным лицам тяготели, как к своим товарищам рабочим, почти все заметные рабочие организации».

Павлов не прав — оппозиция боролась не с Гапоном, шла борьба рабочих за свои интересы против интересов Департамента полиции.

«Ближайшие сотрудники Гапона хорошо его понимали,— продолжал Павлов,— считались с его и желательными и нежелательными сторонами. До самого 9-го января они не только не доверяли вполне Гапону, но даже самым форменным образом следили за ним и за всеми его действиями. Ему было предложено прекратить сношения с охранкой, он это обещал, но, очевидно, эта операция не легко ему давалась, так как сношения все же продолжались. Со своею готовностью идти на компромиссы он, вероятно, и там так запутался, что порвать сразу не было возможности». (Хочу обратить внимание читателя: воспоминания Павлова опубликованы в 1908 г., когда были живы почти все свидетели описываемых им событий.)

3 января 1905 г. от Гапона совершенно ничего не зависело. Бастовал рабочий Петербург, и Гапону следовало или бежать от неконтролируемого им «Собрания» в лоно Департамента полиции, но там он таким никому не был нужен, надо думать он это отлично понимал, или оставаться с рабочими и, не сдерживая революционного порыва, возглавить их. Гапон выбрал последнее и решил идти с рабочими до конца.

Он взвешивал и прикидывал, как бы не прогадать. Он жаждал денег, чинов и почестей, а не блага народного, о котором никогда и не пекся. Конечно же, Гапон и после 3 января оставался аморальным тщеславцем, никакого перевоплощения не произошло, он ни на одну минуту не превратился в революционера. Самая пристойная из бредовых грез Гапона — кресло министра труда в конституционном правительстве. Остальные мечтания выглядели еще менее приличными. 3 января Гапон сопротивлялся, не давал оглашать петиции, не соглашался идти с ней к царю. 4 января Гапон возглавил народное движение.

Рядовые члены «Собрания» всегда считали Гапона своим единственным полноправным руководителем. Ни его связь с Департаментом полиции, ни разногласия с членами Правления им известны не были. Рабочим импонировало, что во главе их организации стоит молодой красивый священник с горящими глазами, что говорит он интересно и просто на понятном им языке. Они сызмальства привыкли слушать и слушаться священников. Гапон не возбуждал в них никаких сомнений. Он был их человеком, не то что интеллигенты из политических партий,— опрятные, холеные, как хозяева с фабрик. Невольно всплывал вопрос: им-то что здесь надо с их замысловатыми призывами? А коли на такой вопрос получить понятный ответ непросто, к интеллигентам относились с недоверием и антипатией. Гапону такое отношение к интеллигентам помогло выполнить главное требование Департамента полиции — не допускать в «Собрание» агитаторов из революционных партий. И ему это удавалось.

ПОДГОТОВКА К ШЕСТВИЮ

Следом за Путиловским заводом в забастовку включились другие крупные заводы Петербурга. За три дня общее количество бастующих достигло небывалой цифры — 150 000 человек. На сходках в отделениях «Собрания» Гапон произносил зажигательные речи, смысл которых сводился к тому, что все, к кому они, рабочие, обращались с мольбой об облегчении невыносимого положения трудового народа, бездействуют, осталось одно — идти к царю искать правду. Гапон говорил умело: «Ну, вот, подам я царю петицию, что я сделаю, если царь примет ее? Тогда я выну белый платок и махну им, это значит, что у нас есть царь. Что должны сделать вы? Вы должны разойтись по своим приходам и тут же выбрать своих представителей в Учредительное собрание. Ну, а если... царь не примет петицию... что я тогда сделаю? Тогда я подниму красное знамя, это значит, что

у нас нет царя, что мы сами должны добыть свои права».

Его слова магически действовали на наивных слушателей, воспринимавших Гапона как пророка. Они как клятву скандировали: «Пойдем!», «Не отступим!», «Помрем!», «Стоять до конца друг за друга!». Тут же приступили к «обсуждению» заблаговременно заготовленной петиции и решили нести ее царю в воскресенье, 9 января.

Приведу окончательный текст петиции, не публиковавшийся в СССР с 1926 года:

«Государь!

Мы рабочие и жители города С.-Петербурга, разных сословий, наши жены, дети и беспомощные старцы-родители пришли к тебе, государь, искать правды и защиты.

Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным трудом, над нами надругаются, в нас не признают людей, к нам относятся как к рабам, которые должны терпеть свою горькую участь и молчать.

Мы и терпели, но нас толкают все дальше и дальше в омут нищеты, бесправия и невежества; нас душат деспотизм и произвол, мы задыхаемся. Нет больше сил, государь! Настал предел терпению. Для нас пришел тот страшный момент, когда лучше смерть, чем продолжение невыносимых мук.

И вот мы бросили работу и заявили нашим хозяевам, что не начнем работать, пока они не исполнят наших требований. Мы немного просили,— мы желали только того, без чего не жизнь, а каторга, вечная мука.

Первая наша просьба была, чтобы наши хозяева вместе с нами обсудили наши нужды. Но и в этом нам отказали. Нам отказали в праве говорить о наших нуждах, находя, что такого права за нами не признает закон. Незаконными также оказались наши просьбы: уменьшить число рабочих часов до 8-ми в день; устанавливать цену на нашу работу вместе с нами и с нашего согласия, рассматривать наши недоразумения с низшей администрацией заводов; увеличить чернорабочим и женщинам плату за их труд до одного рубля в день, отменить сверхурочные работы, лечить нас внимательно и без оскорблений, устроить мастерские так, чтобы в них можно было работать, а не находить там смерть от страшных сквозняков, дождя и снега, копоти и дыма.

Все оказалось, по мнению наших хозяев и фабрично-заводской администрации, противозаконно, всякая наша просьба — преступление, а наше желание улучшить наше положение — дерзость, оскорбительная для них.

Государь, нас здесь многие тысячи и всё это люди только по виду, только по наружности, в действительности же за нами, равно как и за всем русским народом, не признают ни одного человеческого права, даже говорить, думать, собираться, обсуждать наши нужды, принимать меры к улучшению нашего положения.

Нас поработили, и поработили под покровительством твоих чиновников, с их помощью, при их содействии. Всякого из нас, кто осмелится поднять голос в защиту интересов рабочего класса и народа, бросают в тюрьму, отправляют в ссылку. Карают как за преступление, за доброе сердце, за отзывчивую душу. Пожалеть забитого, бесправного, измученного человека — значит, совершить тяжкое преступление.

Весь народ, рабочий и крестьяне, отданы на произвол чиновничьего правительства, состоящего из казнокрадов и грабителей, не только совершенно не заботящихся об интересах народа, но попирающих эти интересы. Чиновничье правительство довело страну до полного разорения, навлекло на нее позорную войну и все дальше и дальше ведет Россию к гибели. Мы, рабочие и народ, не имеем никакого голоса в расходовании взимаемых с нас огромных поборов. Мы даже не знаем, куда и на что деньги, собираемые с обнищавшего народа, уходят. Народ лишен возможности выражать свои желания, требования, участвовать в установлении налогов и расходовании их. Рабочие лишены возможности организоваться в союзы для защиты своих интересов.

Государь! Разве это согласно с божескими законами, милостью которых ты царствуешь? И разве можно жить при таких законах? Не лучше ли умереть, умереть всем нам, трудящимся людям всей России? Пусть живут и наслаждаются капиталисты-эксплуататоры рабочего класса и чиновники-казнокрады, грабители русского народа.

Вот что стоит перед нами, государь, и это-то нас и собрало к стенам твоего дворца. Тут мы ищем последнего спасения. Не откажи в помощи твоему народу, выведи его из могилы бесправия, нищеты и невежества, дай ему возможность самому вершить свою судьбу, сбрось с него невыносимый гнет чиновников. Разрушь стену между тобой и твоим народом, и пусть он правит страной вместе с тобой. Ведь ты поставлен на счастье народу, а это счастье чиновники вырывают у нас из рук, к нам оно не доходит, мы получаем только горе и унижение.

Взгляни без гнева внимательно на наши просьбы, они направлены не ко злу, а к добру, как для нас, так и для тебя, государь. Не дерзость в нас говорит, а сознание необходимости выхода из невыносимого для всех положения. Россия слишком велика, нужды ее слишком многообразны и многочисленны, чтобы одни чиновники могли управлять ею. Необходимо (народное) представительство, необходимо, чтобы сам народ помогал и управлял собой. Ведь ему только известны истинные его нужды. Не отталкивай же его помощи, прими ее, повели немедленно, сейчас призвать представителей земли русской от всех классов, от всех сословий, представителей и от рабочих. Пусть тут будет и капиталист, и рабочий, и чиновник, и священник, и доктор, и учитель,— пусть все, кто бы они ни были, изберут своих представителей. Пусть каждый будет равен и свободен в праве избрания, и для этого повели, чтобы выборы в Учредительное собрание происходили при условии всеобщей, тайной и равной подачи голосов.

Это самая главная наша просьба, в ней и на ней зиждется все; это главный и единственный пластырь для наших ран, без которого эти раны сильно будут сочиться и быстро двигать нас к смерти.

Но одна мера все же не может залечить всех наших ран. Необходимы еще и другие, и мы прямо и открыто, как отцу, говорим тебе, государь, о них от лица всего трудящегося класса России.

I. Меры против невежества и бесправия русского народа.

1) Немедленное освобождение и возвращение всех пострадавших за политические и религиозные убеждения, за стачки и крестьянские беспорядки.

2) Немедленное объявление свободы и неприкосновенности личности, свободы слова, печати, свободы собрания, свободы совести в деле религии.

3) Общее и обязательное народное образование на государственный счет.

4) Ответственность министров перед народом и гарантии законности правления.

5) Равенство перед законом всех без исключения.

6) Отделение церкви от государства.

II. Меры против нищеты народной.

1) Отмена косвенных налогов и замена их прямым прогрессивным подоходным налогом.

2) Отмена выкупных платежей, дешевый кредит и передача земли народу.

3) Исполнение заказов военного и морского ведомств должно быть в России, а не за границей.

4) Прекращение войны по воле народа.

III. Меры против гнета капитала над трудом.

1) Отмена института фабричных инспекторов.

2) Учреждение при заводах и фабриках постоянных комиссий выборных рабочих, которые совместно с администрацией разбирали бы все претензии отдельных рабочих. Увольнение рабочего не может состояться иначе, как с постановления этой комиссии.

3) Свобода потребительско-производственных и профессиональных союзов — немедленно.

4) 8-часовой рабочий день и нормировка сверхурочных работ.

5) Свобода борьбы труда с капиталом — немедленно.

6) Нормальная рабочая плата — немедленно.

7) Непременное участие представителей рабочих классов в выработке законопроекта о государственном страховании рабочих — немедленно.

Вот, государь, наши главные нужды, с которыми мы пришли к тебе. Лишь при удовлетворении их возможно освобождение нашей родины от рабства и нищеты, возможно ее процветание, возможно рабочим организоваться для защиты своих интересов от эксплуатации капиталистов и грабящего и душащего народ чиновничьего правительства.

Повели и поклянись исполнить их и ты сделаешь Россию и счастливой, и славной, а имя твое запечатлеешь в сердцах наших и наших потомков на вечные времена. А не поверишь, не отзовешься на нашу мольбу — мы умрем здесь, на этой площади, перед твоим дворцом. Нам некуда дальше идти и незачем. У нас только два пути: или к свободе и счастью, или в могилу... Пусть наша жизнь будет жертвой для исстрадавшейся России. Нам не жаль этой жертвы, мы охотно приносим ее!

6 января Гапон передал Богучарскому для редактирования текст петиции, которую уже подписали несколько тысяч рабочих, поэтому Богучарский отказался от ее редактирования. Петиция была перепечатана в 15 экземплярах: 11 — для отделов «Собрания», 1 — царю, 2 — министрам внутренних дел и юстиции и 1 — Гапону.

8 января утром солдатам Петербургского гарнизона и прибывшему из провинции подкреплению раздали боевые патроны. Об этом стало известно в городе и жители пришли в беспокойство. Все знали, что готовится мирное шествие. Рабочие хотели идти к царю с одной целью — передать петицию. Но все знали, что боевые патроны предназначены не для забав. Город превратился в военный лагерь, разделенный на части. Все распоряжения исходили от главнокомандующего Петербургским военным округом в. к. Владимира Александровича. Он приказал стрелять по усмотрению.

В этот день в столице не вышло ни одной газеты, поэтому непонятно утверждение директора Департамента полиции А. А. Лопухина о том, что жителей столицы предупредили о запрещении демонстрации и ее разгоне, в случае нарушения

приказа. Мемуаристы выражают свое мнение об угрозе беспорядков 9 января 1905 г., и тем более расстрела, по-разному. Точки зрения их прямо противоположны. Одни были уверены, что ни волнений, ни тем более стрельбы не будет, другие — понимали, что по ним будут стрелять, но сделать ничего не могли.

Правительство противилось шествию, потому что опасалось политических выступлений со стороны революционных партий, не зная или не желая знать, что никаких выступлений, кроме мирной демонстрации, не только не готовилось, но и не замышлялось. Непонятно, почему столь трудно скрываемый факт оказался неизвестным правительству при такой гигантской машине политического сыска. Полиция умышленно или не умышленно не нарисовала правительству правдивой картины революционных настроений, царивших в столице до 9 января 1905 г.

Гапон, предчувствуя возможное противоборство правительства, направил министру внутренних дел князю П. Д. Святополк-Мирскому письмо следующего содержания:

«Ваше превосходительство!

Рабочие и жители г. С.-Петербурга различных сословий желают и должны видеть царя 9 января 1905 г. в 2 ч. дня на Дворцовой площади для того, чтобы выразить ему непосредственно свои нужды и нужды всего русского народа. Царю нечего бояться. Я как представитель „Собрания русских фабрично-заводских рабочих г. С.-Петербурга" и мои сотрудники-товарищи рабочие, даже все так называемые революционные группы разных направлений, гарантируем неприкосновенность его личности. Пусть он выйдет как истинный царь с мужественным сердцем к своему народу и примет из рук в руки нашу петицию. Этого требует благо его, благо обывателей Петербурга и благо нашей Родины.

Иначе может произойти конец той нравственной связи, которая до сих пор существует между русским царем и русским народом. Ваш долг, великий нравственный долг, перед царем и всем русским народом, немедленно, сегодня же довести до сведения его императорского величества как все вышеизложенное, так и прилагаемую здесь нашу петицию.

Скажите царю, что я, рабочие и многие тысячи русского народа мирно, с верой в него, решили бесповоротно идти к Зимнему дворцу. Пусть же он с доверием отнесется на деле, а не а манифесте только, к нам.

Копия сего, как оправдательный документ нравственного характера, снята и будет доведена до сведения всего русского народа.

8 января 1905 года.

Священник Г. Гапон».

Письмо аналогичного содержания было отправлено Николаю II.

Вечером 8 января в редакции газеты «Сын Отечества» собрались литераторы. Им удалось заполучить тексты петиции и письма кн. П. Д. Святополк-Мирскому. Все были взволнованы, они еще утром решили послать делегацию к графу С. Ю. Витте, чтобы поручиться за мирный характер предстоящего шествия. Делегация предполагала просить правительство не стрелять в людей, а вступить в переговоры с представителями «Собрания». Витте заявил, что он этим вопросом не занимается. Действительно, на правительственное совещание 7 января по поводу предстоящего вручения царю петиции председателя Комитета министров не пригласили, не пригласили его и на второе совещание 8 января с военными.

Депутация вернулась ни с чем, а через три дня, в ночь на 11 января, весь ее состав: А. В. Пешехонов, Н. Ф. Анненский, И. В. Гессен, В. А. Мякотин, В. И. Семевский, М. Горький, Е. И. Кедрин и Н. И. Кареев,— был препровожден в Петропавловскую крепость, пощадили только старика К. К. Арсеньева, но позже все же арестовали.

В. И. Ленин об этом событии писал в статье «Трепов хозяйничает», опубликованной 25 января 1905 г. в газете «Вперед»: «...Аресты посыпались как из рога изобилия. Взяты прежде всего члены либеральной депутации, которая в субботу поздно вечером ездила к Витте и Святополк-Мирскому просить правительство о том, чтобы петиция рабочих была принята и чтобы войско не отвечало выстрелами на мирную демонстрацию. Само собою разумеется, что эта просьба ни к чему не привела: Витте отослал депутацию к Святополк-Мирскому, последний отказался ее принять. Товарищ министра внутренних дел Рыдзевский принял делегацию очень сухо, заявил, что убеждать надо не правительство, а рабочих, что правительство прекрасно осведомлено о всем, что происходит, и что оно приняло уже решения, которые не могут быть изменены ни по каким ходатайствам. Интересно, что собрание либералов, выбравшее депутацию, поднимало вопрос о том, чтобы отговорить от шествия к Зимнему дворцу, но присутствовавший на собрании друг Гапона [Д. В. Кузин] заявил, что это бесполезно, что решение рабочих бесповоротно».

В то время, как Святополк-Мирского посетила депутация, он находился с докладом в Царском Селе. После его отъезда Николай II записал в дневнике: «8-го. Был вечером Мирский с докладом. Рабочие ведут себя спокойно, во главе какой-то священник-социалист». Святополк-Мирский обманул монарха. Он счел необходимым убедить Николая II, что в столице наступило спокойствие. Тогда, надеялся он, царь отменит военное положение и удастся избежать кровопролития.

КРОВАВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Утром 9 января все одиннадцать отделов «Собрания русских фабрично-заводских рабочих С.-Петербурга» построились в колонны и двинулись к центру столицы. Празднично одетые рабочие во главе каждой колонны несли хоругви, кресты и портреты Николая II. Шествие напоминало крестный ход, люди пели молитвы и здравицы государю императору.

Гапон шел во главе Нарвского отдела. Его неотступно сопровождал начальник инструментальной мастерской Путиловского завода эсер П. М. Рутенберг. У Нарвских ворот колонна рабочих, вооруженная царскими портретами, натолкнулась на засаду. Кавалеристы с шашками наголо во весь опор двинулись на манифестантов и, разрезав колонну вдоль, промчались от головы до хвоста, развернулись и возвратились тем же путем на место. Устрашающий маневр не подействовал — рабочие продолжали движение вперед. Несмотря на очевидность происходящего, люди не верили, что в них будут стрелять.

Но залп раздался. Он прокатился и, замолкая, смешался с предсмертными стонами и проклятиями. Первыми упали те, кто несли хоругви, кресты и императорские портреты, задние, кто пошустрее, побежали к домам, оставшиеся прижались к земле. Стрельба прекратилась, те, кто могли, поднялись, понимая, что надо спасаться. Тогда грянул второй залп... пауза... третий. Солдаты вели по людям прицельный огонь.

На окровавленном снегу остались лежать люди, кресты, хоругви, портреты. Рутенберг помог Гапону выбраться из груды человеческих тел и укрыться во дворе, забитом корчащимися, стонущими людьми. Здоровые, с помутившимися от страха и непонимания глазами, силились сообразить, что же произошло. После безрезультатной попытки спрятаться за Нарвской заставой, у рабочих, Гапон позволил себя остричь и переодеть. Преобразившийся до неузнаваемости, он легко скрылся от полиции.

Тех, кому удалось прорваться к центру города, войска встречали на Невском, в Александровском саду, на Дворцовой площади. Там орудовала гвардия.

Английский корреспондент Диллон писал: «Я спросил одного придворного, почему сегодня без соблюдения формальностей убивают рабочих и студентов? Он ответил: „Потому что гражданские законы отменены и действуют военные законы. Вас удивляет, что этого никто не знает, и удивление ваше естественно, но в России мы не можем смотреть на вещи, как смотрите на них вы в Англии"». В Зимнем дворце привыкли считать, что со всеми, кто вне его, можно поступать как с бесправными рабами. Правовая культура в России отсутствовала сверху донизу.

В сумерках кареты «скорой помощи» развозили раненых по лазаретам, госпиталям и больницам. Полицейские и солдаты подбирали трупы. Иногда их приходилось силой отбивать у обезумевших людей. Убитых и раненых складывали вместе в подвалах и других помещениях Мариинской, Обуховской и Конюшенной больниц. Хоронили тайком на Преображенском, Смоленском и Волковом кладбищах.

Крупный чиновник Министерства внутренних дел Д. Н. Любимов вспоминал: «Я лично был на Невском между 4 и 5 часами. Впечатление было удручающее. На лицах был виден ужас, у многих озлобление. Все были поражены происшедшим. Совершилось большое нехорошее дело, которого никто не ждал и не ожидал, а почему свершилось, никто не понимал». Электричество не горело, но на цоколях некоторых домов легко различались бурые пятна запекшейся крови. Красноречивые следы дикого, жесточайшего преступления просуществовали несколько дней.

Быть может, бесконечно долгий страшный день 9 января 1905 г. следует считать самым трагическим в русской истории: в этот день пролилась кровь людей, доведенных нуждой и издевательствами до отчаяния, не замышлявших насилия и беспорядков, людей, ведомых под пули священником С.-Петербургской пересыльной тюрьмы честолюбцем Георгием Аполлоновичем Гапоном.

Возможно, при зарождении «Собрания» Гапон действовал, искренне убежденный в своей правоте: рабочим требуется поводырь из своих, мог размышлять он, а не интеллигентов, им нужна своя внепартийная организация, которая не втягивала бы рабочих в политическую борьбу, а содействовала улучшению их материального положения, тихо и методично занимаясь взаимопомощью — нечто напоминающее профсоюз из наиболее мирных. Гапон понимал, что народ нельзя держать в такой нищете и бесправии и, возможно, верил, что царь при его участии сотворит справедливость.

Нам известен один реализованный вариант того, что могло произойти 9 января 1905 г. Но если бы не безумная ошибка — расстрел мирного шествия, и Николай II принял бы петицию и начал робкие конституционные преобразования... Кто знает, по какому пути пошла бы Россия и каким был бы мир сегодня...

Но кровь пролилась, и от крови, пролитой 9 января 1905 г., пошел новый отсчет истории с новым ее пониманием. Правда, к которой люди шли долгим мучительным путем исканий и колебаний, вдруг открылась им в один день: царь вовсе не отец родной, вовсе не добрый, царь — первый враг трудового народа, царь — изверг, окруживший себя слугами, способными погубить и себя, и Россию.

Весь вечер Гапона переправляли из одного места в другое. В. Д. Бонч-Бруевич свидетельствует: «Прибежав на квартиру к литератору И. Д. Батюшкову якобы на несколько часов, Гапон на самом деле пробыл там против желания хозяина несколько дней, как рассказывал мне покойный писатель. ...Мне рассказывали очевидцы, посещавшие тогда Гапона, что он был очень спокоен, держался непринужденно, не выказывал никаких признаков волнения и совершенно не боялся...» От Батюшкова он перебрался в чье-то имение и вскоре без приключений оказался за пределами империи.

ТОРГИ

Член РСДРП А. С. Мартынов писал: «Гапон, как известно, после 9-го января бежал за границу вместе с Рутенбергом и приехал в Женеву. Он произвел на нас впечатление человека с темпераментом, хитрого, себе на уме и абсолютно невежественного, темного. Он сейчас же заявил о своем желании вступить в партию. Мы через Плеханова это вежливо отклонили: „Узнайте, дескать, раньше, батюшка, что значит социал-демократия“. Тогда он стал бегать от нас к эсерам и от них к нам со своим адъютантом Рутенбергом, хлопоча об объединении партий, которые он мечтал возглавить, как признанный „герой революции“. Мы вначале ему не мешали „мечтать“, желая использовать для революции его популярность среди питерских рабочих. Но очень скоро мы убедились, что никакой пользы из него больше не выжмешь».

Живший в это же время в Женеве А. В. Луначарский вспоминал: «В одно утро (середина февраля.— *Ф. Л.*) Владимир Ильич, встретившийся со мной за чашкой кофе, сказав мне несколько таинственно, что накануне он виделся с Гапоном, которого привез один „небезынтересный человек“ и который ведет переговоры с разными революционными организациями, в том числе и с нами, большевиками, относительно некоторых совместных действий.

В тот же день вечером почти вся наша группа (не помню точно, кто был, а кто не был) встретилась с инженером Рутенбергом, будущим убийцей Гапона, который в то время возил его по революционным кружкам Европы, и с самим Гапоном. ⟨...⟩

После нескольких бесед Ленин пришел к выводам, по отношению к Гапону нелестным. Он прямо говорил нам, что Гапон кажется ему человеком поверхностным и может оказаться флюгером, что он больше уходит во фразу, чем способен на настоящие дела, и вообще действительно серьезным вождем, хотя бы и для полусознательных масс, являться не может». Много места характеристике Гапона и его встречам с В. И. Лениным отвела в своих воспоминаниях Н. К. Крупская. Они не имеют расхождений с изложением А. В. Луначарского.

В. И. Ленин неоднократно писал о Гапоне. Первое фактически упоминание относится к 18 января 1905 г.: «Что поп Гапон — провокатор, за это предположение говорит тот факт, что он участник и коновод зубатовского Общества». И чем больше отдалялись события 9 января, тем решительнее звучало в устах В. И. Ленина определение Гапона как провокатора.

Приведу выдержку из характеристики, данной Гапону 18 марта 1905 г. одним из деятелей революционного движения, находившимся, как и Гапон, в эмиграции: «Человек он очень неинтеллигентный, невежественный, совершенно не разбирающийся в вопросах партийной жизни. ⟨...⟩ Оторвавшись от массы и попав в непривычную для него, специфически интеллигентскую среду, он встал на путь несомненного авантюризма. По всем своим ухваткам, наклонностям и складу ума, это социалист-революционер, хотя он называет себя социал-демократом и уверяет, что был таким еще во время образования „Общества фабрично-заводских рабочих“. Ни о чем другом, кроме бомб, оружейных складов и т. п., теперь не думает. Есть в его фигуре что-то такое, что не внушает к себе доверия, хотя глаза у него симпатичные, хорошие. Что в нем просыпается при соприкосновении с массой — мне трудно сказать, но вне массовой стихии он жалок и мизерен, и, беседуя с ним, спрашиваешь себя с недоумением: неужели это тот самый...».

Эти строки написаны до того, как стали известны связи Гапона с Охранкой. Летом 1905 г. произошло несколько тайных встреч Гапона с известным авантюристом И. Ф. Манасевичем-Мануйловым, чиновником особых поручений при председателе Комитета министров гр. С. Ю. Витте. Гапон, как человек неуравновешенный, без каких бы то ни было политических убеждений, любящий роскошь, ухарские кутежи, деньги, драгоценности, поддающийся влиянию, легко возбудимый, был без труда обработан и изъявил согласие на возобновление сотрудничества с представителями правительства.

Несколько позже, в Финляндии между Гапоном и литератором В. А. Поссе произошел следующий разговор:

«— На что же вы рассчитывали,— спросил я,— когда 9 января вели рабочих на Дворцовую площадь к царю.

— На что? А вот на что! Если бы царь принял делегацию, я упал бы перед ним на колени и убедил бы его при мне же написать указ об амнистии всех политических. Мы бы вышли с царем на балкон, я прочел бы народу указ. Общее ликование. С этого момента я — первый советник царя и фактический правитель России. Начал бы строить Царство Божие на земле...

— Ну, а если бы царь не согласился?

— Согласился бы. Вы знаете, я умею передавать другим свои желания.

— Ну, а все же, если бы не согласился?

— Что же? Тогда было бы то же, что и при отказе принять делегацию. Всеобщее восстание, и я во главе его.

Немного помолчав, он лукаво улыбнулся и сказал:

— Чем династия Романовых лучше династии Гапона? Романовы — династия Гольштинская, Гапоны — хохлацкая. Пора в России быть мужицкому царю, а во мне течет кровь чисто мужицкая, притом хохлацкая».

Диалог этот выдает необыкновенный цинизм и бесовское тщеславие Гапона, вновь завербованного Департаментом полиции, его безудержное стремление к власти, почестям, богатству. Такие мысли рождаются в головах, взращенных в дремучих глубинах бесправной Российской империи. Сколь же много общего видим мы в размышлениях Гапона и Судейкина. Как поразительно они похожи, как одинаково проявилось в этих людях необузданное тщеславие и отсутствие морали, как веет от них средневековьем.

В конце декабря Гапон окончательно вернулся в Россию. Среди рабочих он сохранил популярность и ореол героя. Но сам он твердо знал, что после Кровавого воскресенья с помощью революционных выступлений ему карьеру не сделать. Бывший старший помощник заведующего Особым отделом Департамента полиции Л. П. Меньшиков считал, что возобновление сотрудничества Гапона с начальником политической части Департамента полиции П. И. Рачковским следует отнести к апрелю — маю 1905 г., времени его пребывания за границей.

В России Гапону понадобились сообщники, и ему показалось, что вербовка Рутенберга не представит особого труда. Выбор Гапона поддержал Рачковский.

ВОЗМЕЗДИЕ

Предложение сотрудничества с Департаментом полиции потрясло и оскорбило Рутенберга. После первого разговора с Гапоном он заболел и слег. С момента вербовки в январе 1906 г. и до публикации записок в конце 1909 г. Рутенберг не находил покоя.

От описания событий восьмидесятилетней давности и сегодня становится тоскливо и жутковато.

При первом разговоре Рутенберг не смог скрыть своих чувств. Гапон забеспокоился и предложил соглашаться на сотрудничество с полицией, чтобы убить Рачковского, а если выйдет случай, то и начальника столичной Охранки А. В. Герасимова... Чего только не было в речах Гапона — глупость, подлость, алчность, цинизм...

Рутенберг выехал в Гельсингфорс (Хельсинки) для консультации с членами ЦК партии социалистов-революционеров. Главным действующим лицом в разговорах с Рутенбергом был Азеф, предложивший ему считать продолжение контактов с Гапоном заданием партии. Они обсудили поведение Рутенберга в сложившейся ситуации, в том числе, согласие на свидание с Рачковским, на чем настаивал Гапон. Азеф требовал убийства Гапона или убийства Гапона и Рачковского. Встреч с Азефом было несколько, почти все они проходили в присутствии третьих лиц, поэтому записки Рутенберга следует считать вполне надежным источником информации. Поведение Азефа в деле Гапона ему не понравилось с самого начала, но ни с кем другим из членов ЦК он связаться не смог. Рутенберг говорил Азефу, что он не член Боевой организации и участвовать в террористических актах не желает.

Позже выяснилось, что Азеф вел переговоры с Рутенбергом без ведома ЦК. Когда же в ЦК узнали о возобновлении сношений Гапона с Рачковским и предложении Рутенбергу сотрудничать с Департаментом полиции, постановили устроить суд над Гапоном с участием представителей ЦК. Интересно отметить, что Азеф не поставил в известность свое начальство из Министерства внутренних дел о шагах, предпринимаемых в отношении Гапона. Странная позиция полицейского агента Азефа оставалась необъясненной до появления воспоминаний А. В. Герасимова, сообщившего о полном разрыве отношений между бывшим начальником русской заграничной Охранки П. И. Рачковским и Азефом и их взаимной ненависти. Возможно, Азеф вознамерился с помощью Рутенберга избавиться от своего бывшего начальника — Рачковского, у них были свои счеты. Возможно, Азеф собирался создать покушение, раскрыть его старым хозяевам и таким способом возобновить сотрудничество. Можно предложить и другие объяснения странного поведения Азефа...

В апреле 1906 г. Азеф возобновил сотрудничество с политической полицией, но в подчинении Герасимова.

А. В. Герасимов сталкивался по роду своей службы и с Гапоном, и с Рутенбергом. Приведу здесь несколько отрывков из его воспоминаний: «Этому тщеславному человеку (Гапону.— *Ф. Л.*) было лестно вновь и вновь слышать подтверждения своих героических подвигов: однако и более реальные радости имели для него привлекательность. ...Эти сведения говорили мне, что судьба революционера Гапона не должна меня особенно заботить. Он не грозит никакой опасностью государственному порядку. ...В сущности, Рачковский принимал в свои секретные сотрудники человека, о котором почти ничего не знал,— кроме того, что однажды он сыграл роль революционного вождя, а теперь полюбил вольготную жизнь, вино и женщин. Можно ли было что-нибудь строить на такой основе? ...Рутенберга же я знаю лично; во время одного допроса я обстоятельно наблюдал его и вынес впечатление, что это непреклонный человек и убежденный революционер. Смешно поверить, чтобы его удалось склонить на предательство и полицейскую работу».

Характеристики, исходящие от Герасимова, особенно интересны для нас, потому что они пришли с другой стороны, из-за перегородки, из вражеского стана, и их мало. Но воспоминания Герасимова еще интересны и тем, что они доказывают правдивость воспоминаний Рутенберга. У Герасимова и Рутенберга совершенно отсутствуют расхождения при описании одних и тех же событий. Я не склонен предполагать, что Герасимов списал их у Рутенберга. У него в этом не было необходимости.

Приведу описание разговоров во время совместной трапезы Рачковского, Гапона и Герасимова в столичном кафе Де Пари. Герасимов: «Я спрашивал Гапона о его жизни в качестве революционера. Гапон разговорился. Он рассказывал заметно охотно, хвастливо преувеличивая и стремясь вызвать у меня убеждение, что он все знает, все может, что все двери перед ним открыты. Мне скоро стало ясно, что он, если даже и видел немало, то плохо ориентируется и неправильно понял многое. В сущности, люди, о которых он говорил, были ему чужды. Он не понимал их поступков и мотивов, которые ими руководят... Особенно он распространялся на тему о том, имеют ли они много или мало денег, хорошо или плохо они живут,— и глаза его блестели, когда он рассказывал о людях с деньгами и комфортом. Внезапно я его спросил, верно ли, что 9 января был план застрелить государя при выходе его к народу. Гапон ответил: „Да, это верно. Было бы ужасно, если бы этот план осуществился. Я узнал о нем гораздо позже. Это был не мой план, но Рутенберга... Господь его спас...“». Никаких других свидетельств о подготовке убийства царя 9 января 1905 г. нам неизвестно.

Вернувшись в Петербург, Рутенберг решил действовать сообразно развивавшимся событиям. «Я обратился к группе рабочих, членам партии,— писал Рутенберг,— рассказал им, в чем дело. Один из них Гапона хорошо знал так же, как Гапон его.

Видя во мне представителя партии, вполне мне доверяя, рабочие все-таки не могли примириться с мыслью, что Гапон — полицейский провокатор. Было решено, что я в их присутствии предъявлю Гапону обвинения».

В конце марта 1906 г. Рутенберг на имя П. И. Путилина нанял в Озерках на углу Ольгинской и Варваринской улиц дачу Звержинской. 28 марта на даче собрались рабочие. Рутенберг спрятал их так, чтобы они могли хорошо слышать все происходившее в соседних помещениях. Он встретился с Гапоном в условленном месте и привел его на дачу. То, что услышали рабочие, не предполагал услышать даже Рутенберг.

«— Надо кончать. Чего ты ломаешься? 25 000 — большие деньги.

— Ты ведь говорил мне в Москве, что Рачковский дает 100 000?

— Я тебе этого не говорил. Это недоразумение. Они предлагают хорошие деньги. Ты напрасно не решаешься. И это за одно дело, за одно (выдача членов Боевой организации эсеров.— *Ф. Л.*). Но можно свободно заработать и сто тысяч за четыре дела. ⟨...⟩

— А если рабочие, хотя бы твои, узнали про твои сношения с Рачковским?

— Ничего они не знают. А если бы и узнали, я скажу, что сносился для их же пользы.

— А если бы они узнали все, что я про тебя знаю? Что ты меня назвал Рачковскому членом Боевой организации, другими словами, выдал меня, что ты взялся соблазнить меня в провокаторы, взялся узнать через меня и выдать Боевую организацию, написал покаянное письмо [министру внутренних дел П. Н.] Дурново?» Эти строки, опубликованные в 1909 г., читали участники описанных событий.

Со слов одного из свидетелей разоблачения Гапона известный революционер Л. Г. Дейч вспоминал: «Как подробно рассказал мне недавно самый молодой из слышавших эту беседу рабочих (назову его Степаном) их страшно томил этот, казавшийся неимоверно долгим спор Гапона с Рутенбергом. Для них (рабочих.— *Ф. Л.*) давно уже вполне выяснилась возмутительная роль Гапона, и они хотели бы уже выйти из засады, но Рутенберг все не открывал их двери, запертой на замок снаружи. Между тем состояние их было ужасно тяжелым.

— Не могу передать, какое отвратительное состояние ожидать с минуты на минуту, что вот придется убить человека,— сказал т. Степан».

Гапона повесили на крюке, вбитом в стену над вешалкой в прихожей, не раздумывая, не сговариваясь, все было сделано в едином порыве. Лишь 30 апреля полиции удалось обнаружить его труп.

Приведу рапорт С.-Петербургского уездного исправника от 3 мая 1906 г. о похоронах Гапона: «В дополнение рапорта от 30 минувшего апреля за № 1297 доношу вашему превосходительству, что сего мая тело убитого Георгия Гапона предано земле на Успенском городском кладбище, что по Финляндской ж. д., похороны окончились в $1^1/_2$ час. дня и прошли спокойно. Обедня началась в 10 час. утра и к этому времени стал стекаться рабочий народ, которого было до 200 человек, в числе рабочих были женщины.

Собравшиеся рабочие пропели похоронный марш, начинающийся словами „Вы жертвою пали...“, затем стали говорить на могиле речи рабочие: что Гапон пал от злодейской руки, что про него говорили ложь и требовали отмщения убийцам. Затем послышались среди присутствовавших крики: месть, месть, ложь, ложь. После этого пропели вечную память, и, исполнив гимн „Свобода“, начинавшийся словами „смело, товарищи, в ногу“, все рабочие покинули кладбище, закусив в буфете, и спокойно разошлись.

На могиле похороненного поставлен деревянный крест с надписью „Герой 9 января 1905 г. Георгий Гапон“.

Сделанный мною по случаю похорон усиленный наряд полиции из урядников и стражников на Успенском кладбище снят. Исправник Колобасев № 1297 3 мая 1906 года».

БАЦИЛЛА ПРОВОКАЦИИ

«Собрание русских фабрично-заводских рабочих г. С.-Петербурга» стоит особняком в истории русского политического сыска. Кроме других зубатовских порождений, его сравнивать не с чем. Но если внимательно присмотреться, то в зародыше «Собрания» можно обнаружить хрустальную мечту Судейкина о революционной партии во главе с полицейским агентом. Зубатов с помощью гапонов пытался развить эту идею. Ее провал завершился Кровавым воскресеньем.

После каждого крупного поражения полицейская провокация возрождалась в той же или еще худшей форме. Поражения, провалы, неудачи политического сыска ничему полицейские службы империи не учили. Ставка на провокацию оставалась главной.

Гапон провалился, но провокация продолжала здравствовать. При Столыпине все зубатовское искоренялось и заменялось еще более циничной провокацией, нашедшей одобрение в правительственных кругах. Ею занимались Рачковский, Комиссаров, сам Столыпин со своими подручными из Министерства внутренних дел.

Приведу обращенные к Столыпину слова Л. П. Меньщикова, много сделавшего для разоблачения методов политического сыска: «Кто же и что эти деятели политического сыска, те сытые и довольные люди, огромные полчища которых пожирают миллионы денег, выбитых из обнищавшего народа, и нагло распоряжаются судьбой своих ближних, притесняют, гонит и давят их?

Я знал их, они беседовали со мной, я жил с ними. Хищники, льстецы и невежды — вот преобладающие типы охранных сфер. Пошлость и бессердечие, трусость и лицемерие, вот черты, свойственные мелким и крупным героям „мира мерзости запустения“. Что руководит поступками этих людей? Я видел, что одних гнала сюда нужда в хлебе насущном, других соблазняла мысль о легкой наживе, третьих влекла мечта о почестях, жажда власти. Но я не встречал среди них людей, которые бы стояли на своем посту действительно во имя долга; служили бы делу ради высших интересов.

И то обстоятельство, что у стяга, на котором Вашими стараниями восстановлены политические пароли монархической триады (самодержавие, православие, народность.— *Ф. Л.*), собираются, по преимуществу, люди нечестные, бездарные и некультурные, вовсе не объясняется случайностью; это закономерное явление, ибо на Ваши лозунги не откликаются люди другого облика; это результат естественного подбора, так как самодержавный режим уже многие десятилетия отметает от общественной и государственной деятельности все наиболее добросовестное, искреннее и талантливое, губит в тюрьмах, ссылках и каторгах бесчисленное множество молодых сил, а людей неукротимой энергии, способных на самопожертвование, толкает на крайности и надевает на них Ваши, именно Ваши, господин Столыпин, галстуки».

Мерзость запустения и процветающие в ней провокация и произвол присущи не только монархическому строю, но и любому тоталитарному режиму. Гапоны и зубатовы появляются там, где отсутствует правосознание и царит беззаконие. Провокация и произвол будут цвести махровым цветом, пока преградой им не выстроится стена из действующих демократических законов.

Михаил
ЗОЛОТОНОСОВ

УСОМНИВШИЙСЯ ПЛАТОНОВ

(«Чевенгур», «Котлован»)

Поскольку вооруженные восстания только разрушают, а утопии ничего не создают, вы самым естественным образом пришли *к критике* существующего порядка, и в этом вы были велики, в этом вы были нашими учителями. Социальная критика — это великое творение нашего века, искупление жалкого времени, в которое мы живем.

А. И. Герцен. «Русский коммунизм»

Чем больше обещает юность в будущем, тем она смешнее в настоящем.

Прохор Годяев, мыслитель XVIII века

Предчувствуя длительную паузу в диалоге с читателями, которая действительно наступила после опубликования повести «Впрок» (1931), Андрей Платонов не без иронии закончил это произведение словами прощания: «Расставаясь с товарищами и врагами, я надеюсь, что коммунизм наступит скорее, чем пройдет наша жизнь, что на могилах всех врагов, нынешних и будущих, мы встретимся с товарищами еще раз и тогда поговорим обо всем окончательно».

Именно теперь, когда напечатаны «Чевенгур», «Котлован» и «Ювенильное море»[1] и тем самым созданы условия для восстановления полноты платоновской художественной концепции реальности, непрерывности и внутренней логики процесса постижения писателем смысла жизни — теперь-то и возникают условия для того разговора, который сам он иронически откладывал до наступления коммунизма.

[1] В этот список также должны быть внесены пьесы Платонова «Шарманка» («Театр», 1988, № 1) и «14 Красных избушек, или „Герой нашего времени"» («Волга», 1988, № 1). Первая пьеса была написана в 1929 году, вторая — в 1932—1933. Однако платоновские идеи рождались, на мой взгляд, в прозе, в пьесах же Платонов эти идеи лишь использовал.

Мысль Платонова понятна вполне: разговор невозможен, когда вся реальность в пределах некоторых географических границ априори объявлена «коммунистичной» и выведена из зоны критики, а всякое сомнение в «коммунистичности» в любой момент может привести к тому, что писателя объявят «вредителем» и «врагом социализма». И именно в это время — в эпоху, которую теперь примирительно именуют «противоречивой», но в которую ни противоречия, ни сомнения в правильности происходящего, ни сатира уже не предусматривались внутренним распорядком социальной жизни, когда, говоря платоновскими же словами, «скорбь аннулировали», писатель нерасчетливо и упорно, одно за другим создает произведения, в которых разрушительные начала — критика, сомнение и сатира — становятся строительным материалом виртуозно сделанной прозы.

Особенности произведений Платонова, о которых пойдет речь здесь, можно объединить в единую концепцию, которую я называю «усомнившийся Платонов». Сомнение было направлено на себя, свои взгляды и на Мир, на официальную идеологию и политику.

На судьбу Платонова и его произведений решающим образом повлияло полное несоблюдение писателем правил литературного этикета, принятых «можно» и «нельзя». Проза Платонова — это проза со снятыми запретами. Самые разные уровни в равной мере охвачены разрушением стереотипов: от сочетания понятий и слов на уровне языка до запретных политических тем авторитарной эпохи, до сюжетов и положений, которые даже сейчас выглядят «странно».

В статье «Международная буржуазия и Карл Каутский — ее апостол» Н. И. Бухарин цитировал К. Каутского. «Большевистский режим,— писал Каутский,— означал практически не построение нового, высшего, независимого от капитала способа производства, а исключительно грабеж собственников при одновременном застопоривании процесса производства, что вскоре привело к громадному обнищанию государства. Не будучи в состоянии противодействовать этому, они (большевики.— *Н. Б.*) увидели свое непосредственное спасение в том, чтобы разграбить более богатую Европу, для чего им опять-таки понадобилась мировая революция...» (Н. И. Бухарин. В защиту пролетарской диктатуры. М.; Л.: 1928, с. 77).

Нетрудно заметить довольно полное совпадение высказывания Каутского с сюжетом «Чевенгура», в котором после убийства буржуазии в уездном городе Чевенгуре пролетарии перестают трудиться (ибо труд признан «пережитком жадности и эксплуатационно-животным сладострастием... способствует происхождению имущества, а имущество — угнетению»)

и пользуются сначала накоплениями уничтоженной буржуазии, а затем — когда они исчерпались — довольствуются равенством в нищете. При этом «странствующий рыцарь» Копенкин, совершающий все свои подвиги верхом на Пролетарской силе во имя Розы Люксембург, уже подумывает о походе в Германию — туда, где находится могила его «дамы».

Еще пример. В книге «Терроризм и коммунизм» Л. Д. Троцкий писал о том, что Каутский в одном из своих сочинений, посвященных русской революции, привел текст мандата, якобы выданного «рабочим советом Мурзиловки»: «Совет уполномачивает настоящим тов. Григория Сареева по его выбору и приказанию реквизировать и привести в казармы для надобностей расположенного в Мурзиловке Брянского уезда артиллерийского дивизиона 60 женщин и девушек из класса буржуазии и спекулянтов. 16 сентября 1918 г.» (Л. Д. Троцкий. Терроризм и коммунизм. 2-е изд. М.; Л.: 1925, с. 100).

Приведя текст этого «мандата», Троцкий писал, что распорядился провести расследование, и оно показало, что ни в Брянском уезде нет Мурзиловки, ни в подходящем по названию селе Мурзвьевка того же уезда не было никакого артиллерийского дивизиона. Но дело в данном случае совсем не в этом. В повести Платонова чевенгурцы тоже отправляют Прокофия Дванова за женами, правда, наказывают брать не из «класса буржуазии», а худых и изнемогших, чтобы они «не отвлекали людей от взаимного коммунизма».

Безусловно, для Платонова в таком наказе — воспоминание о собственных лихих утверждениях: «Равноправие мужчин и женщин — это благородные жесты социалистов, а не истина — и истиной никогда не будет... Кто хочет истины, тот не может хотеть и женщины. А истины начинает хотеть все человечество. Тут не гибель женщины, а другое...» («Воронежская коммуна», 9 ноября 1920 г.).

Но несомненно также и то, что указанные совпадения, как и некоторые другие, провоцировали современников на вполне определенные политические реакции. И становится понятным, почему сам Платонов откладывал окончательный разговор о своих произведениях конца 1920-х годов до наступления коммунизма. Своими тотальными сомнениями писатель вторгся в историю столь широким фронтом, столь безоглядно, что разговор обо всех без исключения вопросах, затронутых в этих произведениях, во многом затруднителен даже сейчас. Взять хотя бы такую кощунственную аналогию: если социализм может быть построен в одной стране (вопрос, о котором вожди спорили в течение всего третьего десятилетия и который, кстати говоря, нашел прямое отражение в самом «Чевенгуре»: «пролетариат Чевенгура желает интернационала...»), то почему он не может быть построен в одном уезде? А Чевенгур и есть «государство в государстве», резко отличающееся от окружающей его губернии общественно-экономическим строем. И наоборот: не несет ли с неизбежностью «социализм в одной стране» черт «чевенгурского коммунизма» в масштабах одного уезда?

1

Возможны два «чистых» типа утопического сознания.

Первый тип — органичный, народный, рождающий миф, сказку об идеальном жизнеустройстве, о прекрасной жизни.

Второй тип — теоретический, относящийся к систематизированному знанию.

Чевенгурская утопия — результат взаимодействия двух этих типов: органичное утопическое мышление уже разрушено и преобразовано господствующими идеологемами эпохи, которые и сами, оказавшись в контакте с народными представлениями, претерпели существенные изменения. Такое *взаим*овлияние особенно хорошо видно на примере описания экономической системы «чевенгурского коммунизма» — сложной трансформации народных сказочных представлений об идеальном в «нездешнем царстве».

«...На том свете,— фиксироаал В. Я. Пропп,— перестают производить и работать, там только потребляют, и волшебные средства, приносимые оттуда, обеспечивают вечное потребление... В стране мертвых никогда не прекращается еда. Если принести такую еду оттуда, то еда эта и на земле никогда не будет исчерпана... Такие представления таят в себе очень большую социальную опасность: они приводят к отказу от труда» (В. Я. Пропп. Исторические корни волшебной сказки. Л.: 1986, с. 291).

В «Чевенгуре» Платонов с дидактической наглядностью показывает именно такой отказ от труда. И в то же время демонстрирует, чем подобный отказ обоснован, какими новыми идеологемами мотивирован. И наоборот, показано, как сами эти идеологемы изменились, как они исказились старыми, еще «сказочными» представлениями.

Теоретический тип вносит в созерцательный народный утопизм иллюзию быстрой и практической достижимости чуда. Отсюда напористость и агрессивность описанных Платоновым носителей утопического сознания, возникшего из взаимодействия двух типов: из «мыслистых» странников-созерцателей русских сказок герои превращаются в нетерпеливых делателей. Однако центральное место в романе занимают не эти «делатели».

Если подбирать жанровое определение, то «Чевенгур» должен быть назван *идеологическим романом*, в котором на роль героини выходит идея: Платонов, как и Достоевский — по известному определению Б. М. Энгельгардта — «изображал жизнь идеи в индивидуальном и социальном сознании... Подобно тому как центральным объектом для других романистов могло служить приключение, анекдот, психологический тип, бытовая или историческая картина, для него таким объектом была „идея“» (Б. М. Энгельгардт. Идеологический роман Достоевского. В кн.: Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы. Сб. 2, М.; Л., 1924, с. 90).

Для Платонова такой «идеей», прежде всего, стали утопические представления времен собственной молодости, которые с десятилетней дистанции писатель увидел совершенно иначе, едва ли не каждое из них изобразив в «Чевенгуре» и «Котловане».

Апология сознания, противопоставление его инстинкту — важнейшая черта идеологии Платонова начала 1920-х годов. «Сознание, интеллект — вот душа будущего человека, которая похоронит под собой душу теперешнего человека — сумму инстинктов, интуиции и ощущений»,— писал Платонов в одной из своих ранних программных статей.

В произведениях конца двадцатых годов писатель критикует теоретическое сознание, «теоретического человека» (в «Усомнившемся Макаре» — «научного»), который противопоставлен не «практическому человеку», работнику, а человеку, не утратившему инстинктивного чувства жизни, органичность мировоззрения. «Делатель», лишенный такого чувства,— явление самое опасное. Отсюда пародийное изображение «делания», оторванного от жизни, и одновременно отречение от собственных теорий достижения «золотого века».

Андрей Платонов, «Золотой век, сделанный из электричества»: «Золотой век кто ждал через тысячу лет, кто через миллион, а кто совсем не ждал его... А мы не ждем, а делаем его и сделаем через десять лет...» («Воронежская коммуна», 13 февраля 1921 г.).

В «Чевенгуре» те же идеи излагаются уже следующим образом:

«Покушав пшенной каши в хате Достоевского, Дванов и Копенкин завели с ним неотложную беседу о необходимости построить социализм будущим летом. Дванов говорил, что такая спешка доказана самим Лениным».

«Так за кем же дело, товарищи? — воодушевленно воскликнул Достоевский.— Давайте начнем тогда сейчас же — можно к новому году поспеть сделать социализм!»

«Граждане,— с устрашением и дрожью сказал всем Копенкин.— ...Социализм придет моментально и все покровт. Еще ничего не успеет родиться, как хорошо настанет!»

Но в размышлениях о мгновенности наступления социализма заметно, что Платонов интересуется не только и даже не столько содержанием утопических идей (для него лично они — момент преодоленный), сколько утопическим мышлением как таковым, демонстрирующим независимость исходной идеи (в данном случае идеи социализма или коммунизма — различий между этими понятиями платоновские герои не знают) от той жизненной практики, в которую эту идею собираются внедрять, «насаждать». Платонов ведет речь именно о путях и обстоятельствах (в основном, трагических) превращения теории в практику, идеи в реальность. Проблема, которая для социалистических идей во всех их исторических разновидностях, действительно, явилась крайне важной, ибо социализм оказался той единственной общественной формацией, которая сначала «вычислялась» на бумаге, создавалась в теории, а уже затем переносилась в реальность. Да и обращение Платонова именно к периоду «военного коммунизма» как конкретному материалу отнюдь не случайно: в течение нескольких лет продолжался социальный эксперимент, состоявший в практическом осуществлении теории «чистого», бестоварного социализма.

Впрочем, писатель исследовал утопическое мышление как таковое, изучая свойственный ему способ «материализации» идеи. Он показывает, что именно из-за «мгновенности» и «буквальности» (как основных свойств утопического мышления) идея так и остается отчужденной от реальной жизни — либо оказываясь голой декларацией, ничего не меняющей по сути («коммунизм у нас уже есть, а рысаков в нем мало»), либо приводя к имитации тех внешних признаков, которые на самом деле должны были стать следствиями глубинных процессов, затронувших сущность.

Чепурный говорит: «Когда пролетариат живет себе один, то коммунизм у него сам выходит», преобразуя и в теории, и на практике известное марксистское положение о том, что при коммунизме не будет эксплуататорских классов. Преобразуя таким образом, что утверждается и совершается обратное: нет эксплуататорских классов, уничтожены,— значит, это уже коммунизм. Такая же логика рассуждений и у Копенкина: «Мое дело — устранять враждебные силы. Когда все устраню — тогда оно само получится, что надо». И уж совсем пародийно звучат слова о «конце истории» или буквальное выполнение лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», выразившееся в том, что дома в Чевенгуре после того, как из них изгнаны заселявшие их буржуи, сняты со своих мест и перетащены вплотную друг к другу.

Платонов остро ощутил то, что спустя несколько лет четко сформулировал Н. А. Бердяев: «...Русская коммунистическая революция, наверное, очень изумила бы Маркса, ибо совершенно противоречит его учению и даже опровергает его» (Н. А. Бердяев. Судьба человека в современном мире: К пониманию нашей эпохи. Paris, 1934, с. 18).

Возможно, не стоило бы так подробно перечислять и анализировать все эти следствия мгновенной и буквальной реализации идеи коммунизма. Но за ними стоит не только практика «насаждения» социализма в 1929 году путем ликвидации кулачества как класса на основе сплошной коллективизации, проводимой бешеными темпами, но и некий русский культурный архетип. Указание на последний Платонов дает в том же «Чевенгуре», упоминая вымышленное сочинение вымышленного писателя Николая Арсакова «Второстепенные люди», изданное в 1868 году. Реальной в этой ссылке является дата: в 1868 году Достоевский заканчивал «Идиота». Спустя год он приступил к «Бесам», доказывая в этом романе, по существу, то же самое, что Н. Арсаков своим сочинением: «Люди... очень рано почали действовать, мало поняв. Следует, елико возможно, держать свои действия в ущербе, дабы давать волю созерцательной половине души. Созерцание — это самообучение из чуждых происшествий. Пускай же как можно длительнее учатся люди обстоятельствам природы, чтобы начать свои действия поздно, но безошибочно, прочно и с оружием зрелого опыта в деснице... Достаточно оставить историю на пятьдесят лет в покое, чтобы все без усилий достигли упоительного благополучия».

Вера Засулич, близкая родственница нечаевца Успенского (а ведь именно об этом типе людей и написаны «Бесы»), вспоминала, что для него было характерно «решать спорные практические вопросы сперва в теории, в принципе и затем уже,— Нечаев знал это,— раз признавши что-нибудь в теории, Успенский не отступал перед практическим выводом, как бы ни был он тяжел для него» (В. Засулич. Воспоминания. М.: 1931, с. 51).

Если к году издания «Второстепенных людей», 1868-му, добавить пятьдесят лет, которые Николай Арсаков отводил на достижение без усилий «упоительного благополучия», сразу определится следующий исторический период, давший обильную пищу для тех же самых размышлений над вмешательствами в ход истории, над процессом превращения идей, теорий в практику. Замечаниями о том насыщены последние письма и статьи В. И. Ленина. По-своему это волновало высланного в ноябре 1922 года Н. А. Бердяева, по-своему — сменовеховца Н. В. Устрялова[1], по-своему — наследников Ленина. Не случайно уже в 1924 году два наиболее видных партийных теоретика, Л. Д. Троцкий и Н. И. Бухарин, подчеркивали глубокое осознание Лениным «служебной роли всяческих теоретических построений, как бы высоки они ни были» (Н. И. Бухарин. Ленин как марксист. В кн.: Н. И. Бухарин. Атака. 2-е изд. М.: 1924, с. 259. См. также: Л. Д. Троцкий. Новый курс. М.: 1924, с. 44—47). На торжественном заседании Коммунистической академии 17 февраля 1924 года Н. И. Бухарин говорил именно о том, что «Владимир Ильич владел марксизмом, а не марксизм владел Владимиром Ильичем». И как бы предчувствуя будущие катастрофы и катастрофические, необратимые ошибки, продолжал: «...Одна из самых характерных черт у Владимира Ильича... заключалась в осознании практического смысла каждого теоретического построения и любого теоретического положения. Очень часто мы между собой... даже подтрунивали над слишком практическим отношением Владимира Ильича к целому ряду теоретических вопросов... мне кажется, что это наше подтрунивание целиком должно быть обращено против нас самих. Ибо в нем ведь сказалось не что иное, как специфически интеллигентская узость, привычка „книжников“, ограниченность узких специалистов: журналистов, литераторов или людей более или менее занимающихся теорией как своей собственной профессией».

Этот контекст, безусловно, имеет первостепенное значение и для «Чевенгура», и для «Котлована», затронувших политические аспекты инобытия коммунистической идеи. Однако в творчестве Платонова политические аспекты являются конкретизацией куда более общей, философской постановки вопроса о соотношении «идеи» и «вещества». Я уже говорил о том, что утопическое сознание, изображенное Платоновым, возникает как результат разрушения народного и замены его другим типом, условно именуемым «теоретическим». Что происходит при таком разрушении и замене, каковы важнейшие следствия? Платонов показывает два. Во-первых, сказочный искатель-созерцатель превращается в «делателя», который и стремится претворить «идею»

[1] «Неудержимо развивающийся процесс обмирщения коммунистического экстремизма есть истинно-действенная в глубоко плодотворная самокритика русской революции. Она неизбежно приведет и уже приводит к подлинному русскому Ренессансу» (Н. В. Устрялов. Обмирщение.— «Россия», 1923, № 9, с. 17).

в «вещество». В «Чевенгуре» остается только один искатель старого типа — Александр Дванов, и его одиночество подчеркнуто тем, что все остальные (за исключением, может быть, лишь странного Симона Сербинова) «чудесную страну» уже не ищут, а пытаются создавать практически. Да и в сознании самого Дванова созерцательность едва ли не вытеснена.

Во-вторых, народное сознание претерпевает глубокие внутренние изменения, вытесняясь «теоретическим». Эти изменения заключаются в том, что внутренне нерасчлененное, лишенное какой-либо системной упорядоченности, народное утопическое сознание, соответствующее созерцательной установке, сменяется жесткой системой представлений о мире, о материи, сознании и соотношении между ними, отвечающей новой, деятельной, ориентации человека.

Если попытаться проанализировать логику мышления и поведения персонажей «Чевенгура» и «Котлована», то окажется, что такая система есть, причем она довольно высоко организована и всей массой своих черт весьма напоминает идеалистическую систему Платона. Можно сказать, что именно превращение народного утопического сознания в системно организованный идеализм и показывает Платонов в «Чевенгуре» и «Котловане».

На первый взгляд, сближение Платонова с Платоном (см. статью С. Семеновой, «Новый мир», 1988, № 5, с. 219) представляется натяжкой или каламбуром. Но нельзя забывать, что именно Платон является родоначальником жанра утопии («Государство»), не надо упускать из виду и того обстоятельства, что с критикой идеализма Платонов выступил еще в одной из своих самых ранних статей, напечатанной в газете «Воронежская коммуна» 17 и 20 октября 1920 года. Статья называлась «Культура пролетариата» и больше всего похожа на реферат, главная цель которого — критика идеализма.

Идеализм, изображенный в «Чевенгуре», начинается уже с самой расстановки основных сил изображенного мира, с оторванности «вещества существования» от «идеи существования», оторванности, выражающей непостижимость Мира. Многие герои — то самое «вещество существования» — обречены на мучительное незнание своей собственной «идеи» или «истины». Это имеет непосредственное отношение к вопросу, который в философии именуется «основным». А решать его Платонов пытался еще в статье 1922 года «Пролетарская поэзия»: «Мы знаем только мир, созданный в нашей голове,— писал он.— От этого мы отрекаемся навсегда. Мы топчем свои мечты и заменяем их действительностью... Мы ненавидим всякие понятия, даже понятие материи. Для нас ценны не наши представления, а вещи. Под материей мы разумеем сумму явлений действительности... Истины хочет все мое тело. А чего хочет тело, то не может быть нематериальным, духовным, отвлеченным. Истина — реальная вещь» («Кузница», 1922, № 9, с. 28—29).

В статье 1922 года постижимость истины обоснована вульгарно-материалистически: отменой понятий, в том числе понятия «материя», упразднением деления на материю («тело») и сознание («истину»).

В произведениях конца третьего десятилетия Платонов возвращается к этим вопросам: он не опровергает собственный вульгарный материализм, а изображает идеалистическое мировоззрение. Именно потому «Котлован» начинается с утверждения непостижимости истины, которое высказывает бродяга Вощев. «Все живет и терпит на свете, ничего не сознавая,— сказал Вощев близ дороги и встал, чтоб идти, окруженный всеобщим терпеливым существованием.— Как будто кто-то один или несколько немногих извлекли из нас убежденное чувство и взяли его себе».

Прибывший из Москвы в Чевенгур Симон Сербинов делает Александру Дванову знаменательное признание, касающееся Сони Мандровой: «Вас она помнит — у вас в Чевенгуре люди друг для друга как идеи, я заметил, и вы для нее идея; от вас до нее все еще идет душевный покой, вы для нее действующая теплота». Иными словами, идея обладает самостоятельной «витальностью», она существует помимо своего воплощения.

По Платону, идея — акт божественного мышления и образец, по которому создается чувственно воспринимаемая вещь. В мире, описанном Платоновым, идея играет примерно ту же роль: и как идея человека, и как идея коммунизма.

Для Платонова идея — вечный и самодовлеющий акт божественного мышления. В «Чевенгуре» именно так понята идея коммунизма, и не случайно «Совет социального человечества Чевенгурского освобожденного района» помещается в храме, а ревком заседает на амвоне. Такой «богоданный» коммунизм подобен природному явлению, и нет ничего удивительного в том, что расчет губернии делает на его «самозарождение среди масс»: раз идея социализма уже есть, то, «может, и социализм уже где-нибудь нечаянно получился...». Идея обладает самостоятельной силой и собственностью, как говорил Гегель, «волевой деятельностью».

По Платону, идея есть *общее* для всех обнимаемых ею *отдельных* предметов. У Платонова человек, пытающийся постичь идею, стремится понять именно смысл общего существования: в чувственно воспринимаемом отдельном, в жизни «безвестных людей, живущих по своим одиноким законам», идеи нет и быть не может. Только исходя из всех этих представлений можно понять, почему Александр Дванов покинул Соню Мандрову и почему спустя год или два «его сердце наполнилось стыдом и вязкой тягостью воспоминания: когда-то на него от Сони исходила теплота жизни...». «И он,— пишет далее Платонов,— мог бы заключить себя до смерти в тесноту одного человека и лишь теперь понимал ту свою несбывшуюся страшную жизнь, в которой он остался бы навсегда, как в обвалившемся доме».

Заключение в «тесноту одного человека» не дает надежды понять общее, понять *идею человека,* чувство мешает работе сознания (ум лучше души, учил Платон). Не случайно про Соню говорится, что она «была еще полна ощущений жизни, мешавших ей правильно думать», а про Федора Федоровича Гопнера, наоборот, что «жизнь его, утрачивая всякие вожделения, подсушенная утюгом труда, сжалась в одно сосредоточенное сознание, которое засветило глаза Гопнера поздней страстью голого ума».

У Платона идея вечна и не зависит от пространства и времени. С этим связаны представления о коммунизме как конце всемирной истории, окончательной остановке времени и развития и бессмертии человека: «неизвестно, настанет ли зима при коммунизме или всегда будет летнее тепло, поскольку солнце взошло в первый же день коммунизма...». И наоборот, ребенок, умерший в Чевенгуре, заставляет Копенкина усомниться в истинности здешнего коммунизма.

Идеи познаются посредством интуиции ума, а не интуиции чувства,— эта платоновская идея выражена в «Чевенгуре» со всей возможной наглядностью. Акцент в романе сделан не только на «уме», но и на непосредственности усмотрения, то есть на интуиции, которая добавочно снабжена лишь одним признаком — классовым.

«Недоделанный вежливо и внимательно спросил: „А что такое социализм, что там будет и откуда туда добро прибавится?“. Копенкин объяснил без усилия: „Если бы ты бедняк был, то сам бы знал, а раз ты кулак, ничего не поймешь“».

По возрению Платона, изложенному в «Федре», местопребывание идей — «занебесная область». «...Эту область занимает бесцветная, без очертаний, неосязаемая сущность, подлинно существующая, зримая лишь кормчему души — уму...» (Платон. Соч. в 3 томах, т. 2. М.: 1970, с. 183).

У Андрея Платонова такой «занебесной областью» оказываются воды озера Мутево: туда уходит отец Александра Дванова в «Происхождении мастера» («он видел смерть как другую губернию, которая расположена под небом, будто на дне прохладной воды,— и она его влекла»); туда же уходит и сам Александр Дванов в финале «Чевенгура». Его уход следует в романе сразу же за разгромом Чевенгурской коммуны бандитами (о которых, кстати, много писали газеты Воронежской губернии в мае 1921 г.) и потому может быть понят как попытка уйти в область обитания чистой идеи для того, чтобы, наконец, понять ее, ибо трагический конец коммуны оказывается следствием слепого претворения идеи коммунизма без понимания ее сущности.

Через три года после Великой французской революции немецкий гуманист Вильгельм фон Гумбольдт написал книгу, публикацию которой прусская цензура запретила: «Идеи к опыту, определяющему границы деятельности государства». Под влиянием революции во Франции Гумбольдт задумался о многих проблемах и среди них — о принципах применения теории к действительности.

«...Существуют идеи, которые мудрый человек никогда не пытался бы претворить в действительность... Необходимо соблюдать самую большую осторожность в применении даже наиболее последовательных теорий, даже таких, которые вызывают наименьшее сомнение» (В. фон Гумбольдт. Язык и философия культуры. М.: 1985, с. 133—134).

Аналогичную проблему и в связи с таким же поводом — революцией — поставил в «Чевенгуре» Платонов. «Следует, елико возможно, держать свои действия в ущербе, дабы давать волю созерцательной половине души»,— такой был сделан вывод устами вымышленного писателя Николая Арсакова.

Но из сопоставления платоновского идеализма с системой взглядов героев Андрея Платонова выясняется и другое: предметом описания оказывается не просто идея, но идеалистическое мировоззрение, которое социализм, из утопии уже превращенный в науку, подвергает «вторичной утопизации». Исследованию идеализма на эстетическом уровне и соответствует *идеологический роман,* который в творчестве Платонова означает превращение писателя из «делателя» в «созерцателя», из выразителя тех или иных идей и мировоззрений в их описателя. К подобной «созерцательности» Платонов также пришел через преодоление программ и установок своей молодости. «Засуха 1921 г.,— писал он в автобиографии,— произвела на меня чрезвычайно сильное впечатление, и, будучи техником, я не мог уже заниматься созерцательным делом — литературой» («Подъем», 1971, № 2, с. 100; автобиография от 29 сентября 1924 г.).

Из начинающего писателя-созерцателя

Платонов опять превратился в «делателя», и идеологические формулы «Кузницы» помогли ему выразить такое понимание своего места в мире: «Пролетарская поэзия есть преображение материи, есть борьба с действительностью, бой с космосом за его изменение... Наша поэзия есть действительное, а не мысленное преображение вселенной, отвечающее... внутренней необходимости человечества...» («Кузница», 1922, № 9, с. 31).

Однако наступает момент, когда «задумчивость среди общего темпа труда» побеждает опять, и возникает и укрепляется позиция «вненаходимости», которая захватывает в поле своего действия и собственные идеи Платонова: писатель становится «другим» по отношению к себе самому.

2

Широко известная ныне книга Александра Чаянова называлась «Путешествие моего брата Алексея в страну *крестьянской* утопии». Будущее в книге Чаянова было показано глазами убежденного крестьянского идеолога; Россия 1984 года, описанная в период «военного коммунизма», предстала как страна, в которой царит диктатура крестьянства, где осуществились те народные социально-утопические легенды, которые упорно возникали, начиная с XVII века: о Беловодье, Мангазее, Даурии, «городе Игната», «реке Дарье», Анапе (см. К. В. Чистов. Русские народные социально-утопические легенды XVII—XIX вв. М.: 1967, с. 237—326).

Впрочем, в книге Чаянова народная утопическая легенда также политизировалась. Достаточно сказать, что Алексей Кремнев, путешественник в будущее, с удивлением узнавал, что «в 1934 г., когда власть оказалась прочно в руках крестьянских партий, правительство Митрофанова, убедившись на многолетней практике, какую опасность представляют для демократического режима огромные скопления городского населения, решилось на революционную меру и провело на Съезде Советов известный... декрет об уничтожении городов свыше 20 000 жителей» (А. В. Чаянов. Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии. М.: 1920, с. 14—15). Хотя, если бы Алексей Кремнев, член коллегии Мирсовнархоза, читал «Философию общего дела» Н. Ф. Федорова, эти идеи не показались бы ему такими уж странными.

Утопии молодого Платонова (в частности, идеи метеорологической регуляции с использованием электричества) растут во многом из того же федоровского корня. И хотя ко времени работы над «Чевенгуром» философия космизма на время отставлена и произведения Платонова становятся социально конкретными, тем не менее в «Чевенгуре» также улавливаются следы учения Н. Ф. Федорова, точнее, отдельные образы, извлеченные из федоровских сочинений.

В «Супраморализме» Н. Ф. Федоров определял город как «общество, находящееся под надзором постоянно усиливающимся, общество, держащееся карою наказаний... извне же город должен быть изображен крепостью, представляющею все усовершенствования в наступательных и оборонительных орудиях войны,— *это прогресс военный*» (Н. Ф. Федоров. Сочинения. М.: 1982, с. 452).

«Чевенгур»: «Дванов оставил город строгой крепостью, где было лишь дисциплинированное служение революции и ради этого точного пункта ежедневно жили и терпели рабочие, служащие и красноармейцы; ночью же существовали одни часовые, и они проверяли документы у взволнованных полночных граждан».

Город периода «военного коммунизма» изображен «по Федорову»: как сила, противостоящая деревне, селу. Начало нэпа связано с изменением образа города: «Теперь Дванов увидел город не местом безлюдной святости, а праздничным поселением, освещенным летним светом».

В то же время в «Чевенгуре» нетрудно распознать черты коммуны периода 1918—1920 годов, коммуны, которая с высоты прожитых лет уже осмыслена как утопия, причем — в противоположность крестьянской утопии Чаянова — утопия *пролетарская*. В романе сохранен один из ее важнейших признаков — «неведомость» благословенной земли. С одной стороны, Чевенгурский уезд окружен множеством реальных (Новохоперск, Лиски, Айдар и так далее) или слегка видоизмененных топонимов Воронежской губернии («Биттермановское лесничество» — это реальный Теллермановский лес в Новохоперском уезде; фамилия героини, Мандрова, образована от названия слободы в Валуйском уезде). С другой — такого топонима на карте нет: Чевенгур *нигде и всюду*.

В 1918 году в Москве в числе многих других на эту тему была издана брошюра М. Суматохина «Давайте жить коммуной!» — руководство по быстрому устройству жизни на новых началах.

«Работа каждого из нас должна цениться одинаково. Не надо понимать так, как нас приучили: это, мол, стоит дороже, а это, мол, дешевле. Мы должны понимать иначе: каждый человек, если он приносит пользу, ценный человек».

«...С сегодняшнего дня мы объявляем, что мы все равные, имущество у нас у всех одинаковое и нет у нас богатых и бедных. Вот мы — братья с сегодняшнего дня!»

«Скотину разведем; у кого не было коровы, ба, да у него корова на дворе!.. Все будет так распределено, что ни один человек обижен не будет».

«Да на что нам деньги?.. Попросим уездный Совет в обмен на наши продукты доставить нам городского товару... Каждая семья будет получать поровну из склада все необходимое для питания по расписанию...»

Скорее всего, что, читая эту (или подобную ей) брошюру в 1918 году, Платонов воспринимал такой «катехизис революционера» как вполне разумную и реальную программу необходимого переустройства жизни крестьян.

В конце следующего десятилетия эти представления подвергаются Платоновым не просто пересмотру, но осмеянию. Причем не случайно «Чевенгур» насыщен множеством реалий, связанных с Воронежской губернией, где прошел начальный период жизни: очевидным образом осмеяние направлено и на свои собственные, оставленные в прошлом взгляды.

«По-моему, годов через пять,— критикует в «Чевенгуре» «коммунальный» дележ между бедняками, «по Суматохину», мужик с прозвищем Недоделанный,— выше куры скота ни у кого не будет... Да и нынешний-то скот, не доживя веку, подохнет. У того же Петьки мой рысак первым ляжет — человек сроду лошадь не видал, а кроме кольев, у него кормов нету!»

В книге «Епифанские шлюзы», вышедшей в 1927 году, у повести «Город Градов» было два эпиграфа. Первый, впоследствии кем-то (не автором) снятый, принадлежал вымышленному Прохору Годяеву, мыслителю XVIII века, и гласил: «Чем больше обещает юность в будущем, тем она смешнее в настоящем».

Именно такой взгляд на прошлое, на 1918—1921 годы, и был претворен в «Чевенгуре». Но взгляд этот не был обращен лишь в прошлое, он учитывал и социальную обстановку двадцать восьмого — двадцать девятого годов, когда возврат к практике «военного коммунизма», к тому, что Бухарин называл «второй революцией», воспринимался как трагифарс. В этом смысле «Чевенгур» можно назвать пародией на пролетарскую утопию, или пролетарской антиутопией, имеющей под этой формулой двойной адрес отрицания: с одной стороны, отрицаются утопии о Беловодье, Мангазее, Даурской земле, утопии об изобилии [1]; с другой стороны, пародируется и само отрицание утопий об изобилии, то есть пролетарская утопия равенства в нищете, при котором есть нечего, а курить приходится толченые лопухи.

Отрицание пролетарской утопии было подготовлено всей атмосферой середины 1920-х годов, аккумулировавшейся в «Чевенгуре». Приведу три примера, характеризующих эту атмосферу: первый рисует умонастроения социального низа, второй и третий — социального верха.

В 1923 году газета «Борьба» (Царицын) сообщала о слухах в Усть-Медведицком округе: «К весне такую утку пустили — сеять нет никакой пользы, все равно все заберут коммунисты...» (цитируется по книге Я. Шафир. Газета и деревня. М.: 1924, с. 104).

В апреле 1925 года, выступая на XIV конференции РКП(б), Ю. Ларин ставил вопрос: «Но можно ли дать присягу, что через 15—20 лет мы никоим образом не экспроприируем кулаков в деревне? Такую присягу дать мы можем так же мало, как мы можем дать ее и частному капиталисту в городе» (Кооперация на XIV конференции РКП(б). М.: 1925, с. 70).

Выступая в Кисловодске 8 ноября 1925 года на торжественном заседании, посвященном 8-й годовщине Октябрьской революции, Л. Д. Троцкий, в частности, сказал: «Конечно, беднота в том или другом случае может попытаться загнуть линию в сторону военного коммунизма, комитетов бедноты, в сторону „раскулачивания" кулака. Этого допустить нельзя. Это завтра же ударит по середняку, убьет личную заинтересованность крестьянина в продуктах его труда и приведет деревню на уровень 20—21 гг.» (Л. Д. Троцкий. Восемь лет: итоги и перспективы. М.; Л.: 1926, с. 18).

Иными словами, о возможности «второй революции» в середине двадцатых годов говорили много, она не была такой уж неожиданностью, какой ее сейчас иной раз изображают; и когда в конце третьего десятилетия века произошло-таки возвращение «на уровень 20—21 гг.», то «загиб линии» в сторону «военного коммунизма» сразу же вернул мысли многих — в том числе и Платонова — к началу десятилетия. Причем характерно, что речь в «Чевенгуре» идет не об инициативе верхов (так в «Котловане»), а исключительно о *низовом* сознании: главным носителем уравнительных, «коммунальных» представлений, утопических по своей природе и «теоретизированных» по форме, в романе выступает пролетарская беднота, городская и деревенская, настроения которой — антикрестьянские и антитоварные — подробно описаны в романе. Этот момент в «Чевенгуре», касающийся именно низового сознания, очень важен, ибо он, в свою очередь, объясняет события 1929—1930 годов, изображенные в «Котловане», объясняет тот задор, ту легкость, тот горя-

[1] О легендарной «Ореховой земле» рассказал в 1928 году в своих воспоминаниях «За живой и мертвой водой» А. К. Воровский. Любопытно, что напечатаны они были в том же номере «Нового мира» (1928, № 12), где был помещен очерк Платонова и Пильняка «Че-Че-О».

чий отклик на инициативу верха, с какими частью народа совершалось «раскулачивание» середняков, отъем их имущества и так далее.

Антикрестьянская психология, нашедшая выход еще в период «военного коммунизма», в сочетании с утопической верой в возможность скачкообразного («кряк — и готово!») достижения благополучия,— все это не исчезло, благополучно просуществовало и в период нэпа (интереснейший в этом смысле документ 1923 года — «литературные письма» К. Федина и И. Соколова-Микитова, опубликованные в «Новом мире», 1987, № 2 с комментарием А. Стреляного). И по существу именно об этой общественной психологии писал Н. И. Бухарин в статье «Хозяйственный рост и проблема рабоче-крестьянского блока» — писал в 1925 году, в накаленной атмосфере споров, отражавших противоречивые настроения социального верха (Г. Пятаков, Ю. Ларин, Е. Преображенский и другие).

«Соотношение между рабочим и крестьянином обнажилось, причем пока момент противоположности часто превалирует... над моментом единства... Различие непосредственных интересов, даже противоположность их, выступает, прежде всего, как противоположность интересов покупателя и продавца... Рост народного хозяйства таит в себе возможность... раскола между трудовыми классами советского общества... Прежде трения внутри рабоче-крестьянского блока росли на фоне хозяйственного обнищания и имели свою форму (продразверстка и недовольство, связанное с нею, реквизиции и так далее); теперь речь идет о недовольстве, связанном с хозяйственным укреплением, растущей товарностью крестьянского производства» (Н. И. Бухарин. Некоторые вопросы экономической политики. М.: 1925, с. 4—5).

Множество фактов говорит о том, что большинство социальных групп в стране не было психологически готово к нэпу, что нэп не был «принят», так и остался едва ли не для всех «вывихом», отклонением от нормы. И события конца 1920-х годов, конца нэпа, Платонов именно и воспринял как победу того взгляда, который обнаружил себя еще в самом начале десятилетия — в период «военного коммунизма» и в момент перехода к новой экономической политике, многими (в том числе, наверное, и самим Платоновым) воспринятой как уступка буржуазной или народнической (эсэровской) идеологии после *порядка* «военного коммунизма».

«Сволочь ты, дядя! — говорит Копенкин кузнецу Сотых, ходатаю за крестьян.— Мы живем теперь все вровень, а ты хочешь так: рабочий не жри, а ты чтоб самогон из хлеба курил!»

Интересна в этом смысле передовая статья газеты «Коммунар», издававшейся в Острогожском уезде Воронежской губернии, за 9 мая 1921 года. «Постановление о замене хлебной разверстки налогом было принято X съездом РКП,— писала газета.— И тем не менее иные из провинциальных товарищей, молодых и ретивых, относятся с плохо скрываемым неодобрением к этой мере. Отмена налога,— тут газета, что часто с нею случалось, перепутала налог с разверсткой,— кажется им чуть ли не „отменою коммунизма“... Товарищей не удовлетворяет часть декрета, говорящая о „местном обмене“,— они видят в этом возрождение частной торговли».

Именно реакцией на введение продналога, на всю новую политику и явились представления, конденсированным выражением которых стала пролетарская утопия Чевенгурской коммуны. Но одновременно чевенгурская утопия выразила недовольство «хозяйственным укреплением, растущей товарностью крестьянского производства». Чевенгур — это форма сопротивления политике, поощрительной по отношению к крестьянству и шире — к товарному социализму, экономическая и идеологическая антитеза ему. Недаром в Чевенгуре, словно стремясь как можно точнее следовать Марксову определению «грубого коммунизма», полностью отказались от товарного производства, вернувшись к первобытнообщинному собирательству, ликвидировали труд и накопление, посчитав их источником неравенства, и добились в результате равенства в нищете (хотя пример Прокофия Дванова, малограмотного «идеолога» Чевенгурского ревкома, демонстрирует стремление к личному обогащению).

Принудительно введенное равенство роднит Чевенгур с большинством существующих утопий, хотя и доведено Платоновым до абсурда. Впрочем, то же, что и в «Чевенгуре», сложилось положение в ревзаповеднике у товарища Пашинцева, где «население... ничего не сеет, а живет за счет остатков фруктового сада и природного самосева...». Обе коммуны точно соответствовали принципиальной установке «военного коммунизма»: «если товарное производство и сопутствующий ему рынок не будут уничтожены, то Октябрьская революция снизится, так сказать, до уровня буржуазной» (В. Селюнин. Истоки. «Новый мир», 1988, № 5, с. 166).

Один из типичных выразителей «антитоварной» идеологии — слесарь Федор Федорович Гопнер, прижившийся в Чевенгуре,— на вопрос: «Как вы поживаете?» — отвечает: «Регулярно. Только хлеб свободно продают, будь он проклят!». Изобилие продуктов Гопнер воспринимает как общую беду: «А будет хлеб и имущество — никакого человека не появится! Какая же тебе свобода, когда у каждого хлеб в пузе киснет, а ты за ним своим сердцем следишь! Мысль любит легкость и горе... Сроду-то было когда, чтоб жирные люди свободными жили?» [1].

«Объявить бы их мелкими помещиками, напустить босоту и ликвидировать в течение суток всю эту подворную буржуазную заразу!» — мечтает другой «антитоварник», Чепурный, глядя на крестьян, которые привезли продукты на городской базар.

Платонов демонстрирует стихию городских слухов и толков, циркулирующих среди людей «возмужалой и настойчивой воли», испытывающих «неприязнь к окопавшейся старой деревне» (письмо К. Федина 1923 г. «Новый мир», 1987, № 2, с. 238). Самому же Платонову в конце 1920-х годов «городское умозрение» уже не было присуще: «Чевенгур», безусловно, выражает изменение взглядов писателя на крестьянство. Отсюда намеренная двусмысленность, с которой в 1929 году звучали слова кузнеца Сотых (в романе произносимые в 1921 году): «...Землю отдали, а хлеб до последнего зерна отбираете; да подавись ты сам такой землей! Мужику от земли один горизонт остается. Кого вы обманываете-то?.. Ты говоришь — хлеб для революции! Дурень ты, народ ведь умирает — кому ж твоя революция останется?».

Последовательного историзма в изображении 1920—1921 годов «Чевенгур» лишен: писателю важна именно даусмысленность, важно, чтобы роман аккумулировал богатый и разпородный идеологический материал третьего десятилетия XX века. Именно с этой его особенностью связано настойчивое упоминание имени Розы Люксембург, во имя которой совершает подвиги «пролетарский рыцарь» Степан Копенкин. Тут действует и литературная ассоциация с пушкинским

«Lumen coelum, sancta Rosa!
Восклицал в восторге он...»,

тем более, что Копенкин и есть именно «рыцарь бедный, молчаливый и простой». Но с именем Розы Люксембург были связаны и впечатления платоновской молодости: мысли, высказанные в статье «Нам нужна Германия», в стихотворении «Последний шаг», посвященном памяти Карла Либкнехта («Воронежская коммуна», 15 января 1921 г.).

Однако имя Р. Люксембург на страницах романа возникает не только вследствие названных, довольно очевидных причин. В 1921 году на русский язык была переведена книга Р. Люксембург «Накопление капитала», в которой в споре с Марксом утверждалось, что накопление капитала при капитализме возможно лишь за счет расширения сферы эксплуатации «некапиталистической среды», то есть хозяйств крестьян и ремесленников (см. Р. Люксембург. Накопление капитала, т. 2. М.— Пг.: 1923, с. 432; глава «Борьба против крестьянского хозяйства»). Идеям этим суждено было прославиться в середине 1920-х годов: именно их схоластически перенес на социализм Е. А. Преображенский, чему была посвящена его большая в нашумевшая статья «Основной закон социалистического накопления» («Вестник Коммунистической академии», 1924, № 8). В ней Е. А. Преображенский утверждал, что по отношению к крестьянству «пролетариат действует по аналогии с рыцарями первоначального накопления». Вообще идея витала в воздухе. Характерно, что сельское хозяйство как важный источник для накопления основного капитала в госпромышленности было названо в компиляции Л. Нитобурга «Режим экономии» (Л.: 1926), составленной по материалам центральных газет: «Необходимо... добыть некоторое количество ценностей из дереани, занять у крестьянства некоторую часть излишкоа, им производимых...» (с. 11—12). Тогда же, в середине 1920-х, с этими идеями и персонально с Преображенским горячо полемизировал Бухарин. Преображенский, писал Бухарин, был бы прав в том случае, если «речь шла бы не о движевии к бесклассовому коммунистическому обществу, а к закреплению навеки пролетарской диктатуры, к консервированию господства пролетариата, и притом к его вырождению в действительно эксплуататорский класс». Но, к счастью, подводил итог Бухарин, выводы Преображенского не опираются на реальную практику. «Это лишь некоторый индивидуально-теоретический вывих, который не пользуется, по крайней мере, сейчас кредитом в наших рядах» (Н. И. Бухарин. Новое откровение о советской экономике, или Как можно погубить рабоче-крестьянский блок. В кн.: Н. И. Бухарин. Некоторые вопросы экономической политики. М.: 1925, с. 21).

Эта бухаринская оговорка: «по крайней мере, сейчас» — была весьма прозорливой. В 1928—1929 годы «вывих» стал законом, пролетарские «рыцари первоначального накопления» устремились в деревню [1]. Именно в это время «кремлев-

[1] Сравним с высказыванием Великого инквизитора в «Братьях Карамазовых»: «Но ты не захотел лишить человека свободы и отверг предложение, ибо какая же свобода, рассудил ты, если послушание куплено хлебами?».

[1] Сравним с поэмой В. В. Державина «Первоначальное накопление» (1934), посвященной эпохе возникновения капитализма.
В те годы хлеб дотла Германия свозила Обозом податей у замковых ворот. Нужны баронам

ский горец» впервые заговорил о «дани», взимаемой с крестьянства (например, в речи на пленуме ЦК 9 июля 1928 г. «Об индустриализации и хлебной проблеме»), а его ретивые помощники начали быстро ревизовать идеи нэпа и корректировать ленинский образ в целом. «Никому не позволим превращать Ленина — пламенного большевика, гениального пролетарского вождя — в „крестьянского философа“, в либерала!» — призывала «Правда» 17 апреля 1929 года, за неделю до XVI партконференции.

3

Глядя на шесть усадебных колонн в форме женских ног, Дванов тосковал: «Хорошо бы и нам построить что-нибудь всемирное и замечательное, мимо всех забот!».

«Мы теперь,— вторил ему Копенкин,— еще выше и отличнее столбы сложим, а не срамные лыдки».

Реализация социального мифа — строительство «чего-то всемирного и замечательного» и оказывается главным событием «Котлована». Причем именно «мимо всех забот», как мечталось Дванову в начале 1920-х годов.

В отличие от «Чевенгура», исключительно сложного и своей двувременностью, и разновременным идеологическим материалом, аккумулированным в нем, «Котлован» относительно проще. К тому же стоящие под повестью даты: декабрь 1929 — апрель 1930 весьма недвусмысленно указывают на те исторические события, которые обрамляют действие повести. Декабрь 1929 года — начало «развернутого наступления на кулака», выступление Сталина на конференции аграрников-марксистов, которое похоронило всякое инакомыслие в области сельскохозяйственной и экономической науки. Апрель 1930 года — появление в «Правде» лицемерной статьи Сталина «Ответ товарищам колхозникам» («Правда», 3 апреля 1930 г.).

Впрочем, историческая хроника этого периода сегодня известна хорошо, и упоминать о ней необходимо лишь в связи с прямым отражением в тексте повести ключевых политических документов эпохи.

В «Котловане» можно увидеть целый «диалог» со Сталиным, диалог, в котором пародируются идеи сталинских статей и выступлений в 1929—1930 годы.

Сталин: «Новое и решающее в нынешнем колхозном движении состоит в том, что в колхозы идут крестьяне не отдельными группами, как это имело место раньше, а целыми селами, волостями, районами, даже округами. А что это значит? Это значит, что в колхозы пошел середняк...» (И. В. Сталин. Год великого перелома. «Правда», 7 ноября 1929 г. [1]).

Платонов: «Все смолкли, в терпении продолжая ночь, лишь активист немолчно писал, и достижения все более расстилались перед его сознательным умом, так что он уже полагал про себя: „Ущерб приносишь Союзу, пассивный дьявол, мог бы весь район отправить на коллективизацию, а ты в одном колхозе горюешь; пора уже целыми эшелонами население в социализм отправлять, а ты все узкими масштабами стараешься. Эх горе!“».

Сталин: «Ясно, что пока не было массового колхозного движения, „столбовой дорогой“ являлись низшие формы кооперации... а когда выступила на сцену высшая форма кооперации, ее колхозная форма, последняя стала „столбовой дорогой“ развития» (И. В. Сталин. Год великого перелома).

Платонов: «Зайдя однажды в кооператив, он подозвал к себе, не трогаясь с места, заведующего и сказал ему: „Ну хорошо, ну прекрасно, но у вас кооператив, как говорится, рочдэлльского вида, а не советского! Значит, вы не столб со столбовой дороги в социализм?!“».

Сталин: «Не бывало еще в истории таких случаев, чтобы умирающие классы добровольно уходили со сцены» (И. В. Сталин. О правом уклоне в ВКП(б). М.: 1930, с. 35).

А в «Котловане» буржуйка умирает, сознавая свою классовую чуждость («Моя мама,— говорит ребенок,— себя тоже сволочью называла, что жила, а теперь умерла и хорошая стала...»); мужик-подкулачник ложится в гроб и усилием воли пытается остановить «внутреннее биение жизни»; поп заявляет, что ему «жить бесполезно», ибо он не чувствует «больше прелести творения»; инженер Прушевский составляет проект собственной смерти, и даже воробей под суровым взглядом пролетария Чиклина собирается «вскоре умереть в темноте осени...».

Дан в «Котловане» и пародийный образ статей «Головокружение от успехов» и «Ответ товарищам колхозникам»: «...В

шерсть и золото. Крестьяне Остались без земли. Глухой набат восстаний Ударил!..

(В. В. Державин. Стихотворения. М.: 1936, с. 20).

Поэме были предпосланы три эпиграфа; два первых — из «Диалектики природы» Энгельса; третий — из «Паломничества Чайльд-Гарольда»: «Но подражать в величии отцам бесславные сыны не научились»,— явно намекал на современность, тридцатые годы.

[1] Название знаменитой статьи Сталин заимствовал у Троцкого: так называлась книга, выпущенная в 1919 году и посвященная опыту первой мировой войны — «Годы великого перелома: Война и техника».

лежащей директиве отмечались маложелательные явления перегибщины, забеговщества, переусердщины и всякого сползания по правому и левому откосу с отточенной остроты четкой линии; кроме того, назначалось обнаруживать выпуклую бдительность актива в сторону среднего мужика; раз он попер в колхозы, то не является ли этот генеральный факт таинственным умыслом, исполняемым по наущению подкулацких масс...».

Наконец, есть моменты очень тонкой связи. Говоря об активисте, который «с жадностью начал писать рапорт о точном исполнении мероприятии по сплошной коллективизации и о ликвидации посредством сплава на плоту кулака как класса», Платонов заметил: «при этом активист не мог поставить после слова „кулака“ запятую, так как и в директиве ее не было». Но откуда желание эту запятую поставить?

Микросюжет с запятой довольно любопытен и свидетельствует об исключительном внимании Платонова к текстам Сталина, появлявшимся в печати. Все дело в том, что в «Речи на конференции аграрников-марксистов 27 декабря 1929 г.» («Правда», 29 декабря 1929 г.) запятая во фразе «кулака как класса» стояла. Наверняка активист, хорошо изучивший сталинскую речь, это обстоятельство запомнил. Но прошло меньше месяца, и 21 января 1930 года в «Красной звезде» появилась статья Сталина «К вопросу о политике ликвидации кулачества как класса», где запятой уже не было. Она вообще пропала, и это отсутствие и учла директива. Но понятно и тайное желание активиста эту запятую все-таки поставить. (В другом месте повести сталинская формула спародирована иначе: говорится, что Козлов «ликвидировал как чувство любовь к одной средней даме».)

Весьма тонко и остроумно показана уже опутывавшая умы паутина казуистики, ничтожных мелочей, неожиданно разраставшихся в своем значении.

Впрочем, диалог со Сталиным — лишь один из уровней «Котлована», которым глубина повести отнюдь не исчерпывается. Ибо в «Котловане» дан обобщенный образ общественного развития в 1929—1930 годы. С одной стороны, не начав строить «общепролетарское здание», а лишь выкопав под него котлован, строители перешли в деревню, в колхоз имени Генеральной линии, для проведения раскулачивания. С другой стороны, Сталин и его группа, не решив к 1928 году проблем развития промышленности и товарообмена между городом и деревней, а наоборот, всячески осложнив эти проблемы, целиком переключились на «быструю индустриализацию» и ускоренную коллективизацию, закономерным итогом которых была вполне «чевенгурская» по духу

декларация, сделанная на XVI съезде ВКП(б): страна уже вступила в период социализма (июнь—июль 1930 года).

Любопытно, что само название колхоза — «имени Генеральной линии» — представляет собой парадокс, ибо генеральная линия заключалась в мощном темпе индустриализации, возможном благодаря военно-феодальной эксплуатации деревни. «Колхоз имени линии уничтожения крестьянства» — так всю эту ситуацию смоделировал в «Котловане» Платонов. При этом он с философской глубиной показал в повести дегуманизацию и подмену целей: писатель давал понять читателям, что к концу третьего десятилетия победили представления о человеке как «веществе», которое должно исчезнуть, пойдя на изготовление «будущего неподвижного счастья». Не случайно Л. Авербах обвинил Платонова в гуманизме: писатель остро ощутил, что человек перестал быть абсолютной целью, что его ценность стала относительной, и существование поэтому обратилось во временную «предсмертную жизнь». Целью же оказалось государство — вечное и надчеловеческое, обязательно требующее человеческих жертв.

В котлован люди затеяли «посадить... вечный, каменный корень неразрушимого зодчества» — «общепролетарское здание», по существу, новое миро-здание, которому возвращен его буквальный смысл. И котлован — это котлован под новое мироздание, образом которого становится башня в середине мира, «куда войдут на вечное, счастливое поселение трудящиеся всей земли». В этой башне нетрудно увидеть вариант Мирового древа — образ мифопоэтического сознания, который воплощает универсальную концепцию мира. Попытка практического воплощения этого проекта, задача изготовить «брус во всю Русь», который «встанет — до неба достанет», оформленная в технократическом стиле эпохи,— это еще один вариант буквальной реализации социальной утопии.

В «Котловане» строится вечное, неподвижное, неразрушимое Здание Мира, которое является целью, носит не утилитарный, а откровенно культовый характер; в жертву же этой цели приносится конечный, обремененный «той излишней теплотою жизни, которая названа однажды душой», подверженный разрушению человек. Платонов выявляет безнравственность всей затеи, с гротескным преувеличением показывая, как человеку просто нет резона противостоять своей телесной слабости и недолговечности, тем более, что абсолютная ценность жизни, ее смысл и цель от него скрыты. Но только — в отличие от «Чевенгура» — скрыты не «онтологически», самим мироустройством, а по чьему-то злому умыслу.

То самое «вещество существования», которое разъединено со своей «идеей», оказывается в «Котловане» «веществом народа», которое «главный человек» лишил знания «идеи», присвоив себе всеобщее «убежденное чувство» смысла жизни. Как замечал Л. Шубин, «господствующее мировоззрение объявляло себя материализмом, а в действительности побеждал самый открытый и явный идеализм», тесно связанный с монологизмом, при котором «все истинное вмещается в пределы одного сознания» (Л. Шубин. Горят ли рукописи? «Нева», 1988, № 5, с. 172—173). И этим сознанием было сознание «главного человека», во имя которого и возводилось новое Здание Мира. Так абстрактные схемы наполняются в «Котловане» конкретным *социальным* содержанием. Показанное Платоновым стремление мира к самоуничтожению, изображение человека, которого «смертельное манит», принадлежит не мировой мистерии, а социальному трагифарсу. Чуждые классы стремятся умереть по одной причине, пролетарии готовы на смерть по другой. Уцелеть хотят лишь землекопы, лишенные «пролетарского таланта труда». С усердием роя землю, они мечтают превратить котлован из цели в средство: «один желал нарастить стаж и уйти учиться, второй ожидал момента для переквалификации, третий же предпочитал пройти в партию и скрыться в руководящем аппарате...».

Сравнение с «Чевенгуром» показывает, что события, изображенные в «Котловане», являются точным воспроизведением порядков «военного коммунизма» и его идеологем, той самой попыткой бедноты «загнуть линию», об опасности которой предупреждал в 1925 году Л. Д. Троцкий — «самый тонкий и чуткий политик» компартии, как однажды назвал его один из авторов берлинской «Накануне» (7 августа 1923 года). Не случайно события в деревне, которыми заправляют пришедшая со строительства артель и активист, совершаются во имя интересов «организованной членской бедноты» (хотя и не ею). Не случайно все происходящее тут же ударяет по «средним мужикам». Не случайно главный страх активиста — за то, что «зажиточность скопится на единоличных дворах и он упустит ее из виду». И так же, как «утописты» из Чевенгура, строители «общепролетарского здания» почитают «крестьянское хозяйство... за нечто низшее, за ту протоматерию, из которой должны... выкристаллизоваться „высшие формы крупного коллективного хозяйства“» (А. В. Чаянов. Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии, с. 31). В «Котловане» Сафронов, «наиболее активный среди мастеровых», заявляет: «...Мы должны бросить каждого в рассол социализма, чтоб с него слезла шкура капитализма...». Не случайно, наконец, события в «Котловане» совершаются в немыслимом, лихорадочном темпе...

Но вместе с тем в образной системе «Котлована» появляются существенные новые мотивы. Главный из них — интерпретация того, что совершается в деревне, как возврат язычества, как его победа над христианством.

В «Чевенгуре» уничтожение буржуазии стало «вторым пришествием», облачившись в христианскую символику. В «Котловане» христианство вытесняется язычеством. В подоплеке этого, вероятно, лежит этимологическая близость в русском языке слов «крестьянин» и «христианин» (фамилия старого пахаря — «Крестинин»). И именно это обстоятельство позволяет понять смысл «ликвидации посредством сплава на плоту кулака», повторяющей языческий обряд похорон, в котором «покойником» является крестьянство, а плот — погребальной ладьей (Платонов специально соединяет в одной фразе «поминальные листки» и «классово-расслоечную ведомость»). В повести дан и другой выразительный символ победы язычества — заброшенная церковь, тропинки к которой заросли лебедой и лопухами, где поп, остриженный «под фокстрот», продает свечки, а средства отдает «активисту для трактора». Вообще признаков именно языческих представлений в «Котловане» немало. Такова, прежде всего, концепция человеческой жертвы, необходимой для строительства «общепролетарского здания» (см. А. К. Байбурин. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Л.: 1983, с. 61—62). В «Котловане» эта концепция развернута многообразно: от отношения к человеку как строительному «веществу», которое должно исчезнуть, превратившись в иные формы, до смерти девочки, закладываемой в фундамент нового мироздания («гробовое ложе Чиклин выдолбил в вечном камне...»). Такова же гротескная ситуация, в которой медведь занимается раскулачиванием, чутьем определяя классовых врагов; эта сцена восходит к древнему отождествлению медведя со знахарем-колдуном, к представлению о нем как о превращенном человеке. Причем то, что уже стало обрядом, то есть ряженье в костюм медведя, в «Котловане» сбрасывает свою знаковую одежду, возрождаясь в древней непосредственной форме. Другая любопытная параллель: «жирный калека» Жачев, лишенный обеих ног и зубов,— и безногий мифологический персонаж, происходящий от змея. Жачев — именно «змей», который, с одной стороны, является тем «отрицательным героем», который терроризирует всех остальных; с другой стороны, Жачев — страж у входа в царство мертвых. Не случайно «Жачев... пополз за кулачеством, чтобы обеспечить ему надежное отплытие в море по течению...».

Естественно, что язычество нуждается в идоле. В написанной через три года после «Котлована» пьесе «14 Красных избушек» идол предстал уже в каноническом облике: «...В средней части сцены стоит чучело, устроенное из глины, соломы и различной ветоши. Чучело похоже на сурового человека ростом в полтора человека. Правая рука чучела высоко поднята в неопределенной угрозе» («Волга», 1988, № 1, с. 44).

В «Котловане», написанном в 1930 году, в соответствии с исторической правдой идол — это просто «главный человек», знающий то, чего не знают другие. Именно об этом идоле у Чиклина с каким-то раскулачиваемым мужиком происходит знаменательный разговор.

Чиклин: «Мы можем царя назначить, когда нам полезно будет, и можем сшибить его одним вздохом... А ты — исчезни!».

Мужик: «Ликвидировали?!. Глядите, нынче меня нету, а завтра вас не будет. Так и выйдет, что в социализм придет один ваш главный человек!».

Между прочим, об этом «главном человеке» косвенно говорит и фамилия героя, наделенного некоторыми биографическими чертами самого Платонова,— Вощев. Фамилия эта происходит от древнего страдательного причастия «вотчим», что значит «получить в отцы». Вощев, мучающийся незнанием смысла жизни,— это человек, который принудительно получил в отцы нового идола.

Приведены в «Котловане» и языческие молитвы: «Авангард, актив, аллилуйщик, аванс, архилевый, антифашист!.. Большевик, буржуй, бугор, бессменный председатель, колхоз есть благо бедняка, браво-браво-ленинцы!». С помощью этих заклинаний активист ликвидирует неграмотность среди колхозниц, сочетая грамматику с политикой (кстати, Платонов довольно точно — хотя и не без гротеска — воспроизвел поэтику букварей для взрослых 1920-х годов, например: М. К. Поршнева. Красный пахарь. М.: 1927).

Роль, которую играет в деревне активист,— это роль шамана, посредника между идолом и людьми. Не случайно в описании активиста «общественных работ по выполнению государственных постановлений и любых кампаний, проводимых на селе», доминирует пародийная мистика: у активиста внешность юродивого («он сейчас запустел, опух от забот и оброс редкими волосами»); главная же его цель — узнать «страстные тайны взрослых, центральных людей», сблизиться с ними не только духовно, но и физически. Поэтому «особенно долго активист рассматривал подписи на бумагах: эти буквы выводила горячая рука округа, а рука есть часть целого тела, живущего в довольстве славы на глазах преданных, убежденных масс».

В «Котловане» проявляется одна из главных особенностей Платонова — одно и то же явление, событие он описывает сразу двумя культурными кодами, сразу в двух системах понятий: с одной стороны, архаической (мифологической), с другой стороны, современной (социально-политической и конкретно-бытовой). Эти системы накладываются друг на друга, и тогда возникает тот феномен, который проще всего, минуя аналитические определения, назвать «прозой Платонова».

Это явление охватывает практически все элементы повести, даже такую странную, на первый взгляд, фигуру, как медведь-молотобоец, принимающий самое активное участие в раскулачивании. Такой медведь сразу заставляет вспомнить о «ведуне» и «знатливце», герое славянских языческих сюжетов, к которым восходят многие народные представления, дожившие до XX века. Например, с помощью медведя, которого водил специальный «вожак», находили «наговоренные» вещи, закопанные в землю и приносившие зло.

В конце 1920-х годов этнограф Калужского края М. Е. Шереметева опубликовала рассказы крестьян Калужской и Тульской губерний, считавших, в частности, что «тот двор чистый, у которого медведь сам остановится, а куда он не идет, упирается — тот несчастливый дом... (сравним у Платонова: «Медведь вдруг зарычал около прочной, чистой избы и не хотел идти дальше...»). В Тульской губернии приглашенный на крестьянский двор поводчик водит медведя по всему скотному двору, по всем закутам, иногда вожак нарочно заставляет зверя реветь, чтобы хозяин лучше убедился в присутствии злой силы» (Сб. Калужского государственного музея, в. 1. Калуга: 1930, с. 64—65).

Если сопоставить приведенное описание с тем, что делает медведь в «Котловане», то обнаружится едва ли не точное сходство, некий «список с натуры», говорящий в то же время, что раскулачивание изображено Платоновым как *суеверие*, как некий бессознательно исполняемый обряд. Накладываясь на социально-политический контекст 1920-х годов, суеверие порождало гротеск, острую пародию. Однако у этой пародии были и конкретные мотивировки. Дело в том, что именно в конце 1920-х годов в Москве и провинции можно было часто встретить поводчиков с ручными медведями.

«В 1928 г.,— свидетельствовала та же М. Е. Шереметева,— по Калуге и по де-

ревням... ходили такие „вожаки зверей"...» Вполне вероятно, что ручных медведей видел и Платонов, скажем, находясь в Воронежской и Тамбовской губерниях. Так что медведь в «Котловане» привлечен не случайно: он принадлежал обеим реальностям — и архаической, и современной, которые гротескно накладывались одна на другую еще до того, как это пытался делать писатель.

4

У Платонова возник образ трагический и безысходный, ибо «сердце — трус, но горе мое храбро», как написал он в эпиграфе к «Душевной ночи». Впрочем, современники платоновский прорыв свели к нулю, как бы пересадив писателя со всеми его сомнениями и прозрениями на плот, сплавляемый в океан. Недаром Платонов был окрещен и «кулаком», и «врагом социализма»... И все это даже не за «Чевенгур» и «Котлован», в котором раскулачивание, действительно, завершается инфернальной, способной смутить разум «пляской смерти»: «Колхоз, не прекращая топчущейся, тяжкой пляски, тоже постепенно запел слабым голосом. Слов в этой песне понять было нельзя, но все же в них слышалось жалобное счастье и напев бредущего человека».

Сцена «тяжкой пляски», оказывающейся бессмысленным и безостановочным движением, концом «царства сознания», удивительным образом напоминает финал «Сорочинской ярмарки» — острое сопоставление смеющихся, живых людей со старушками, «на ветхих лицах которых веяло равнодушие могилы», но толкающихся вместе со всеми.

Гоголь: «Беспечные! даже без детской радости, без искры сочувствия, которых один хмель только, как механик своего безжизненного автомата, заставляет делать что-то подобное человеческому, они тихо покачивали охмелевшими головами, подтанцывая за веселящимся народом».

Платонов: «Активист дал еще несколько звуков, а потом смолк... Но народ не остановил своего всеобщего танца — он уже так привык к постоянному темпу радости, что топтался по памяти».

Тот же безжизненный автоматизм, то же страшное «равнодушие могилы» в пляске новообращенных колхозников: Жачев без труда опрокидывает их, «люди валились, как порожние штаны».

В «общественное обращение» выпускаются люди, ставшие куклами, послушными автоматами, ибо лишены истины, смысла существования, ибо душа их и сознание опустошены, освобождены даже от того эклектического содержимого, которое было предметом анализа в «Чевенгуре».

Превращение человека в безжизненный автомат, полую куклу, управляемую «коллективным бессознательным»,— вот итог раздумий автора «Котлована». И потому песня, выражающая жалобу то ли на счастье, то ли на его отсутствие, подчеркнуто лишена слов. «Не сметь думать что попало! Иль хочешь речной самотек заработать? Живо сядешь на плот!» — кричит мужикам жирный калека Жачев, затыкая рты и нажимая на слово «самотек», которое после выступления Сталина на конференции аграрников-марксистов в декабре 1929 года стало пользоваться репутацией гнилого антиленинского слова.

Разрешенные слова для песен возникли позднее: «„Жить зажиточно в колхозе — это дело наших рук",— так сказал товарищ Сталин, наш любимый вождь и друг»... «Если в полюшко пойдете, не увидите межи — вывел нас товарищ Сталин из потемок из нужды»...

Возможно, автор «Ювенильного моря», в ушах которого еще стояли крики неистовых: «Не сметь думать что попало!», слышал во время работы над новой утопией и эти новые песни.

«Оставьте безумие мое. И подайте тех, кто отнял мой ум»,— невзирая на опасность быть понятым, писал он в тот же год.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

С. Каледин. Стройбат. «Новый мир», 1989, № 4.

Есть, как принято говорить, мнение, что «Новый мир», опубликовав эту повесть, уронил присущий ему уровень художественного вкуса. Иные ценители литературы (преимущественно в ранге от подполковника и выше), благосклонно принимая заверения в том, что армия — плоть от плоти народа, почему-то распространяют сию безусловную истину лишь на народные добродетели. Поспешу их успокоить: живописуемые в «Стройбате» пороки несправедливо числить лишь по военному ведомству, обижаи другие. Ну, поймал командир солдата на воровстве. Взыскал строго, но по-отечески: или будешь до дембеля чистить нужник, или... Хорошо и тому, и другому: один избежал суда, другой надолго решил ассенизаторскую проблему. Пикни-ка теперь этот вечный золотарь!

Нужен, значит, командиру и такой солдат? А что, мы не знаем случаев («отдельных нетипичных»), когда мастеру нужен рабочий-пьяница, управляющему стройтрестом — пройдоха-прораб, областному начальнику — падкий на взятки районщик, а всем им вместе — любой, чья двоюродная тетя хоть раз оскоромилась в постный день? Такие тоже не пикнут. С незапятнанными людьми потруднее. Но коль скоро прижился у нас подобный порок — какой генерал в силах отдать приказ не пропускать его через КПП вверенной ему части?

Так что же — и вовсе нет тут военной специфики? Есть! Человек, столкнувшись со злом, властен либо умножать его, либо смириться, либо бороться — на что уж хватит воли и чести. Но есть и четвертый путь — отойти от зла и сотворить благо. А у солдата — лишь три первых. Никуда уйти он не волен. И если в казарме — геометрически и юридически замкнутом пространстве — позволить хоть на час восторжествовать злу, отзовется оно куда болезненнее, чем в гражданском мире.

Примем это к сведению, читатели в мундирах и без!

А. ХОДОРОВ

Ю. Поляков. Апофегей. Повесть. «Юность», 1989, № 5.

Новая повесть продолжает тему, которую автор начал нашумевшим «ЧП районного масштаба». Правда, конфликт из сферы комсомольской переместился в партийную, а время ушло вперед: перед нами годы перестройки. Но отчаянные страсти в борьбе «за кресло» и жирный кусок, как уверен писатель, остались в силе. Ни любовь, ни естественные привязанности не могут поколебать устои, на которых взросли поколения партийной элиты. Потому что кривизна сосуда, в котором их, наподобие китайских уродцев, выращивали, есть единственная ведомая им реальность. Пусть меняются лозунги, пусть чередуются руководители, пусть гремят революции...

Поэтому ошалевший от внезапно свалившейся власти Валера Чистяков, мысленно уже прощавшийся с райкомовскими благами, так удивительно быстро «входит в роль» — он с ней и не расставался. Мгновенно забыты и любовь, и страх за здоровье ребенка, оказавшегося его сыном, и мечты о научной работе. Ибо Валера сделал карьеру. А важнее ее — убежден Поляков — для людей этого круга проблем нет.

Безусловно, произведения обличительной тематики сегодня читаются, как никогда, и авторы некоторых очерков и повестей словно соревнуются в том, кто подцепит «рыбку» покрупнее. Не возражая против самого смелого разоблачения, скажу — не грех бы вспомнить о том, что против слов Вяземского: «критик не есть судья уголовный» Пушкин написал: «Верно!». Это справедливо для любого вида и жанра *художественной* литературы. Доведи Ю. Поляков свое разоблачение от показа шикарных апартаментов и антуражей партийной элиты до анализа явлений, заставь читателя увидеть Валеру и некогда любимую им Надю изнутри,— повесть явно была бы удачнее. Право, сексуальные тонкости, которыми писатель обильно успащает повесть,— это еще не психологический анализ...

Остается надеяться, что в повестях из жизни секретарей обкомов, а также ЦК (которые явно не заставят себя ждать) меньше будет откровенных заигрываний с падкими на клубничку читателями, а больше — психологии и искусства.

Если мы не хотим, чтобы литература имела сугубо сезонный век.

Е. ЩЕГЛОВА

Ирина Знаменская. Обращаюсь на «ты». Л.: Советский писатель, 1989.

Мы жаждем найти в стихах язык, с помощью которого могли бы изжить обиду жизни и наладить с ней утерянный контакт, а встречаем метафору, в которую заключено наше безутешное бытие, и умножаем одиночество на одиночество.

Ирине Знаменской не до богатых дыханием пауз, как мне, защемленному в крохотную рецензию, не до абзацев. Процесс обольщения романтизмом и изживания его остался за страницами первой книги, вышедшей поздно. Юности не дано было голоса, теперь она просится хотя бы в воспоминание. Но воспоминания-то сегодняшние. В них ей зябко и страшновато. Душа, в которой она оказалась, уже наполовину опыт, причем не только свой, но и великих выстраданных предшественников. «Мне нечего делить с соседом и с подругой, как нечего скулить, сплетясь во поле с вьюгой». Это же надо так, в четырех строках, расквитаться разом с Цветаевой и Блоком. Но состав души не может изменить даже время. Романтик и в жесткости, и в безутешности, и в сухости омертвелых чувств остается романтиком. Обязанный оговориться, что не беру в расчет масштаб, я бы сравнил свою сверстницу с Цветаевой восьмидесятых, как если бы она возродилась в новом молодом существе, однако с генетической памятью не только о «Поэме Конца», но и о гибельном конце и даже о том, что было после. Не ее ли это, не цветаевское «не», но лишенное былой сладости, которую ощущает отверженный? Не оттого ли так любимы Знаменской эпитеты «жесткий», «стальной», «железный», порой опредмечивающиеся в «нож», «меч» или «иглу»? И природа не потакает ей (или она не потакает природе). Ничего той не дается без боли и труда. Она не равнодушна (блаженный XIX век), а прямо враждебна и часто опасна. Поэтому ничего не остается, как мстить ей бытовым снижением. Но силы заведомо не равны — божественно-неуловимое выпадает в осадок словесности. Так понукают непослушного ребенка, глаз которого, в непросохших слезах, отдельно от обидчика и даже от обиженного уже внимательно устремлен в лукавое пространство. Не удаются и редкие, на манер Кушнера, попытки приятия жизни как таковой, а восклицания типа: «Жить хочу, жить!» походят на заклинания сидящего внутри дьявола, который в этот момент содрогается от проницательности и сарказма.

Стихи, посвященные путешествиям, книгам и картинам, оставили меня в большинстве своем равнодушным. Воистину, поэт живет только в тех, исповедальных стихах, в которых готов умереть. В книге Знаменской много догадок и чувств, которые не возьмешь игрой ума и воображения и которые даром не даются.

Н. КРЫЩУК

Бунюэль о Бунюэле. Мой последний вздох (воспоминания). Сценарии. Перевод с французского. М.: Радуга, 1989.

«Мой последний вздох» — розыгрыш, за которым не поспевает разоблачение. Атеист милостью Божьей, Луис Бунюэль, хотел бы перед смертью исповедаться и, к великому негодованию своих товарищей-атеистов, принять миропомазание, дабы и агония его была украшена какой-нибудь забавой. Бунюэля отвращает всякая истовость, кроме истового отношения к барам, напиткам и табаку. Огненный фанатизм коммунистов надоедает ему так же, как ортодоксальный эпатаж сюрреалистов или сильные страсти бизнесменов, доедаемых арифметикой. Он снял множество фильмов, объехал множество стран, был дружен со множеством знаменитостей, но запомнил только то, что не имело отношения ни к истине, ни к преображающему ее мифу. В его книге действуют озлобленный глухотой Хорхе Луис Борхес и тронувшийся умом от размаха бедер единственной своей возлюбленной Сальвадор Дали, обманывающий, юркий Чарли Чаплин, истеричный, безобразно сквернословящий Луи Арагон и создатель утомительнейшего из театров Федерико Гарсиа Лорка. На съемочных площадках Бунюэля мелькают сластолюбивые карлики, взбалмошные актрисы, актер-мексиканец требует вычеркнуть из сценария слова «зад» и «сзади», чтобы зрители не заподозрили его в гомосексуализме, и, наконец, появляется сам режиссер, обеспокоенный чем угодно, только не желанием объяснить актерам их задачи. Бунюэль обожает свои персонажи, но постоянно видит их в ракурсе смерти — таково его ви́дение жизни; смерть интересует его особенным образом, отчасти как Гоголя в трактовке Розанова, с налетом некрофильства, поэтому издевательства над витальностью в его лентах вполне невинны, хотя и считается, что Бунюэль создал самый жестокий в мире кинематограф.

В книге опубликованы два сценария: «Андалузский пес» — прощание с тупиками воображения Свифта, и «Виридиана» — философский этюд с резкими жестами комедии дель арте. Впрочем, гений в своей книге не собирается говорить об искусстве. Самым прекрасным в искусстве он полагает непонимание, которое есть неотъемлемое свойство правды.

Остается сказать, что автор предисловия К. Долгов с обстоятельной серьезностью отнесся к розыгрышу художника, которому в равной мере смешны и кумир и толпа, возжаждавшие друг друга.

Е. СКУЛЬСКАЯ



Юрий КАЛИНИН

НИЧЕЙНАЯ ЗЕМЛЯ

Эти заметки родились внезапно. Виновником их появления стал белый пудель Бим. А может быть, и не только он...

Когда я впервые очутился в пригороде Ленинграда — Ломоносове, бывшем меншиковском Ораниенбауме, а произошло это в 1957 году, городок поразил меня сочетанием районной провинциальности с пышностью огромного парка и уютностью екатерининских дворцов.

От ораниенбаумского вокзала в сторону Калища еще ходил паровичок с пассажирскими вагонами времен гражданской войны, внутри которых над дверью висел квадратный фонарь с оплывшей стеариновой свечой. Все общественные учреждения: райком, банк, магазины, столовые — были сосредоточены на отрезке проспекта Юного Ленинца, между обветшалой церковью и отстроенным в послевоенные годы Домом культуры.

Скорый на прозвища российский люд всласть потрудился в этой части города. Столовая звалась «Три ступеньки вниз», гастроном — «На углу», продовольственные магазины — «Три ступеньки вверх» и «Красивый потолок». Да и сам город мало кто баловал официальным именем. Звали кратко — «Рамбов», что и сегодня не устарело.

В гастрономе на прилавках скучали полные судки с зернистой и паюсной икрой, маринованными грибками, солеными пупырчатыми огурцами. За спинами продавцов горами возлежали на мраморных лотках колбасы и копчености. Минуло двенадцать лет после войны, многие жители ютились в убогих домах, но магазины ломились от продуктов. В этом ощущалось понимание всей страны перенесенной ленинградцами блокады.

Лесистое побережье Финского залива, соседство с Кронштадтом, сизая дымка над портом, редкие пароходные гудки, шум уходящих к Ленинграду электричек — все настраивало мое восприятие на романтичный лад. Опьяненный соловьиным пением, бродил я белыми ночами по парку и не мог оторвать взора от парящих над землей форм ринальдиевого павильона «Катальная горка». Он мне казался сравнимым лишь со знаменитым Тадж Махалом в далекой Индии.

И еще одно качество здешних мест сильно действовало на мое воображение. Я принадлежу к тому поколению советских людей, детство которых совпало с войной. А война для мальчишек возраста восьми — пятнадцати лет стала таким потрясением, что стереть его из их памяти уже не сможет ничто.

Эмоциональный заряд, полученный в детстве, не пропадает даром. Если внимательно присмотреться, то именно поколение военных мальчишек пришло теперь к власти в стране, именно оно встряхнуло наше общество от болотной застойности.

Война для меня — самое яркое из всех впечатлений жизни. Самый светлый праздник в году — День Победы. Все, что связано с войной,— свято. В этом смысле ораниенбаумская земля представилась мне святой дважды: по ней никогда не ступала подошва фашистского сапога!

Когда я читаю в книге «Ораниенбаумский плацдарм», что 28 сентября 1941 года «с целью усиления других участков Ленинградского фронта с Ораниенбаумского плацдарма выведены основные соединения 8-й армии, что в составе ПОГ (Приморской оперативной группы) оставлены 48-я стрелковая дивизия имени Калинина, 2-я и 5-я бригады морской пехоты, объединенная школа береговой и противовоздушной обороны КБФ и некоторые другие части», мне хочется встать и обнажить голову перед памятью бойцов. Полторы измотанные боями дивизии против отборных частей 18-й немецкой армии!

Правда, за спиной защитников Ораниенбаумского «пятачка», как его мигом прозвали люди, поднялись стволы линкоров Кронштадта, а на правом крыле — орудия фортов Красной Горки, но все равно это был тяжелый бой. Бой, длившийся до полного освобождения Ленинграда от блокады.

Все выдержали ораниенбаумцы — голод, холод, обстрелы и бомбежки, но город отстояли, являя чудеса храбрости и... смекалки. Как изумился я, узнав, что они на так называемой ничейной земле, расположенной между нашей и немецкой перед-

ними линиями, под непрерывным огнем умудрялись выращивать на колхозных полях капусту! Снимали ее в маскхалатах по первому снегу. Ночами, на ощупь сворачивали головы кочанов и под вспышки осветительных ракет тащили за собой полные волокуши.

По сей день я горд тем, что хожу по не топтанной фашистскими сапогами ораниенбаумской земле, что, в отличие от павловских, пушкинских и петергофских дворцов, ломоносовские сохранились в первозданном виде. Не муляж, а подлинность.

Давние впечатления и сегодня не покинули меня, хотя неизбежно и поистерлись от времени. Однако я и в мыслях представить себе не мог, что стану свидетелем рождения еще одной, можно сказать уникальной, рамбовской достопримечательности...

Город с годами ширился и менялся, как менялась вся страна. Исчезли с прилавков икра и копчености, да и сам гастроном уступил свою жилплощадь ателье по пошиву одежды, снесли уютные столовочки, в многолетнем ремонте пропал красивый потолок продовольственного магазина. Оскудевшим магазинам народ перестал давать прозвища. Числил их просто под номерами. Центр города насильственно сместился туда, где когда-то вдоль дачных заборов паслась на поляне серая со спутанными передними ногами лошадь.

Целые массивы бетонных и кирпичных многоэтажек с магазинами, школами и детскими садами стали теснить лес. Бывало, уедешь в командировку, пробудешь там несколько месяцев, вернешься и — глазам не веришь: еще порушили несколько домов-гнилушек, еще заложили фундамент под многоквартирный блок.

Город возводился быстро, но как-то рывками, с пропусками и огрехами. Упрямая воля настойчиво гнала новостройки в лес. Строительный вал расползался блином, вытягивая сеть коммуникаций — водных, электрических, газовых, транспортных. В то же время посреди старого города образовывались пустыри, долгие годы смотрели, да и по сей день смотрят, темными глазницами окон покинутые обитателями каменные и деревянные коробки зданий. Годами поговаривали власти о проектах плавательного бассейна — под него даже яму вырыли напротив манежа, о культурном центре с кинотеатром и площадью, о строительстве второй очереди Дома культуры. На возведение последнего даже поборы устраивали с населения. И где оно все это?..

Город терял свое лицо, становился похожим на сотни других.

Менялись и люди. Как-то незаметно, исподволь стал возникать на фоне мощного строительства дефицит доброжелательства и взаимного внимания. Дефицит этот нарастал быстрее, чем исчезали с прилавков продукты.

На таком фоне и крепла у меня давняя мечта завести в доме собаку. Проглядывается такая закономерность — чем хуже общение между людьми, тем больше в семьях появляется домашних животных.

Верный пес — хозяину утеха. Он предан, отзывчив на ласку, бесхитростен, честен, не подл. В собаках эти качества остаются неизменными всю их, не очень-то и длинную, жизнь.

Долго сдерживали меня командировки, занятость, суета и вечная спешка в нашей жизни. И еще — выгул. В городах выгул собак — проблема. В парках и скверах запрещено, на асфальте — вредно, вывозить за город — хлопотно. В моем случае дело положительно решили ломоносовские пустыри.

Ушибленная лихими новостройками природа отчаянно стремилась компенсировать потери. Зачахли брошенные сады и покинутые огороды. На всех городских неухоженных, по сути дела, бесхозных землях буйно поднялась трава, стеной встали камыши, затянулась ряской бассейновая яма, вымахали до неба разнородные деревья. Чем не выгул?!

Словом, в этом году залаял у меня в квартире лопоухий щенок.

Теперь каждый божий день в шесть утра будит он меня и — погода, не погода — тащит на улицу, в кущи пустыря. Так и началось мое знакомство с этой ломоносовской достопримечательностью.

Пустырь этот — огромное поле, которого хватило бы на целый микрорайон, начинался от магазина № 46 и заканчивался у снесенной станции Юного Техника. И, как всему заметному, горожане прилепили ему прозвище. Окрестили Полем Дураков...

Вот, в городе Париже есть Елисейские поля, в Ленинграде — Марсово поле, в Москве — Гороховое и у нас теперь — чем мы хуже?! — есть свое — Поле Дураков. Поди сыщи еще хоть один город в мире с такой колоритной достопримечательностью.

У названия этого, как у всего отмеченного народом, смысл не однозначен. То ли относится оно только к тем, кто по нему болтается попусту, то ли имеются в виду прежние городские деятели, по воле которых или другим каким качествам Поле это образовалось посреди города. Но это так, к слову. Главное в том, что при первой же прогулке понял я с огорчением, что место это для собак гибельное.

Земля, канавы и тропинки на нем засорены останками порушенных сараев, горелых досок с торчащими гвоздями, железным хламом, кучами строительного мусора с торчащими концами арматуры. Поверх этого блестело стекло битых поллитровок, флаконы из-под спиртосодержащих аптечных и парфюмерных препаратов, рваные консервные банки, комки сальной бумаги и полиэтиленовые пакеты.

Тут собаке резвиться — только лапы ранить.

Но это рано поутру, когда на Поле пусто. Ближе к вечеру, когда в винный отдел сорок шестого магазина завезут спиртное, их ждет опасность иная...

Едва обутыленные граждане вырвутся из дверей магазина, как устремляются они на Поле, в его дикие заросли, прочь от людского глаза. Нетерпеливые, возбужденные удачей, заполняют они местные джунгли, и сразу — зубами пробки из бутылок вон, и, кто из припасенных загодя стаканов, а большинство, не мудрствуя, по-пролетарски, из горла, наливают внутрь себя вожделенное монопольное зелье.

А уж потом!.. И говор, и песни, и драки, и, конечно, смачная разухабистая матерщина, от которой на кустах, кажется, и листья осыпаются, а у собак на загривке шерсть дыбом встает.

От такого соприкосновения у чутких животных нервная система расшатывается. Ведь и собаке мерзко видеть, как упившиеся, теряющие людской облик человеки валяются в недоедках, в собственной моче и блевотине.

И если бы картина ограничивалась только этим...

Встречались мне на поле и 8—15-летние мальчишки и, что еще ужаснее, девочки. Это не просто праздно шатающееся от безделья племя. Накурившиеся сигарет, надышавшиеся из полиэтиленовых пакетов парами клея «Момент», они агрессивны, озлобленны, легко возбуждаются и, руководимые стадным инстинктом, готовы по любому поводу броситься в свирепый мордобой.

Нет, как и во время войны, не пустовала ничейная земля...

Помню, в те годы я видел взрослых только работающими. Время не позволяло бездельничать. И от такого контакта мальчишки во многом воспитывались работящими, не помышляющими терять попусту отпущенное для жизни время. С той поры безделие меня не только утомляет, но и оскорбляет. А теперь никого не ошарашивает даже такое словосочетание, как «убить время»! Тем более, что за это убийство и соответствующей статьи в законах нет...

Конечно, война — прежде всего огромная беда, всенародное несчастье, и глупо ее идеализировать. Мирная жизнь складывается по другим законам и, безусловно, нуждается в разнообразии, но чтобы оно приняло такие формы...

Эти ребята-зверята вместе с осатанело пьяными оравами взрослых особей являют какую-то новую, народившуюся уже в послевоенное, вполне советское время деградирующую популяцию. По сути дела, обсевки человеческие, а сказать резко — мусор.

Какие ужасные слова приходится употреблять! Ведь речь идет о моих согражданах, о моем народе. И грустно, и больно, но, честно говоря, иного слова искать не хочу. Опостылела полуправда.

Мусор-то мусор, но уже стало небезопасно выходить из дома послушать белыми ночами ораниенбаумских соловьев...

Холодно становится на душе оттого, что лет через сорок это поколение станет приходить в стране к власти.

О причинах сказанного кричат газеты, радио, телевидение. Не стану им вторить. Великая Ложь прошлого породила великое же Хамство настоящего. Оно гигантской воронкой втягивает в себя все новых и новых молодых людей. Они пьют и одурманиваются оттого, что постыла пронизанная фальшью жизнь, а жизнь становится еще безрадостнее оттого, что все большее количество людей пьет, одурманивается и в конечном итоге бездельничает. Причина и следствие путаются местами. Явление становится устойчивым.

Трудно разорвать этот круг. Редко кому самостоятельно удается из него вырваться. Удел большинства — преступление, суд, тюрьма. А это еще один круг, но только более суровый и прочный.

Так что же? Кричать «куда смотрит милиция?». Наивно. Она уже давно не способна самостоятельно справиться с этим. Честнее поставить другой вопрос: куда смотрим мы? Ведь это на наших глазах, в наших домах, у наших соседей вырастает пополнение преступникам и хамам.

Нас в Ломоносове проживает более сорока восьми тысяч. Вдумайтесь: почти пять дивизий! От немецких войск город защищали неполные две, но они не допустили фашистских варваров топтать ораниенбаумскую землю, а мы лишь изумленно взираем на то, как доморощенные варвары ее преспокойно поганят. Что с нами произошло? И долго мы еще будем такое терпеть!

Не призываю я браться за колья и идти стенка на стенку, хоть руки и чешутся. Драка не метод решения споров. Применять силу — дело милиции. Наше дело — создать условия неуюта начинающим хамам, хулиганам, токсикоманам. Их растительная среда — ничейная земля — в грязных подворотнях, заплеванных подъездах, пыльных сараях, сумерках брошенных домов, в сырых подвалах и в зарослях пустырей. Их не устраивает ясный обзор.

Потому и начать, мне кажется, следует с чистки наших дворов и улиц, подъездов и сараев. Нужно освободить город от хлама, подрезать вдоль тротуаров кусты, подстричь газоны, вымыть подъезды и разгрести завалы в подворотнях, облагородить пустыри. При этом не стоит дожидаться действия властей — можно, как в былые времена, и не дождаться. И главное, не скатиться к «неделе чистоты» и «месячнику санитарии». Нормальные люди в своей квартире поддерживают чистоту каждый день и всю жизнь.

И — архиважно — привлекать к этой работе как можно больше детей. Помните, эмоциональный заряд, полученный в детстве, никогда не пропадает даром. Пусть школьники сажают деревья, метут у своих домов тротуары и улицы, стригут кусты. Хорошо бы закрепить за ними участки и платить за чистоту на них деньги, как дворникам. Хоть небольшие, но платить! Это будут честно заработанные деньги.

Но и городским властям следует пойти на решительный шаг. Нужно ликвидировать понятие ничейной земли, отдать ее в полную собственность горожан. Не жилищных контор, а самих жильцов. Разбить землю у домов и на Поле на участки, отдать горожанам во временную аренду. И пусть только сход решает, что и как на этой земле делать.

Единственным налогом за эту аренду должна быть целесообразная чистота и опрятность земли. Но при этом арендаторы должны ощущать за своей спиной, как кронштадтскую линкорную артиллерию, юридическое право на эту землю, силу местных законов и мощь милиции, их защищающую

Будем честны, жизнь давно распорядилась в этом отношении. Сколько в городе цветничков и грядочек стихийно огорожено у окон первых этажей? И за каждым участком есть хозяйский догляд. Попробуй-ка хам туда сунуться — сразу получит отпор. Опыт имеется. Нужно его только развить.

Дело, которое я предлагаю, может иному показаться наивным средством борьбы с Хамством. Но это только кажется. Бросить первым окурок на чистый пол даже хаму неловко, но запросто, если хоть один окурок на полу валяется. Мы воспитаны нетерпеливыми, все нам хочется сразу, а сразу бывают только катастрофы. Все остальное требует долгой кропотливой работы. Легко под оркестр отбухать воскресник по очистке улиц и — ох как! — трудно из года в год чистить и мыть, выращивать и подстригать, красить и скоблить, подлицовывать и реставрировать... Тут, уверяю вас, понадобится и настойчивость, и терпение, и стойкость, и даже мужество. Потому что все это нужно будет не только осуществлять, но еще и оберегать. Зато тогда город наш станет выглядеть не хуже чистеньких европейских городов, которыми мы любуемся на экране телевизора.

Впереди огромное поле работы. Уже урчат бульдозеры на Поле Дураков. Кажется, власти пробудились ото сна. А мы? Неужто будем наблюдать со стороны и ждать, когда какой-нибудь добрый дядя примется за нас наводить порядок?

Не примется. Нет такого дяди. Придется самим засучивать рукава.

Редакция напечатала эту статью отнюдь не ради того, чтобы вызвать всеобщее сочувствие к несчастной судьбе Ломоносова-Ораниенбаума. Ленинградцы, да и не только они, с болью сердечной переживают то, что происходит сегодня со всеми нашими городами, включая сюда, конечно, и бывшую Северную Пальмиру. Автор статьи попытался дать ответ на вопрос: как же нам теперь быть? Удачен ли он — судить читателям. А вопрос очень злободневный. И очень сложный. И простого ответа на него быть не может. Созданный в минувшем году Фонд возрождения Ленинграда предлагает комплексное его решение. Программой Фонда предусмотрена целая серия долговременных мероприятий по оздоровлению духовной атмосферы в Ленинграде и пригородах, по восстановлению памятников. Над воплощением программы в жизнь уже работают и собственные хозрасчетные предприятия Фонда, и коллективные члены — учредители его. Среди них — крупнейшие ленинградские фирмы, научные учреждения, творческие союзы. Очевидно, только общими усилиями можно спасти то, что сохранилось, и возродить к новой жизни утраченное, как иной раз кажется, безвозвратно.

[1] Счет Фонда возрождения Ленинграда в Куйбышевском районном отделении Жилсоцбанка № 19001700465 МФО 17111.

Дело прошлое

Валерий НИКИФОРОВ

ПО КОМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ НА КИЖСКОМ ПОГОСТЕ?

Фото И. Кружанова

Всякий раз, когда я прибываю теплоходом на Кижи, сердце мое теснит и жмет тревога. Что меня ждет от встречи с двадцатидвухглавой красой острова — Преображенской церковью? Что с ней сталось после, не знаю уж, которого по счету решения, о ее дальнейшей судьбе?

Вот и нынче, едва теплоход закрепился на швартовах, сбежал я на летний цветастый бережок Кижей, устремился по щелястому дощатому тротуару, а потом и по мягкой земляной тропке к черневшим на взгорке строениям, где квартирует дирекция музея-заповедника.

Тороплюсь по тропке на рандеву с ученым секретарем музея Юрием Владимировичем Суворовым, а сам держу равнение направо, где плавает над землей храм.

(Раннее солнце подняло росу с травы туманом, и кажется, что Преображенская церковь царит над островом, не касаясь земли.)

Держу равнение направо, и почти уходит из сердца долго томившая его тревога, вижу: сняли уже леса с храма, открыт он и благолепен, каким и положено ему быть.

Почти уходит тревога. А это значит, что все же она остается. Потому, что знаю: принято бесповоротное решение доверить популярному теперь самоучке-реставратору архитектору А. В. Попову раскатать Преображенскую по бревнышку, тем и начав ее возрождение. Вот ведь как.

А позже, когда уже вдосталь набеседовался я с ученым секретарем Юрием Владимировичем, он, глядя в сторону от погоста, в даль озера, сказал так тихо, будто только себе самому:

— И вот однажды откроются Кижи, но без двадцатидвухглавого чуда своего. Вынесет ли это душа? Не разорвется?

«Выдержит ли душа?» — обмирал и я, слушая Суворова.

Но об этом потом, потом — до этого разговора по сюжету моих заметок еще нам с тобой, читатель, идти и идти. И этот путь наш будет скорбен, ибо отнюдь не к светлому будущему сего святого места станем двигаться мы. А как быть: не свернешь уже со стези этой, ибо не сможешь никому доверить свой крест. Поймет меня всякий человек, кому дорога история Руси, памятники ее культуры, людские деяния ее. Поймет меня всякий, кто хоть как-то, чем-то может помешать оскудению Отчизны.

Но, впрочем, все мы горазды говорить слова. Горазды лишь готовиться к решительным действиям. Упрек этот прежде всего самому себе. И многим современникам, прекрасные порывы души которых в последнее время только лишь ворохнулись. Еще гнетет всех нас леность и боязнь, таим мы надежду, что решительный шаг сделаем когда-то там, попозже, а может, и не мы вовсе: потомки идут решительней и дальше.

А ведь и мы чьи-то потомки.

Скажу сейчас о том, что знаю, что совестит меня сегодня.

Известны письма, статьи, распоряжения В. И. Ленина с требованиями к местным органам строго учитывать историко-художественные богатства, оставшиеся от старого времени.

А мы, сегодняшние, ведем счет утратам?

Там — проморгали: сгорела церковь, здесь — прохлопали: рухнул памятник...



Лист утрат может быть бесконечным. Скрутится он в такой свиток, что и не поднимешь.

Но сейчас — только о Кижах. И не потому, что они — уникальны, но еще и потому, что здесь проблема охраны, восстановления, использования памятников архитектуры и культуры прямо в глаза лезет, глаза режет.

Чтобы не быть голословным, сошлюсь на материалы Всесоюзного совещания по охране, реставрации и использованию памятников истории, культуры и архитектуры, которое проходило в Москве 16 мая 1988 года.

«То, что происходит с уникальной деревянной архитектурой Севера, можно назвать катастрофой,— говорил там профессор Петрозаводского государственного университета В. Орфинский.— У нас остались считанные годы, и мы должны их использовать в полной мере, чтобы не оказаться культурными банкротами перед лицом всего мира».

Стократ прав профессор. И, конечно, стыдно быть культурными банкротами «перед лицом всего мира». Стыдно вообще быть банкротами. И нечего стыдиться сторонних. Сами себя должны стыдиться, если еще совесть свою не схарчили вместе с кашей.

Если есть совесть, то есть и ответственность. Но порой так выходит, что мы ищем ношу полегче, а что потяжельше спихиваем на других. На упомянутом уже совещании министр культуры РСФСР Ю. С. Мелентьев сетовал: «Атеистический топор, оказавшийся в тридцатых годах в руках воинствующих невежд...».

Валить можно и на атеистов, и на религию... Кстати, петрозаводский профессор вот что напоминает: «Да, кому-то не нравится, что, говоря о памятниках, мы часто имеем в виду храмовую архитектуру. Но ведь это были не только культовые здания. Это история духовного становления народов, проявления их творческого гения»...

Как хорошо говорим: искусство принадлежит народу! Воспаряешь духом, смотришь соколом: вот что тебе принадлежит, вот как ты богат. Вот, наконец, что доверено тебе! Ты, народ, обладатель бесценного национального достояния.

Но были, есть и, к сожалению, будут еще такие, кто без робости думал, считал без сомнения, грезит наяву: я — представитель народа, я — народ. Что хочу, то и ворочу. И не о власть имеющих временщиках говорю я — напоминаю о тех, кто по складу ума, образу жизни, действиям своим — потребитель сей жизни, всего, чем богата она. Такие употребляют жизнь по своему усмотрению. Часть жизни — искусство — употребляют по прихоти сегодняшнего дня.

«Атеистический топор... в руках воинствующих невежд». Ах, только бы это! Сколько бед от внешне респектабельных, защищенных дипломами, званиями, постами, должностями!

...Влечет меня по острову обочь туристских троп сомнение, что не сохранится это кижское чудо, горестная уверенность, что я один из последних, кто был здесь и видел, чувствовал все это.

Опускаюсь по пологому склону берега к самому урезу онежской воды, отсюда, снизу, гляжу на простую и величавую Преображенскую церковь, и накатывает на меня что-то, что, наверное, и есть тот экстаз, в котором блаженствуют и бьются верующие перед мессией. Я же ликую, дивлюсь дерзновению простого смертного, который отважился сотворить такое. Но тут же вспоминаю известный мне факт: Преображенская церковь — это 1200 кубометров древесины по оценке лесоповальных начальников.

А вот слова академика Д. С. Лихачева: «Кижи — это не только памятник русской, карельской или в целом всесоюзной культуры — это памятник мировой культуры. Работники Кижей — деятели мировой культуры».

Одной из частных причин моего паломничества на Кижи было желание встретиться, побыть в неспешных беседах с одним из таких деятелей мировой культуры, директором музея-заповедника Михаилом Васильевичем Лопаткиным, знатоком и радетелем Кижей.

Подойдя к зданию дирекции, с уверенной надеждой спрашиваю у какого-то встречного служителя:

— Михаил Васильевич на месте?

— Нет его,— отвечает служитель, с непонятной поспешностью ретируясь.

«Понятно,— думаю.— Не в конторе же ему сидеть, где-нибудь на территории, у своих детищ».

Одолеваю два пролета рубленой деревянной лесенки. Стучу в дверь: не отзываются. Соседняя — распахнута. За столом сидит, смотрит в заоконное золотое утро Юрий Владимирович Суворов, ученый секретарь.

— Юрий Владимирович, директор на территории?

— Лопаткин больше у нас директором не работает,— говорит Суворов.

Если б я не сел на стул, то плюхнулся бы на пол, сраженный этой вестью. Куда делся энергичный, знающий, болеющий за дело, видящий будущее Кижей сравнительно молодой человек. Все это зароилось в моей голове. И полагал и, что сейчас услышу что-нибудь такое, вроде: пошел на повышение, занялся чистой наукой...

— Уволился.

А позже мне сказали напрямик:

— Считайте, что Лопаткина уволили. Хотя заявление сам написал.

Ошарашенный этой новостью, спустился я почему-то по наружной лестнице и так, истуканом, и побрел к погосту. Будь я верующим, перекрестился бы на вонзенный в близкие небеса крест, осиянный отраженным солнечным светом от свежего гонта, которым нынче покрыли главную маковку Преображенской церкви. Но в чувство меня привел колокольный звон. Такого на Кижах я еще не слышал. Правда, поговаривали, что для полноты сервисного обслуживания экскурсантов намереваются достать из запасников колоколá, водрузить их на какой-нибудь из церкви, отбивать хотя бы часы.

И вот — забытый звук плыл откуда-то с восточной стороны. Шел он не от Преображенской, не от соседней Покровской, не от специальной для этого колокольни, поставленной на погосте позже всего остального — в 1862 году. Понял я, что звон, наверно, от маленькой церквухи Воскресения Лазаря, считающей свои годы аж с четырнадцатого века.

Очнулся я, попытался самому себе ответить на вопрос: в чем причина такого исхода директора Лопаткина?

Да, мне было ведомо, что характер у Михаила Васильевича — не сахар. Да, он усложнил отношения с вышестоящим начальством — имел мнения свои. Но главное, на чем вызревал конфликт, проблема: как сохранять, реставрировать, эксплуатировать кижские памятники. Михаил Васильевич был ярым противником раскатки Преображенской церкви. И вот, как только на расширенном заседании коллегии Министерства культуры РСФСР было принято решение доверить переборку Преображенской церкви А. В. Попову, тут с Лопаткиным это и случилось.

«Сам ушел? Вряд ли... Ушли!» — думал я, шагая по только что скошенной траве на северном взгорке погоста.

Шел и думал: «Вот так подкосили... Конечно, Лопаткин — всего лишь директором был. Еще и коллектив есть музейный... Но все же жаль Михаила Васильевича... Жаль... А сколько у него было выговоров за непослушание? Формальное право уволить строптивого найти у нас не так уж трудно...».

Передавали мне, что однажды во время очередного конфликта М. В. Лопаткину было сказано с министерских высот: обязанность директора — не умствовать, а выполнять приказы вышестоящих инстанций.

Солнце поднималось все выше. Цветяной дух шел от нагретой им земли. Веял ласковый озерный ветерок. Он доносил слова экскурсовода: «Добрая слава об острове Кижи давно перешагнула рубежи нашей Родины. Ежегодно сюда приезжает более ста тысяч туристов. Кижские памятники единственны и неповторимы...»

Голос удалился и замолк. Он увлек за собой и очередной плотный сгусток экскурсантов, которых выпустил на остров очередной ошвартовавшийся теплоход.

Когда я впервые, лет двадцать назад, прибыл на Кижи, мне вещали местные знатоки:

— Если к семьдесят пятому году не принять мер, храм рухнет.

Потом пришли слухи, что началась реставрация Преображенской церкви. Завершена она будет в восьмидесятом году. Под эгидой Министерства культуры РСФСР и объединения «Росреставрация» (которое, кстати, является патроном всех наших памятников деревянного зодчества) составлялся генеральный план развития музея-заповедника.

(Замечу в скобках, что таких планов было много. Один из вариантов согласовывается и до сих пор. Были «наметки» на месте Преображенской церкви поставить макет, а подлинные четыре фрагмента этого прекрасного целого отнести куда-нибудь в угол острова. Был замысел оснастить Кижи вертолетными площадками, туристско-гостиничным комплексом на 250 мест, пустить по Онеге суда на воздушной подушке. Планов и наметок было много. Замечательно, что все они создавались вдали от здешних широт, в непродуваемых северными ветрами кабинетах. В авторах проектов ходили знатоки, которые несколько часов нескольких своих приездов на Кижи посвятили знакомству с натурой. Упомянутый архитектор, будущий реставратор А. В. Попов тоже был здесь наездами раз пять-шесть.)

Кое-что из «предначертанного» было осуществлено: в частности, в Преображенскую церковь внедрен железный каркас, о котором долгие споры идут: держит он конструкцию или не держит, а только вредит ей? И вот принято бесповоротное решение о раскатке чуда, как трухлявой поленницы.

Да, еще одно очень хорошее дело сделано: на острове категорически запрещено курение. Можно лишь подымить на бетонном причале, кому неймется.

Но я знаю маленький затишок возле избушки «дирекции». Где в центре каре из деревянных лавок вкопана железная бочка с водой. Здесь в час короткой передышки дымят гиды. Вот и я очутился здесь, чтоб, запалив сигарету, пошерстить свой блокнот, наполненный множеством сведений о Кижах. А первая страница открывалась фактами, почерпнутыми из расхожего пятиалтынного буклета.

...«В 1920 году Кижский архитектурный ансамбль взят на учет как памятник искусства. В 1926 и в 1940 годах архитекторами проводились обмеры Кижских

церквей. В октябре 1945 года постановлением Совнаркома Карело-Финской ССР территория Кижского погоста была объявлена заповедником. В 1948 году под руководством архитектора А. В. Ополовникова началась реставрация. В конце пятидесятых — первые экскурсанты. В настоящее время на острове — 70 памятников архитектуры». Есть в моем блокноте и такая помета: «Все памятники истории и культуры, находящиеся на территории СССР, охраняются государством». Это — из Закона Союза Советских Социалистических Республик об охране и использовании памятников истории и культуры.

Я — материалист, атеист, законопослушник. Как и большинство. Все мы свято исповедуем и Основной закон наш, и ГК, и УК, и процессуальный, прочее, и так далее. Законов у нас много. Но и нарушениям их — несть числа. И невольно приходят на память всего лишь те же десять заповедей. Которые не регламентировали каждый жест и шаг. Ныне же заповедей — сорок сороков. Но вот, считают юристы-доки, настала пора правовой реформы, чтоб наше государство стало наконец правоправным.

Не замечал ли ты, читатель, что подчас Закон у нас держат в разряде мнения: «Есть такое мнение»... По этому поводу острят: «Начальник пригласил обменяться мнениями. В кабинет зашел со своим мнением, вышел с мнением начальника».

М. В. Лопаткин имел, надо полагать, и по сию пору имеет свое мнение. Имеет, знаю я, Михаил Васильевич и единомышленников.

Когда страсти о судьбе Преображенской церкви накалились добела, решено было провести обсуждение проблемы, пригласив и специалистов, и представителей общественности.

Такое совещание состоялось в апреле 1988 года в Петрозаводске. Речь там шла о том, оставлять Преображенскую церковь или раскатывать ее. За раскатку проголосовали трое. Один — в зале, двое — в президиуме. Присутствовавший профессор В. П. Орфинский призывал всех к благоразумию.

Еще раз напомню о Всесоюзном совещании по охране, реставрации и использованию памятников истории, культуры и архитектуры, которое состоялось в Москве. То есть — после петрозаводского «апреля». Так вот, на том совещании тогдашний министр культуры СССР В. Г. Захаров прилюдно, с трибуны сказал:

— ...Неясно до сих пор, что делать с Кижами.

А двумя годами раньше, в апреле 1986 года, министр культуры РСФСР Ю. С. Мелентьев заявил:

— Мы потеряли его. Практически он умер, прожив 272 года.

Министр имел в виду Преображенский собор.

Этот же министр, побывав уже на Кижах, молвил: «Конструкция церкви еще хороша. Но там нет датчиков, чтобы следили за ее состоянием каждый день». Присутствовавший при сем мнении главный архитектор института «Спецпроектреставрация» Н. Д. Недович тут же реагировал: «В течение недели поставим».

Датчиков, понятно, нет до сих пор.

К слову о датчиках.

Изобретатели и рационализаторы одного из промышленных предприятий, озабоченные судьбою Кижей, придумали и изготовили уникальный телеробот, который, будучи установленным в Преображенской церкви, следил за ее состоянием, при малейшем намеке на какую-то опасность подавал сигнал (телеизображение) на специальный пульт. Но тут произошла Чернобыльская трагедия. Кто-то вспомнил об этом роботе. С Кижей его срочно перебросили на место катастрофы. Что поделать — национальное бедствие.

Оно же надвигается и на Кижи.

А что касается датчиков — они были в Преображенской церкви. Были и экспертизы, которые проводились по инициативе дирекции музея-заповедника. На что, кстати, строго указывалось «самовольцам».

И вот уже нет директора. Но сохранились результаты прежних экспертиз.

Слово документам.

«Измеренная прибором РГД-2 плотность древесины сруба показала, что 94 процента бревен практически соответствует плотности древесины сосны, произрастающей в южной части Карелии»...

«...„Огнестрельный“ метод исследования плотности показал, что сруб Преображенской церкви не требует переборки и после проведения инженерных работ по укреплению конструкций может эксплуатироваться в первозданном виде еще весьма длительное время»...

...Опять над Кижским погостом ударил колокол, обозначив урочный час обусловленного моего свидания с ученым секретарем Ю. В. Суворовым.

Загасил я «бычок» в воде железной бочки, покинул скамеечное каре, пошли мы с Юрием Владимировичем бродить по погосту.

Я понимал, что Суворов — лицо официальное, следовательно, ему может показаться мой вопрос о раскатчике-реставраторе А. В. Попове некорректным. Но Суворов свои соображения высказал:

— Попова я знаю мало, так как он бывал здесь редко. Знаю, что своим методом «раскатки» реставрировал церковь Дмитрия Солунского в Верхней Уфтюге.

Знаю, что в печати критиковали его деяние. Теперь он берется за Преображенскую. Она многожды сложней. По сути — Попов только учится работать. Он использует технологию, инструментарий древних строителей.

— Пусть бы учился на баньках, амбарах,— не выдержав, встреваю я.

Юрий Владимирович помолчал и на это мне ничего не сказал. Он ответил зато на вопрос, который я еще только собирался задать.

— Знаете, почему Попов импонирует всем, почему ему доверили такое дело? Он, пожалуй, первый за многие-многие годы полностью взял ответственность на себя за все возможные последствия. Взял ответственность и всех убеждает в успехе.

— Но ответственность брал и ваш бывший директор Лопаткин?

— Во-первых, он человек со сложным характером... А во-вторых, программа, предлагавшаяся Лопаткиным, скажем лучше,— оговорился Юрий Владимирович,— коллективом музея, большей частью сотрудников, не сулила скоротечного успеха, была рассчитана на продолжительное время.

Всего моего разговора с ученым секретарем пересказывать не стану. Изложение заняло бы многие и многие страницы.

Суть же такова: кижские энтузиасты предлагали основать своеобразную научно-реставрационно-эксплуатационно-пропагандистскую фирму «Кижи». Они бы изучали памятники, они бы занимались реставрацией, они бы эксплуатировали Кижи. И так далее, и тому подобное.

Но было одно препятствие.

На Кижах расположены интересы разнообразных ведомств. От ведомства общественного питания и гортопа одного из районов Петрозаводска до Беломоро-Онежского пароходства.

Сами понимаете, им хлопот с «фирмой» — выше головы.

Однако кое-что «фирма» уже попробовала. Что также было поставлено в вину директору. В двух словах — вот что.

— В последние два года,— рассказывает ученый секретарь, мы оживили работу в музее. Кроме традиционного осмотра экспозиции, стали проводить различные выставки. Например, «Памятники музея Кижи в изобразительном искусстве». Она и сегодня открыта. А было уже таких выставок несколько. Организуем мы фольклорные праздники. При музее создан самодеятельный фольклорный ансамбль, в котором принимают участие сотрудники музея, местные жители. «Да,— вдруг добавил Юрий Владимирович,— в последнее время больше стало оседлых жителей на Кижах. Пополняют население и наши сотрудники. Селятся семьями, детей рожают. Еще в музее мы планируем развивать систему платных экскурсионных услуг. Сейчас открыли игровой сектор, где можно попытать себя на ходулях, на подкидных досках, поиграть в рюхи, в другие забавы крестьян. Это оживляет экспозицию. Как оживляют ее и праздники народных умельцев: резчиков, кузнецов, кружевниц.

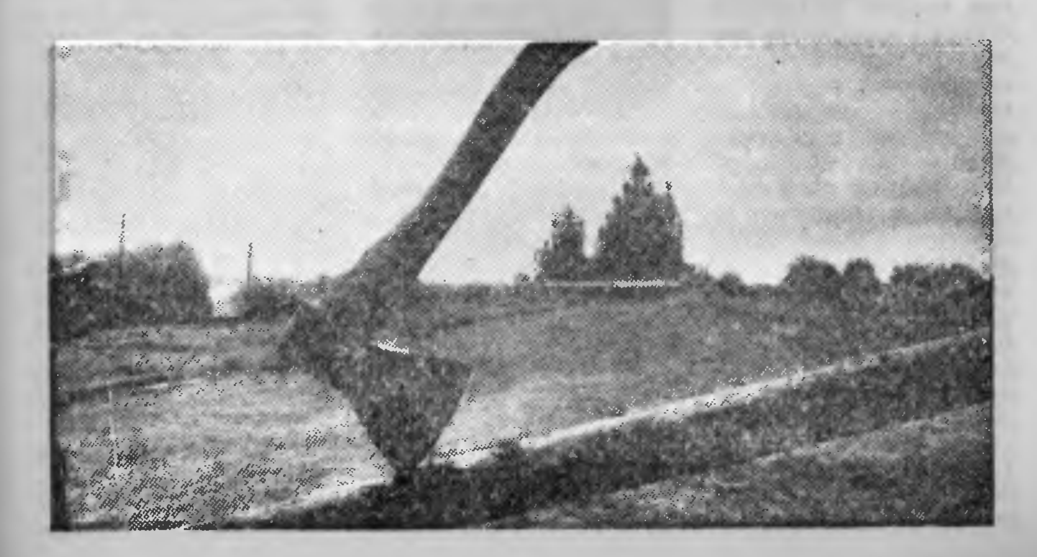
Прощаясь с ученым секретарем, я спросил у него:

— Чего ж, нет теперь у вас директора. Скоро, видно, и Преображенской церкви не будет?

Юрий Владимирович ответил только на первую часть вопроса:

— Мы хотели в коллективе провести демократические выборы директора, что и позволяет нам сделать Закон о государственном предприятии (объединении). Провели и конкурс-аттестацию. Наметили кандидатуру из сотрудников. Но в министерстве нам сказали: нельзя. Директор будет назначен.

С тем и пошел я с Кижского погоста. Там звонил колокол. По ком?



Вернисаж «Седьмой тетради»

Вячеслав КОРОБКИН

СЭРУ МАТВЕЕВУ, ЭСКВАЙРУ

«Досточтимый сэр! Чрезвычайно признательны Вам за внимание к нашей фирме и весьма благодарны за великолепную подборку этикеток пивных фирм Вашей страны. С удовольствием высылаем Вам три сотни этикеток нашей фирмы. Будем рады продолжить обмен. Просим оказать честь посетить наше старейшее пивоваренное предприятие Великобритании». Письмо это, напечатанное на роскошном бланке по-английски, было вложено в конверт, на котором латинским шрифтом был указан адрес: Ленинград, Петергоф, сэру Матвееву, эсквайру. Несмотря на чрезмерную лаконичность адреса, письмо без промедления нашло адресата: ежедневно целая пачка писем и посылочек доставляется сотруднику Ленинградского университета Валентину Матвееву, и ни одно из них не теряется даже в том случае, если незадачливый корреспондент из Новой Каледонии или острова Мадагаскар, стремясь щегольнуть знанием «экзотического» русского языка, выводит на конверте весьма иллюзорным подобием кириллицы: Мемерсхов, Баренхмух Мамзеес, что, по мнению заморского грамотея, следует читать: Петергоф, Валентин Матвеев. Валентин подарил мне на память один из таких конвертов. Я понял секрет попадания письма с таким более чем курьезным адресом «в яблочко» — был правильно указан почтовый индекс — 198904. А на почте Матвеев завсегдатай вот уже два десятка лет.

В коллекции инженера Матвеева пятьдесят пять тысяч пивных этикеток из ста сорока одной страны мира! Необычная коллекция, не правда ли?

— Коллекционеров пивных этикеток,— рассказывает Валентин Федорович,— называют лабологистами — от английского названия этикетки. В СССР, по моим данным, серьезно увлечены этим видом коллекционирования считанные десятки человек. А вот в остальных странах... Там существуют целые клубы, объединения, корпорации коллекционеров пивных этикеток и прочей пивной атрибутики. И это считается весьма престижным хобби. Мы сейчас много говорим о создании так называемых «клубов по интересам». Клуб лабологистов — будь он у нас учрежден официально — дело нужное и полезное во всех отношениях. Глупо рассматривать пиво только как вульгарный алкогольный напиток. Ведь оно древнее воспетого тысячи лет тому назад Гомером благородного виноградного вина — брата нектара и амврозии. Пиво появилось в человеческом обиходе вместе с зарождением земледелии.

Валентин Федорович раскрывает один из многочисленных альбомов, в полиэтиленовые страницы которого впаяны, наподобие бон, яркие, красочные, выразительные картинки.

— Это все — пивные этикетки. От Исландии до Новой Зеландии и от Великобритании до Японского архипелага. Нет страны на свете, в которой не любили бы этот напиток, и нет страны, которая бы не называла пиво своим национальным питьем.

Валентин Федорович раскрывает много раз изданную в ГДР книгу Эмиля Улишбергера «Вокруг пива... и поваренные рецепты с пивом». Автор пишет, что уже древним шумерам было известно светлое и темное пиво. Они освобождали от военной службы поваров и... пивоваров. В то жестокое время это было высочайшей привилегией.

В Египте начало пивоварения относят к 1750 году до новой эры. Бог земли и плодородия Озирис почитался в Египте также и богом пивоварения.

Отец истории Геродот знал пиво и называл его ячменным вином. Знали его в Сирии, Италии, Галлии, Испании в древние времена.

В Северной Европе в раннем средневековье центром пивоварения была Фландрия. Там возникла легенда о защитнике пива брабантском короле Гамбринусе, который жил во времена Карла Великого. По другим сказаниям, патрон пива гамбринус жил в XIII веке. Начиная с XVI столетия он повсюду стал почитаться королем пива и его защитником. Этот титул Гамбринус носит и по сей день.

В Египте эпохи Рамаеса центром пивоварения являлся город с латинизированным названием — Пельзиум. В наше время аналогичную славу имеет чехословацкий городок Пльзень. Случайно ли такое созвучие?

Древняя Эфиопия переняла искусство пивоваре-

ния от египтян, а от них — арабы. Кстати, употребляемые древними арабами названия сортов пива «Фокка» и «Мазар» сохранились и по сей день. А «Пильзенское», покорив весь мир, под наименованием «Пильзнер» производится в десятках стран, не говоря уже о том, что собственно чешское пиво с берегов Влтавы экспортируется почти в девяносто стран.

Лет двадцать назад страницы наших газет и журналов запестрели сенсационными заметками об изобретении в США и Югославии безалкогольных сортов пива. Матвеев показывает массу этикеток, подтверждающих наличие в западных странах пива для пловцов, лыжников, мотогонщиков, автолюбителей, молодоженов и даже... для детей дошкольного возраста.

— А вот этой этикетке сто лет,— говорит Валентин Федорович.

Смотрю на бумажный квадратик и глазам не верю: черным по белому на нем напечатано «Требуйте везде!!! Черное пиво без алкоголя орловского завода Е. Б. Махлина». На соседней этикетке, словно на государственном кредитном билете, надпечатано «Этикет утвержден правительством. Подделка преследуется по закону».

— Большое сожаление у меня вызывает тот факт,— сетует коллекционер,— что мы, рядовые граждане своего Отечества, вслед за малообразованными руководителями наплевательски относились к сохранению национальных традиций, обычаев, нравов. Моя коллекция — будто фотография эпохи. Колоссальный опыт, накопленный в России, в частности, в области пивоварения, практически сведен к нулю.

Я обращаю внимание на сложенный вчетверо лист плотной бумаги.

— Это приглашение в









чехословацкий город Усти-над-Лабем, где уже много лет подряд устраиваются (название привожу дословно) «международные биржи пивных этикеток, подносиков и бокалов». В приложенном к приглашению бюллетене, в частности, напоминается, что в предыдущих мероприятиях такого рода принимали участие коллекционеры из СССР, Польши, Венгрии, ГДР, Дании, ФРГ, Югославии, Швейцарии, США, Франции, Англии, Голландии и, разумеется, ЧССР. Нашу страну представляли коллекционеры из Риги, Каунаса, Вильнюса, Москвы, Таллинна, Баку, Львова, Харькова и Ленинграда.

В Ленинграде, как известно, есть пивоваренное объединение имени Степана Разина. Впрочем, объединение — громковатое определение для жалких остатков, так сказать, прежней пивоваренной роскоши: всего-навсего три завода — головной, «Вена» и «Красная Бавария». А ведь в старом Петербурге действовали пятнадцать пивоваренных заводов и складов. К слову говоря, склад — не просто хранилище готовой продукции, а своеобразная пажить, на которой в течение нескольких месяцев пиво дозревает и посредством выдержки доводится до товарной кондиции.

Валентин Федорович ставит на стол кружку и бутылку. На кружке надпись — «Калинкинское пивоваренное товарищество», а на ее кромке рядом с тонкой рисочкой обозначена емкость «1/40 ведра». Не больше обыкновенного граненого стакана! «Калинкинское пивоваренное товарищество» — ныне головной завод объединения — функционирует без остановки с 1795 года. Даже в тяжелые годы блокады в цехах не прекращалась работа: сушили зерно, муку, крупы.



Вот на стол поставлена высокая узкая бутылка. На ее поверхности отлита надпись «Санктъ-Петербургъ. Бавария. Учр. в 1863 г.». Над надписью — Российский Государственный Орел.

На верхней полке широкого серванта выстроились сотни пивных бутылок последнего времени, изготовленных в Советском Союзе к 1500-летию Киева, 200-летию Минеральных Вод, к другим событиям и памятным датам. Ловлю себя на мысли, что в свободной продаже подобную бутылку, в лучшем случае, купишь только раз. Но ведь и юбилейные монеты не каждый день получаешь в кассе магазина на сдачу. Тем не менее они играют свою пропагандистскую роль.

Нижняя полка серванта — вместилище тысячи металлических банок изпод пива. Разноцветные рисунки на жестяных цилиндрах поражают выдумкой и фантазией художников и требовательностью потребителей: шрифтовые и живописные, стограммовые и пятилитровые, высокие и приземистые, изящные и бочонкообразные пивные банки составляют в мире огромный культурный пласт. За это время произведено свыше двадцати тысяч их разновидностей. В соседнем шкафу — подставки под пивные кружки, значки популярных баров, клубов, прейскуранты пивных ресторанов, рецепты пива, ГОСТы. Кстати, в СССР ныне производится, согласно ГОСТам, двести сортов пива. Не каждый наш соотечественник поверит в это. Тем не менее это так! А если сравнить, скажем, с Бельгией?.. Обычно считается, что на родине Гамбринуса производится триста сортов пива. Но на самом деле — значительно больше. В Брюсселе, к примеру, есть таверна, уже вывеска которой сообщает, что там вы сможете отведать... тысячу (!) разных сортов пива. Один из сортов, между прочим, назван именем выдающегося художника Питера Пауля Рубенса, что, по общему мнению, ничуть не умаляет достоинства великого фламандца.

Пивные этикетки несут на себе массу изображений: репродукции картин, портреты выдающихся людей, героев сказок, легенд, рекламу и многое другое, что только совмещается с понятием цветной полиграфии. Между тем собирание этикеток — не предел мечтаний лабологистов, а только средство общения между жителями разных городов, стран и континентов. Как ни парадоксально, положение на «лабологистском фронте» является оригинальным индикатором политического климата в мире. Недавно Матвеев получил письмо от одной жительницы Великобритании, в котором она признается, что отважилась установить с ним контакт только лишь после того, как убедилась, что политика, осуществляемая правительством СССР во главе с М. С. Горбачевым, действительно направлена на разрядку, мир во всем мире, тесное международное сотрудничество. Теперь, по ее словам, не существует психологического и политического барьера для ее дружбы с советским гражданином.

Удивительно, но факт: на нашей с вами памяти было несколько правительственных постановлений о повышении цен на алкоголь, но при одновременном увеличении объема и ассортимента пива. На деле происходило прямо противоположное явление: пива днем с огнем не сыщешь, ассортимент практически сведен к нулю, а качество... Вот вы уже и заулыбались иронично и досадливо! Дело дошло до абсурда: в бывшем ресторане «Чайка» западногерманское пиво продают только на конвертируемую валюту. Вот где мы маху дали! Пиво, оказывается, более надежный и постоянный поставщик твердой валюты, нежели нефть, лес, газ и прочее наше, увы, не неисчерпаемое сырье. «Пивную валютную скважину» для нашего госбюджета перекрыла перестраховка, безалаберное отношение к работе, к людям тех ответственных (или безответственных) чиновников, в холодильниках которых не переводится ни баночное, ни бутылочное пиво ведущих пивоваренных фирм мира.

Писатель из ГДР Эмиль Улишбергер в 4-м, улучшенном издании своей книги «Вокруг пива... и поваренные рецепты с пивом» в «Приложении № 2»[1] приводит выдержки из переписки К. Маркса и Ф. Энгельса. И нашим читателям, я уверен, не менее любопытно будет ознакомиться с некоторыми из них:

Энгельс — Лауре Лафарг, от 26.04.1866: «Пиво льется в изобилии — я поглощаю целых 2 бутылки в день».

Маркс. Анкета для рабочих: «...№ 24. Укажите цены на предметы первой необходимости, а именно: в питании: хлеб, мясо, овощи, молочные продукты, яйца, рыбу, сливочное масло, жиры, сахар, соль, пряности, кофе, чай, цикорий, пиво, сидр, вино, и т. п.».

Л. Тейнер. Воспоминания о К. Марксе и Ф. Энгельсе: «...меня интересовали также взгляды Энгельса на движение трезвости. Я не могу вспомнить, чтобы он когда-нибудь высказывался за воздержание от употребления алкоголя. Напротив, часто сидя за пивом, он говорил мне: «Пей, баварец, баварцы всегда испытывают жажду!». От нашего старого Филиппа Беккера я также узнал о его умении пить и не пьянеть, о том, что на наших пирушках в Цюрихе он не уступит никому из нас, даже будучи на седьмом десятке».

В. Либкнехт о К. Марксе: «Подхватив меня под руку, Маркс повел меня в лучшую комнату, где Энгельс уже запасся оловянными кружками крепкого портера и встретил меня веселыми шутками. Мы говорили, смеялись и пили до самого утра».

Цитаты можно было бы еще долго продолжать...

Поскольку мы коснулись популярной в ГДР книги Эмиля Улишбергера, почему бы нам не воспользоваться предлагаемым им рецептом немецкого коктейля «Лорелея»? Не так уж затруднительно взять полтора стакана пива, четверть стакана тертого пряника, один стакан белого вина, полстакана воды, одну чайную ложку сахарного песка, щепотку корицы, чайную ложку лимонного сока, пару кусочков льда. Все это смешать в миске. Есть чем угостить приятеля!

В. Ф. Матвеев тоже не лезет за рецептом в карман: все старинные секреты он хранит в увесистых фолиантах и охотно предлагает читателям выдержки из своих запасников «Домашнее пиво: полведра ячменного солода размешать в бочонке с двумя ведрами холодной воды, оставить так до следующего утра. Утром перелить все это в котел, прибавив полную чайную ложку соли, дать кипеть два часа. Прокипятив, положить шесть стаканов хмелю и варить еще двадцать минут. Процедить все это в бочонок, дать остыть, влить после остужения чашку свежих дрожжей и чашку патоки, размешать и оставить так до вечера. Потом разлить в бутылки, которые закупорить только на следующий день. На другой день пиво будет уже готово к употреблению».

...Валентин Федорович перелистывает альбом за альбомом. Могу сравнить этикетки с почтовыми марками и открытками — настолько много полезной и интересной информации несут они в себе. К одному сорту пива некоторые фирмы печатают целые серии этикеток, причем под номерами, все как положено для настоящей коллекции. Вот, к примеру, прекрасные финские этикетки с портретами прославленных адмиралов: Колумб, Васко да Гама, Нельсон... Наш земляк адмирал С. О. Макаров вполне уживается в данном сонме героев моря.

— Валентин Федорович,— спрашиваю у коллекционера,— а нет ли возможности «поделиться» вашими сокровищами с простыми горожанами, даже не подозревающими, что же такое пивная этикетка по большому счету?

— Могу помочь оформить новый пивной бар, устроить выставку в кинотеатре, Дворце культуры. С удовольствием проконсультирую кинематографистов: у меня есть этикетки прошлого века и начала нынешнего практически всех европейских государств, подставки под пивные кружки, банки из-под пива, оригинальные бутылки, редкостные кружки, прочая пивная атрибутика. Кроме этого, в моей коллекции имеются старинные пивоваренные рецепты и секреты. Пиво, если делать его честно, с душой, представляет собой незаменимый комплекс витаминов, микроэлементов, аминокислот и прочих питательных веществ. Раньше пивом лечили людскую худобу!

— Много ли лабологистов в СССР?

— Каждый год мы собираемся на традиционные съезды. Около ста коллекционеров. Но происходят они полулегально, так сказать, явочным порядком. В остальных — капиталистических и социалистических странах — существуют сотни клубов лабологистов со своими уставами, газетами, журналами, знаками различия. Вот проспект съезда из Австралии. Кстати, в этой стране, впрочем, как и во всех англоязычных странах, культура пива очень высоко развита и является неотъемлемой частью быта граждан всех сословий. Пивные клубы — пабы — места проведения досуга мужчин. За кружкой крепкого или легкого, темного или светлого, но обязательно густого и питательного напитка мужчины беседуют, заключают сделки, смотрят телевизор. И никакого криминала в этом не усматривают ни их жены, ни органы правопорядка.

— А воспользовались приглашением в Великобританию?

— Пока нет. Но в прошлом году мне выслали документ, подтверждающий, что я принят членом Английского общества лабологистов. Поверьте, это высокая честь.



[1] См.: Emil Ulischberger. «Rund ums Bier... und Kochrezepte mit Bier». Leipzig. 1986. 4, verbesserte Auflage.

Мини-мемуары

А. ДАВЫДОВ

ХУДОЖНИК А. М. ГЕРАСИМОВ

Литературный портрет

Редкие наезды из Москвы в наш институт, где тогдашний президент Академии художеств СССР Александр Михайлович Герасимов вел мастерскую, сопровождались необычайной суматохой. Стелились ковровые дорожки, мылись каменные полы и подоконники, топились догоряча белые кафельные печи, натирались до одуряющего блеска латунные перила лестницы, ведущей к дубовым дверям Президиума. Туда-сюда сновали уборщицы с метлами и тряпками, истопники, лаборанты, чиновники всех рангов, и можно было сразу понять, что готовится нечто чрезвычайное. Любопытные сразу же доискивались до причины, и в этот же день по всему околотку разносилась весть, что завтра утром прибывает президент собственной персоной.

И действительно, на другой день у подъезда маячили дежурные, а роскошный вестибюль рассекала ковровая дорожка. В конце вестибюля она круто сворачивала вправо по коридору и, извиваясь змеею по круглой лестнице, оканчивалась у приемной президента Академии.

К обеденному перерыву ковровая дорожка исчезала — верная примета, что президент уже приехал.

Начинались обходы мастерских. Шествие почтеннейшего синклита проходило так: впереди президент, нередко в шубе и бобровой боярке, за ним вереница профессоров, доцентов, преподавателей и лаборантов. Колоритной фигурой Герасимов напоминал заводчика с картины Б. Иогансона «На старом уральском заводе». Белую манишку с неизменным галстуком-«бабочкой» можно было приметить за версту. За президентом живым шлейфом тянулись директор Александр Дмитриевич Зайцев, деканы факультетов, профессора и прочая публика рангами пониже, а замыкал эту впечатляющую процессию чудаковатый и вечно всем интересующийся маленький, похожий на гнома старичок, лаборант Леман.

В один из таких обходов нежданно-негаданно президент со свитой заглянул в нашу графическую обитель. Шумно распахнувшиеся двери застали всех нас врасплох. Толстушка натурщица Надька, с визгом спрыгнув с высокого постамента и сверкнув розовыми прелестями, опрометью бросилась за пыльные ширмы. Коренастая фигура президента решительно шагнула в помещение, за ним ввалилась и вся орава сопровождавших его лиц. Через минуту в тесной мастерской яблоку негде было упасть.

Первым делом Александр Михайлович обратил свой взгляд на огромные стоптанные валенки у раскаленной докрасна буржуйки. Валенки, взятые напрокат из академической костюмерной, временно принадлежали Надьке. Она в них позировала по причине ужасной холодрыги, и когда кому-нибудь требовалось писать ее ножки, смахивавшие на балясины, то по просьбе писавшего она великодушно вылезала одной ножкой из валенка и минуты две давала возможность порисовать.

Герасимов перевел взгляд с валенок на нас и начал своим слегка гнусавым характерным голоском беседу, сильно упирая на «а» и где только можно меняя «е» на «я»: пакажите, нямного. Речь его была простовато-мужицкой и необыкновенно колоритной. Однако воспроизвести ее здесь — все равно, что выставить красную тряпку для ревнителей чистоты русского языка. Поэтому приведу его слова с максимальным приближением к «правильной» орфографии.

— Вот ведь, милаи, струхнула ваша Венера Милосская. И с чего это? Мужиков не видывала, аль что? Ведь мы не на базар приперлись! Ну-ка, милаи, пошевеливайтесь, да покажите, деятели, чего это вы тут на государственных харчах понатворили! Да не стесняйтесь содеянного. Я ведь тоже немного художник!

Несколько храбрецов, сняв с мольбертов «содеянное», робко выставили его напоказ и тихо ожидали разноса.

— А ведь ничего! Я в мои бедственные годы так творить не мог. Кишка кишке кукиш казала. У вас ведь стипендия, столовая под носом, педагоги на каждом шагу снуют. Я по бедности в такую силу творить не умел. А вы здесь и великим духом великого Сурикова бесплатно дышите, м-и-л-а-а-и!.. Вспоминаю далекое безрадостное детство в Козлове. Сижу это я в своей каморке. Пригорюнился! Вдруг слышу стук, а за стуком купчина знакомый ввалился. Перекрестился сослепу на развешенные мои этюдики, да и говорит:

— Я ить к тебе, Санька, по делу, хочу своей Хавронье Степановне, жене значится, патретик у тебя какой приобресть. Деньжата вдруг лишние в мошне завелись. Продай, а!

— Я ведь, Федул Силыч, портретиков не пишу, пейзажами пробавляюсь.

— Чаво? — спрашивает купчишка.

Отвечаю, что речку, сараи, дома, церквушки изображаю. Взгляни, мол, Федулыч, на эту картинку, ее могу недорого уступить. А на картинке этой — серое коровинское небо, церковь, а по небесам вороны летают, все небо ими заляпал. Посмотрел это толстосум на этюдишко: да, говорит, беру. Понравился ему «патретик». Спрашивает: сколько? Ну, я ему и заломил: пять рублей, говорю, и ни копейки меньше.

— Да ты што, спятил. За такую цену телку можно сторговать.

— Э-э-э, нет, говорю, милай. А посчитай ворон: да ежели вы, Федул Силыч, на ворону по три копейки давать будете, то как раз и выйдет.

Положили это мы на пол мой шедевр и стали на карачках по полу ерзать, ворон считать, да еще купчина в спор ввязался. Это, говорит, не ворона, а клякса какая-то или запятая. Распалились. Не выдержал я и говорю: «Да вы, Федулыч, в сторонку подайтесь да издали поглядите».— «И в самом деле: ворона»,— соглашается. Насчитали это мы с ним на восемь целковых с копейками. Копейки я ему скостил, для почину. Встал с карачек купец, завернул в тряпицу этюдик и говорит:

— Ну, Санька, далеко пойдешь. Большой человек из тебя выйдет.

И ведь угадал, паршивец...

Но бывали и другие визиты, оставившие памятный след в истории Академии.

Шел тысяча девятьсот пятьдесят третий год. В начале марта умер Сталин. В вестибюле — большой, увитый крепом портрет, возле него — почетный караул. Грустные лица. Уныние и тревога. В академическом клубе — митинг. Траурные мелодии по трансляции. Над сценой — другой портрет вождя. Взволнованные речи и настоящие слезы.

Когда-то в этом зале помещалась домашняя церковь, в ней отпевали гениального Врубеля, умерших знаменитостей, членов их семей. В простенках — рельефные сюжеты из деяний Христа.

Тогда, в тот скорбный день, вместо иконостаса — сирые подмостки, длинный стол, фанерная трибуна и выцветший транспарант над проемом сцены.

И надо же случиться такому вскоре после торжественных похорон! Апрельское солнце уж растопило остатки снега, когда группа студентов графического факультета написала в институтскую многотиражку «За социалистический реализм» заметку, критиковавшую закоснелую программу обучения и некоторых педагогов, да еще поименно. Этого показалось мало. Нашлись энтузиасты, написали письмо К. Е. Ворошилову: проедали, что славный маршал — меценат. «Коллективку» с оказией отправили в Москву. Начинание подхватили архитекторы, и — пошла писать губерния. Забурлил весь институт, всполошилось не на шутку академическое начальство.

Переполох отразился на преподавателях, особенно поприуныли те, чьи имена упоминались в злосчастной статье. Время было суровое, и те, кто рискнул подписать «коллективку», рисковали многим. Сыр-бор разгорелся еще пуще, как только все узнали, что по распоряжению из столицы многотиражка приказала долго жить. Это действо подлило масла в огонь, и пожар заполыхал с удвоенной силой...

Помощь пришла в лице самого президента. Александр Михайлович Герасимов спешно появился в самый разгар событий. В назначенный час клуб был забит до отказа. Сцена пуста, пуст и стол, покрытый сукном. Только на трибуне кто-то заботливо приготовил стакан и графин. В зале настораживающая тишина.

Внезапно на авансцену выкатилась коротенькая фигурка президента и подкатилась к фанерной трибуне, следом степенно вышли его спутники. В молчании заняли места в президиуме и, как по команде, повернули головы к микрофону.

Александр Михайлович открыл какой-то гроссбух и начал читать. В зал ручейками потекли расплывчатые, округлые фразы дежурного доклада о состоянии дел в нашем изобразительном искусстве. Ручеек журчал часа полтора. Затем президент захлопнул книгу и, выйдя к рампе с поклоном, обратился к присутствующим:

— Милаи! С тревогой я узнал о некоторых недоразумениях, которые и привели меня на эту долгожданную встречу. Я приехал к вам с чистым сердцем, чтобы разобраться в неотложных делах. Чтобы убыстрить наши взаимоотношения, предлагаю задавать вопросы письменно, а я на них со всей откровенностью отвечу устно. Такая форма будет ближе к цели. У меня ведь времени мало, да и вам, наверно, невмоготу будет талдычить попусту. Прошу!

Такого поворота явно никто не предвидел, мы все еще надеялись дорваться до микрофона и высказать все, что наболело. Кое-кто уже начинал понимать, что герасимовский ручеек может превратиться в реку и река эта остудит многие горячие головы.

Александр Михайлович сгреб со стола президиума записки, сложил их в кучу и, вытащив первую попавшуюся, прочел:

— «Будут ли в мастерских новые табуретки?» Будут!

— «Отремонтируют ли женское общежитие?» Отремонтируют.

— «Когда на Литейном дворе наведут порядок?» Скоро.

— «Будет ли гореть в туалете лампочка?» Прикажу завхозу соорудить не одну, а две.

Потом он прочитал еще одну записку, определившую дальнейший ход собрания:

— «Дорогой Александр Михайлович! Расскажите о встречах с товарищем Сталиным». Вот это вопрос животрепещущий, правильный и уместный.

И, оживлясь, продолжал, подливая из графина в стакан:

— Я действительно виделся с великим вождем всех народов Иосифом Виссарионовичем Сталиным... и неоднократно. Великий и скромнейший был человек! А познакомился я это с ним через моего друга маршала Климента Ефремовича Ворошилова. Ну, а потом я мог бывать у товарища Сталина и самолично... Как-то раз я и художник Кацман поехать в лесок решили, прогуляться, озоном подзарядиться. Едем мы с Женькой Кацманом по Дорогомиловскому шоссе, погода расчудесная, птички чирикают, солнышко светит, кругом тишь, гладь да божья благодать! «Тпру-у-у,— говорю шоферу,— чего прешься на всем скаку на моей, то есть на государственной машине. Останови, Ванька! Тпр-у-у! Ишь разлетелся, милай!» Вышли это мы с Кацманом и пошли лесом. Гоноболь-чернику на ходу рвем, о святом искусстве толкуем... Вдруг слышим — из-за кустов кричат: «Стой! Кто идет?». Отвечаю: «Народный художник СССР, лауреат многих государственных премий, президент Академии художеств Александр Михалыч и... Кацман»... На патруль, милаи, нарвались. Бог нас сюда занес! Вспомнил ведь сразу, что здесь неподалеку живет вождь народа, сам товарищ Сталин... Подходим это мы с Кацманом к полянке, видим — дача... Какая это дача! Так себе, развалюшка, лачужка, скромнейший особнячок... Глядим — на полянке Сталин, Вячеслав Михайлович и какой-то человек в штатском. Сталин с Молотовым в городки, в рюхи, значится, по-нашему, играют. А человек им фигуры на кон ставит.

— Привэт, товарищ Герасимов! — говорит вождь с грузинским акцентом.

И предложил это я с Кацманом товарищу Сталину скинуться в рюхи партию. И что вы думаете... милаи?.. Проиграли! Ведь товарищ Сталин неплохо в эту игру играл. Сели это мы потом на завалинку, закурили.

Темно стало, прощаться надо. Простой был человек, хоть и гениальный... А мы вот тут сидим, переливаем из пустого в порожнее, а ведь у всех дела и у меня тоже... На этом наше собрание считаю закрытым.

На другой день по вопросу о многотиражке снарядили к президенту ходоков: меня, Токарева и его коллегу с живописного — Романычева. Александр Михайлович еще почивал, и любезная секретарша предложила нам подождать. В секретарском предбаннике были две двери: одна в комнату, где остановился Герасимов, другая — в огромный парадный кабинет, где когда-то глава будущих передвижников Крамской с товарищами учинил бунт, отказавшись писать программные картины на библейские сюжеты. Жалкими казались нам наши потуги, хоть и велико было желание что-то переменить.

— Э-э-э-э! Милаи, доброго утречка, вы уже здесь, ни свет ни заря! Как чувствуете себя после вчерашней ассамблеи? Не устали?

Мы объяснили цель визита и добавили, что надеемся на его президентскую помощь.

— Я ведь тоже, милаи, за прессу, но, к великой беде, у государства и Академии финансы поют романсы. Я ведь не министр финансов, и на мою макушку деньги манной небесной не сыплются. Вот ежели выиграете процессишко против одного издательства — и деньги на газетку будут. Что? Газета, говорите, будет моя? Ну, как хотите! Мое дело предложить, ну а ваше — отказаться. Тогда и газеты у вас не станет! В таком случае, как говорят французы, ар-р-евуар-р-р... Ежели надумаете — милости прошу в столицу. До скорого свиданьица... деятели!

Так бесславно закончилась наша миссия. Газета, просуществовавшая не один десяток лет, канула в Лету.

Самобытнейшей была личность президента и, надо сказать, весьма оригинальной. Да и талантом Бог его не обделил. Учился он у Валентина Серова и Константина Коровина. В искусстве след оставил немалый: «Розы на веранде», портрет балерины Лепешинской, групповой портрет старейших художников... А сколько квадратных метров «живописи» написано им на потребу времени, ради славы и сребролюбия, для запасников! Где теперь все это? На каких складах лежат рулоны президентских произведений?

Умер Герасимов миллионером, оставив дачи, машины, коллекцию картин.

Был я в его особняке, у метро «Сокол», был и во флигеле — бывшей бане в глубине небольшого сада. В этой баньке Герасимов написал своих знаменитых «Моющихся баб». Потом переделал баню под жилое помещение и сдавал ее желающим, вместе с предбанником и старой облезшей курицей на насесте. Мой московский приятель — художник Володя Зайцев платил за эти апартаменты триста рублей в месяц, с непременным обязательством присматривать за курой-пенсионеркой.